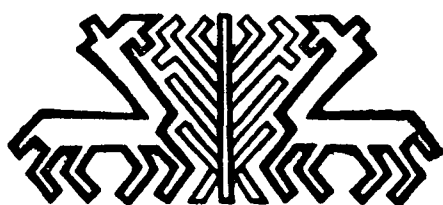


АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР

СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ



2

1 9 4 8

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Редакционная коллегия:

Редактор профессор С. П. Толстов,
заместитель редактора доцент М. Г. Левин,
член-корреспондент АН СССР А. Д. Удальцов,
Н. А. Кисляков, М. О. Косвен, П. И. Кушнер, Н. Н. Степанов

Журнал выходит четыре раза в год

Адрес редакции: Москва, Волхонка, 14, к. 326

Подписано к печати 21, V 1948 г.

А-00397

Уч.-изд. л. 29,5

Печ. листов 17

Заказ 193

Тираж 2000 экз.

2-я типография Издательства Академии Наук СССР. Москва, Шубинский, 10.

ЗАДАЧИ ЭТНОГРАФОВ В СВЯЗИ С ПОЛОЖЕНИЕМ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ФРОНТЕ

10 февраля 1948 г. ЦК ВКП(б) принял постановление об опере «Великая дружба» В. Мурадели. В этом постановлении, оказавшем уже громадное влияние на дальнейшее развитие советского музыкального искусства, отмечались нездоровые тенденции, проявившиеся среди части композиторов, увлекшихся псевдоноваторством. Отойдя от того направления советской музыки, которое тов. А. А. Жданов характеризовал как «здоровое, прогрессивное начало в советской музыке, основывающейся на признании огромной роли классического наследства, и, в частности, традиций русской музыкальной школы, сочетании высокой идейности и содержательности музыки, ее правдивости и реалистичности, глубокой, органической связи с народом, его музыкальным, песенным творчеством, в сочетании с высоким профессиональным мастерством», часть композиторов встала на путь формализма и под предлогом новаторства стала осуществлять «замену естественной, красивой, человеческой музыки музыкой фальшивой, вульгарной, зачастую просто патологической»¹.

В формалистических извращениях, получивших большое распространение среди западноевропейских и американских композиторов, сказалось тлетворное влияние вырождающейся империалистической общественной идеологии на искусство. Та часть советских композиторов, которая в поисках новых форм стала ориентироваться на современную западноевропейскую музыку, рассчитанную на буржуазного эстета, а не на народные массы, оказалась в плену у реакционных, антинародных музыкальных теорий. Из музыкальных произведений этих композиторов постепенно исчезло подлинное искусство. Формалистические увлечения оторвали эти музыкальные произведения от питающей творческой среды, которая содействует развитию музыкального искусства,— от классического наследства, от народного музыкального творчества, от накопленной многими веками национальной музыкальной культуры.

В основе музыкального творчества, как и всякого другого вида искусства, лежат — иногда в осознанном композитором виде, иногда в неосознанном виде — идеологические представления, связывающие композитора с окружающей социальной средой, с исторической эпохой. Художественное произведение, лишенное идейного содержания, не является искусством. Но идеи того или другого произведения бывают различными — они могут быть передовыми, могут быть реакционными. Музыка обладает свойством, с одной стороны, выражать идеи, а с другой,— отражать эмоции, впечатления, настроения. Чем талантливее автор музыкального произведения, тем сильнее влияет он на слушателя, передавая ему свои идеи и свои эмоции. Разложение и вырождение создают упадочнические идеи, которые вызывают упадочнические эмоции.

Народным массам нашей страны, построившим социализм и осуществляющим постепенный переход к коммунизму, чужды настроения

¹ А. А. Жданов. Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б), стр. 136.

декаданса. Гражданам СССР нужна музыка действенная, яркая, отражающая передовые идеи; музыка бодрая, зовущая к труду и борьбе, зовущая к победе. Чаяниям и настроениям народных масс отвечает музыка, озаряющая жизнь радостью, счастьем, помогающая понять внутренний мир другого, близкого человека, помочь перенести личное горе, пережить тяжелую утрату. Словом, нужна музыка подлинно человеческая, содержательная и глубокая. Музыкальные произведения формалистического характера чужды народу, а эмоциональное влияние их на отдельных людей может быть признано лишь вредным, мешающим жизни и работе.

Тов. А. А. Жданов в своей заключительной речи на совещании деятелей советской музыки, происходившем в ЦК ВКП(б), обратил внимание композиторов, дирижеров, музыкальных критиков и музыковедов на опасности, которые несет в себе формалистическое направление в музыке, и призвал развивать и совершенствовать советскую музыку, отстаивая её в то же время от проникновения элементов буржуазного упадочничества, декаданса. «Мы хотим,— сказал тов. Жданов,— чтобы отставание, которое вы переживаете, как можно скорее было преодолено, чтобы вы поскорее перестроились и превратились в славную когорту советских композиторов, являющихся гордостью всего советского народа» (стр. 148).

В постановлении ЦК ВКП(б) указаны условия, содействовавшие распространению среди некоторой части композиторов формалистических извращений,— это отсутствие подлинной критики музыкальных произведений, замкнутость музыкально-композиторской среды, отрыв её от народных масс. Основным недостатком оперы В. Мурадели «Великая дружба», говорится в постановлении, является отрыв этой музыки от народной почвы: «композитор не воспользовался богатством народных мелодий, песен, напевов, танцевальных и плясовых мелодий, которыми так богато творчество народов СССР и, в частности, творчество народов, населяющих Северный Кавказ, где развёртываются действия, изображаемые в опере». И далее говорится: «существенным признаком формалистического направления является также отказ от полифонической музыки и пения, основывающихся на одновременном сочетании и развитии ряда самостоятельных мелодических линий, и увлечение однотонной, унисонной музыкой и пением, зачастую без слов, что представляет нарушение многоголосого музыкального песенного строя, свойственного нашему народу, ведет к обеднению и упадку музыки». Этот раздел постановления особенно внимательно должны продумать не только музыканты, но и этнографы и фольклористы, которым постоянно приходится сталкиваться с народным музыкальным творчеством, записывать наряду со словесными текстами народных песен и их мелодии. Сколько ошибок делалось при этом, когда многоголосые песни, исполняемые обычно хором, записывались в исполнении одного певца и полифоническая хоровая песня превращалась тем самым в одnogолосую. Постановление ЦК ВКП(б) ставит перед этнографами неотложную задачу широкого собирания произведений народного музыкального творчества, тщательной записи их в подлинных условиях бытования, а также научного исследования их и пропагандирования. Для правильной постановки этой работы нужно укрепить руководящий научный центр музыкальной этнографии, уделить большее внимание освещению музыкально-фольклорной тематики в печати. Одновременно нужно усилить связь этнографа-собираателя и фольклориста с композитором. Композиторы, использующие мелодии народной песни, иногда рассматривают напев как абстрактную инструментальную тему: ни живое звучание напева, ни его смысловое идейное, ни эмоциональное содержание в народном песнетворчестве их в этом случае не интересуют. Тому ли учили нас русские музыкальные классики — Глинка,

Даргомыжский, Серов, Мусоргский, Бородин, Чайковский, Римский-Корсаков и другие? Все эти композиторы своим гениальным чутьём не только слышали народную музыкальную речь, но и развивали её в своём творчестве; они умели говорить языком русской народной музыкальной речи, чего никак нельзя сказать об оперном и симфоническом творчестве большинства советских композиторов. Что же мешает советским композиторам идти по этому пути? Для того чтобы встать на этот путь, нужно научиться слушать и слышать народную песню, а не ограничиваться лишь извлечением ее из песенных сборников. Советские композиторы должны работать в тесном контакте с этнографами и фольклористами — собирателями, участвовать в этнографических экспедициях, быть в курсе научных исследований народной песни.

Этнографы и фольклористы могут также помочь композиторам критически относиться к песням, которые бытуют в народной среде. Не следует забывать, что нередко бытуют низкокачественные в идейном и художественном отношении песни, созданные подчас деклассированными элементами. «Объективные» собиратели музыкального фольклора в капиталистических странах относят такие песни к народному творчеству, и композиторы буржуазных стран охотно обращаются к этому мутному источнику, — но советский этнограф, советский фольклорист должен и большею частью умеет разбираться в ценности тех или других произведений народного творчества, ибо он стоит на позициях А. М. Горького в определении сущности фольклора.

А. М. Горький, который впервые в советской науке дал марксистскую концепцию народного творчества, со всей резкостью указал, что блатные песни и песни деклассированных элементов не имеют никакого отношения к подлинному народному творчеству, ибо народное творчество является творчеством трудового народа. Этим определением А. М. Горький вводит идейный, этический и художественный оценочный критерий в отношении явлений устного народного творчества, понимавшегося до этого некоторыми советскими фольклористами в духе порочных взглядов, господствующих на Западе. Горький учит нас оценочно подходить к явлениям народного искусства и различать в нем явления пережиточные и отживающие, и явления, имеющие живую связь с современностью и имеющие будущее.

Важнейшие теоретические высказывания Горького о народном художественном творчестве, недостаточно усвоенные даже некоторыми фольклористами и писателями, остались пока вне поля зрения советских композиторов. Между тем нездоровый интерес к блатному и мещанскому фольклору свойственен части советских композиторов. Это относится прежде всего к некоторым композиторам-песенникам; в самой яркой форме — к Никите Богословскому. Надо прямо сказать, что в том же направлении идут и все обращения к бытовой музыке композитора Шостаковича. Эта порочная тенденция совершенно не случайно перекликается с аналогичными тенденциями в современной французской и англо-американской музыке, изобразительном искусстве, художественной литературе и философии.

Постановление ЦК ВКП(б) о положении на музыкальном фронте имеет значение не только для музыкантов. Оно касается, как и решения ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», о кинофильме «Большая жизнь», о репертуаре драматических театров, всех работников идеологического фронта. Оно призывает к бдительности в вопросах идеологии, к борьбе против формалистических извращений, облегчающих проникновение в советскую среду враждебных, антимарксистских теорий и идей, упадочнических воззрений и настроений. Этнографам и фольклористам, непосредственно соприкасающимся с народными массами в своей полевой работе, следует особенно вдуматься в это постановление и применить его к своей работе. Решение ЦК ВКП(б) об опере

В. Мурадели вызовет, несомненно, радикальную перестройку всей творческой работы советских композиторов и педагогической работы по подготовке молодых композиторских кадров. В осуществлении этой задачи советским композиторам поможет вся советская интеллигенция, весь советский народ, но в особенности большую помощь могут оказать собиратели и исследователи народного музыкального искусства — этнографы-фольклористы. Готовы ли они к этому? Как обстоит дело с идеологической бдительностью у них самих?

Дискуссия о теоретических недостатках и задачах советской фольклористики, проведенная в Институте этнографии Академии Наук СССР в феврале-марте 1948 г., вскрыла явно неблагоприятное состояние советской фольклористической науки. На этой дискуссии была разоблачена антимарксистская сущность псевдоисторических построений школы А. Веселовского, его концепции первобытного синкретизма, формалистической основы его концепции родов поэзии, представляющие не что иное, как эклектический вариант идеалистической формалистической схемы поэтических родов в эстетике Гегеля. Была вскрыта также формалистическая сущность теории исторической первичности психологического параллелизма, начисто отвергаемой современными данными науки об искусстве первобытных народов. Вместе с тем обнаружилось, что отдельные советские литературоведы и фольклористы берут под защиту вредную буржуазно-либеральную концепцию этой школы и даже пытаются установить «близость» положений Веселовского к марксизму... На этой же дискуссии была разоблачена антимарксистская сущность исследований В. Я. Проппа, проповедующего в своей «Специфике фольклора» и в книге *Исторические корни волшебной сказки* идеалистические теории Леви Брюля о первобытном мышлении и взгляды на фольклор скандинавско-финской формалистической школы сказковедения. Несмотря на то, что В. Я. Пропп протаскивает в науку фольклористики антиисторические взгляды и методы исследования, он имеет последователей и защитников среди советских фольклористов.

Во время этой дискуссии был разоблачен до конца формалистический функционально-структуральный «метод» фольклористического исследования П. Г. Богатырева, оказавший ощутимое влияние на научные работы его учеников и представляющего в сущности одну из разновидностей функционального метода англо-американской этнографической школы Малиновского. Только полным пренебрежением к теоретическим проблемам и вопросам методологии можно объяснить формулирование советским исследователем тех же методологических положений, которые составляют основу методологии наиболее реакционной из всех буржуазных этнографических школ.

Дискуссия показала, что некоторые фольклористы до сих пор не усвоили основных теоретических взглядов на фольклор Белинского, Добролюбова, Чернышевского, классиков марксизма-ленинизма и М. Горького и поэтому не умеют применить эти положения в своей работе.

Недопустимые для советского фольклориста отклонения от единственно правильного пути развития советской фольклористики, того пути, который намечен в работах классиков марксизма-ленинизма, обусловлен тем, что ряд советских фольклористов и этнографов недостаточно четко разбираются в теоретических вопросах, все еще продолжает возвеличивать «достижения» буржуазной академической науки России и Западной Европы конца XIX — начала XX столетия. В «Материализме и эмпириокритицизме» В. И. Ленина дана исчерпывающая характеристика сущности этих идеалистических, позитивистских «достижений», и всякому фольклористу и этнографу нужно быть знакомым с ленинской характеристикой для того, чтобы не протаскивать — из-за

своей теоретической беспечности — в советскую науку буржуазных лженаучных теорий и «методов».

Научный коллектив Института этнографии принял ряд мер для выправления обнаружившихся в ходе дискуссии теоретических ошибок отдельных фольклористов, но борьба с враждебными марксизму антинаучными теориями должна продолжаться в повседневной работе и в печати. Советский этнограф, советский фольклорист, исследователь народной музыки не может быть ни эклектиком, ни позитивистом. Ему приходится собирать, изучать и объяснять материалы, касающиеся различных сторон жизни и быта народных масс, и поэтому совершенно необходимо, чтобы его собственное мировоззрение не искажало, а научно правильно объясняло изучаемые им явления и процессы. Сделать это может только этнограф и исследователь народной музыки, разбирающийся в сущности общественных явлений, стоящий на позициях марксистской материалистической диалектики. Только такие исследователи помогут советскому композитору понять народную песню; они соберут все ценное в народном музыкальном искусстве, чтобы потом талантливый композитор, умеющий ценить и классическое наследство и народные мелодии, создал новые подлинно великие, достойные советской эпохи произведения.



ВОПРОСЫ ЭТНОГЕНЕЗА



С. П. ТОЛСТОВ

«НАРЦЫ» И «ВОЛХИ» НА ДУНАЕ

**(Из историко-этнографических комментариев к Нестору)*

I. Текст Нестора и теория Шафарика

Среди теорий этногенеза славян, выдвинутых в славянской литературе, древнейшей является та, которая нашла себе место в начальной летописи и связывает первоначальную родину славян с бассейном Дуная. Летописный рассказ, вписывающий этногонические легенды славян, впервые зафиксированные летописью, в рамки византийско-библейской всемирно-исторической концепции, возводит этнический корень славянства к „племени Афетову“. „От сих же 70 и 2 языку бысть язык Словенск, от племени Афетова, Нарци, еже суть Словене¹. По мнозех же времянех сели суть Словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска. И от тех Словен разидоша по земле и прозвашася имены своими, где седше на котором месте; яко пришедше седоша на реце имянем Морава, и прозавшася Морава, а друзии Чеси нарекошася, а се ти же Словени: Хорвате Белии, и Серебь и Хорутане. Волхом бо нашедшем на Словени на Дунайския, и седшем в них и насилящем им, Словени же ови пришедше седоша на Висле и прозвашася Ляхове, а от тех Ляхов прозвашася Поляне, Ляхове друзии Лутичи, ини Мазовшане, ини Поморяне. Также и ти Словене пришедше и седоша по Днепру и нарекошася Поляне, а друзии Древляне, зане седоша в лесех; а друзии седоша межю Припетью и Двиною и нарекошася Дреговичи; инии седоша на Двине и нарекошася Полочане, речки ради, яже втечеть в Двину, имянем Полота, от сея прозвашася Полочане. Словени же седоша около езера Ильмеря и прозвашася своим именем, и сделаша град и нарекоша и Новъгород; а друзии седоша по Десне, и по Семи и по Суле и нарекошася Север. И тако разидеся Словеньский язык, темже и грамота прозвася Словеньская“². А. А. Шахматов³ и Н. К. Никольский⁴, как известно, возводят этот текст к введенному в состав летописи „Сказанию о начале грамоты Словеньской“.

¹ Подчеркнуто везде нами.— С. Т.

² Лавр., стр. 5—6 (цит. по изд. Археографической комиссии, СПб., 1910).

³ А. А. Шахматов, Повесть временных лет, I, Пгтр., 1916.

⁴ Н. К. Никольский, Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры, вып. I, Л., 1930.

В другом контексте Нестор снова возвращается к вопросу о славянской прародине — в рассказе об апостольской проповеди среди славян, восходящем, видимо, к тому же первоисточнику: „И апостол Павел учил ту: ту бо есть Илюрик, егоже доходил апостол Павел ту бо беша Словене первое. Темже и Словеньску языку учитель есть Павел, от него же языка и мы есмо“⁵.

Мы видим здесь ту же концепцию первоначального местообитания славян, дополненную ассоциацией с именем Иллирии и, соответственно, некоторым расширением на запад намеченной в отрывке „О начале грамоты“ территории. Летописец явно кладет в основу своего рассказа бытовавшую среди славян, его современников, этногоническую легенду, включающую в себя следующие элементы: а) древнее название славян — нарцы; б) первоначальное расселение предков славян в Иллирии и по среднему и нижнему Дунаю, откуда раньше всего выселяются чешско-моравские племена; в) нашествие „волохов“, результатом которого явилось широкое расселение славян с Дуная на север и восток.

Для нас безразлично в данном случае, лег ли в основу летописи устный рассказ, бытовавший в Киевской Руси, или более ранняя запись западославянского происхождения, вошедшая в гипотетически восстанавливаемое Шахматовым и Никольским „Сказание о начале славянской грамоты“. И в том и в другом случае в основе текста лежит славянский фольклор, устная этногоническая традиция.

Сказание летописи и концепция дунайской „прародины“ славян были во второй половине XIX в. отброшены исторической наукой, как не вяжущиеся с начавшей к этому времени складываться — на базе развития в применении к славяноведению историко-этнографических построений индоевропейской лингвистической компаративистики и немецкой школы исторической этнографии Европы — иной концепцией славянской прародины, локализуемой к северу от Карпат, а затем и еще уже — в междуречье Средней Вислы и Днепра, главным образом в болотах бассейна Припяти.

Анализ историко-лингвистической литературы по этой группе вопросов показывает, что собственно лингвистические документы играют весьма незначительную роль в обосновании положения об узкой висло-днепровской или припятской „прародине“ славян. Бесконечные колебания в вопросе о локализации этой прародины у такого первоклассного лингвиста — индоевропеиста, как Шахматов⁶, весьма в этом отношении показательны. Лингвисты, и в частности Шахматов, в неизмеримо большей степени, чем это принято думать, базировались здесь не на своих собственных материалах, а на общих соображениях исторического порядка, другими словами — на уже сложившейся к этому времени и настойчиво прокладывавшей себе путь немецкой историко-этнографической школе. Славян локализовали в Пинских болотах по той простой причине, что для них было найдено другого места в Европе: место к западу от Вислы было отдано германцам, бассейн Дуная — иллирийцам, кельтам и тем же германцам, южная полоса России — иранцам и фракийцам, лесная зона к востоку от Белоруссии — финнам. Если до середины XIX в. немецкие авторы энергично отстаивали взгляд о позднем, чуть ли не в V в., приходе славян из Азии (против чего энергично и успешно боролся Шафарик), то после крутой перемены фронта немецкой наукой, вызванной в принятии ею гипотезы англичанина Латама о северноевропейской прародине „индогерманцев“, она перешла к методу своеобраз-

⁵ Лавр., стр. 27—28.

⁶ А. А. Шахматов, К вопросу о финско-кельтских и финско-славянских отношениях, ИАН, 1911, № 9—10; его же, Древнейшие судьбы русского племени, Птгр., 1919.

ной „блокады“ древнего славянства, пока и сами славянские ученые не уверовали в то, что для их предков не остается иного места под солнцем, кроме Пинских болот, устраивающих уже тем, что об этнической принадлежности их древних обитателей ровно ничего не известно.

Характерно, что принявший эту концепцию крупнейший чешский археолог-славист Л. Нидерле⁷ оказался не в состоянии подкрепить ее археологическим материалом, ибо никакой специфической культурной области, которая могла бы быть отождествлена с областью гипотетических праславян, археологически выделить невозможно, и ограничился ссылками на лингвистов и на те же общие „исторические соображения“⁸. Тем не менее эта, по существу весьма зыбко аргументированная, гипотеза (ибо это не более чем гипотеза)⁹ прочно вошла в литературу как незыблемо установленный факт. Мы найдем ее и в русских трудах начала XX в. по истории славянства¹⁰, вплоть до ряда советских историков и лингвистов, в частности Готье¹¹ и Селищева¹², и в новейших чешских (Нидерле) и части польских работ, и в новейших западноевропейских и американских сводках¹³.

Советская историческая этнография пробила глубокую брешь в этой концепции — как со стороны методологических основ ее построения, так и со стороны ее фактического обоснования. Лингвистическое учение Н. Я. Марра показало, прежде всего, несостоятельность самого представления об этногоническом и глоттогоническом процессе, господствующего в индоевропеистике, противопоставив ему взгляд о ведущей роли социально обусловленного языкового скрещения, приводящего к качественным трансформациям языков, и возникновения принципиально новых лингвистических общностей, а соответственно и несостоятельность представления о практически исконно сущем славянском „пранароде“ и его „прародине“, о „расселении славян“, как единственном объяснении дифференциации исторических славянских языков.

Работы советских историков, филологов, археологов и антропологов¹⁴ со всей убедительностью показали вместе с тем, что на всей

⁷ Ср. L. Niederle, *Slovanské starožitnosti*, I, Praha, 1902, стр. 3 и сл., где автор конструирует еще довольно широкую территорию возможной „прародины“ славян — к северу от Карпат, до Одера на западе, Балтики на севере и Дна на востоке; его же, *Rukovět slovanské archeologie*, Praha, 1931, стр. 3 и сл., где он ограничивает область расселения славян около начала нашей эры территорией на западе до Варты или Одера, на востоке — до Десны и Донца, на севере — до линии, тянувшейся от устья Вислы до водораздела Припяти, Березины и Немана, на юге — до Карпатских гор и по линии от среднего течения Днестра до Днепровских порогов, считая вместе с тем „наиболее правдоподобным“ сужение первоначальной славянской прародины до района „Восточного Повисленья и Полесья, вплоть до Днепра“.

⁸ L. Niederle, *Rukovět...* стр. 26, где автор прямо ссылается на отсутствие достоверных памятников.

⁹ Характерно, что Нидерле так же очень осторожен, рассматривая свое построение лишь как вероятную гипотезу: „Ale i tu je pouhá domněnka. Jistoty není“ (*Rukovět...*, стр. 3).

¹⁰ Ср. М. К. Любавский, *История западных славян*, М., 1918, стр. 9.

¹¹ Ю. В. Готье, *Железный век*, М.—Л., 1930, стр. 15 и особенно 31.

¹² А. М. Селищев, *Славянское языкознание*, М., 1941, стр. 5.

¹³ Ср. C. S. Coon, *The races of Europe*, N. Y., 1939, стр. 216. — Характерно, что Кун ссылается здесь на авторитет Нидерле, якобы прочно установившего припятскую прародину славян, между тем как Нидерле, как мы видели, гораздо более осторожен.

¹⁴ М. И. Артамонов, *Спорные вопросы древнейшей истории славян и Руси*, КСИИМК, VI (1940), стр. 3 и сл.; Н. С. Державин, *Об этногенезе древнейших народов Днепровско-Дунайского бассейна*, ВДИ, 1939, № 1; его же, *Происхождение русского народа*, М., 1944; П. Н. Третьяков, *Археологические памятники восточнославянских племен в связи с проблемой этногенеза*, КСИИМК, II (1939), стр. 3 и сл.; его же, *Некоторые вопросы этногонии восточного славянства*, КСИИМК, V (1940), стр. 10 и сл.; его же, *Северные восточнославянские племена*, МИА, № 6,

территории своего ранне-средневекового расселения восточные славяне являются потомками древнего местного аборигенного населения, исторические корни которого уходят по меньшей мере в скифскую древность. Ниже мы вернемся еще к этому вопросу. Сейчас, однако, уже ясно, что ставший вопреки осторожным оговоркам Нидерле традиционным взгляд о „припятской прародине славян“ не выдерживает ни лингвистической, ни археологической критики. А между тем только эта концепция да порожденное той же немецкой школой гиперкритическое отношение к народной исторической традиции послужили поводом к забвению текста Нестора.

Новейшие историко-этнографические исследования заставляют в значительной мере пересмотреть этот гиперкритицизм к устной народной историко-генеалогической традиции. С особенной яркостью выступает достоверность народных исторических преданий в подвергнутых за последние полвека детальной перекрестной критической проверке исторических сказаниях полинезийцев, давших возможность восстановить не только общие направления заселения островов Полинезии, но и их относительную и абсолютную хронологию на протяжении полутора тысячелетий¹⁵. Результаты новейших раскопок в Китае реабилитировали достоверность разделов китайских хроник, повествующих о событиях шан-иньского и чжоусского времени и почти целиком базирующихся на устной традиции, насчитывающей по меньшей мере 2 тысячелетия¹⁶ (как известно, китайское летописание восходит только к ханьскому времени). Дешифровка документов хеттских архивов позволяет говорить о возможности восстановления исторического зерна в гомеровском эпосе¹⁷.

Еще Иакинф Бичурин, а в последнее время А. Н. Бернштам установили наличие исторического ядра, восходящего к III в. до н. э., в отделенных от него полутора тысячелетиями средневековых тюркских историко-генеалогических сказаниях об Огуз-кагане¹⁸. Наконец, и русские славяне еще в конце XII в. помнили „века Трояни“ и „время Бусово“, т. е. походы императора Траяна против фракийцев-даков (отметим это себе, чтобы вернуться в дальнейшем к этой теме)¹⁹ и поражение антского вождя Боза (или Божа) готами²⁰, т. е. события II и IV вв. н. э., не отраженные летописью и жившие около тысячи лет в устной славянской традиции²¹.

Мы можем, пожалуй, и объяснить стойкость и относительную достоверность народных устных историко-генеалогических преданий. Суть дела именно в генеалогическом элементе этих сказаний, играющем значительную общественную роль в жизни позднеродового

1941, стр. 9 и сл.; Т. А. Трофимова, Кривичи, вятичи и славянские племена Поднепровья по данным антропологии, СЭ, 1946, № 1, стр. 30 и сл.; А. Д. Удадьцов, Племена Восточной Сарматии II в. н. э., СЭ, 1946, № 2, стр. 41 и сл.; его же, Основные вопросы этногенеза славян, СЭ, VI—VII, 1947, стр. 3 и сл.

¹⁵ См. Percy Smith, Hawaii, the original home of the Maori, IV ed., New Zealand, 1921; P. H. Buck (Te Rangi Hiroa), Vikings of the Sunrise, N. Y., 1938, особенно стр. 21 и сл. Ср. хронологические выводы Гейне-Гельдерна, основанные на сравнительном изучении памятников искусства Океании и В. Азии, „Revue des Arts Asiatiques“, т. XI, № 10, 1937, стр. 177 и сл.

¹⁶ H. G. Creeb, Studies of early Chinese culture, L., 1938.

¹⁷ E. Forrer, Die Griechen in Boghazköi-Texten, „Orient. Lit. Zeitung“, 27, 1924, стр. 113 и сл.; его же, Vorhomerische Griechen in den Keilinschrifttexten von Boghazköi, Mitteilungen der Deutsch. Orient. Gesellschaft, 63, 1934, стр. 1 и сл.

¹⁸ Иакинф, Собр. свед., I (1851), стр. 26; А. Н. Бернштам, СЭ, 1935, № 6, стр. 37 и сл.; ср. нашу статью в СЭ, 1947, № 3, стр. 78 и сл.

¹⁹ Н. С. Державин, „Троян“ в „Слове о полку Игореве“, „Сборник статей и исследований в области славянской филологии“, Л., 1941.

²⁰ Идентификацию см. А. А. Шахматов, Древнейшие судьбы русского племени, Пггр., 1919, стр. 10, прим. 1.

²¹ Автор „Слова“, конечно, не читал Иордана, единственный наш литературный источник, повествующий о последнем из этих событий.

общества, когда генеалогия становится важнейшим регулятором браков и вместе с тем отношения генеалогического старшинства получают огромное значение в повседневных взаимоотношениях между племенами, родами и их подразделениями. Правда, последнее влечет за собой и стремление к созданию фальсифицированных генеалогий, но, с одной стороны, возможность фальсификации ограничивается неумолимой критикой общественного мнения, с другой,— чтобы быть признанной, фальсификация должна неизбежно приспособляться к общепринятой генеалогической концепции. Конечно, в процессе своего бытования генеалогия с неизбежностью обрывает мифологическими мотивами, переживает разнообразные деформации, обусловленные общими закономерностями развития фольклорной традиции, однако при условии тщательной исторической критики она должна рассматриваться как ценнейший исторический документ, нередко проносащий через тысячелетия память о никак не отмеченных письменными памятниками событиях.

Появление письменности влечет за собой резкое изменение в общественной роли устной историко-генеалогической традиции. Она перестает быть первостепенной общественной значимости документом, отесняясь появляющимися хрониками и писаными генеалогиями на второй план, не говоря уже о том, что распад родоплеменных связей вырывает из-под нее самое породившую ее почву. Незафиксированные своевременно в литературных памятниках историко-генеалогические сказания сохраняют характер только фольклорных, т. е. устно-литературных фактов, и целиком подпадают под действие законов развития фольклора, быстро утрачивая первоначально присущие им элементы подлинного историзма. Поэтому, чем раньше зафиксировано письменностью устное историко-генеалогическое предание, тем больше шансов рассмотреть за ним его действительное историческое ядро. В данном случае мы имеем дело со сказанием, зафиксированным на самой заре славянской письменности, следовательно, в наиболее благоприятных для нашей задачи условиях.

Мы имеем в новейшей литературе в основном две гипотезы, пытающиеся определить „волохов“ дунайской легенды Нестора. Гильфердинг²² (как и ряд других авторов) видит в них римлян и находит в рассказе Нестора отголосок завоевания Траяном Дакии. Эту точку зрения разделяет и В. О. Ключевский²³. Шахматов еще более сближает время летописца и время описываемых им событий, видя в „волохах“ не более и не менее как франкские войска Карла Великого²⁴. Однако обе эти точки зрения нам представляются совершенно несостоятельными. Русские и славяне вообще никогда не называли римлян или тем более германцев, resp. франков, „волохами“.

В этнографии летописца достаточно четко проводится грань между „волохами“ и „волхъвой“, с одной стороны, и римлянами и франками („фрягами“), с другой,— причем „волхъва“ локализуется где-то на крайнем западе Европы, между англичанами („агняне“), галисийцами („галичане“) и римлянами, т. е. на кельтском западе.

Никаких иных, вне летописного текста лежащих доказательств в пользу идентификации „волохи“=римляне или „волохи“=франки нет.

На деле термин „волохи“—„влахи“—древний и широко распространенный этноним кельтского мира наряду с именами „галл“—„гэл“ (галлы, гэлы, галисийцы, на востоке галаты) и „брит“—„брет“ (бритты,

²² А. Гильфердинг, История балтийских славян, I, М., 1855, стр. 33—34.

²³ В. О. Ключевский, Курс русской истории, изд. V, I, стр. 121.

²⁴ А. А. Шахматов, Повесть временных лет и ее источники, ТОДРЛ, IV, 1940, стр. 29.

бретонцы, на востоке бритолоаги), являющийся одним из главных кельтских племенных названий, доныне живущих в именах Уэльса, Корнуэльса, народности валлонов²⁵.

Историческое зерно сказания Нестора должно быть, следовательно, возведено ко времени, когда действительно имело место широкое завоевательное движение кельтских племен в дунайскую область, „где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска“,—а эти события, по единогласному свидетельству письменных и археологических памятников, падают на время, близкое к IV в. до н. э. (когда крайние восточные аванпосты кельтов прорываются в Грецию и в Малую Азию, а южные осаждают Рим). Так именно и смотрел на вопрос „отец современного славяноведения“ П. И. Шафарик, видевший в летописном сказании отголосок народных воспоминаний о вторжении кельтов в район древних поселений славян в Иллирике, „в нынешней Венгрии, Паннонии, Корутании (Каринтии)“²⁶. Еще раньше это отождествление сделал Добровский²⁷.

Характерно, что польский летописец XIII в. Кадлубек не только передает перекликающееся с несторовым предание о нашествии „влахов“ на обитающих к югу от Карпат славян, но прямо отождествляет „влахов“ с галлами приводимого им рассказа Трога Помпея о нашествии галлов на Италию и Грецию²⁸.

Если движение кельтов в бассейн Дуная около IV в. до н. э. (а может быть, как мы увидим ниже, и несколько раньше) прочно зафиксировано письменными памятниками античности, то вопрос о судьбе коренного населения этой области — тех, кто скрывается под „нарцами“ („еже суть Словене“) Нестора, непосредственно в этих памятниках не отражен. Поэтому неизбежно обращение к другому кругу источников — к источникам археологическим, до сих пор под этим углом зрения не рассматривавшимся.

II. Галлыштат и латен

Период IX — VI вв. до н. э. в истории Центральной Европы связан с расцветом блестящей цивилизации раннежелезного века, известной под именем галлыштатской. Плужное земледелие, развитая металлургия бронзы и железа, сильное развитие добывающей промышленности (классический памятник этой культуры, по имени которого она названа, связан с древними соляными копиями) и обмена, великолепная керамика, бронзовые украшения, замечательное оружие — шлемы, копья, мечи, кинжалы характерных форм, конница и колесницы в военном деле — все это вместе взятое бесспорно свидетельствует о развитии в древнейших галлыштатских центрах первых этапов примитивно-рабовладельческого строя или во всяком случае самого последнего этапа военной демократии. Представляя собой результат органического развития древних местных племен, галлыштатская культура складывается вместе с тем под несомненными влияниями более древних центров средиземноморской цивилизации — Италии и Балкан, с одной стороны, и Кавказа, с другой. В последнем случае передаточ-

²⁵ Ср. германские названия для кельтов: Walh, Wēalh, Wālsche, англ. Welsh см. Шафарик, Славянские древности, т. I, кн. II, М., 1837, стр. 99. Предположение о заимствовании этого термина славянами у германцев (готов, через гипотетическую „готскую“ форму Walhoz) ни на чем не основано. На итальянцев этот термин несомненно перешел в некоторых славянских языках с исторических „волохов“ — дунайских романцев; см. ниже, гл. V.

²⁶ П. И. Шафарик, Славянские древности, т. I, кн. I, стр. 113 и, особенно кн. II, стр. 79 и сл., где сказание Нестора подвергается детальному анализу.

²⁷ „Wiener Jahrbücher d. Literatur“, 1827, Bd. 37, стр. 13—14. Цит. по Шафарику, т. I, кн. II, стр. 103.

²⁸ Шафарик, Славянские древности, т. I, кн. II, стр. 104—105.

ным звеном, по мнению Талльгрена²⁹, могли быть киммерийцы, культура которых, если принять идентификацию В. А. Городцова, действительно обнаруживает черты сходства как с классическим галльштатом, так и с Кавказом³⁰.

Основной очаг галльштатской культуры, где она появляется раньше всего и достигает наибольшего развития, лежит в районе Динарских Альп и среднего Дуная, охватывая две важнейшие географические провинции галльштата по классификации Гернеса³¹ и Дешелетта³²: первую, „юго-западную“ или „адриатическую“, включающую Боснию, Хорватию, Карниолию, южные Каринтию и Штирию, и вторую, „центральную“ или „дунайскую“, включающую северную часть Восточных Альп, северные Каринтию и Штирию, Австрию, южную часть Чехии и западную Венгрию. Более поздними и менее типичными являются третья и четвертая провинции упомянутой классификации — „северо-восточная“ или „Эльбо-Одерская“, включающая Верхний Палатинат, северную Чехию, Силезию и Познань, где галльштатские влияния накладываются на традиции древней лужицкой культуры, и „западная“ или „Рейнско-Ронская“, охватывающая юго-западную Германию, северную Швейцарию и восточную Францию. Дешелетт и Гернес пытаются видеть в первой группе памятники культуры иллирийцев, во второй и четвертой — кельтов, в третьей — германцев. О. Менгин³³ считает принадлежащими иллирийцам все три первые группы, исключая лишь четвертую, Рейнско-Ронскую, которую он связывает с кельтами. Своими историческими корнями галльштат бесспорно уходит в дунайский бронзовый век, обнаруживая тесные связи с унетичкой и раннелужицкой культурой Австрии, Чехословакии и междуречья Эльбы и Вислы, которые польские археологи, как известно, считают древнеславянскими, а немецкие приписывают тем же иллирийцам³⁴.

Этнографическое понятие „иллирийцы“ является одним из наиболее темных и, по существу, нерасшифрованных. Небольшое количество личных и географических имен, отрывочные, плохо прочитанные надписи адриатических венетов, албанский язык, не без колебаний рассматриваемый частью исследователей как потомок языков иллирийских, и, наконец, указания древних о тесной связи языков иллирийцев и фракийцев (причем о последних мы знаем не намного больше, чем о первых) — вот и все, чем располагает в этом отношении наука.

Существенными в этой связи являются сохраненные нам источниками этнонимы иллирийцев. Это, прежде всего, имя венетов (энетов, генетов) северной Адриатики — имя, поразительное совпадение которого с первым достоверным наименованием славян давно привлекло внимание исследователей. Затем это — название иллирийской области Норика, восходящее к этнониму нор или нур, несомненно ассоциирующемуся с именем невров Геродота и нуров, оставивших свой след в топонимике „Нурской земли“, и с легендарным именем древнейших славян у Нестора — „нарци, еже суть Словене“. Уже Шафарик отметил ряд звучащих по-славянски топонимических терминов в иллирийской Паннонии начала нашей эры (т. е. за полтысячелетия

²⁹ A. Tallgren, *La Pontide prescythique*, ESA, II, 1926.

³⁰ В. А. Городцов, К вопросу о киммерийской культуре, ТСА, II, 1928, стр. 46 и сл.

³¹ Hoerness, *Die Hallstattperiode*, „Archiv für Anthropologie“, 1905, стр. 278; его же, *Kultur der Urzeit*, III, Eisenzeit, 1912, стр. 54.

³² J. Déchelette, *Manuel d'Archéologie Préhistorique, Celtique et Gallo-Romaine*, II, 1913, стр. 589.

³³ O. Mengin, *Urgeschichte Niederoesterreichs*, Wien, 1921; его же, *Einführung in die Urgeschichte Boemens und Moerens*, 1926.

³⁴ Обзор проблемы см. у В. И. Равдоникаса, СГАИМК, 1932, № 3—4, стр. 21 и сл.

до предполагаемого прихода сюда славян), из которых особенно убедительны название озера Pêlso или Pleso (у Плиния ошибочно Peiso, у позднейших латинских авторов Pelso, Pelsois, Pelissa)³⁵, города Ziernae на современной реке Черной³⁶, города (или двух городов) Serbinum (Σερβινον) Птолемея, Serbetium, Servitium Певтинегровых таблиц³⁷.

В упоминаемом Гекатеем, Геродотом и позднейшими источниками имени нижнедунайского племени кровызов (Κροῦζοι) Шафарик видит параллель к историческим кривичам³⁸.

Шафарик, однако, отказывается видеть в иллирийцах славян, полагая, что в географических пределах „прежнего Иллирика“ могли наряду с собственно иллирийцами „обитать ветви славянского племни“³⁹. Препятствием на пути к идентификации иллирийцев и славян он считает то, что „древние не только иллирийцев, но и всех прочих, численными к иллирийцам народов, почитали одноплеменными с фракийцами, а потому нет места сродству иллирян со славянами“⁴⁰.

Оговорившись уже сейчас, что после новейших исследований академика Н. С. Державина о славяно-фракийских и славяно-албанских связях⁴¹, вопрос об иллиро-славянских отношениях должен встать в существенно иной плоскости, чем во времена Шафарика, мы оставим за собой право вернуться к этому вопросу в дальнейшем. Сейчас ограничимся констатацией того основного положения, что накануне тех событий, о которых повествует Нестор и которые освещены Шафариком как движение кельтов в бассейн среднего Дуная, эта область является центральным ядром „иллирийской“ галлыштатской цивилизации. В V—IV вв. положение резко меняется. В бассейне Дуная — в Австрии, Чехии, Венгрии — получает широкое распространение так называемая латенская культура, влияния которой прослеживаются также на север и восток — в Эльбо-Одерский бассейн и в бассейн нижнего Дуная. Центр распространения этой культуры лежит на территории Франции, откуда она проникает в упомянутые выше области, с одной стороны, и на запад в Испанию, и на север — в Англию, с другой. В том, что создателями и первоначальными носителями этой культуры являются кельтские народы, ни у кого сейчас нет сомнения⁴².

Таким образом, помимо исторических свидетельств о восточной экспансии кельтов в IV в., глубоко проникающих в область „иллирийского“ Подунавья, от боев в Баварии и Богемии, сохранивших имя кельтских завоевателей до наших дней, до бритологов в устьях Дуная, археологический материал дает нам убедительное подтверждение этой картины, рисуемой историческими памятниками: внедрение „кельтского“ латена в центральную, дунайскую область классического „иллирийского“ галлыштата и последующее распространение латенских влияний на всю область предполагаемого расселения „иллирийских“ племен.

Судя по тому, что дает нам исторический и археологический материал, переход от галлыштата к латену в лежащих за пределами коренных кельтских территорий областях не носил характера органи-

³⁵ Шафарик, Славянские древности, т. I, кн. II, стр. 117.

³⁶ Там же, стр. 118.

³⁷ Там же, стр. 120.

³⁸ Там же, стр. 132. — Томашек (Die Alten Thraker, I, Wien, 1893, стр. 97) относит кровызов к фракийским племенам.

³⁹ Шафарик, Славянские древности, I, кн. II, стр. 136—137.

⁴⁰ Там же, стр. 137.

⁴¹ Акад. Н. С. Державин, История Болгарии, I; его же, Албановедение и проблема происхождения южных славян, СЭ, III, 1940, стр. 185 и сл.

⁴² См. G. Poisson, Le peuplement de l'Europe, Paris, 1939, стр. 332 и сл.; А. В. Арциховский, Введение в археологию, Изд. 3, М., 1947, стр. 107—112.

ческого прогрессивного развития. Кельтское вторжение было „нашествием варваров“, стоявших на первых порах на более низкой ступени развития, чем народы центральной области галльштатской культуры. Кельтские военные группировки, вторгаясь в „иллирийские“, италийские области и в Малую Азию, сохраняли свою обособленность и примитивную военно-племенную организацию, ярко выступающую в хорошо известной структуре галатского „государства“ в Малой Азии.

Археологический материал вместе с тем не дает права говорить о массовой смене населения в „иллирийских“ областях, сделавшихся жертвой нашествия кельтских варваров. Галльштатские и более древние лужицкие и унетичские традиции и традиции дунайского бронзового века продолжают жить в этих областях в латенскую эпоху, явно демонстрируя непрерывность местной этнической традиции. Кельтские завоеватели продолжают существовать (как это мы видим в лучше известной истории галатов Малой Азии) до римского завоевания Подунавья бок о бок с „иллирийскими“ и „фракийскими“ аборигенами до тех пор, пока они сохраняют свою военную организацию, дающую им преимущество в отношениях с местным населением.

Таким образом, если нельзя говорить о массовом поголовном „исходе“ „иллирийских“ галльштатцев из бассейна Дуная, то бесспорно, что кельтско-латенское вторжение носило для них характер огромной общественной катастрофы, глубоко врезавшейся в память народа и, вероятно, сопровождавшейся значительной эмиграцией отдельных групп дунайского населения в области, лежавшие за пределами сферы кельтской экспансии и заселенные родственными дунайским „иллирийским“ народам племенами северной и восточной периферии галльштата, и далее к востоку, в область распространения киммерийской и скифской культур.

Тот факт, что славянская народная традиция донесла память об этих событиях до времен Нестора, является бесспорным доказательством того, что „иллирийцы“ центрального дунайского ядра галльштатской цивилизации были в числе основных предков славян, как и „фракийцы“ Дакии, о завоевании которых Траян помнили на Руси еще в XII в.

Тит Ливий⁴³ приводит кельтские народные предания о начале восточной экспансии кельтов. По его сведениям, еще во времена Тарквиния Приска, т. е. около 600 г. до н. э., часть галлов двинулась на восток, в область „Герцинского леса“, к верховьям Дуная. С. Рейнак, к которому присоединились Дойтэн и Дешелетт⁴⁴, признал этот рассказ невероятным. Однако сопоставление некоторых дат заставляет нас задуматься над вопросом, нет ли здесь того же гиперкритицизма, который был проявлен историками славян в применении к рассказу Нестора. Напомню, что Геродот в рассказе о неврах, связь имени которых с именем „иллирийских Норов“ (нуров), давших имя Норик, отмечена неоднократно, сообщает о них, что за сто лет до похода Дария против европейских скифов (513 г. до н. э.) они покинули свою родину из-за нашествия змей, пришедших к ним из северных пустынь, и переселились в область, обычно локализуемую в верховьях Днестра и Буга, к родственным им будинам⁴⁵.

Давно принято всеми исследователями, что под фантастическим сказанием о „змеях“ надо видеть рассказ о действительном вторжении в древние земли невров враждебных племен, тотемически ассоциируе-

⁴³ Тит Ливий, V, 34; ср. Л. К. Тацит, Германия, 28.

⁴⁴ L. Déchelette, Указ. соч., II, стр. 573.

⁴⁵ Геродот, IV, 105.—Локализацию см. Е. Н. Minns, Scythian and Greeks, Cambridge, 1913, стр. 102, а также карта I.

мых со змеями⁴⁶. Если это так, то совпадение дат Тита Ливия (ок. 600 г. до н. э.) и Геродота (ок. 613 г. до н. э.) и имен неуров и Норика, по своему географическому положению долженствовавшего стать одним из первых объектов кельтского вторжения в бассейн Дуная, заставляет сильно задуматься над тем, не лежит ли в основе обоих рассказов одно и то же событие: первое вторжение кельтов-битуригов в Иллирию и эмиграция „иллирийских“ неуров на восток, в земли родственных им будинов.

В этой связи большой интерес представляют: распространение галльштатских вещей и комплексов на правобережной Украине, в бассейне Буга и Днестра (в частности, особенно интересна керамика Немировского городища в Подолии), установленное еще А. А. Спицыным; убедительны вскрытые А. А. Потаповым (с которым недавно солидаризировался И. И. Ляпушкин) галльштатские связи черной инкрустированной керамики доскифских слоев Бельского и других городищ бассейна р. Ворсклы и более восточных районов Украины, вплоть до Харькова и Изюма; рассмотренный в последних исследованиях В. Парвана факт глубокого проникновения галльштатских элементов как в Трансильванию и Румынию, так и в Галицию и Подолию, т. е. как раз в предполагаемую область поселения геродотовых неуров. Здесь были сделаны, в частности, находки прекрасных крупных ситул италийского происхождения и полусферических котлов, свидетельствующих о непосредственных связях с районами классического дунайско-адриатического галльштата⁴⁷. Между тем, в противоположность гипотезе Шафарика о достоверности ядра сказания Нестора, его гипотеза о славянстве неуров получила общее признание в литературе. Ее разделяют почти поголовно все сколько-нибудь значительные исследователи — назовем Л. Нидерле⁴⁸, Томашека⁴⁹, Э. Миннза⁵⁰ и даже таких проводников влияния немецкой школы в русской литературе, как Ф. А. Браун⁵¹ и Ю. В. Готье⁵².

Это и не удивительно. Помимо положительных аргументов, приведенных Шафариком, нельзя не признать, что локализация геродотовых неуров совпадает с наиболее распространенной в индоевропейстике локализацией „прародины славян“, и, если не принять тезиса о „славизме“ неуров, для предков славян вообще не останется места на историко-этнографической карте Европы.

Но, в свете изложенного выше, признание „славизма“ неуров влечет за собой признание „славизма“ „иллирийских“ аборигенов Норика, признание достоверности исторического ядра сказания Нестора и пересмотра всей „иллирийской проблемы“.

⁴⁶ Шафарик, I, кн. II, стр. 28—29; W. Tomaschek, Kritik der ältesten Nachrichten über den Skytischen Norden, II; А. Д. Удальцов, СЭ, VI—VII, 1947, стр. 6.—Томашек видит в „народе змей“ восточных германцев, Браун — бастарнов, которых он считает германцами, сдвинутыми со своих мест кельтами. Именно для кельтских сказаний особенно характерен образ «дракона», resp. змеи, как этнического символа. Ср. J. A. Mac Culloch, Celtic Mythology, «Mythology of all Races», III, 1918, стр. 24—25, 47, 107—108, 130.

⁴⁷ А. А. Спицын, Скифы и Галльштаг. Сборник археологических статей, поднесенных графу А. А. Бобринскому, СПб., 1911; А. Ротаров, Inkruštierte Keramik von Belsk, ESA IV, 1929, стр. 162 сл., И. И. Ляпушкин, Археологические памятники эпохи железа в бассейне среднего течения р. Ворсклы, КСИИМК, XVII (1947), стр. 127; V. Parvan, Dacia, Cambridge, 1928, стр. 8.

⁴⁸ L. Niederle, Slovanské starožitnosti, I, стр. 266.

⁴⁹ Tomaschek, Указ. работа.

⁵⁰ E. H. Minns, Указ. раб., стр. 102—103.

⁵¹ Ф. А. Браун, Разыскания в области готто-славянских отношений, стр. 82.

⁵² Ю. В. Готье, Указ. раб., стр. 23.

Вопрос о связях славян с галлыштатом ставится не впервые. Его поднял, насколько нам известно, чешский ученый Индрих Ванкель⁵³, но его теория успеха не имела. Нельзя, однако, в этой связи обойти молчанием (помимо указанных выше данных о восточных пределах распространения галлыштатских памятников) также и ряд археолого-этнографических сигналов, заставляющих очень серьезно отнестись к вопросу о пережитках галлыштатской культуры в средневековой и современной материальной культуре славянских народов, причем не только южных, но и восточных. Б. А. Рыбаков, в частности, отметил связь некоторых религиозных сюжетов в изделиях средневекового прикладного искусства и современных народных вышивок восточных славян с религиозным искусством классического галлыштата, в первую очередь со знаменитым культовым изображением колесницы из Штреттвега в Штирии⁵⁴.

Нельзя не обратить внимание и на некоторые другие мотивы, в частности, на широкое бытование в классическом галлыштате украшений в виде соединенных протомов двух коней или парных изображений птиц, не только по содержанию, но и по форме почти тождественных с „коньками“ и „уточками“ русского и волжско-финского народного искусства.

Галлыштатские нагрудные „шумящие украшения“ обнаруживают поразительную близость в целом и в деталях с поздним археологическим и этнографическим материалом прежде всего поволжских народов⁵⁵. Раннее средневековье застает их гораздо западнее — в бассейне Оки около X—XII вв., а в VIII—IX вв. в Люцинском могильнике, на территории юго-восточной Латвии и в сходных памятниках Белоруссии и низовьев Двины; Готье именно по этому признаку приписывает их „финской культуре“⁵⁶, на этот раз без всякой оглядки на „дополнительные данные о составе населения“, которые он так придирчиво требует для определения славизма западных полей погребальных урн⁵⁷.

На деле и характер и территориальное распространение „люцинской культуры“ позволяет говорить о ее принадлежности к славяно-балтийским потомкам прибалтийских венетов и, как галлыштатские мотивы в восточнославянских металлических изделиях и русских вышивках, дают право рассматривать ее как одно из посредствующих звеньев между галлыштатом и народами Поволжья, где мы наблюдаем как бы наиболее поздний отклик галлыштатских традиций, которые могли проникнуть сюда только через славянскую среду.

В связи с „неврской“ проблемой нельзя обойти молчанием и проблему будинскую. Я думаю, что и здесь мы должны, с необходимыми оговорками, пойти за Шафариком и Нидерле⁵⁸, а не за сторонниками финнизма⁵⁹ или тем более германства (Майнерт) будинов. То, что мы знаем об этом народе из текста Геродота: указание на родство будинов с неврами, указание на большой деревянный город Гелон и его обитателей — гелонов, в диалекте будинского языка которых греки слышали что-то родственное своему собственному языку (откуда ге-

⁵³ J. Wankel, Beitrag zur Geschichte der Slaven in Europa, Olmütz, 1885.

⁵⁴ Б. А. Рыбаков, Древние элементы в русском народном творчестве, СЭ, 1948, № 1.

⁵⁵ Ср. хотя бы у Déchelette, II, стр. 654, а также L. Whatmough, The Foundations of Roman Italy, London, 1937, стр. 180 (шумящие подвески из Эсте III и, особенно, поразительно напоминающая Поволжье пиценская шумящая подвеска с „коньками“ и „уточками“, рис 72, стр. 205).

⁵⁶ Ю. В. Готье, Указ. раб., стр. 112 и сл., 138 и сл.

⁵⁷ См. ниже, прим. 81.

⁵⁸ Шафарик, I, II, стр. 9 и сл.; Niederle, Starožitnosti, I, стр. 275.

⁵⁹ Tomaschek, Указ. раб.; Minns, Указ. раб.; Готье, Указ. раб., стр. 122 и сл.

родотовская теория греческого происхождения гелонов)⁶⁰, —заставляет видеть в будинах в широком смысле этого термина северные группы протославянских племен, давших такой великолепный памятник, как Бискупинское селище в Познани⁶¹—грандиозное деревянное укрепленное „пуэбло“. Несомненно, в памятниках этого типа или в их восточных аналогах —ранне-„скифских“ городищах северной Украины⁶² нужно искать источник сказания Геродота.

Будины (связь имени которых с славянским корнем *bud*, ярко отраженным в топонимике прежде всего северо-западных районов России, Белоруссии, северо-запада Украины, Польши, Чехии, Венгрии, Луицкой области, убедительно вскрыта Шафариком и Нидерле), вероятно,—собирательное имя северных протославянских групп от верхнего Дона до Эльбы⁶³.

III. Илирийцы и славяне

Советская школа в вопросах этногенеза, основание которой было заложено блестящими работами акад. Н. Я. Марра, поставила проблему этногенеза славян в принципиально новой плоскости. Новая концепция исторического развития языков, базирующаяся на принципах материалистического понимания истории, поставив по-новому всю проблему происхождения индоевропейских языков и народов, определила новый аспект и в трактовке вопросов происхождения каждой отдельной ветви индоевропейцев. История языков и их совокупностей перестала рассматриваться в метафизическом однолинейном плане, как вызываемая всегда и повсюду одной и той же причиной —расселением носителей языка—бесконечная цепь филиаций гигантского генеалогического древа, у корня которого как бы выступают в зачаточном и обобщенном виде элементы всех будущих ответвлений.

На базе учения Марра и его последователей возникает неизмеримо более сложная и богатая картина мирового глоттогонического процесса, определяемая значением языка как важнейшего орудия жизнедеятельности общества, адекватного уровню и характеру общественного труда, структуры общества и соответствующей ступени развития мышления. Соответственно этому складывается обоснованная прочными фактическими данными концепция первоначальной разобщенности и множественности примитивных языковых систем, определяющейся ограниченными потребностями общения, в свою очередь вытекающими из хозяйственной замкнутости архаических родовых и племенных коллективов. С последующим, определяемым ростом производительных сил, расширением межплеменных связей, сложными процессами консолидации обширных союзов племен, с особенной силой выявляющи-

⁶⁰ Minns (Указ. раб., стр. 105) пишет по вопросу о языке гелонов: „Если гелоны говорили на чем-то вроде „тохарского“, грек, услышавший их числительные, мог принять их за „bastard Greek“. Решительно расходясь с Миннсом в вопросе о локализации Гелона (у устья Камы!), я считаю его предположение о языке гелонов наиболее вероятным. Напомню, что Покорный, теория которого о положении тохарского среди индоевропейских языков наиболее обоснована и убедительна, видит в тохазах „фрако-фригийских киммерийцев“ (см. Die Stellung des Tocharischen im Kreise der Indogermanischen Sprachen, „Berichte des Forsch.-Inst. für Osten u. Orient in Wien“, III, 1923, стр. 50, сл.).

⁶¹ J. Kostrzewski, Przegląd Archeologiczny, t. V, № 2—3; М. Воеводский, Остатки торфяного поселения лужской культуры в Польше, ВДИ, 1938, № 2; В. Равдоникас, История первобытной культуры, II, Л., 1948, стр. 374 и сл.

⁶² Нидерле ищет геродотов Гелон в районе Киева.

⁶³ Восточная граница будинов определяется указанием Геродота о том, что они живут в 15 днях пути (вверх по Дону) от Меотиды и в 7 днях пути (на запад) от тиссагетов (Прикамье). Так как речь здесь явно идет о водной пути по Дону — Оке — Волге, то восточные границы поселений будинов надо искать в области водораздела Дона, Десны и Оки.

мися на стадии «военной демократии» — последней ступени родового строя, для которой характерна широкая перетасовка этнических элементов в пределах обширных военно-племенных объединений, и разворачиваются бурные процессы языковой интеграции, взаимопроникновения и слияния прежде обособленных языковых групп, перекрестной инфильтрации лексических элементов и возникновения качественно новых синтаксических и морфологических структур, соответствующих новому этапу развития мышления и новым потребностям межплеменных коммуникаций. Отсюда огромная роль процессов языкового скрещения на этих этапах истории, к которым и относится формирование крупнейших языковых систем, с той или иной долей видоизменения доживших до современности.

Сделанные Н. Я. Марром блестящие открытия — установление того факта, что индоевропейские языки представляют продукт скрещения древних яфетических языков Средиземноморья (в широком смысле этого слова), а также установление им стадийального характера процесса индоевропеизации — создали предпосылки для разрешения конкретных проблем глотто- и этногенеза отдельных групп индоевропейцев. Старой постановке вопроса — от какого корня и когда „ответвился“ данный язык и народ, его носитель, где была „прародина“ этого языка и народа, и как он в дальнейшем разветвлялся в процессе расселения его носителей, пришла на смену новая постановка: на какой территории и на базе каких первобытных племенных языков, в какую эпоху и в силу каких социально-исторических условий произошло становление данного языка. Само собой разумеется, что эта постановка полностью исключает расовый подход к проблеме глотто- и этногенеза, до сих пор, несмотря на бесчисленные стыдливые оговорки, продолжающий господствовать в буржуазной лингвистике и исторической этнографии. Как правило, новые языковые общности возникают на расово разнородной основе, и в процессе многочисленных и многообразных скрещений одни и те же древние языковые группы в разных комбинациях входят в состав исторических новообразований, определяя неустойчивость и условность границ между отдельными этно-лингвистическими группами.

Соответственно этому и проблема этно- и глоттогенеза славян в советской литературе поставлена в принципиально новой плоскости: советские исследователи уже не ставят вопрос о том, какой из древних народов, скажем, из перечней Геродота, Плиния или Птолемея является „славянами“ или какая из культур неолита или бронзы является „славянской“. Вопрос стоит шире и сложнее: когда, в силу каких условий, на какой территории и на базе скрещения каких древних этнических элементов сложилось историческое славянство?

Обращаясь к фактам, мы не можем не обратить внимания на то весьма существенное обстоятельство, что уже к раннему средневековью народы фрако-иллирийской группы древних индоевропейцев фактически перестали существовать везде, на всем протяжении их действительной или предполагаемой (например районы лужицкой или унетичкой культур) территории сменившись славянами. В свою очередь, если не считать районы крайнего славянского севера, об этнической принадлежности населения которых в античную эпоху у нас нет по существу почти никаких объективных данных, вся территория раннесредневекового расселения славян окажется полностью совпадающей с древней территорией „фракийцев“ и „иллирийцев“. Исключение составляют лишь албанцы, которых одни ученые считают потомками иллирийцев, другие — фракийцев, да дунайские романцы, обычно рассматриваемые как потомки романизованных даков (на них мы особо остановимся в заключительной главе нашей статьи).

Вряд ли это обстоятельство случайно. Уже давно в литературе отмечались черты особой близости между иллирийскими и фракий-

скими языками и культурой, с одной стороны, и культурой и языком раннесредневековых славян и их близких родичей — балтийцев, с другой⁶⁴.

За последнее десятилетие проблема фрако-славянских отношений сделалась объектом специальных исследований акад. Н. С. Державина, наиболее последовательно применяющего методологию, основы которой заложил Н. Я. Марр, к языковедным и историко-культурным проблемам славистики и албановедения⁶⁵. После работ Н. С. Державина, по крайней мере в отношении языков фракийцев и древнего слоя в языке албанцев (с какой бы из двух древних групп дунайско-балканских народов их ни связывали), вряд ли могут быть серьезные сомнения в том, что в лице как древних фракийцев, так и албанцев мы имеем носителей архаических, сохранивших многие черты яфетидизма языков палеоиндоевропейской стадии, которые со всем основанием могут быть названы протославянскими. А тесная связь языков иллирийцев и фракийцев неоднократно подчеркивается античными авторами; мы помним, что именно силлогизм: иллирийцы = фракийцы, фракийцы ≠ славяне, следовательно, иллирийцы ≠ славяне, — явился для Шафарика главным аргументом против принятия гипотезы о славизме иллирийцев. Помимо чисто лингвистических соображений, в достаточной мере мобилизованных Н. С. Державиным, нельзя не привлечь еще один весьма существенный аргумент исторического порядка: трудно не обратить внимание на резко различные этнографические результаты совершенно однотипных событий в римской Галлии, Италии и Испании, с одной стороны, и на Балканах, — с другой, связанных с завоеванием этих областей варварами — германцами в первом случае и славянами — в другом. Просачивание германцев в кельтскую Галлию и завоевательные вторжения туда отдельных, иногда очень значительных групп их восходят еще к I в. до н. э. и тянутся непрерывно через последующие столетия. Массовое движение германских варваров в Галлию разворачивается уже в III—IV вв., достигая своего апогея в V в. Германские нашествия носят исключительно опустошительный характер. Вместе с тем, массовый характер приобретает поселение германцев в Галлии как „федератов“ — воинов-союзников Империи. К концу V в. Галлия, наводненная германскими варварами, превращается в совокупность полунезависимых, враждующих между собой германских королевств, сливающихся затем в единое франкское государство. Однако проходит очень немного времени, и завоеватели растворяются в среде покоренных, оставив весьма мало следов в их языке и культуре. Та же судьба постигает остготов и лангобардов в Италии, вестготов в Испании.

⁶⁴ О близких связях иллирийских с балто-славянскими см. G. Meyer, Die Stellung des Albanischen im Kreise der Indogerm. Sprachen, „Beiträge zur Kunde der Indogerm. Sprachen“, VIII, стр. 185 сл.; его же, Etimologisches Wörterbuch des Albanischen, и другие работы. Cp. S. Sergi, Arie e Italici, Torino, 1898, стр. 65 („Protoslavi o Ilirici“).

См. также И. Н. Смирнов, Очерк культурной истории южных славян, I, Казань, 1900, стр. 10. Впрочем в последнее время наблюдается тенденция противопоставить иллирийцев славянам как представителей „северных индогерманцев“ (Kossina, Mappus, 1912, стр. 183) или „южных кентум-индоевропейцев“ (E. Phillipon, Les peuples primitifs de l'Europe méridionale, Paris, 1925, стр. 88—89; см. также J. Whatham, Указ. раб., стр. 176—177, где автор пытается обосновать свои выводы на венетских надписях Италии и стремится подчеркнуть особую близость венетского языка к германскому и, наоборот, резкое отличие его от албанского. Все это базируется на нескольких словах надписей, часть которых в условиях исторического окружения венетов Италии вполне может быть заимствованной из итальянских или кельтских. Ср. также G. Roissop, Указ. раб., стр. 231—232). Научная подоплека этих тенденций, их связь с попытками обосновать „исторические права“ на славянские территории в первом случае немцев, во втором — итальянцев — более чем прозрачна.

⁶⁵ См. выше прим. 41.

Массовое движение славян из-за Дуная в пределы Восточной империи разворачивается лишь в VI в. И уже в следующем столетии весь Балканский полуостров и все владения Империи по среднему Дунаю оказываются целиком славянскими⁶⁶. Коренное население исчезает бесследно, хотя в полную противоположность тому, что происходило в Галлии и Италии, мы почти не имеем сведений о массовом истреблении или изгнании местных жителей.

Процесс слияния туземцев и завоевателей дает совершенно иные результаты, чем в западной империи. Все это может быть объяснено только при признании, что славянами стало и социально и по языку все или почти все фрако-иллирийское население Империи, социально и этнически слившись с гораздо более отсталыми пришельцами, — а это может быть только при условии предшествующей культурной и этнической близости. Мы не знаем исторических примеров такой полной этнографической трансформации в рамках по существу одного столетия, кроме тех случаев, когда речь идет лишь о перекombинации и новой форме объединения этнически и языково близко родственных элементов (такие примеры могут быть в изобилии приведены из истории, например, тюркских народов степей Восточной Европы и Средней Азии — ср. хотя бы судьбу печенегов в огузских и Половецких объединениях).

Если Рейнский Limes был (и по существу остается и по сейчас) границей между двумя резко различными, несмотря на многовековое взаимодействие, этнографическими массивами, то Дунайский Limes был лишь политической границей, рассекавшей единую этнографическую территорию.

Однако мы далеки от того, чтобы поставить знак равенства между фрако-иллирийцами и славянами. Как ни скудны наши данные о языках первых, мы все же можем утверждать, что это, хотя и близкие к славянским, но не славянские языки. Для понимания славянского глоттогенеза огромное значение имеет второй (или третий, если разделить фракийцев и иллирийцев) этнический компонент этого процесса — элемент скифский или, ввиду явной собирательности этого термина, — сакско-сарматский.

Археология и исторические свидетельства дают нам прочные основания для утверждения о глубокой инфильтрации скифских элементов в глубь фрако-иллирийского этнографического массива. Памятники собственно фракийской территории — восточной части Балканского полуострова — перенасыщены скифскими элементами. Знаменитые золотые клады из Феттерсфельде в нижней Лужице⁶⁷ (которые автор первой публикации А. Фуртвенглер относит ко времени похода Дария и ставит с ним в связь, а Э. Миннс считает одним из древнейших скифских памятников) и Фогельзанга в Силезии⁶⁸ отмечают северо-западные рубежи распространения скифских влияний (и, по всей видимости, в какой-то мере и колонизации) в глубь зоны распространения памятников северного галлыштата. Археологические данные позволили М. Ростовцеву⁶⁹ видеть границы скифской гегемонии на северо-западе около V в. до н. э. в районе Одера и Нейсы. Г. Прей-

⁶⁶ „Во всяком случае, уже к половине VII в. Балканский полуостров заселен этнически однородным населением, с решительным преобладанием славянского элемента“, — пишет византиновед Б. Т. Горьнов (Славянские поселения VI в. и их общественный строй, ВДИ, 1939, № 1, стр. 313).

⁶⁷ F ü r t w ä n g l e r, Der Goldfund von Vetersfelde, 43, Berliner Winkelmannsprogramm, 1883; „Reallexicon f. Vorgeschichte“, XIV, под словом „Fisch von Vetersfelde“, стр. 156; D é c h e l e t t e, Указ. раб., II, стр. 758—759, Е. Н. М и н н с, Указ. раб., стр. 236—239.

⁶⁸ R e i n e c k e, Der Goldring von Vogelsang, Schles. Vorzeit, VII; D é c h e l e t t e, Указ. работа; H. S e g e r e r, Die Skythen in Schlesien, Schles. Vorzeit, 1928.

⁶⁹ М. R o s t o w t z e f f, Skythen und der Bosphorus, Berlin, 1931, стр. 270.

дель⁷⁰ и Сулимирский⁷¹ прослеживают сильное влияние скифской культуры в середине I тысячелетия до н. э. на всем протяжении Германии к востоку от Эльбы и на территории Богемии.

Западная и юго-западная границы археологически прослеживаемой зоны влияния скифской культуры в Средней Европе, идущие примерно по линии Эльба—верховья Дуная и включающие большую часть Дунайского бассейна⁷², по существу в точности совпадают с западной границей ранне-средневекового расселения славян. Если мы наложим одну на другую карты галльштатской и скифской культур и сопоставим результат с картой расселения славян в VIII—X вв., то мы можем установить весьма характерную закономерность: зона взаимного перекрытия территорий галльштата и северной и восточной части сферы его влияний и зона распространения скифских памятников почти полностью перекрывают славянскую территорию раннего средневековья.

В этой связи нельзя не вспомнить гипотезу А. И. Соболевского о происхождении славянских языков⁷³. Как известно, А. И. Соболевский обратил внимание на своеобразное положение славянских языков в группировке индоевропейских по признаку судьбы древнего *s*, не тождественной с группировкой по судьбе древнего *k*, обычно кладущейся в основание классификации индоевропейских языков. Древнее *s* сохранилось в древнеиндийском, балтийских и итальянских; оно перешло в *x* ($\approx h$) в языках иранских и греческом. В славянских скрещиваются обе эти изоглоссы: в одних случаях сохраняется древнее *s*, в других оно переходит в *x*. Эта закономерность, проявляющаяся как в основах, так и в флексиях и не определяемая положением исследуемого звука в слове, наряду с анализом лексических связей и, в особенности, топонимических терминов, позволила А. И. Соболевскому прийти к выводу, что „славянский праязык“ является скрещением двух языков: языка *s*, очень близкого к балтийским, составлявшего ранее с балтийскими языками одно целое, и языка *x*, „повидимому, иранской ветви, вероятно, в своем основании одно из наречий скифского языка“⁷⁴. Автор считает, что местом начала этого скрещения было южное побережье Балтийского моря, место древнейших исторически зарегистрированных славян — венедов. Время этого скрещения он относит к III—II вв. до н. э. На основании насыщенности южной Прибалтики словами языка *x* Соболевский считает этот язык аборигенным, а язык *s* — пришлым, оставляя открытым вопрос о том, откуда пришли его носители.

Оставляя в стороне собственно исторические рассуждения Соболевского, требующие, конечно, очень серьезных коррективов, я считаю лингвистические выводы его работы весьма убедительными (за вычетом некоторых сомнительных этимологий).

Мы должны вспомнить ряд специфических особенностей балтийских языков, позволяющих говорить об их несомненных и древних

⁷⁰ H. Preidel, *Der Skythische Einfluss in Ostdeutschland und die Skythischen Funde in Böhmen, „Altchlesien“*, 5, Breslau, 1934, стр. 215 и сл.

⁷¹ T. Sulymirski, *Skythian Antiquities in Central Europe*, „The Antiquaries Journal“, XXV, 1—2, 1945.—Сулимирский, в частности, объясняет скифским вторжением падение лужицкой культуры.

⁷² Ср. M. Rostowtzeff, *The Animal Style in South Russia and China*, Princeton, 1929, стр. 22. — О скифской культуре на Дунае см. V. Parvan, *Указ. раб.*, стр. 85 и сл.; V. Gordon Childe, *The Danube in Prehistory*, Oxford, 1929, стр. 367—391; ср. также его карту X (распространение скифских памятников в бассейне Дуная).

⁷³ А. И. Соболевский, *Русско-скифские этюды*, ИОРЯС, XXVII, 1924, стр. 321 и сл. (здесь сформулированы выводы исследования).

⁷⁴ Там же, стр. 331.

связях с языками ряда южноевропейских лингвистических групп, особенно иллирийской, фрако-фригийской и итальянской. Из лексических явлений сюда относится сохранение здесь ряда особенностей южной религиозной терминологии: например, лит. *diêwas* — „бог“, др.-инд. *dyâûs*, откуда *dêvâ*, лат. *deus*, греч. *Zeos* (в славянских и иранских это слово либо перешло в сферу демонологии — др.-ир. *daiva*, совр. *dev~div*, загадочный див „Слова о полку Игореве“ = „демон“, либо сохранилось в отдаленных производных, вроде нашего у + див + ляться).

В известном сочинении польского автора XVI в. Я. Лясковского „De diis Samogitarum“⁷⁵ мы читаем о самогитском божестве *Bentis*. Это имя широко распространено в иллирийском и фрако-фригийском мире. В форме *Bindus* оно известно в культовых надписях римского времени в Бихаце в Боснии, где есть прямые указания о принадлежности этого божества иллирийцам — яподам⁷⁶. Женское божество под именем *Bendis*, ассоциирующееся с Артемидой, мы встречаем и у фракийцев (фригийское *Mendis*)⁷⁷. Фракийской Семеле — богине земли соответствует Земинела пруссов, Земина Литвы, Земме латышей⁷⁸.

Ряд любопытных совпадений в этнонимике и религии балтийцев, с одной стороны, и римлян, с другой, привлек внимание еще средневековых хронистов и, видимо, послужил источником фантастической теории о римском происхождении пруссов.

Нельзя не отметить, что в стране эстиев лежит крайний северо-восточный конец древнего янтарного пути, отмеченного на юге именем адриатических венетов, а на севере — именем венетов прибалтийских, которое обильно отложилось в восточно-балтийской топонимике. Наконец, насколько можно судить (ср. *Philippop*, Указ. раб., стр. 20, 97), судьба индоевропейского *s* была в иллирийских (как и фракийских) та же, что и в балтийских языках.

Тем не менее, я не думаю, чтобы гипотетический язык *s* полностью соответствовал древнебалтийскому. Последний несет на себе многочисленные следы сакско-иранских связей, как, впрочем, и фрако-фригийских. Можно видеть в балтийском остаточное крайнее звено цепи довольно разнообразных групп северных протославянских племен. Есть все основания полагать, что одни из них уже достаточно давно говорили на *s*-диалектах, другие на *x*-диалектах, как и в сфере религии одни сохраняли древнее, средиземноморско-индийское имя божества *diêwas ~ dyâûs*, другие восприняли ирано-фригийское *baga* — слав. *богъ*. Однако я думаю, что Соболевский прав в своей гипотезе о двух основных компонентах славянского глоттогенеза и в отнесении второго из них к скифам (т. е. лингвистически сако-сарматам). Но не скифы, а фрако-иллиро-протобалтийцы⁷⁹ были аборигенным компонентом этого процесса; „встреча“ обоих компонентов произошла раньше (повидимому, не позднее VI—V вв. до н. э.) и на гораздо более обширной территории, в сущности на всей территории ранне-средневекового славянства; процесс сако-сарматизации протославянской и ранне-славянской речи продолжался значительно дольше, вплоть до первых веков н. э., о чем свидетельствует широкое распространение специфици-

⁷⁵ *Magazin der Litauisch-Literarischen Gesellschaft*, XV, 1, 1868, стр. 82—143.

⁷⁶ *Archäologisch-epigraphische Untersuchungen zur Geschichte der römischen Provinz Dalmatien*, III, Wien, 1899, и др.

⁷⁷ *PW*, V, 269 и сл. Ср. Н. С. Державин, *История Болгарии*, I, стр. 57.

⁷⁸ А. С. Фаминцын, *Божества древних славян*, Спб., 1884, стр. 108.

⁷⁹ Термин условный, включающий совокупность родственных между собой, но различных палеоиндоевропейских лингвистических групп, крайними звеньями которых являются иллирийцы, фракийцы и протобалты. Ср. наши статьи в КСИЭ, I, 1946, стр. 12 и СЭ, VI—VII, 1947, стр. 53.

чески сарматских памятников на значительной части славянской территории. Однако это были влияния уже не на протославянскую, а на древнеславянскую этническую среду, ибо к этому времени несомненно появляются памятники, говорящие о кристаллизации, на базе сложного галлыштанско-лужицко-скифского скрещения, комплекса памятников, однородность, территориальное распространение и будущая судьба которых не оставляют сомнения в их славянском характере.

Это — „поля погребальных урн“. Занятая ими территория охватывает земли на восток от средней Эльбы, имея значительные центры в Лужицах, Северной Чехии, Моравии, Познани, Силезии, охватывает большую часть Польши, оба склона Карпат, на востоке — почти всю Украину (верхний Прут, Буг, верхний и средний Днестр), имеет центр большой интенсивности в среднем Поднепровье, спускаясь здесь ниже Запорожья, а на севере и востоке охватывая бассейны верхнего Днестра, Припяти, Десны, доходя здесь почти до Курска и Харькова⁸⁰. На севере граница „полей погребений“ может быть грубо проведена от истоков Днестра через Брест, среднюю Вислу на Берлин и далее — до пересечения с Эльбой.

Хронология этих памятников, насколько ее возможно проследить, охватывает период от первых веков до нашей эры до середины первого тысячелетия нашей эры.

Поразительное единство и устойчивость культуры населения этой обширной территории не могли не приводить в замешательство исследователей, принявших концепцию „немецкой школы“ в отношении славянской „прародины“ и восточных границ германского расселения в поздней античности. Готье по этому поводу пишет: „Предположение о едином племени, олицетворяющем культуру погребальных полей, встречает непреодолимые трудности на пути к своему признанию. Во-первых, мы не имеем никаких дополнительных данных, которые освещали бы вопрос о составе населения теперешних восточногерманских и западнославянских земель до христианской эры; во-вторых, мы знаем, что в VI—V вв. все эти области неоднократно меняли свое население. Вопрос открыт, в нем много загадочного, и при теперешнем состоянии наших знаний он не может быть разрешен в утвердительном смысле“⁸¹. Уклоняется от положительного решения вопроса и Л. Нидерле, нерешительно высказывая предположение о принадлежности относящихся ко времени до нашей эры западных полей погребений кельтам (факт, археологически недоказуемый), впоследствии вытесненным германцами.

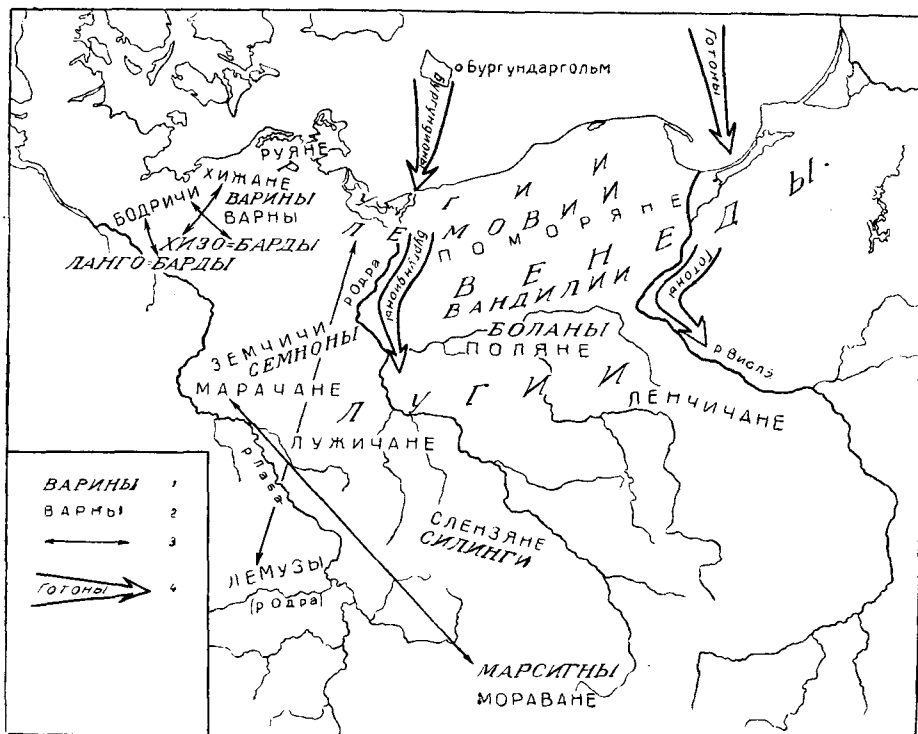
Так археологи оставляют открытым археологически достаточно ясный вопрос, отступая перед „непреодолимыми трудностями“, выражающимися не в фактах, а в признании неизбежности историко-этнографической концепции „немецкой школы“, не стеснявшейся „отсутствием дополнительных данных о составе населения“: используя нечеткость этнографической терминологии отдельных античных авторов и смело отбрасывая все, что противоречит этому, они заселили германцами эти земли, археологически не отделяемые от бесспорно славянских земель к востоку от Вислы.

Списки племен восточной „Германии“ Тацита, Плиния и Птолемея обнаруживают ряд поразительных совпадений со списками племен полабских и поморских славян VIII—XII вв. Некоторые из этих имен

⁸⁰ L. Niederle, *Slovanské starožitnosti*, I, 492 и др.; Ю. В. Готье, Указ. раб., стр. 13—14; П. Н. Третьяков, Археологические памятники восточнославянских племен, МИА, № 6, стр. 13 и сл. (см. у него карту, рис. 1, на стр. 13).

⁸¹ Ю. В. Готье, Указ. раб., стр. 16.

выступают, правда, в германском (на =ing) или итало-кельтском (на =ii) оформлении, но этот аргумент, обычно используемый для доказательства германства этих племен, явно несостоятелен для всякого непредубежденного исследователя. Не надо забывать, что все античные авторы пользовались либо кельтской, либо германской информацией (часто германской, прошедшей через кельтских переводчиков). На деле мы имеем не больше права видеть германцев в предках славянских слензян—силингах, чем славян в упоминаемых русскими летописями черноклобуцких и половецких племенах (берендичах, каепичах, токсобичах и т. п.).



Западнотславянские племена раннего средневековья и племена Висло-Эльбского междуречья начала н. э.

1—племена первых веков нашей эры; 2—западнотславянские племена раннего средневековья; 3—стрелки указывают на связь древних и раннесредневековых племен в случаях их различной локализации; 4—движение германских военных групп с островов Балтики.

Среди древних племен, имена которых продолжают жить у славян той же территории, должны быть названы лугии в Лужицкой области и восточнее, соответствующие ранне-средневековым лужичанам, ругии—в районе о. Рюгена и восточнее—предки руян⁸², силинги в Силезии—предки слензян, варини в нынешнем Мекленбурге—предки варнов. Сюда надо прибавить менее точно локализуемых вельтов Птолемея, будущих велетов-лутичей, и расположен-

⁸² Совершенно неясны мотивы, по которым А. Д. Удадьцов в своей схеме племен Восточной Европы по Птолемею не включает ругиев в число славян или „западных протославян“, как он это делает вполне убедительно в отношении лугиев-лужичан (СЭ, 1946, № 2, карта I, стр. 47). Ругийское происхождение Одоакра, участие ругиев в варварском движении в пределы Империи вместе с германцами является единственным и весьма бедным аргументом в пользу германства ругиев. Варварские орды не подбирались по „расовому“ признаку. Никому сейчас не приходит в голову считать алан германцами, хотя они играли в „германских“ движениях куда более крупную роль, чем ругии. А. Н. Соболевский (Указ. раб., стр. 315—317) решительно настаивает на славизме ругиев.

ных во времена Тацита, видимо севернее, чем в раннем средневековье, лемовиев — будущих лемузов⁸³.

Еще Браун обратил внимание на вероятную связь имени марсинов, сидевших где-то в Моравии, с именем р. Моравы (древн. *Magus*)⁸⁴. В их имени, соответственно, надо видеть германизированную форму древнего имени будущих моравян. Весьма вероятно, что архаическую форму этого древнего имени сохранили жившие в раннем средневековье на Средней Эльбе славянские марачане⁸⁵.

Эти совпадения не могли не обратить уже очень давно внимание исследователей. Однако господствующие взгляды „немецкой школы“ исторической этнографии Европы привели к созданию совершенно фантастической гипотезы о том, что якобы славянские пришельцы V—VI вв. приняли племенные имена своих „германских“ предшественников, покинувших эти места⁸⁶, — точка зрения, нелепость которой ясна всякому грамотному в этнографии человеку: заимствование племенных названий (в противоположность широким собирательным этническим терминам вроде „скифы“, „тюрки“ и т. п.) — явление вообще крайне редкое; известны отдельные факты принятия завоеванными племенными имен завоевателей, но не наоборот, а принятие пришедшим на пустое место племенем имени прежних обитателей пустой территории — исторический нонсенс, обсуждать который с ученым видом можно только при заранее принятом желании доказать недоказуемое.

Одним из важных аргументов в пользу принадлежности по крайней мере части этих племен к германцам является рассмотрение их Тацитом в составе Свевии или в связи с ней. Однако вопрос об этнической принадлежности и этническом составе свевов представляется отнюдь не простым. Как известно, целый ряд чешских и польских исследователей XIX в. — Шембера, Богуславский, Кентжинский⁸⁷ не без основания (несмотря на отдельные увлечения) поставили под сомнение германизм населения обширной территории, впоследствии выступающей как славянская и включаемой Тацитом в территорию свевов; исследователи эти, в частности, обратили внимание на несомненную взаимосвязь имен *Suevi* и *Slavi*. Было бы ошибкой идти тут во всем за цитируемыми авторами — свевская проблема сложнее, чем мыслили и они и их противники. Однако несомненно одно: 1) Тацит подчеркивает резкое отличие свевов от остальных германцев; 2) свевы, по Тациту, не включены в древнейшие германские генеалогические сказания и не входят в число трех основных ветвей германцев (ингвеонов, гермионов и истевонов), а наряду с вандилиями, гамбрийями и марсами включены лишь в явно позднейшие генеалогии; 3) Тацит подчеркивает этнографическую (по обычаям и одежде) близость свевов к эстиям, т. е. древним представителям латышско-литовской группы народов, ближайшим родичам славян; 4) отдельные

⁸³ Характерно, что лемовии жили, повидимому, к востоку от устьев Одера (слав. Одра), а раннесредневековые лемузы — на берегах левого притока Эльбы, носившего тоже имя Одра, — существенный аргумент в пользу первоначального единства этих двух групп.

⁸⁴ Браун, Разыскания..., стр. 39.

⁸⁵ Б. А. Рыбаков в своем выступлении по нашему докладу в Славяно-русском секторе Института этнографии АН СССР 7 февраля 1948 г. указал еще на несколько параллелей между именами племен приэльбской „Германии“ античных авторов и северо-западных славянских племен раннего средневековья: гелизии — голенсичи, хатты — хуттиты, диудны и дедошане и, наконец, гельвеоны и гаволяне.

⁸⁶ Ср., например, А. М. Селищев, Славянское языкознание, I, М., 1941, стр. 20.

⁸⁷ Šembera, *Zapadní slovane v praveku*, Praha, 1868; W. Bogusławski, *Dzieje słowianszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII wieku*, I—II, Poznań, 1887, 1889; W. Kętrzyński, *O słowianach, mieszkających niegdyś między Renem a Łabą, Salą i czeską granicą*, Kraków, 1899; его же, *Swewowie a Szwabowie*, Kraków, 1902.

личные имена свевов, сохраненные нам источниками, явно не германские. Так, имя первого известного вождя I в. до н. э. Ариовиста — явно фракийского типа (ср. имя современного ему фракийского вождя Бурвисты). Ариовист вместе с тем связан отношениями свойства с иллирийской аристократией Норика.

Свевский вождь начала V в., объединивший германцев, вторгнувшихся в Италию, и причинивший немало хлопот Стилихону, носит имя Rhodogast или Radagaisus, которое уже Гиббон⁸⁸ сопоставил с именем божества бодричей Радагаста — имя явно славянское. Большой интерес представляет самое имя семнонов. Их общепринятая локализация в точности совпадает с местом расселения славянского племени земчицей. Единство основы не может не броситься в глаза. Вероятнее всего видеть в древнем имени искаженное германским аффиксом имя, восходящее к имени древней польско-литовской богини земли: прусская Земинала, литовская Земина, польское Земна (Zemne) — наиболее близкие к искомой основе имени семнонов⁸⁹. Тогда понятным становится темный рассказ Тацита о мрачном культе семнонов и его роли в поддержании единства свевского союза: это культ предполагаемой прародительницы семнонов, богини земли, монополизация которого в руках семнонских вождей была одним из важных орудий их господства над окружающими племенами. Сवेфы времен Ариовиста вместе с тем — лишь пришедшее из-за Эльбы славянское ядро более широкого военно-племенного союза, в котором в период его вторжения в Галлию значительную роль играют выходцы из германских племен Рейнско-Везерского междуречья — ближайших соседей Галлии. По Цезарю, Ариовист в бою с римлянами строит свое войско „по племенам, так что все племена — гаруды, маркоманны, трибоки, вангионы, неметы, седузии, свефы — находились на равном расстоянии друг от друга“⁹⁰.

Из этих племен по крайней мере три — трибоки, неметы и вангионы — являются обитателями долины Рейна и, видимо, смешанными кельто-германскими племенами. Вряд ли можно сомневаться в германстве маркоманнов, до их движения в 8 г. до н. э. в Богемию локализовавшихся к югу от р. Майна. Таким образом, оставляя открытым вопрос об этнической принадлежности гарудов и седузиев, о которых ничего не известно, кроме имени и участия их в свевском союзе, из 7 племен, названных Цезарем, по меньшей мере 4 являются германскими или германо-кельтскими. В этом нет ничего удивительного. Все, что достоверно знает этнография и история о военно-племенных объединениях, синстадиальных со свевским или стадиально близких к нему, заставляет считать этническую смешанность таких объединений по существу законом их развития. В процессе их военной экспансии они стягивают в систему своей военной организации все, что может ее расширить и усилить, — как в форме присоединения к основному ядру разноплеменных добровольных или подневольных союзников, сохраняющих известную автономию, так и в форме прямой инкорпорации в состав своего собственного войска многочисленных молодых военнопленных из числа народов, через территорию которых лежит маршрут их победоносного движения, что может в конечном счете привести к полной этнографической трансформации народа-завоевателя. Так делали, по свидетельству китайцев, древние гунны. Так делали все сменявшие их в Центральной Азии военно-политические объединения кочевников⁹¹ вплоть до мон-

⁸⁸ E. Gibbon, *The History of the Decline and Fall of Roman Empire*, III, 309. — Цит. по оксфордской серии „The Worlds Classics“, 1906.

⁸⁹ А. Фаминцын, Указ. раб., стр. 18.

⁹⁰ „De Bello Gallico“, I, 51.

⁹¹ См. нашу статью в СЭ, 1947, № 3.

голов XIII в., инкорпорировавших в процессе своих завоеваний многочисленные тюркские элементы. Так делали уже при полном свете истории основатели завоевательных варварских государств юго-восточных банту — амазулу и амандабеле (матабеле). Пожалуй, наиболее ярким свидетельством об этнической структуре такого завоевательного объединения является свидетельство миссионера Макензи, посетившего в 1864 г. ставку царя амандабеле: „почти все пожилые мужчины, виденные им в его армии, были абазанзи, т. е. кафры, уроженцы Наталя и края зулусов; затем воины в цвете лет были из различных колен бечуанов, которых Мозиликатсе покорил в течение своего десятилетнего пребывания на территории, ныне превратившейся в Трансвааль; и, наконец, самые молодые солдаты были макалака и машоны, уроженцы водораздельной области между Лимпопо и Замбези, которая и составляет ныне королевство Матабеле“⁹².

Исходя из сказанного выше, я склонен видеть в свевском союзе результат движения на запад в начале I в. до н. э. славянских племен Эльбо-Одерского бассейна, в процессе своего наступления через заселенное уже германцами междуречье Рейна и Везера инкорпорировавших и присоединивших разнообразные германские и германокельтские элементы. После поражения римлянами и частичного отступления на восток свефы увлекают за собой часть вошедших в их состав германских племен, в том числе маркоманнов, вождю которых, Марободу, удается на рубеже нашей эры получить эфемерную гегемонию над всем свевским союзом, включавшим во времена Маробода, по Страбону⁹³, маркоманнов, лугиев, цумов, гутонов, мугилов, сибинов и свевов—семнонов.

Здесь мы опять видим наряду с германскими маркоманнами и гутонами (впидимо, готами) славянских лугиев-лужичан и самих свевов в узком смысле слова — семнонов.

Так же я склонен интерпретировать происхождение „германских“ народностей — вандалов (вандилиев) и лангобардов. Первое имя — кельто-германизированное имя венетов—вендов. Эта этимология является общепринятой—ее разделяют даже многие решительные сторонники „немецкой школы“. Однако принятие народом-завоевателем имени своих врагов — факт, как мы видели, исторически немыслимый. Закономерно обратное. Как и свевский союз, вандальский союз должен рассматриваться в своей основе как военное объединение именно славян-венетов, в процессе своего развития инкорпорировавших многочисленные германские элементы, в конечном итоге возобладавшие в его составе (личные имена вандалов V в. в противоположность свевским — чисто германские).

Аналогична была, повидимому, и судьба лангобардов. Даваемая поздними лангобардскими преданиями этимология этого имени („длиннобородые“) — явно „народная этимология“. Браун прав, видя во второй части этого имени имя племени *Bardi*, упоминаемого Павлом Дьяконом и Гельмольдом и локализуемого на нижней Эльбе, где их древний центр *Baradowick* и поныне существует близ Люнебурга, на крайнем рубеже средневекового заэльбского славянства⁹⁴. Нет никакого сомнения, что здесь мы имеем метатезис имени позднейших славянских бодричей — ближайших правобережных соседей бардов (характерно, что Страбон, впервые упоминающий лангобардов, говорит об их обитании на обоих берегах Эльбы, т. е. включая пределы территории бодричей). Что касается первой

⁹² Цит. по Э. Реклю, *Земля и люди*, VII, СПб., 1901, стр. 616.

⁹³ VII, 1, 3.

⁹⁴ Браун, *Указ. раб.*, стр. 313.

части имени Lango- оставляемой Брауном без объяснения, то я склонен видеть здесь искажение древнеславянского *lenk* → *lex* [ср. литовское название поляков ~ ляхов — *lenkas*], какими-то не вполне ясными ассоциациями связанного с лугиями-лужичанами. Гильфердинг⁹⁵ видит в обоих именах вариации близких основ со значением „луг“, „низменность“ (русск. луг, польское *łag*, *łaka*, лит. *lenke* — луг). Может быть, лангобарды соответственно — „Нижние“ или „Луговые (от лугового берега реки) Барды“? Характерно, что, как отмечает Браун⁹⁶, англо-саксонская традиция наряду с Longbeardnas знает Hea *ƿ* beardnas — может быть, древнее, осложненное каким-то неясным топографическим определителем (отголосок которого сохранился в имени северо-восточных соседей средневековых бодричей — хижан) имя правобережных бардов ~ бодричей.

Мы убеждаемся, таким образом, что германский элемент никогда до начала германского средневекового Drang nach Osten не был не только автохтонным, но хотя бы длительно оседлым на заэльбской территории. Он исторически регистрируется здесь как раз в ту эпоху, когда мы присутствуем при начале общего южного движения германских племен в сторону сказочных богатств Средиземноморья. И здесь, как и в случае с Нестором, я должен настаивать на восстановлении доверия к народным преданиям, на этот раз германским, к тому же записанным на полтысячелетия раньше славянских и рассказывающих о событиях, бывших на полтысячелетия позже тех, о которых повествует Нестор.

Все без исключения этногонические сказания германцев связывают их появление на территории континента Европы с движением с севера, из Скандинавии, с островов Балтийского моря и из Ютландии. Готское предание, переданное Иорданом, приводит и точные хронологические данные, базирующиеся на генеалогическом расчете поколений, которому, как показали многочисленные проверки на разном материале, мы можем вполне доверять. Согласно этому преданию, перемещение готов из Скандинавии к устьям Вислы произошло за пять поколений до царя Филимера, время правления которого относится исследователями ко второй половине II в. н. э., т. е. в первой половине I в. н. э. И, действительно, Цезарь ничего еще не знает о готах, впервые их регистрирует лишь Страбон (в искаженной форме „бутоны“, читай „гутоны“) в числе подданных Маробода, но никак не локализует их, и только у Тацита мы, наконец, узнаем, что они живут „за лугиями“, к югу от прибрежных племен ругиев и лемовиев. К югу от венетов (т. е. в данном случае или от вандилиев, о которых см. выше, или от тех же ругиев и лемовиев), на Висле, локализует их и Птолемей. Здесь в течение века с небольшим держится это маленькое военное объединение (основу его, по Иордану, — и мы не имеем никакого основания ему не верить — составлял экипаж трех кораблей, т. е. несколько десятков человек), постепенно усиливающееся за счет, вероятно, новых иммигрантов и инкорпорации в состав войска окружающих славян; оно ведет оставшееся никому не известным, более чем скромное существование, пока не оказывается втянутым в события маркоманнской войны и великого переселения. Данные для конструируемого немцами и нашим отечественным последователем их Ф. Брауном обширного прибалтийского готского государства I—II вв. н. э.⁹⁷ равны нулю. Небольшая военная груп-

⁹⁵ Гильфердинг, Указ раб., стр. 7.

⁹⁶ Браун, Указ. работа.

⁹⁷ „Ясно, — пишет Браун, — что земля готов обнимала восточный угол западной Пруссии, восточную Пруссию и северную Польшу, доходя на западе до Вислы, а на юге до Буга, приблизительно“ (стр. 29). И все это на основе девяти слов Птолемея (а по-русски — всего шести!), гласящих, что „за рекой Вислой ниже венедов — готоны“!

пировка, играющая ничтожную роль в этническом составе населения Повисленья, не оставившая археологических следов и бесследно исчезающая отсюда, когда перспективы грабежа увлекают ее на юг, — вот что представляет на этом этапе своей истории, да и на позднейших этапах „готская держава“.

То же, видимо, надо сказать и о западных сотоварищах готов — бургундах. Как готландцы — готы, так и островитяне Боригольма — бургунды вторгаются, на этот раз по Одру, в этнически чуждую им среду и так же быстро, с незначительными задержками, уходят из нее на юг, чтобы влиться в германское наступление на этот раз против Западной империи. Союзов племен, подобных свевскому и лангобардскому, ни готы, ни бургунды на славянской территории не создают, их корни здесь явно слишком слабы для такой роли. И те и другие выдвигаются, лишь попав в общий поток германского движения против Империи, развязанного Маркоманнской войной.

Так обстоит дело с германцами на славянской территории. Но если мы присмотримся к событиям, происходившим к западу от Эльбы, мы увидим во многом сходную картину. Гораздо более близкие ко времени событий, чем Иордан, почти современные источники единогласно выводят первых более или менее достоверных германцев, появляющихся на арене истории, — кимвров (в которых, впрочем, по всем данным, надо видеть продукт весьма сложного кельто-германо-иллирийского скрещения) и тевтонов из „Кимврского Херсонеса“ — из Ютландии, с „берегов Океана“. В известных римлянам областях междуречья верхней и средней Эльбы и Рейна — это явно недавние пришельцы, движение которых производит на население впечатление катастрофы.

Все это позволяет прийти к выводу, что до конца II в. до н. э. территория германцев ограничивалась Ютландией, Фрисландией, дельтой Рейна, и, может быть, лесными районами между нижним Рейном и Везером. На севере она охватывала южную оконечность Скандинавии и часть островов Балтийского моря⁹⁸. В основной массе, за исключением сравнительно высокообразованных кимвров Ютландии, это были крайне отсталые, прибрежные, в значительной части охотничье-рыболовные племена, поверхностно индоевропеизированные под воздействием соседних кельтов и прото-славян (название кимвры — явно иллиро-фракийского происхождения и представляет вариант имени фракийских киммерийцев)⁹⁹.

Все, что мы знаем о древних германцах как по свидетельствам античной этнографической литературы, так и из археологических данных, позволяет утверждать, что на интересующее нас время падает в этом отсталом уголке Европы бурный переход от оседлости и примитивного земледелия и рыболовства к полукочевому экстенсивному скотоводству, порождающему потребность в расширении пастбищных угодий, весьма затруднительном в суровых условиях побережий

⁹⁸ Эта территория очень не намного меньше ранне-средневековой территории расселения германских народов до завоевания немцами славянских земель за Заалем и Эльбой. В сущности, в раннем средневековье к очерченному выше ареалу надо прибавить лишь юго-западную Германию, юго-западную Англию и более северные области Скандинавии.

⁹⁹ К выводу об очень ограниченной территории расселения германцев до II в. до н. э. приходит и К. Кун (The races of Europe, N. Y., 1939, стр. 202). Однако, как мы видели, нет никаких оснований для заселения германцами „северной береговой полосы Германии от устьев Эльбы по балтийскому побережью“, как это делает Кун. О слабой степени индоевропеизации германцев и резко выраженных в германских языках чертах не индоевропейского субстрата см. в работах И. Тэйлора (Происхождение арийцев, М., 1897, стр. 231), Мейе (A. Meillet, Caractères généraux des langues germaniques, Paris, 1930, особенно стр. 17, 23 и др.), а также из новейших работ — Н. Ниберта, The rise of the Celts, London, 1934; С. Сооп, Указ раб., стр. 203.

океана и непроходимых лесов. В этом надо видеть основную причину широкого движения континентальных германских племен в конце II—I в. до н. э. на юг (прежде всего, вдоль Рейна и Везера), а также на запад и на восток. На славянской территории германцы появляются по крайней мере на столетие позднее, чем на территории Галии и Италии.

IV. Термин «славяне»

Термин „славяне“, как установлено Н. Я. Марром¹⁰⁰, взгляды которого получили развитие в трудах А. Д. Удальцова¹⁰¹, впервые зарегистрирован в V в. в западно-скифском мире в виде самоназвания восточноевропейских скифов — сколоты от основы *skol* + зубной аффикс множественности *t*, в имени славян заменяемый губным однозначным аффиксом *ʒ* → *v* ~ *b*. Как мы видели, в I в. до н. э. он зарегистрирован в Эльбо-Одерском междуречье, дойдя до нас в форме *svebi* ← *slaʒi*. Есть все основания полагать, что этот термин скифо-фракийского диалекта Поднепровья проник в „северноиллирийскую“ (венетскую) среду вместе с археологически зарегистрированным скифским влиянием первых веков до н. э., создавшим все лингвистические предпосылки для завершения славянского глоттогенеза. Как установил А. Д. Удальцов, в I—II вв. н. э. этот термин с тем же искажением в формах *svebi*, *svobeni*, *stavanoi* регистрируется и на востоке Европы. Однако вплоть до V в. н. э. бытование этого термина мало отмечается источниками, несмотря на его территориально широкое распространение. Он, видимо, остается малоизвестным, оттесняясь на второй план более локальными этническими именами, как венеты, лугии и т. д., или старыми собирательными терминами, как сарматы и германцы. Лишь в VI в. этот термин получает чрезвычайно быстрое распространение на всей территории позднейшего славянства, появляясь повсюду как *deus ex machina*, создавая впечатление какой-то гигантской этнографической катастрофы, находящейся в прямом противоречии с объективными показаниями источников, не регистрирующих, за исключением непосредственной территории восточно-римских владений, никаких существенных этнических передвижений. Для того чтобы понять этот факт, нельзя не отвлечься несколько в сторону общих проблем методологии этнонимических исследований.

Методология исследования семантики этнонимов по существу находится в самом плачевном состоянии. Постоянно приходится сталкиваться с этимологиями, при создании которых авторы совершенно не считаются со смыслом, вкладываемым ими в исследуемое имя, лишь бы удалось установить тождество звукового состава этнонима с любым оказавшимся подходящим словом того или иного языка. Одним из ярких примеров, в подлинном смысле слова „диких“ с точки зрения не столько „фонетических законов“ (под которые вся предлагаемая чепуха подгоняется по всем правилам искусства), сколько элементарного здравого смысла, являются „германские“ этимологии древних этнонимических терминов Центральной Европы, принадлежащие перу „классика“ немецкой историко-этнографической школы

¹⁰⁰ Н. Я. Марр, Книжные легенды об основании Куара в Армении и Киева на Руси, Избр. соч., стр. 63, его же, По поводу русского слова „сало“, там же, стр. 98. Позднее Марр выдвинул другую этимологию, связанную с попыткой дешифровки имени при помощи „четырех элементов“ (AB), но как и многие этимологии, базирующиеся на этом принципе, она мало убедительна.— См. Н. Я. Марр, Скифский язык, там же, стр. 196.

¹⁰¹ А. Д. Удальцов, Основные вопросы этногенеза славян, СЭ, VI—VII, стр. 6.

Муха, на которых в сущности и зиждется вся „общепринятая“ историческая география этих областей. Так, муховская „германская этимология“ имени лемовии оказывается: „слабые“, „вялые“, турцилинги — „тяжко больные“, марсинги — тоже „слабые“, бастарны — „ублюдки“, сулоны — „грязные“, „неопрятные“¹⁰². Прямо не страна, а какое-то „богоугодное заведение“.

Не говоря уже о подобных Муху (из которого его соотечественники, однако, „сделали слона“) экземплярах, но и у серьезных и добросовестных ученых мы нередко встречаемся с ничем абсолютно не оправданными словопроизводствами, показывающими, что, как правило, исследователи не отдают себе отчета в том, что этнонимика имеет свои семантические законы, отнюдь не менее важные и непреложные, чем законы фонетические, под которые, если, по методу Муха, не считаться со смыслом, можно подогнуть, что душе угодно.

Не имея возможности остановиться здесь на этом сюжете подробно¹⁰³, я должен отметить, что, как правило, собственные имена разных рангов генеалогического членения первобытной народности (род, фратрия, племя, объединение или союз племен или комплекс хотя и не связанных организационно, но осознающих свое родство племен) имеют разную семантику, причем из этих делений названия родов являются тотемическими, территориальными, иногда характеризующими внешние признаки человека, наконец, восходящими к собственным именам. Названия племен чаще всего не могут быть этимологизированы из языка, на котором говорят члены племени, и требуют палеонтологического анализа. Названия фратрий либо также, и очень часто, не имеют прямой этимологии, либо имеют в основе тотемные, топографические или цветовые признаки, причем характерна их парность („верхние“ и „нижние“, „черные“ и „белые“ и т. п.). Названия объединений или совокупностей племен очень часто имеют этимологию в живых или архаических формах данного языка. И так как объединение племен на поздних этапах родового строя связано прежде всего с военными целями („военная демократия“ Энгельса), то эти имена очень часто совпадают с названием возрастного класса молодых неженатых воинов, составляющего наиболее важную и активную силу каждого племени и их объединения. Эту закономерность нам удалось установить на тюркском материале, доказав, как нам кажется, что термин „тюрк“ имеет именно указанное первоначальное значение, не утраченное еще в самих тюркских языках¹⁰⁴. Установление К. В. Тревер той же семантики древнеиранского термина *rapa* (бывшего в этой же форме этнонимом одной из древних народностей южной Туркмении)¹⁰⁵ позволяет подойти к семантике широко распространенного в Иране и Средней Азии круга имен с этой же основой *par* (*Parsa*, *Parsua*, *Pathava*, *Parkana*, *Paretakena* и т. д.) и, по всей вероятности, и древнего скифского *Paralatai*, цепь от которого через легендарных „споров“ и „спалов“ к славянским полянам блестяще восстановил А. Д. Удальцов¹⁰⁶.

В крайне скрещенной этнической среде, каковой являлись славяне, конечно, бытовал не один термин с этим значением. Среди этих тер-

¹⁰² Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, hrsg. v. Paul u. Braune, XVII, 1892, стр. 37, 112, 116, 190 и др.

¹⁰³ Я предполагаю этому методологическому вопросу посвятить специальную работу, для которой подобралось уже не мало материалов.

¹⁰⁴ С. П. Толстов, К истории древнетюркской социальной терминологии, ВДИ, 1938, № 1.

¹⁰⁵ К. В. Тревер, Иранский термин *rapa*, ИОИФ, 1947, № 1, стр. 73 и сл.

¹⁰⁶ А. Д. Удальцов, Основные вопросы этногенеза славян, СЭ, VI—VII. Не исключено, что отсюда и наше Пълкъ и германское Folk.

минов нужно, мне представляется, искать и семантические связи слова „славяне“. На это указывает и приводимая ниже яфетически-скифская семантика его основы; „дети“, „отроки“, „молодые“¹⁰⁷. И здесь не может не броситься в глаза несомненная его близость с общеславянским словом „человек“, совершенно параллельным по звуковому составу со словацкой формой единственного числа от „словене“ — „словак“.

Начальный консонант архетипа, видимо восходящего еще к предскифской яфетической речи, можно гипотетически восстановить как придыхательный *šx (šq яфетической транскрипции), давший ряд: šk, sk, š, s, x, отражающий различную еще на яфетической почве племенную артикуляцию, откуда: „челов(ек)“, *слав(яне)*, *серб*, *храб* (р), *хлоп* (ец) (от **хлан*) — ряд, подчиненный законам частью еще яфетических, частью индоевропейских (ср. сармато-иранское г||l) и специфически славянских (s||x) звуковых соответствий. В яфетическом архетипе термина *skol*+ot~*skla*+b, наиболее адекватную форму которого Н. Я. Марр видит в мегрельском *skwa* ← **squal*+oφ ← *skol*-ор со значением „сын“ + мегр. показ. множественности — соответственно: „дети“, — параллели чему он находит и в сванском и чанском с тем же значением и, в производных образованиях, — в армянском с предполагаемым значением „молодые“, „отроки“¹⁰⁸. „Человек“ резко выпадает из системы индоевропейских терминов семантического гнезда: „человек~люди“, полностью представленного в славянском *мжжъ*, *жена*. Вхождение его в состав славянского корнеслова может быть объяснено лишь особой присущей ему семантической нагрузкой, раскрываемой его местом в приведенном выше ряде. Уже А. И. Соболевский указал на „*Сьрб*, *пасьрбъ* — пасынок, с одной стороны, и на ц.-сл. *храб-ѣръ* — витязь, герой, др.-р. *хоробѣръ*; с другой. Первые два слова родственны лат. *servare*, *servus* со значением: оберегать, охранять, сторож и, по нашему мнению, первоначально имели значения: оберегатель, человек, годный для оберегания“¹⁰⁹, в семантическом архетипе — „член возрастного класса воинов, охраняющего границы племени“. Отсюда и также отмеченный Соболевским, по связи с первым, ряд: „*слабъ*, р. *слобѣда* — свобода и *слобѣда* — поселок вне города“¹¹⁰, в семантическом архетипе — „поселок возрастного класса неженатых воинов на границе племени“, аналог зулусского или масайского „военного крааля.“

Бытуя как нарицательное имя, как социальный термин, уже с предскифской эпохи, интересующее нас слово временами фиксируется источниками как этноним для отдельных частей области его распространения: сколоты Геродота, свебы Цезаря и Тацита, суобены, ставаны, а рядом и сербы Птолемея. Но в определенный период, несомненно, хронологически близкий ко времени широкого появления этого имени на страницах писанных источников (т. е. незадолго до середины I тысячелетия н. э.), он становится вдруг собирательным названием всей совокупности славянских племен от Салы до Ильмена и до Дуная. Историческая предпосылка этой трансформации понятна: именно в эту эпоху начинается подготовленное кризисом Империи массовое военное наступление славян на восточноримские границы, в процессе которого основным носителем политического единства наступающих славянских варваров становится войско, базирующееся

¹⁰⁷ Н. Я. Марр, Термин Скиф. Избр. соч., V, стр. 23—24.

¹⁰⁸ Там же.

¹⁰⁹ Соболевский, Указ. раб., стр. 323.

¹¹⁰ Там же.

еще на традициях архаической возрастной организации ¹¹¹, но втягивающее всю народную массу родственных и союзных племен по обе стороны Limes'a. Все становятся славянами, потому что все становятся воинами.

Характерно при этом, что как этноним в собственном смысле слова, как имя отдельных славянских народностей, термин *славяне* закрепляется там, куда была направлена активность общеславянских военных объединений: на аванпостах славянства, на границах славянской территории: в Словении, Словакии, у македонских славян, у новгородских словен и в форме *серб* на берегах Заала и на западных Балканах. Так традиция первобытности продолжает жить в средние века — славяне, „прозванные именем своим“, остаются „хранителями границ“ славянства.

V. К вопросу о происхождении дунайских романцев

При исследовании происхождения романских народов бросается в глаза одно очень существенное, но не привлечшее почему-то до сих пор должного внимания обстоятельство: ареал современного распространения романских языков в точности совпадает с ареалом распространения кельто-италийских языков в раннеримский период. Единственным исключением, если не считать отдельных изолированных групп не-кельто-италийских народов в пределах самой Италии, южной Франции и Испании, со всех сторон окруженных кельтами и италиками и не имевших в условиях римского владычества перспектив самостоятельного этнического развития (этруски, лигуры, венеты, мессапы, греки в Италии, лигуры во Франции, иберы в Испании), являются балканские романцы: румыны, молдаване, аромуны. Ни в одной другой не-кельтской части Империи, где в римское время влияние римской культуры, римская колонизация — военная и городская — ничуть не уступали таковым в римской Дакии, не сложилось романских народов. Я не говорю уже о Греции и Малой Азии, где греческие культурные традиции успешно противостояли остававшейся для греков полуварварской римской культуре, или Египте и Сирии, где также римской цивилизации противостояла своя, во многих отношениях более высокая. Но и такие сильно романизированные области, как Северо-Западная Африка, тот же Норик, Паннония и Иллирия в узком смысле слова или прирейнские западногерманские области, оказались невосприимчивыми к романизму, сохранив свою древнюю речь или сменив ее иной, нероманской речью. Характерно при этом, что в континентальной Европе не сохранилось ни одного кельтского языка (бретонцы — относительно поздние эмигранты из Британии, бежавшие в Арморик от германских завоевателей в послеримское время). Все кельтские языки стали романскими.

Эта закономерность не случайна. Она, бесспорно, определяется значительной структурной и материальной близостью кельтских языков и языков италийских (соответственно — латинского), делавшей невозможным длительное состояние двуязычия, создавшегося в условиях римского владычества и неизбежно ведущего к слиянию параллельно бытующих языков с доминантой языка господствующей народности — языка государства, литературы, впоследствии церкви. В условиях резкого различия государственного литературного языка или языка церкви и народного языка они могут, теоретически рассуждая, сосуществовать бесконечно: латынь была единственным

¹¹¹ Ср. Маврикий, XI, 5: «... их молодежь, будучи легковооруженной, выбирая удобный момент, из засад нападает на наших воинов...»; ср. ВДИ, 1941, № 1, стр. 256.

литературным и церковным языком Венгрии в течение почти тысячелетия, отнюдь не приведя к превращению венгров в романцев. Романизация Туниса оказалась невозможной. Напротив, арабизация и берберов Северной Африки и населения Египта, в условиях структурной и материальной близости семитских и хамитских языков, осуществлялась сравнительно быстро, в то время как многовековое господство арабов в Иране и Средней Азии и еще более длительное господство здесь арабского языка, как языка науки и религии, не привело к арабизации населения. На Северном Кавказе, в Дагестане арабский язык был единственным литературным языком вплоть до XIX в.; крайняя раздробленность дагестанских языков, казалось бы, обуславливала особо благоприятные предпосылки для создания некоего койнэ на арабской основе, но этого не произошло.

Это заставляет задуматься над вопросом о причинах возникновения того исключения из общего процесса истории развития романских языков, который представляет история дунайских романцев. Как давно доказано, румыны, молдаване и мелкие группы балканских романцев исторически являются продуктом очень сложного и относительно позднего скрещения, в котором количественно вряд ли не ведущую роль играет славянский элемент, давший около половины корней в языке и наложивший печать на фонетику и синтаксис языков дунайских романцев. Романский элемент, давший общую окраску языка, обычно связывается здесь с ролью в этногенезе дунайских романцев романизированного дакийского населения¹¹². В свете изложенного это мало правдоподобно. Поверхностная романизация не могла предотвратить здесь того, что произошло с другим, родственным пришедшим с севера славянским племенем, населением Подунавья и Балкан.

Мне думается, что в тексте Нестора мы найдем ключ к разрешению и этого вопроса. Волохи несторова рассказа о вторжении на Дунай угров явно воспринимаются летописцем как прямые потомки тех древних волохов, которые в незапамятные времена привели в движение дунайских славян. Конечно, можно сослаться как на источник такой трактовки на ономастическое притяжение. Но остается необъяснимым само происхождение имени: о заимствовании из германского, как мы уже видели, говорить нет никаких оснований.

История нижнедунайских областей позволяет с уверенностью утверждать, что кельтский элемент здесь, как и в Галатии, сохранился в течение многих веков обособленно от местного населения. Прав, я думаю, А. Д. Удальцов¹¹³, видя вслед за Томашеком и Тихановой в основном кельтскую, или кельто-иллирийскую народность в бастарнах. Не говоря уже о единогласном свидетельстве всех ранних источников¹¹⁴, сама форма имени их *Basternae* (ср. *Arverni*, *Daleterni*) явно кельтская, как по-кельтски звучит и одно из трех известных нам бастарнских личных имен — *Clondicus*¹¹⁵.

Мы имеем, таким образом, зарегистрированное для I—II вв. н. э. наличие сохранившего свою этническую и языковую обособленность, хотя и смешавшегося в какой-то мере с окружающим фракийско-сарматским населением, кельтского этнического ядра на Нижнем Дунае. Прочное освоение римлянами территории Дакии, естественно, не могло

¹¹² Точка зрения, впервые высказанная, насколько нам известно, в работе J. Thunmann, *Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker*, Leipzig, 1774, и сейчас являющаяся господствующей. Историю вопроса см. у M. Ruffini. *Il problema della romanità nella Dacia Traiana* (Studio storico-filologico), Roma, 1941, стр. 17 и сл.

¹¹³ А. Д. Удальцов, *Племена Европейской Сарматии*, СЭ, 1946, № 2.

¹¹⁴ Анализ источников см. у М. А. Тихановой, *МИА* № 6, стр. 271—272.

¹¹⁵ Кельтскую форму этого имени вынужден признать и Браун вопреки своему упорному стремлению доказать германство бастарнов. — См. его «Разыскания...», — стр. 112, прим. 3.

не привести к романизации этих кельтских реликтов великого нашествия волохов. Напротив, движение славян встретило в их лице менее восприимчивую среду, чем в лице дакийцев, сохранивших свой древний язык, родственный славянскому. Конечно, значительная часть их, вероятно, также славянизировалась, но горные группы Трансильвании сохранили свою кельто-романскую речь, история развития которой до вторичного „нашествия волохов на славян“ в XIII—XIV вв. н. э., когда эти сравнительно немногочисленные, но воинственные горно-пастушеские группы, уже и до того сильно славянизированные, спустились в Нижнедунайскую равнину и, объединив под своей властью местные славянские племена, слились с ними, положив начало современным румынской и молдавской народностям.

Дакийский элемент, бесспорно, является количественно преобладающим древним пластом в этногенезе румынского и молдавского народов, но он вошел в их состав преимущественно через славян, дважды (в раннем средневековье в Трансильванских долинах и в XIV и в последующих веках — в долине нижнего Дуная и Днестра) влившись в их состав, дав более 40% материального состава языка, его фонетические и ряд морфологических особенностей, общих в дунайско-романских, балкано-славянских и албанском (постпозитивный член и др.). Но романский пласт дали, конечно, не римские солдаты и, по всему судя, не „романизованные даки“. Его истоки надо искать в романизации потомков тех уже крайне скрещенных, но сохранивших традиции кельтской речи¹¹⁶, групп которые выступают в начале нашей эры в лице кельто-иллиро-фрако-сарматских бастернов; певкинов, бритологов. Конечно, это не более как гипотеза. Эта проблема требует специального историко-этнографического исследования, не входившего в наши задачи, и без того достаточно широкие. Но поиски в этом направлении необходимы, ибо римско-дакийская теория также всего лишь гипотеза, исторически мало отвечающая тем общим закономерностям этно- и глоттогонического процесса, которые мы попытались охарактеризовать выше.

Заключение

Нам осталось подвести итоги. Я думаю, мы имеем полное право считать, что сказание Нестора о начале славянства может быть реабилитировано. Конечно, оно не должно восприниматься буквально. Народные этногонические сказания имеют свои законы развития, и им в большой мере присуща та восходящая к родовым генеалогиям тенденция, которая нашла свое отражение и в Библии и в этногонических концепциях индоевропейстики. Безусловно, речь не может идти о „дунайской прародине славян“, о „расселении славян с Дуная“ в такой же мере, как не может быть речи и об их расселении с Припяти, из области лужицкой культуры¹¹⁷ или с среднего Днестра¹¹⁸. Любая из этих точек зрения односторонняя в своей исключительности, хотя в каждой из них есть свое зерно истины — убедительно устанавливаемый их авторами и защитниками факт неразрывной исторической связи раннесредневековых славян с древним населением каждой из этих территорий.

¹¹⁶ Среди вероятных реликтов кельтской фонетики в дунайско-романских можно указать на *qu* → *p*, переход, одинаково характерный для значительной части кельтских и для дунайско-романских.

¹¹⁷ К этой точке зрения склоняется современная польская историческая этнография. Ср. Т. Lehn-Splawinski, *O pochodzeniu i praojczyźnie słowian*, Poznań 1946, стр. 95 и сл.

¹¹⁸ Эта точка зрения, восходящая еще к Хвойко, дает себя чувствовать и в последних работах А. Д. Удадьцова. Ср. СЭ, VI—VII, стр. 7—9.

Этногонический ареал славянства охватывает всю или почти всю территорию их раннесредневекового расселения — от Эльбы до Дона. Но сказание Нестора зафиксировало один из важных узловых моментов славянского этногонического процесса, прочно врезавшийся в память отдаленных потомков и сохраненный ими на протяжении полутора тысячелетий, — крушение одной из протославянских цивилизаций ранней античности, цивилизации галльштатско-иллирийской, под ударами кельтского нашествия и широкую эмиграцию нурско-нервских илирийских племен на север и на восток, где в скрещении с другими протославянами они стали одним из важных элементов славянского этногенеза.

Теория Шафарика и галльштато-славянская теория Ванкеля должны быть извлечены из забвения и введены на новой основе в научный оборот. Восточный классический галльштат стоит у истоков славянской культуры так же, как у ее истоков стоит блестящая западноскифская цивилизация и „северноилирийская“, в своих ранних формах являющаяся одним из источников галльштата, лужицкая культура.

Хотелось бы, чтобы наша статья привлекла внимание археологов, филологов и этнографов к проблемам галльштато-славянских и илирийско-славянских связей. То, что намечено выше, — в значительной мере первые сигналы, дающие право на постановку вопроса. Галльштатские традиции в материальной культуре средневековых и современных славян должны стать объектом таких же пристальных исследований, какими стали дако-сарматские и скифские традиции в культуре восточного славянства. Исследование остатков илирийской речи должно перестать быть монополией немецких, французских и англо-американских исследователей — индоевропеистов. Советская лингвистическая наука, вооруженная самым передовым методом должна сказать здесь свое веское слово, как сказала она его в области фракийско-славянских и скифско-славянских отношений.

Если наша статья даст толчок в этом направлении, то, как бы ни отнеслась научная критика к отдельным нашим выводам, мы будем считать свою цель достигнутой.

Т. А. ТРОФИМОВА

КРАНИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ К ЭТНОГЕНЕЗУ ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН

(Славяне раннего средневековья на территории Германии и Польши)

Первые краниологические работы, посвященные изучению западных славян, появились в 80-х гг. прошлого столетия. Вирхов, Бифель, Шуманн, Лиссауэр и Асмус посвятили свои исследования изучению древнеславянских черепов с территории Германии и частично Польши, польские ученые — Коперницкий, Талько-Гринцевич, Рутковский¹ и другие — занимались изучением славянских краниологических материалов с территории Польши. Талько-Гринцевич исследовал также ряд краниологических серий восточных славян и в 1911 г. дал сводную работу, посвященную изучению древних восточных славян².

Господствовавшая в XIX столетии кельто-славянская теория, получившая развитие во французской школе антропологов (Брока, Катрфаж, Ами, Топинар и др.) и поддержанная некоторыми польскими антропологами (Коперницкий, Талько-Гринцевич и др.), относила славян к темной короткоголовой расе, объединяя их вместе с кельтами, а также и некоторыми неиндо-европейскими народами³. Германцам же и другим «арийцам» приписывался длинноголовый светлоокрашенный антропологический тип.

Краниологические исследования древних славян, развернувшиеся в конце прошлого столетия, поколебали это представление, так как огромное большинство славянских черепов оказалось длинноголовыми. В 1881 г. Вирхов высказался за существование северной длинноголовой расы у славян наряду с южной — короткоголовой⁴. Нидерле в своей работе, посвященной происхождению славян⁵, дает исчерпывающий обзор известных в его время краниологических и антропологических материалов по славянам и приходит к заключению что «славяне и балты вместе с германцами, а вероятно, и с иными ветвями арийского племени как лингвистически, так и антропологически составляли родственную группу, которая в своем облике сохранила те признаки, которые мы нашли общими у отдельных ветвей, такие, как относительная долихокефалия с развившейся в течение времени (не первоначально) светлою комплексией». Если Шуманн⁶ и Асмус⁷, работавшие над изучением древних славян Поморья и Нижнего Полабья, и при-

¹ Ссылки на эти работы будут даны ниже.

² Ю. Д. Талько-Гринцевич, Опыт физической характеристики древних восточных славян. Статьи по славяноведению, вып. III, СПб., 1910, стр. 1—134.

³ J. Czekanowski, Wstęp do historii słowian, Lwowska Biblioteka slawistyczna, t. III, Lwow, 1927, стр. 251.

⁴ R. Virchow, Das Gräberfeld von Slaboschewo bei Mogilno, Ztschr. für Ethnologie, XIII, 1881, стр. (357) — (374).

⁵ Lubor Niederle, O původu slovanů V Praze 1896 r., стр. 101.

⁶ Schumann, Über die Beziehungen des Längenbreitenindex zum Längenhöhenindex an altslawischen Gräberschädeln, Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Berlin, 1894, стр. (330).

⁷ Asmus, Die Schädelform der altwendischen Bevölkerung Meklenburgs, Archiv f. Anthropologie, Bd. XXVII, 1902, стр. 1—32.

мыкали к Нидерле в вопросе оценки славянского антропологического типа, то польские антропологи, как например, Коперницкий⁸ и позднее Талько-Гринцевич⁹ склонны были считать «истинным» славянским типом — тип темного брахицефала.

Концепции этногенеза конца XIX — начала XX в. исходили из представления о причинной связи языка и расы, и задачей исследования ставилось установление прародины славян и основного исходного типа. Изменение этого типа с течением времени объяснялось смешением с другими, не славянскими народностями, которые поглощались славянами на путях их расселения. Необходимо, однако, отметить, что из всех упомянутых работ конца XIX в. по западным славянам только работа Нидерле носит широкий синтезирующий характер, тогда как значение остальных работ главным образом заключалось в опубликовании накопленного краниологического материала и изучении отдельных серий черепов с проведением некоторых сравнений с другими краниологическими материалами. К 1902 г. Асмус располагал уже значительным материалом по краниологии древних славян и при исследовании им «древне-вендского» населения Мекленбурга использовал краниологические данные по другим западнославянским сериям. Выводы свои он ограничил данными краниологии, придя к заключению, что древнее население Мекленбурга было смешанным, что к основному долихоцефальному, склонному к мезоцефалии, славянскому типу примешан брахицефальный низкоголовый тип неарийского (?) населения Центральной Европы.

Работа Асмуса была последней работой по изучению древнеславянского населения Германии, завершившей ряд исследований конца XIX в. В Польше работы по изучению древнеславянского населения продолжают еще в течение первого десятилетия XX в., но после синтезирующей работы Талько-Гринцевича¹⁰ надолго прекращаются. Лишь в 1927 г. появляется работа Чекановского¹¹, в которой он, используя данные языкознания, археологии, этнографии и антропологии, ставит вопрос о происхождении славян. Новых краниологических материалов в работе Чекановского не приводится. В 30-х гг. в Польше и Германии появляются новые исследования, посвященные изучению древнеславянских черепов¹². И, наконец, в 1938 г. в Германии публикуется работа И. Швидецкой¹³, посвященная расовой истории древних славян. Шведская рассматривает расовый состав всех трех групп славян: западных, южных и восточных. В работе приводятся новые краниологические данные как по материалам, исследованным лично автором, так и из новых публикаций. Эта работа наиболее полно охватывает существующие краниологические материалы по древним славянам. Последняя работа, посвященная происхождению и прародине славян, это вышедшая в 1946 г. работа польского ученого Тадеуша Лер-Сплавинского¹⁴, в которой он наряду с рассмотрением языковых, этнографических и археологических данных использует также и данные антро-

⁸ J. Kopernicki, Zbiór. Wiad. do Antr. Kraj., VII, 3—40, 1883 и в других работах.

⁹ Ю. Д. Талько-Гринцевич. Облик древних славян в связи с современным и древним физическим типом поляков, «Русский антропол. журн.», кн. 41—42, 1918; см. также его указанную выше работу.

¹⁰ Талько-Гринцевич, Опыт физической характеристики древних восточных славян.

¹¹ J. Czekanowski, Указ. раб.

¹² O. Ritter, Zur Anthropologie der Slawenzeit Schlesiens, Ostdtsh. Naturwart., IV, 1931/32, 236—249; K. Stojanowski, Typy kranologiczne Wielkopolski, «Slavia Occidentalis», XIII, 1934, 29—94; H. Busse, Altslawische Skelettreste im Potsdamer Havelland, Ztschr. f. Ethnologie, LXVI, 1934, 11—128.—Эти работы были мне недоступны, цитирую их по книге Швидецкой, указанной ниже.

¹³ Ilse Schwidetzky, Rassenkunde der Altslawen. Stuttgart, 1938 (Beiheft zu Band VII d. Ztschr. f. Rassenkunde und die gesammte Forschung am Menschen).

¹⁴ Tadeusz Lehr-Splawinski, O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian, Poznań, 1946.

пологии, основываясь главным образом на работах Чекановского и Швидецкой.

Все эти три работы (Чекановского, Швидецкой и Лер-Сплавинского) исходят из одинаковых методологических предпосылок миграционной теории. Чекановский видит прародину славян в районах Вислы¹⁵. Лер-Сплавинский — в области Одера и Вислы¹⁶; Швидецкая указывает, что зона наибольшей частоты нордических признаков тянется на севере от Заале в северную Белоруссию¹⁷. И все три автора считают, что праславяне были северного или нордического типа, т. е. белокурыми, светлоглазыми долихоцефалами. «Славянская экспансия с точки зрения антропологии была экспансией нордического типа», — так формулирует свою мысль Чекановский¹⁸. Все другие антропологические типы в составе славян объясняются этими авторами как «чуждые примеси», ассимилированные славянами при их расселении.

Как можно видеть, концепция этногенеза славян не изменилась за 40 лет со времени выхода в свет в 1896 г. работы Нидерле о происхождении славян. Для своего времени эта работа имела большое прогрессивное значение. Нидерле наиболее убедительно из всех исследователей, писавших до него, показал близость по краниологическим признакам между славянами и германцами, преобладание среди обеих групп длинноголового типа, связь славянских и германских племен с неолитическим населением Европы, а также поставил вопрос об изменчивости антропологического типа у славян в последующие периоды вплоть до современности. Нидерле, не являясь ни в коей мере расистом, отдал дань своей эпохе, борясь с концепциями немецких «нордистов» их же оружием, т. е. доказывая, что славяне в такой же степени являются «нордийцами», как и германцы. Работы Чекановского, Швидецкой и Лер-Сплавинского в своей антропологической части восходят к Нидерле, и так как методологически все эти работы в вопросах этногенеза базируются на индо-европейской лингвистике и миграционной теории, то оказывается, что концепция этногенеза славян в работах этих ученых не изменилась со времени выхода в свет труда Нидерле. Все эти авторы принимают исходное положение Нидерле о том, что древние славяне, как и другие индо-европейцы, принадлежали к северной расе и при своем расселении с какой-то определенной территории разнесли северный тип.

Нельзя не отметить с сожалением, что в работе Лер-Сплавинского можно найти прямые реминисценции немецкой расовой теории. Он пишет, что нордические элементы на территории сложения славянства соответствовали распространению культуры шнуrowой керамики, что трудно сомневаться в связи этих явлений. И дальше он отмечает, что лужицкая культура в своей главной экспансии охватывает территорию, значительно расширяющуюся в южном направлении по сравнению с позднейшей полосой пребывания нордийцев в этих местах, но дальнейшие превращения этой культуры почти полностью ограничиваются этой полосой. «Напрашивается предположение, — пишет Лер-Сплавинский, — что расовый состав этой территории не был безразличным для той культурной эволюции, которая, как мы говорили выше, была тождественна выкристаллизовыванию праславянского этнического комплекса» (разрядка наша. — Т. Т.). А вслед за приведенным положением автор старается доказать, что нордический элемент в этом комплексе играл первенствующую роль¹⁹. В советской

¹⁵ J. Czekański, Указ. раб., стр. 276 и др.

¹⁶ Lehr-Splawinski, Указ. раб., стр. 124 и др.

¹⁷ Schwidetzky, Указ. раб., стр. 66.

¹⁸ Указ. раб., стр. 276.

¹⁹ Lehr-Splawinski, Указ. раб., стр. 119.

литературе исследование Лер-Сплавинского получило оценку как более совершенная «новая попытка разрешить вопрос происхождения и прародины славян с точки зрения индоевропейской теории»²⁰. Положительные стороны труда Лер-Сплавинского автор рецензии видит в том, что славяне в этой работе не выступают как уже сложившийся этнически-языковой и культурный элемент, который формируется в длительном процессе встреч и скрещения различных этнически-языковых и культурных элементов²¹. В критической же части своей рецензии В. И. Пичета, рассматривая неверные методологические установки автора и вытекающие отсюда его ошибки исследования, почти не останавливается на антропологических выводах Лер-Сплавинского и упускает глубоко ошибочные, реакционные высказывания автора. Хотя исследование Лер-Сплавинского и направлено против немецкой школы в вопросах происхождения славян, однако в своей антропологической части исследования автор встает на позиции неприкрытого нордического расизма, перенесенного с германской на славянскую почву.

Работа Швидецкой в области анализа древнеславянского краниологического материала и выяснения связи с краниологическим типом населения эпохи ленточной керамики представляет значительный интерес, но влияние принятой автором концепции мешает ей сделать все возможные выводы из своих данных. К отдельным положениям этих работ мы вернемся ниже.

Необходимость привлечь большое количество сравнительных данных заставляет ограничиться рассмотрением краниологического состава части групп западных славян, заселявших в VIII—XIII вв. территории современных Польши и Германии, отложив для особого разбора краниологические материалы древнеславянского населения с территории Чехословакии и Австрии, а также и южных славян, при анализе которых встают новые проблемы. Охватить в короткой журнальной статье все краниологические материалы по западным славянам не представляется возможным. Некоторые краниологические данные по другим группам западных славян и смежным группам восточных славян будут привлечены для сравнения.

Проблема этногенеза славян решается при помощи комплексных исследований историками, археологами, лингвистами и этнографами. Можно надеяться, что и антропологические исследования в решении этой проблемы займут также свое место.

I

Краниологические материалы, относящиеся к различным группам западных славян с территории Германии и Польши, несмотря на кажущуюся при первом их рассмотрении морфологическую однородность, при внимательном изучении объединяются в две основные группы, занимающие две определенные географические зоны. Первая группа охватывает главным образом области, прилегающие к Балтийскому морю и смежные с ними. Это территории Мекленбурга и Померании с прилегающими к ним районами северного Бранденбурга и Западной Пруссии. В эту северную группу входят следующие серии черепов: «древне-вендское» население Мекленбурга²², славяне Померании²³, славяне с

²⁰ Рецензию В. И. Пичета на указанную выше работу Лер-Сплавинского см. «Вопросы истории», 1947, № 1, стр. 114.

²¹ Там же.

²² Asmus, Указ. раб.

²³ R. Virchow, Schädel vom Silberberg bei Wollin, Verhandlungen d. Berliner Gesellschaft f. Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte, Berlin, 1847, стр. (210)—(215); его же, Zwei Skelette vom Silberberg bei Wollin, там же, 1876, стр. (235)—(236); Schumann, Slawisches Gräberfeld mit Skeletten und Leichenbrand auf dem Silberberg bei Wollin (Pommern), там же, 1891, стр. (589)—(593); его же, Slawische

ТАБЛИЦА I

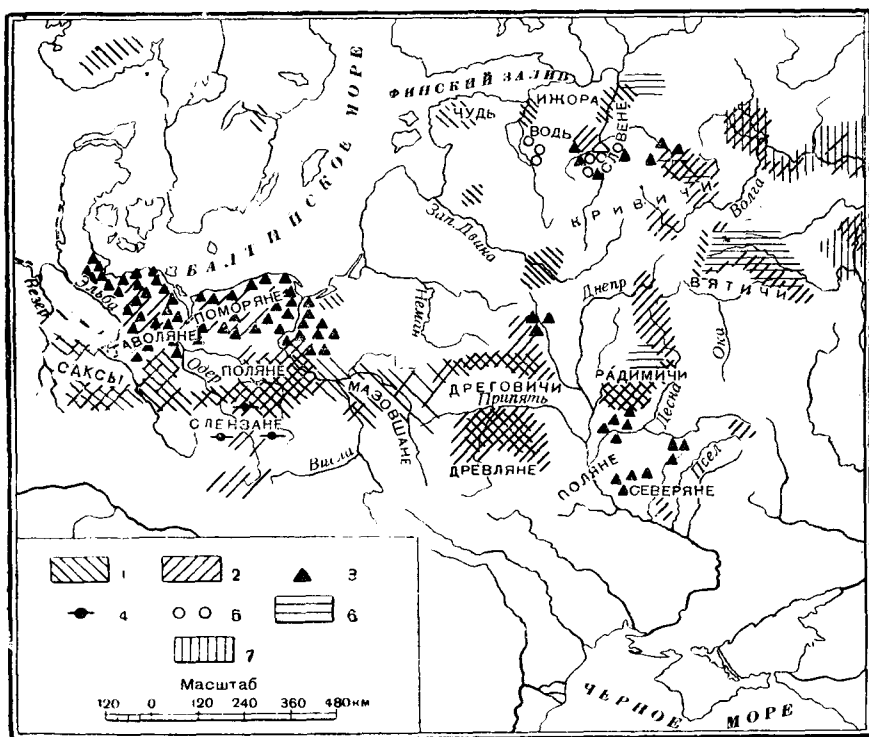
Прибалтийские серии западных славян и сравнительные данные

Местонахождение серии	Мекленбург	Померания	Бранденбург	Зап. Пруссия	Зап. Пруссия	УССР	РСФСР	РСФСР	РСФСР
Племенной состав или культура	С л а в я н е								
Автор	Асмус 1902	Вирхов Шуманн ²	Буссе 1934	Швидецкая 1938	Лиссауэр 1878	Дебец 1948	Кривичи (б. Тверская губ.) ¹	Словене (б. Тверская губ.) ¹	Словене приильменские (Косицкое)
Датировка (вв.)	IX — XII	XI ³		XI — XII	VIII — XIII	XI — XII	XI — XII	XI — XII	XI — XII
№ серии	1	2	3	4	5	7	8	9	10
Продольный диаметр	183,1(26)	186,1(10)	186,3(17)	186,2(60)	183,0(18)	183,7(23)	184,6(19)	181,2(11)	181,3(12)
Поперечный »	140,6(22)	137,6(10)	138,4(17)	139,9(60)	135,1(18)	136,7(22)	135,4(16)	136,6(11)	139,6(12)
Височный »	133,1(24)	136,7(6) ⁴		137,3(43)	139,0(14)	134,9(23)	136,2(15)	132,4(10)	136,4(9)
Наименьший лобный диаметр	97,6(26)	—	96,5(6)	96,6(57)	95,8(18)	94,8(23)	96,6(20)	96,8(8)	—
Черепной указатель	76,6(26)	74,0(10)	74,1(17)	75,2(60)	74,8(18)	74,4(21)	74,0(16)	75,5(41)	77,1(12)
Высотно-продольный указатель	72,7(24)	73,4(6)	73,8(8)	74,0(43)	76,6(14)	73,5(23)	73,6(14)	73,3(10)	75,9
Высотно-поперечный »	95,0(24)	98,5(6)	99,7(8)	98,0(43)	102,3(14)	98,7(21)	100,6(13)	96,6(10)	97,5
Лобно-поперечный »	(69,4) ⁵	—	71,7(6)	69,2(56)	(70,9)	69,4(21)	71,6(16)	70,8(8)	—
Верхняя высота лица	65,9(23)	64,5(4)	—	69,7(35)	68,4(12)	68,2(20)	66,3(12)	70,3(6)	67,8(9)
Скуловая ширина	132,2(29)	127,7(5)	—	132,2(29)	129,8(6)	130,9(14)	132,2(5)	131,3(6)	132,8(9)
Верхнелицевой указатель	50,4(17)	50,8(4)	—	52,6(29)	(52,7)	51,8(13)	49,8(5)	50,2(6)	51,1(9)
Носовой указатель	48,8(23)	45,2(4)	—	49,4(34)	50,0(9)	50,8(20)	49,4(14)	49,9(10)	49,8(8)
Орбитный »	85,5(22)	83,9(3)	82,3(6)	76,8(34)	79,6(10)	83,1(26)	79,0(13)	83,4(11)	80,3(9)

Примечания:

¹ Из бывш. Вышневолоцкого и Весьегонского уездов.² Время выпуска работ указано в тексте.³ Один череп из Gaigenberg IV в обработку не включен как плохо датированный.⁴ В измерениях Вирхова, Шуманна и Лиссауэра высота черепа измерялась по Вирхову — «aufgesichte Höhe» — размер, который можно считать превышающим на 2—3 мм, величину «Basion — Bregma», принятую в настоящее время для измерения высоты черепа. Необходимо вносить соответственные поправки в величины висотно-продольного и висотно-поперечного указателей.⁵ Указатели взятые в скобки вычислены на основании средних величин., во всех таблицах приведены средние величины только по мужским черепам.

территории Потсдамского Гавеланда (Бранденбург)²⁴ и славяне с территории Западной Пруссии²⁵ (табл. I и карта I). Вторая группа краниологических серий относится к областям, лежащим к югу от первой зоны



Карта 1. Антропологические типы славян VIII—XIII вв.: 1—долихокранный широколицый; 2—долихокранный узколицый; 3—мезокранный прибалтийский; 4—силезский; 5—брахикранный; 6—субуральный; 7—сублапоноидный

и тянущимся в широтном направлении, начиная от Саксонии²⁶, через Силезию²⁷, Познань²⁸ в Мазовию²⁹ (табл. II и карта I).

Schädel vom Galgenberg und Silberberg bei Wollin (Pommern), там же, 1891, стр. (704) — (708); его же, Slawische Skelettgräber auf dem Galgenberge von Wollin (Pommern), там же, 1894, стр. (44) — (49); его же, Ein slawisches Skelett-Gräberfeld mit älteren Urnen-Gräbern von Ramin (Pommern), там же, 1898, стр. (93) — (100).

²⁴ Н. Busse, Указ. раб.

²⁵ A. Lissauer, Grania Prussika, II, Das Gräberfeld am Lorenberg bei Kaldus, Ztschr. f. Ethnologie, Bd. X, Berlin, 1878, стр. 81—126; I. Schwidetzky, Указ. раб.—Серия из Западной Пруссии, обработанная Швидецкой, составила из заново пересмотренной и переработанной серии черепов Лиссауэра из Кальдуса, дополненной некоторыми новыми находками черепов из Западной Пруссии и из восточной части Померании (см. I. Schwidetzky, Указ. раб., стр. 9 и прим. 25).

²⁶ I. Schwidetzky, Указ. раб., стр. 9, прим. 26.—Серия славянских черепов из Саксонии составила из старого материала из Leubinger'a (W. Müller, Die Skelette des Leubinger Grabhügels, Jahresschrift f. die Vorgeschichte der sächsisch-thüringischen Länder, V. 60—77. 1906, цит. по Швидецкой) и некоторых новых находок.

²⁷ I. Schwidetzky, Указ. раб.—Швидецкая указывает, что краниологический славянский материал происходит почти исключительно из Средней Силезии и почти преимущественно из округов Бреслау и Рейхенлаха, из области слензан. Части исследованного материала касался Риттер (указ. раб., стр. 8, прим. 23).

²⁸ R. Virchow, Das Gräberfeld von Slaboschewo bei Mogilno, Verhandlungen der Berliner Gesellschaft f. Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte, Berlin, 1881, стр. (357) — (374); его же, Schädel von Ulejno, Kazmierz und Pawlowice, там же, 1882, стр. (152) — (158); J. Kopernicki, Czaszka ze Slaboszewo pow. Mogilnickim, «Zbiörn. Wiad. do Antrop. Kraj.», III, 1879, стр. 92—101; его же, Czaszki i kości z

В северной зоне выделяются своими характерными чертами две серии: крайняя западная из Мекленбурга и крайняя восточная из Кальдуса в Западной Пруссии (табл. I, серии 1 и 5). Обе серии характеризуются мезокранией (серия из Кальдуса отличается черепным указателем, стоящим на верхней границе долихокрании), в общем средними размерами основных диаметров черепа (серия из Кальдуса обладает более узким черепом, поперечный диаметр может быть отнесен к малым размерам)³⁰, невысоким и узким лицом, мезоринией (с средней шириной носового указателя). Серия из Мекленбурга отличается от западно-прусской несколько более широким черепом и лицом и меньшей высотой лица. Из описаний исследовавших эти серии авторов следует, что в обеих группах встречаются черепа с альвеолярным прогнатизмом, но в западной группе эта особенность сочетается с часто встречающимся там выпуклым носом, тогда как на востоке нос обычно описывается как прямой³¹. Серии черепов из Померании и Гавеланда очень близки к предыдущим, но отличаются несколько большей длинноголовостью, что может объясняться примесью долихокранных элементов. Сборная серия черепов из Западной Пруссии (табл. I, серия 4) также близка к предыдущим, но производит впечатление более гетерогенной. От локальной серии из Кальдуса она отличается главным образом более крупными абсолютными размерами черепов. Вирхов и Шуманн в своих описаниях черепов из Померании отмечают те же особенности в строении лица у живших здесь некогда славян, как и у древнеславянского населения Мекленбурга,—это выпуклая форма носа наряду с альвеолярным прогнатизмом. Таким образом, из рассмотрения групповых средних величин краниологических славянских серий побережья Балтийского моря устанавливается I тип—мезокранный прибалтийский с двумя локальными вариантами—нижнеполабским или западным и восточным (Кальдус) (табл. I, представительные серии 1 и 5, табл. IV). Среди остальных рассмотренных нами серий по групповым характеристикам не устанавливается какой-либо самостоятельный тип, отмечается лишь примесь каких-то долихокранных элементов.

Формы, близкие к краниологическим сериям западных славян с преобладающим прибалтийским типом, можно отметить среди восточных

trzech cmentarzysk zdobione kółkami Kabłczkowemi, «Zbiór. Wiad. do Anthropol. Kraj.», VII, 1883, стр. 3—40 (цит. по Швидецкой); K. Stojanowski, Указ. раб.—В таблицах я привожу объединенные Швидецкой данные из указанных выше работ Вирхова, Коперницкого и Стояновского по Познани. Однако в своей работе Швидецкая указывает, что данные Стояновского по нескольким славянским черепам XII в. из Kruschwitz'a в округе Strelno в отдельных признаках резко отличаются от черепов из Слабошева, но она считает, что место в ряду рас черепов из Познани от этого не меняется (см. I. Schwidetzky, Указ. раб., стр. 9 и прим. 24). При анализе черепов из Познани я также рассматриваю отдельно серию черепов из Слабошева, измеренную Вирховым (см. табл. IV настоящей работы).

²⁹ L. Rutkowski, Cmentarzyska z grobami rządowemi w Krasinie, Romatowie i Koziminach w pow. Sierpeckim i Płońskim gub. Płockiej, s'wiatowit, t. VII, Warszawa, 1907, стр. 1—21; его же, Cmentarzysko rządowe w Korzybiu w pow. Płońskim, там же, стр. 22—38.

³⁰ При характеристике размеров черепа на сериях придерживаюсь преимущественно рубрикации В. В. Бунака, приведенной в его работе: Основные морфологические типы черепа человека и их эволюция, «Русский антропол. журн.», т. 12, кн. 1—2, М., 1922. Характеристика относительных величин дана согласно классификации Мартина (R. Martin, Lehrbuch d. Anthropologie, Bd. II, Jena, 1928).

³¹ В тексте я опускаю описание глазниц, так как нельзя быть уверенным в одинаковой методике их измерения.

ТАБЛИЦА II

Южные серии западных славян и сравнительные данные

Местонахождение серии	Германия Бремен (город)	Германия Ганновер	Германия Саксония	Польша Силезия	Польша Познань	Польша Мазовия	СССР Вольный, Каменец- Подольск	СССР БССР	СССР БССР	СССР б. Моск. губ. Руз- ский и Можай- ский у.	СССР Латга- лия	Норвегия
Племенной состав или культура	Саксы и фризы	Саксы	Славяне	Славяне	Славяне (поляне?)	Славяне (Мазов- шане)	Древляне	Дрего- вичи	Кривичи запад- ные	Кривичи- вятичи (смеш. группа)	Латыши	Норвеж- цы
Автор	Гильден- мейстер 1878— 1879	Гау- шильд 1925	Швидец- кая 1938	Швидец- кая 1938	Вирхов, Копер- ниций, Стоянов- ский	Рутков- ский	Дебец 1948	Дебец 1948	1943	Трофи- мова 1946	Кнорре 1930	Скрейнер 1927
Датировка (вв.)	IX—XI	V—VII	XI—XII	XI—XII	XI—XII	XI—XII	XI—XII	XI—XII	XI—XIII	XI—XIII	IX—XII	IX—XI
№ серии	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Продольный диаметр	190,3(60)	191,7(41)	187,8(13)	187,5(28)	188,4(20)	191,1(9)	189,5(53)	188,8(37)	189,8(29)	186,8(20)	184,5(14)	194,3(26)
Поперечный »	143,0(61)	140,7(41)	140,3(13)	140,7(28)	138,6(20)	139,4(9)	139,8(52)	137,6(36)	139,4(29)	140,7(20)	137,2(12)	138,6(25)
Высотный »	134,7(50)	134,5(30)	134,7(9)	136,6(23)	136,7(7)	133,0(7)	137,2(44)	136,7(36)	135,3(27)	138,7(19)	136,0(9)	136,7(21)
Наименьший лобный диаметр	97,5(59)	98,3(39)	96,8(12)	98,3(22)	101,6(8)	97,0(8)	97,9(50)	96,0(32)	98,4(27)	96,6(18)	—	96,6(25)
Черепной указатель	75,2(60)	73,3(41)	74,9(13)	75,2(28)	73,5(20)	72,9(9)	73,9(52)	73,0(36)	73,1(29)	75,0(20)	74,1(11)	71,3(25)
Высотно-продольный указатель	70,7(30)	70,1(30)	73,0(9)	72,6(23)	73,8(7)	70,2(7)	72,5(44)	72,8(36)	71,1(27)	75,4(19)	74,0(8)	69,5(21)
»	94,2(57)	95,6(30)	96,0(9)	97,6(23)	98,8(7)	95,4(7)	99,3(40)	99,9(36)	98,1(27)	98,8(19)	—	96,3(21)
Лобно-поперечный	68,2(59)	69,9(39)	69,4(12)	70,4(22)	71,7(8)	70,5(8)	70,2(50)	70,0(32)	71,3(27)	68,8(18)	72,7(12)	69,9(24)
»	71,0(38)	70,7(27)	71,8(12)	67,4(21)	68,2(15)	71,0(1)	71,2(40)	68,9(28)	67,4(24)	69,9(15)	67,8(7)	72,8(13)
Скуловая ширина	133,2(27)	132,3(28)	133,9(11)	132,1(20)	133,6(12)	135,3(3)	134,9(40)	133,1(15)	135,6(14)	136,2(11)	139,0(4)	139,0(8)
Верхнелицевой указатель	53,2(27)	53,5(25)	53,4(11)	51,2(20)	52,1(12)	51,8(1)	53,2(37)	51,7(15)	50,4(12)	50,8(10)	48,9(4)	52,4(8)
Носовой указатель	46,5(39)	48,0(27)	49,1(12)	50,9(18)	51,3(13)	46,7(2)	49,0(44)	50,0(29)	51,6(22)	49,8(16)	52,2(8)	48,2(13)
»	81,4(38)	78,3(29)	78,9(12)	75,3(20)	79,8(8)	76,4(3)	82,7(44)	80,4(28)	78,1(24)	79,9(14)	77,9(9)	82,5(16)

славян — у полян³², в смешанной славянской группе б. Обояньского уезда б. Курской губ.³³, у словен (Весьегонский и Вышневолоцкий уезды б. Тверской губ., среди кривичей б. Тверской губ.³⁴ и среди дреговичей³⁵ (табл. I).

Среди южной группы краниологических серий представительными для другого типа являются две восточные серии — из Познани (табл. II, серия 5) и из Мазовии (табл. II, серия 6), которые характеризуются долихокранией, орто- и метриокранией при очень большом продольном и средних размерах поперечного и высотного диаметров черепа, средней высотой лица при средней ширине, с тенденцией к увеличению скулового диаметра; они мезопрозопные по указателю, с средней шириной носа (мезоринией) по указателю, с некоторой тенденцией к широконосости. Черепа этой южной группы абсолютно несколько более крупные, чем на севере. Две соседние группы славян по направлению к юго-западу от рассмотренных групп — славяне Силезии и Саксонии (карта I, табл. II, серии 4 и 3) очень близки к рассмотренным восточным группам по краниологическим данным, но отличаются от них несколько большими черепными указателями, лежащими на границе долихо- и мезокрании, за счет несколько более коротких продольных и более широких поперечных диаметров черепа. Саксонская группа славян при этом отличается также и несколько более высоким лицом. Двигаясь дальше по карте на северо-запад и выйдя за пределы расселения славян, мы обнаружим этот же краниологический тип у саксов из Андертена³⁶ в Ганновере и в смешанной группе, состоявшей из саксов и фризоров, из Бремена³⁷ (табл. II, серии 2 и 1). Этот тип известен в литературе под названием типа германских «рядовых могил». Если сравнить серию черепов саксов V и VII вв. из Ганновера с древнеславянской серией из Мазовии, то мы можем убедиться в большой их морфологической близости (табл. II, серии 2 и 6).

Если же выйти за пределы расселения западных славян к востоку, в области, занятые восточными славянами, то в Поднепровьи среди древлян, дреговичей, радимичей и полоцких кривичей³⁸ мы встретим этот же долихокранный тип с массивным относительно широким лицом и сильно выступающим носом, на генезисе которого я останавливалась в своей работе, посвященной краниологии восточных славян³⁹. Этот краниологический тип в рассматриваемую эпоху был широко распространен среди различных по языку групп Восточной Европы. Среди славян Восточной Европы его можно отметить также еще в смешанной вятичскокривичской группе б. Московской губ. (Трофимова)⁴⁰ (табл. II, серия 10), в качестве примеси у словен (Чебоксаров)⁴¹, в Латгалии X—XII вв. (Кнорре)⁴², (табл. II, серия 11), среди финских групп у чуди

³² Г. Ф. Дебеч. Палеоантропология СССР, М.—Л., 1948, а также Т. А. Трофимова, Кривичи, вятичи и славянские племена Поднепровья по данным антропологии, «Советская этнография», 1946, № 1, стр. 99.

³³ Там же, стр. 109.

³⁴ Там же, стр. 102.

³⁵ L. Sedlaczek, Dregowiczanie, Prace Kom. Anthropol. i Prehist., II, 55 str., Krakau (цит. по Швидецкой).

³⁶ M. Hauschild, Die Menschlichen Skelettfunde des Gräberfeldes von Anderten bei Hannover, Ztschr. für Morphologie u. Anthropologie, 25, 1925, стр. 221—242.

³⁷ Gildenmeister, Ein Beitrag zur Kenntnis nordwestdeutschen Schädelformen, Archiv f. Anthropologie, 11, 1878/79.

³⁸ Г. Ф. Дебеч, Указ. раб.; см. также Т. А. Трофимова, Указ. раб., стр. 98—99.

³⁹ Т. А. Трофимова, Указ. раб.

⁴⁰ Там же, стр. 118.

⁴¹ Н. Н. Чебоксаров, Ильменские поозеры. Труды Института этнографии Академии Наук СССР. Новая серия, I, М.—Л., 1947, стр. 235—268.

⁴² G. Knorre, Kraniaologische Untersuchungen an Schädeln aus Skelettgräbern Letgallens, Ztschr. f. Morphologie und Anthropologie, Bd. 2, H. 3, 1930.

(Чебоксаров) и среди ижоры (Жиров)⁴³; в последних двух группах с более высоким черепным указателем. Необходимо отметить, что массивность строения лица увеличивается к северо-востоку, что отчетливо видно, если сравнить мазовшан, полоцких кривичей, ижору и латышей по величине их скулового диаметра. Наконец, представляет большой интерес сопоставление всех рассмотренных серий с краниологической серией железного века (Скрейнер)⁴⁴ из Норвегии. Серия эта характеризуется еще большей длинноголовостью, чем все рассмотренные серии, с очень большим продольным диаметром, с высоким и очень широким лицом при мезопрозопом лицевом указателе и мезоринии (средний носовой указатель). По массивности строения лицевого скелета эта серия сближается больше всего с латышами X—XII вв. (табл. II, серии 12 и 11). Этот тип также может быть отмечен в Швеции среди носителей культуры железного века из Альвастры в провинции Эстер-Гетланд⁴⁵ и, повидимому, также в Восточной Пруссии⁴⁶.

Итак, мы можем видеть (карта 1), что начиная с Везера (саксы), через Заале и верховья Эльбы (Саксония), через верховья Одера с притоками (Силезия), через среднее течение Варты и верховья Нетце (Познань), к среднему течению Вислы (Мазовия) и дальше на восток, к среднему и верхнему течению Днепра тянется сплошной пояс долихокранный типа с массивным строением лица⁴⁷. Этот краниологический тип не локализуется только у западных славян, а, как мы показали выше, характерен также для саксов и фризгов Ганновера на западе, а на востоке встречается не только среди восточных славян Поднепровья и некоторых других восточнославянских групп, но также известен среди финских групп, (чудь, ижора) и среди летто-литовских. В некоторых группах как у западных славян, так и у восточных лицевой скелет отличается меньшей массивностью и скуловой диаметр понижается до 132—133 мм, что может объясняться, с одной стороны, смещением с другим долихокранным, но узколицим типом, и, с другой стороны, неравномерно идущим в разных группах процессом грацилизации⁴⁸. В каждом отдельном случае этот вопрос решается при учете конкретных условий. Так, например, можно думать, что все славянские серии, как восточные, так и западные, зашли дальше по пути уменьшения массивности черепа, чем средневековые норвежцы и латыши. Различия же в массивности лицевого скелета между отдельными смежными группами славян, в особенности, если по соседству имеются другие грацильные и узколицие формы, естественно, может быть объяснено влиянием смещения с более узколицими соседями. Такое решение вопроса намечено мной для славян Поднепровья⁴⁹. Из рассмотренных нами западнославянских групп южного пояса славяне Познани и Силезии отличаются несколько более узким лицом, причем познанская группа остается долихокранной, тогда как в Силезии и Саксонии отмечается повышение черепного указателя до мезокрании. Встает вопрос: во-первых, нет ли среди соседних славянских групп таких, которые характеризовались бы долихокранией, сочетающейся с узким лицом, и, во-вторых, мезокранных и не широколицых? Для разрешения

⁴³ Н. Н. Чебоксаров, Указ. раб.; Е. В. Жиров, Древние ижорские черепа, „Советская археология“, вып. 2, 1937.

⁴⁴ K. E. Schreiner, Skrifter utgitt av det Norske videnskaps-akademi i Oslo. I, Mat. Naturv. Klasse, Oslo, 11, 1927, стр. 1—32, цит. по C. S. Coon, The races of Europe, N. Y., 1939, стр. 204.

⁴⁵ G. Retzius, Crania suecica antiqua, Stocholm, 1900.

⁴⁶ R. Virchow, Die altpreussische Bevölkerung, namentlich Letten und Litauer, so wie deren Häuser, 1891. „Verh. Berl. Gesellschaft f. Anthr.“, 1891, стр. (767) — (805).

⁴⁷ И. Швидецкая эту область (от Заале в северную Белоруссию) рассматривает как зону наибольшей частоты нордических признаков (Указ. раб., стр. 66).

⁴⁸ Г. Ф. Дебец, Указ. раб., гл. V.

⁴⁹ Т. А. Трофимова, Указ. раб.

этого вопроса необходимо обратиться к краниологическим данным, относящимся к славянам Чехословакии. В Чехословакии известна небольшая, но очень характерная славянская серия из Угорской Скалицы (Uh. Scalice), долихокранная, орто- и акрокронная с высоким и очень узким лицом, лептопрозопная (узколица) по указателю, с узким и

ТАБЛИЦА III

Некоторые славянские серии Чехословакии и сравнительные данные

Страна	Чехословакия			Польша	СССР	Германия
	Богемия сборная	Словакия		Познань Слабошево	Суджа	Бавария Винцер
Местонахождение или название серии		Д. Ятов	Уг. Скалице			
Автор	Матейка 1891	Франкен- бергер 1835	Матейка 1925	Вирхов 1881	Дебец 1948	Заллер 1934
Племенная принадлежность	С л а в я н е			Славяне	Северяне	Бавары
Датировка (вв.)	VIII—XII		IX	XI—XII	XI—XII	V—VIII
№ серии	1	2	3	4	5	6
Продольный диаметр . . .	185,9(63)	185,1(44)	190,5(4)	189,8(10)	194,0(5)	190,7(23)
Поперечный » . . .	141,8(63)	140,0(44)	137,5(4)	138,7(10)	138,0(5)	138,3(23)
Высотный » . . .	138,0(44)	134,3(33)	136,2(4)	138,8(7)	138,5(4)	137,0(15)
Наименьший лобный диа- метр	93,1(62)	96,3(43)	99,5(4)	—	97,0(5)	96,6(22)
Черепной указатель . . .	76,2(63)	75,5(44)	72,2(4)	72,5(10)	71,2(5)	72,7(23)
Высотно-продольный ука- затель	74,2(44)	72,4(38)	71,3(4)	73,8(10)	70,9(4)	72,2(15)
Высотно-поперечный ука- затель	97,6(44)	95,8(38)	99,1(4)	(100,0) ¹	100,6(4)	99,0(15)
Лобно-поперечный указа- тель	69,2(62)	68,7(43)	72,5(3)	—	70,3(5)	69,8(22)
Верхняя высота лица . . .	67,8(45)	70,6(38)	73,0(3)	68,1(6)	68,0(4)	71,2(14)
Скуловой диаметр	131,0(45)	133,1(33)	130,0(3)	129,6(3)	131,6(5)	132,2(16)
Верхнелицевой указатель .	51,8(40)	53,2(32)	56,3(3)	(52,5) ¹	52,0(4)	54,4(16)
Носовой указатель	49,4(43)	50,5(35)	43,7(3)	47,3(4)	53,4(5) ²	48,0(21)
Орбитный »	83,3	79,6(39)	90,6(3)	80,1(7)	80,5(5)	82,3(18)

Примечания:

¹ Величины, взятые в скобки, вычислены на основании средних данных.

² В сборной серии северян носовой указатель 50,9(29) (см. Г. Ф. Дебец, Палеоантропология СССР, 1948).

сильно выступающим носом (табл. III, серия 3)⁵⁰. Если в познаньской группе выделить 10 черепов из Слабошева, исследованных Вирховым (табл. III, серия 4), то эта серия окажется исключительно близкой с серией черепов из Моравии в Угорской Скалице. Серия из Слабошева отличается более низким лицом, но если принять во внимание крайне незначительное число черепов в обеих сериях, то эти различия возможно объяснить недостаточностью числа наблюдений. Этот тип считаю возможным выделять как III тип — моравский, принимавший участие в формировании рассматриваемых групп славян. Близкие формы могут быть отмечены среди восточных славян у северян, а также среди германских групп у баваров раннего средневековья⁵¹ (табл. III, серия 5 и 6). Что же касается повышения черепного указателя у славян Саксонии и Силезии, то это может происходить как за счет влияния, идущего со стороны Чехословакии (табл. III, серии 1 и 2), так и от прибалтийских групп

⁵⁰ J. L. Červinka a. J. Matiegka, Lebky a kostry z mohyl z doby velkomoravské u Uh. Skalice. «Antropologie», III, Prague, 1925, стр. 97.

⁵¹ K. Saller, Die Rassengeschichte der bayrischen Ostmark, Ztschr. f. Konstitutionslehre, Berlin, 18, 1934, стр. 229—261.

славян. По суммарным характеристикам серии черепов из Богемии⁵² и из Словакии⁵³ (табл. III, серии 1 и 2) очень близки к серии черепов из Мекленбурга, однако целесообразно рассмотреть их по более мелким локальным группам, так как есть основания считать их смешанными из различных компонентов⁵⁴, анализ которых выходит за рамки настоящей статьи. Что же касается фризов и саксов, то Гаушильд и Чебоксаров⁵⁵ принимают их скрещенное происхождение из широколицых форм Прибалтики и узколиких долихокранов атланти-средиземноморского облика.

И. Швидецкая в составе серии славян из Силезии выделила тип, который она описывает как обладающий относительно длинной, но низкой черепной коробкой, с низким лицом с несколько выдающимися скулами, с носовым отверстием, одновременно более широким и низким, чем у другого типа (соответствующего нашему IV типу, который Швидецкая определяет как нордический), с низкими глазницами и склонностью к прогнатии. Носовые кости расположены по отношению друг к другу под тупым углом, часто встречаются предносовые ямки⁵⁶. Этот тип среди рассмотренных групп западных славян не выделяется на основе групповых характеристик, но его присутствие в силезской серии черепов можно считать доказанным. Наличие этого типа в других смежных сериях черепов славян также весьма вероятно. Близкие формы могут быть отмечены у некоторых групп восточных славян (вятичи, восточные кривичи, отдельные серии словен)⁵⁷, однако признать, как это

ТАБЛИЦА IV

Расовые комплексы западных славян
(Представительные серии)

Признаки	I тип		II тип	III тип
	Западный вариант (Мекленбург)	Восточный вариант (Кальдус)	(Мазовия)	Словакия Уг. Скалице
Продольный диаметр	183,1	183,0	191,1	190,5
Поперечный »	140,6	135,1	139,4	137,5
Высотный »	133,1	139,0	133,0	136,2
Черепной указатель	76,6	74,8	72,9	72,2
Высотно-продольный указатель	72,7	76,6	70,2	71,3
Высотно-поперечный »	95,0	102,3	95,4	99,1
Верхняя высота лица	65,9	68,4	71,0	73,0
Скуловой диаметр	132,2	129,8	135,3	130,0
Верхнелицевой указатель	50,4	52,7	51,8	56,3
Носовой указатель	48,8	50,0	46,7	43,7
Орбитный »	85,5	79,6	76,3	90,6

⁵² Matiegka, *Crania Bohemica*, I, Prag, 1891, стр. 157.— Средние величины серии привожу по Швидецкой.

⁵³ Z. Frankenberger, *Anthropologie Starého Slovenska*. Pressburg, 1935, стр. 107.— Средние величины для серии черепов из Dolný Jatov'a (по Швидецкой).

⁵⁴ Из-за отсутствия работы Матейки «*Crania Bohemica*» сошлюсь на отзыв Тойдта: Toldt, *Die Schädelformen in den österreichischen Wohngebieten der Altslawen — einst und jetzt*, *Mitteilungen d. Anthropologischen Gesellschaft in Wien*, XXXII Bd., Wien, 1912, стр. 269.

⁵⁵ Н. Н. Чебоксаров, *Этническая антропология Германии*. «Краткие сообщения Института этнографии», I, 1946, стр. 60. Заллер среди нижне-саксонского германского населения раннего средневековья выделяет два широколицых антропологических типа, один из которых он сопоставляет с кроманьонской, а другой с бургундской расами верхнего палеолита, и один узко- и высоколицый тип, сопоставляемый им с верхнепалеолитической шанселядской расой. K. Saller, *Neue Gräberfunde aus der Provinz Hannover und ihre Bedeutung für die Rassengeschichte Niedersachsens und Europas überhaupt*, «*Zeitschr. f. Anatomie u. Entwicklungsgeschichte*», 101, H. 2, Berl., 1933, стр. 249—293.

⁵⁶ I. Schwidetzky, Указ. раб., стр. 21—22.

⁵⁷ Т. А. Трофимова, Указ. работа, стр. 123.

делает Швидецкая, его распространение среди всех групп славян⁵⁸ мы не считаем возможным. Этот тип Швидецкая определяет как восточно-европейский и сопоставляет его со вторым финским типом Бунака⁵⁹ у восточных славян. В результате рассмотрения ряда краниологических серий славян мы установили три типа: I тип — мезокранный, с небольшими размерами черепа и лица, прибалтийский с двумя вариантами — западным и восточным (последний с более узким и высоким лицом); II тип — долихокранный, с более крупными размерами черепа и лица, более широколицый и широконосый — представлен среди ряда славянских групп, на территории, расположенной к югу от распространения прибалтийского типа, наиболее ярко у мазовшан; III тип — долихокранный, с узким и высоким лицом, высоким черепом и узким носом — моравский, который на рассматриваемой территории локализуется у славян из Слабошева, а в Словакии — в Угорской Скалице. Серии представительные для этих типов приведены в табл. IV. В остальных рассмотренных группах западных славян отмечается большее или меньшее участие этих типов.

Как мы указывали выше, I тип встречается также в ряде краниологических серий восточных славян, II тип представлен не только у ряда групп западных и восточных славян (см. табл. VI, предел вариаций признаков в группах западных и восточных славян), но также и среди некоторых германских племен раннего средневековья (саксы и фризцы)⁶⁰, на северо-востоке — у некоторых финских групп, а также среди латышей и норвежцев эпохи средневековья, III тип локализуется, повидимому, южнее — среди более южных групп как западных, так и восточных славян, а также среди южных германских групп раннего средневековья, IV тип, выделенный Швидецкой в составе силезской группы славян, может встречаться в качестве примеси в смежных группах славян. Близкие формы также могут быть отмечены среди некоторых групп восточных славян.

II

Согласно широко распространенной концепции принято считать, что славяне на территории Померании и Западной Пруссии появились в середине I тысячелетия н. э. после ухода на юг вслед за готами, ругив, турциллингиев и сциров — племен, которых на основании некоторых указаний Птолемея причисляли к германским. Эта концепция нашла также место и в советской литературе⁶¹. С точки зрения этой концепции западные границы коренных славянских земель определялись течением Вислы.

Работы советских ученых последнего времени⁶² убедительно показали автохтонность славянского населения на восточно-славянской территории, установив его связи с обитателями Восточной Европы. В отношении западных районов расселения славян вопрос этот оста-

⁵⁸ I. Schwidetzky, Указ. раб., стр. 33, 35, 65 и др.

⁵⁹ V. Bunak, The craniological Types of the East Slavic Kurgans, „Anthropologie“, X, Prague, 1932, стр. 273—310.

⁶⁰ Среди других германских черепных серий раннего средневековья, по мнению Н. Н. Чебоксарова, этот тип не дает отчетливой локализации (Н. Н. Чебоксаров, Этническая антропология Германии, стр. 56—62, и неопубликованные материалы).

⁶¹ История средних веков, т. I, под ред. проф. А. Д. Удадьцова, Е. А. Косминского и О. Л. Вайнштейна, М., 1938, стр. 29, 49, а также карта к гл. II, в конце книги.

⁶² А. Д. Удадьцов, Племена Европейской Сарматии II в. н. э., «Советская этнография», 1946, № 2, стр. 41 и сл.; его же, Основные вопросы этногенеза славян, сб. „Советская этнография“, VI—VII, 1947, стр. 2 и сл.; П. Н. Третьяков, Северные восточнославянские племена, Материалы и исследования по археологии СССР, № 6, М.—Л., 1941, стр. 9 и сл.

ся недостаточно разработанным⁶³. Обычай трупосожжения, почти повсеместно распространенный в эпоху раннего железа, а также и в ряде культур эпохи бронзы, в том числе лужицкой, на территориях, занятых славянами, вынуждает нас обратиться к краниологическим материалам неолитической эпохи. Некоторые краниологические данные, относящиеся к более поздним эпохам бронзы и раннего железа, также будут использованы в работе.

Для выяснения вопросов этногенеза у прибалтийской группы славян, в особенности полабов и бодричей Мекленбурга и поморян, большой интерес представляют находки черепов из плоских могил неолита, сделанные юго-западнее Шверина на Осторфском озере в Мекленбурге, а также и черепа из погребений в каменных камерах и каменных ящиках той же провинции⁶⁴. Бельтц⁶⁵ датировал этот памятник как памятник западнобалтийского позднего неолита из ступени больших мегалитических погребений. На этом же острове археологи также нашли и древненендские погребения. Вместе с неолитической керамикой находили также и древненендскую, что дало повод первоначально ошибочно предположить, что осторфские погребения являются погребениями раннего железного века (Бельтц, стр. 268). Что же представляют собой осторфские неолитические черепа?

Шлиц объединяет в одну группу с осторфскими черепами черепа из плоских могил из Роггова того же времени и близкого морфологического типа.

Осторфские и рогговские черепа долихокранны (8 черепов, один мезокранный), орто-гипсикранны (один плоский череп). Длинноголовость сочетается с высоким лбом, лицо широкое как по абсолютным размерам, так и по указателю, но у всех черепов нижняя часть лица узкая. У шести черепов имеется прогнатность, у трех косое положение зубов верхней челюсти. Глазницы широкие и низкие (шесть черепов хемеконных), нос длинный, но широкий⁶⁶. Корень носа сильно вдавлен, у орбит верхний край горизонтальный, нижний — опущенный. Скуловые кости широкие и сильно выступающие, альвеолярный край верхней челюсти узкий, нижняя челюсть суженная с сильным треугольным подбородочным выступом, зубной ряд поставлен косо. Общая форма черепа обычно яйцевидная в противоположность мегалитическим эллипсоидным черепам. Шлиц считает, что можно обозначить эти черепа как особый «осторфский тип»⁶⁷. Черепа из каменных ящиков (Бюров, Бленгов — Burov, Blengow и др.) с территории Мекленбурга характеризуются другим типом. Вследствие малого их числа и плохой сохранности, групповую цифровую характеристику этой серии дать трудно. Учитывая замечание Шейдта, что с римбекскими неолитическими черепами из Вестфалии большое сходство обнаруживают черепа из Бюров, Бленгов и некоторые другие⁶⁸, рассмотрим групповую характеристику римбекских черепов (см. табл. V, серия 1).

По сравнению с осторфскими черепами римбекские менее крупных

⁶³ Единственной советской работой, посвященной выяснению древних местных корней западного славянства, остается статья М. И. Артамонова, Спорные вопросы древнейшей истории славян и Руси, „Краткие сообщения ИИМК“, VI, 1940, стр. 5 и сл. — В цитированной выше статье А. Д. Удальцова 1947 г. наряду с убедительным решением вопроса об этногенезе восточного славянства в отношении западных славян чувствуется неизжитое влияние традиционной концепции.

⁶⁴ A. Schlitz, Die steinzeitlichen Schädel des Grossherzoglichen Museums in Schwerin, Archiv f. Anthropologie, N. F., Bd. VII, 1908, стр. 276.

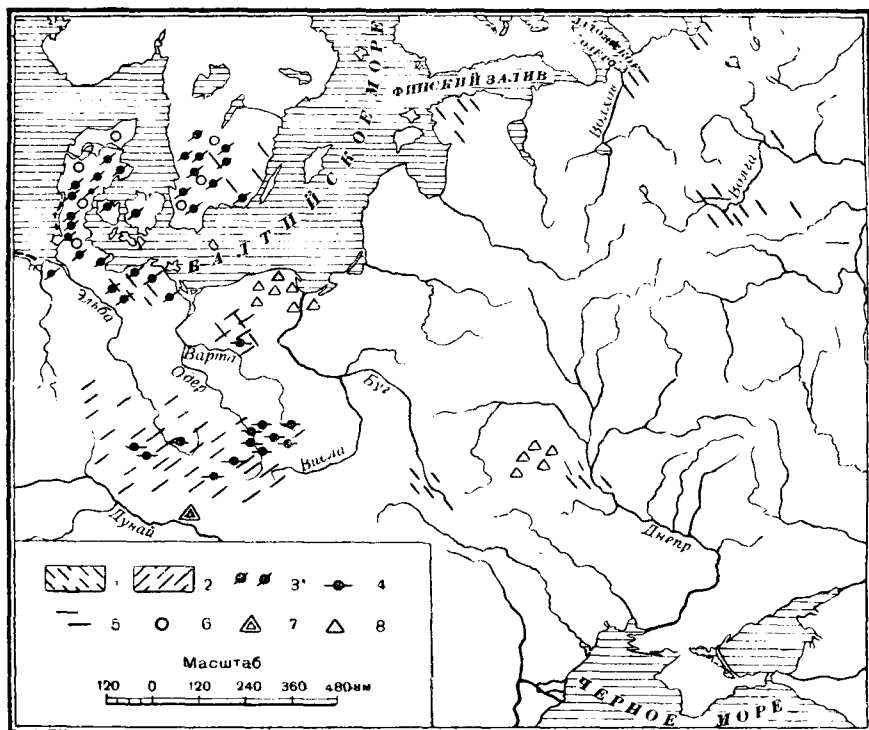
⁶⁵ R. Beltz, Das neolitische Grabfeld von Ostorf bei Schwerin, там же, стр. 268.

⁶⁶ На фотографиях черепов, приложенных Шлицем к его работе, можно видеть выпуклую форму носа (см. его работу, указанную выше).

⁶⁷ A. Schlitz, Указ. раб., стр. 283—285.

⁶⁸ W. Scheidt, Die Rassen der jüngeren Steinzeit in Europa, München, 1924, стр. 38.

размеров, грацильнее, отличаются мезокранией, лицо по абсолютным размерам значительно ниже и уже, по указателю лептопрозопнее⁶⁹, скулы выступают меньше. Из описаний Шлицем римбекских черепов⁷⁰ и черепов из каменных камер Мекленбурга представление об облике этих черепов складывается следующее: черепа долихо-мезокранны, орто-хамекранны, лоб прямой, широкий, в середине округлый, орбиты широкие иногда нижний край глазницы опускается, корень носа у черепов с сильной моделировкой — вдавленный, у черепов со слабой



Карта II. Антропологические типы неолита и бронзы: 1—долихокранный широколицый (кроманьонидный); 2—долихокранный узколицый; 3—дольменный; 4—тип силезской ленточной керамики; 5—лапоноидный; 6—брахикранный неолитический („Борребя“); 7—неолитический тип Австрии (Клейнгадерсдорф); 8—антропологический тип раннего железа

моделировкой — мелкий, сглаженный, нос сильно выступающий, длинный и узкий, верхняя челюсть с альвеолярным прогнатизмом, узкая, нижняя — с подбородком, имеющим треугольный выступ. Рост скелетов низкий. Шлиц относит римбекские черепа к мегалитической форме, выделяя среди них три варианта по строению лба и затылка (a, b и c), четвертого варианта своей мегалитической формы с наклонным лбом и крупным затылком (d) среди римбекских черепов он не устанавливает⁷¹. Шейдт относит их к северным переходным формам. Неолитические черепа из каменных ящиков с территории Мекленбурга отличаются исключительно нежным, хрупким строением, что видно как из цифровых характеристик, так и из фотографий, приложенных Шлицем к работе. Из пяти

⁶⁹ A. Schlitz, Die Vorstufen der nordisch-europäischen Schädelbildung, Archiv f. Anthropologie, 41 (N. F. 13), 1914, стр. 169—201.

⁷⁰ A. Schlitz, Die vorgeschichtlichen Schädeltypen der deutschen Länder in ihrer Beziehung zu den einzelnen Kulturkreisen der Urgeschichte, Archiv f. Anthropologie, N. F., Bd. VII, 1908 и указ. выше работа Шлица 1914 г.

⁷¹ A. Schlitz, Die Vorstufen der nordisch-europäischen Schädelbildung, стр. 184.

ТАБЛИЦА V

Грациальные формы неолита и сравнительные серии

Страна	Германия		Австрия	Польша	УССР	Германия		Польша	УССР
	Римбек (Вестфалия)	Рессен (Саксония)				Меклен- бург	Померан- ия		
Местонахождение или название серии	Неолит, металиты	Неолит, лен- точная кера- мика	Неолит, легочная карамика	Нейштедтин и Гданьск	Среднее Подне- провье	Славяне	Славяне	Зап. Пруссия	Среднее Подне- провье
Эпоха или культура	Шлиц 1914	Шлиц 1914	Лебцельтер 1936	«Древние прусы»	Дебеч 1948	Лиссауэр 1874	Славяне	Славяне	Поляне
Автор	1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ серии									
Продольный диаметр	185,2(6)	187,3(19)	185,8(6)	183,5(17)	185,6(16)	183,1	186,1	183,0	183,7
Поперечный »	140,5(6)	136,2(19)	134,0(6)	134,3(15)	134,3(16)	140,6	137,6	135,1	136,7
Высотный »	131,9(6)	136,7(19)	140,0(6)	138,1(12)	136,6(9)	133,1	136,7	139,0	134,9
Наименьший лобный диаметр	97,3(6)	97,2(19)	96,0(6)	93,2(12)	93,6(16)	97,6	—	95,8	94,8
Черепной указатель	75,9(6)	72,8(19)	71,6(6)	72,2(15)	72,4(16)	76,6	74,0	74,8	74,4
Высотно-продольный указатель	71,2(6)	73,0(19)	74,4(6)	76,4(12)	73,4(9)	72,7	73,4	76,6	73,5
Высотно-поперечный »	93,9(6)	100,4(19)	103,5(6)	101,2(16)	101,2(9)	95,0	98,6	102,3	98,7
Лобно-поперечный »	69,2(6)	71,4(19)	70,9(6)	—	69,8(16)	—	—	—	69,4
Верхняя высота лица	64,5(4)	69,4(12)	65,6(4)	—	71,1(8)	65,9	64,5	68,4	68,2
Скуловая ширина	121,0(4)	127,4(12)	127,8(4)	—	132,0(9)	132,2	127,7	129,8	130,9
Лицевой указатель	53,3(4)	54,5(12)	51,5(4)	—	53,8(8)	50,4	50,8	52,7	51,8
Носовой »	—	—	52,6(3)	—	43,6(8)	48,8	45,2	50,0	50,8
Орбитный »	—	—	83,0(4)	—	78,3(8)	85,5	83,9	79,6	83,1

черепов два юношеских, один женский, один мужской и одна черепная крышка (пол не указан). Шлиц отмечает, что, возможно, неблагоприятные условия жизни отразились на строении черепов, росте (низкорослость) и повели к ранней смерти. Черепа из Бленгов, Базедов (Base-dow) и череп из Бюров II Шлиц считает типичными для мегалитических погребений в каменных ящиках. На брахикранном черепе Бюров I Шлиц видит влияние типа колоколовидных сосудов⁷².

Все же несомненно, что осторфские черепа отличаются массивностью строения, тогда как римбекские и мекленбургские из каменных ящиков характеризуются меньшими абсолютными размерами и грациальным строением.

На территориях, смежных с областями Приморья в Саксонии, в культуре ленточной керамики известны грациальные долихокранные черепа, несколько более высокие, с более высоким лицом, по указателю более узколикие, чем в Римбеке (табл. V, серия 2)⁷³. Для неолита Дании характерен долихокранный тип, близкий к дольменному типу Швеции, и брахикранный тип, известный в литературе под названием типа Борребя⁷⁴.

Помимо описанных серий черепов, начиная с неолита, на территории северо-восточной Германии найдено также и несколько брахикранных черепов. Среди них имеется ранненеолитический (возможно, мезолитический) массивный череп из Плау (Plau), с широким и низким лицом и сильно выступающим носом, а также черепа Кетцин II (Ketzin II) и Бюров; по мнению Шейдта⁷⁵, эти черепа сходны с северными брахикранными формами. В неолите брахикранные черепа встречаются также в Дании и в Швеции и, по мнению некоторых исследователей (Фюрст, Шейдт), могут быть отнесены к одному краниологическому типу.

В Северной Германии также найдено еще несколько брахикранных черепов, относящихся к более поздним эпохам: это — плохо датированный череп из Виллиграда⁷⁶, возможно относящийся к раннежелезному веку, череп из урны в Павловице (Pawlowice) из Познани⁷⁷ и череп из Губен (Guben)⁷⁸, относящийся к эпохе лужицкой культуры.

Рассмотренные нами выше серии древненевендских черепов из Мекленбурга и Померании характеризуются таким сочетанием особенностей строения черепа и лица, которое может указывать на скрещенное происхождение их антропологического типа. Такие черты как сочетание сильно выступающего, выпуклого (орлиного) носа с сильно моделированной верхней челюстью, обладающей отчетливо выраженным альвеолярным прогнатизмом (особенно ярко представленных у полабов и бодричей Мекленбурга) и сильно выступающего подбородка, с яркостью воссоздают комплекс строения лица осторфских неолитических черепов среди славян раннего средневековья Мекленбурга и Померании. Интересно замечание Асмуса, что у современного немецкого населения Мекленбурга до сих пор выступают некоторые черты этого комплекса. С другой стороны, общая грациальность строения черепов Мекленбурга и Померании — в общем узкое лицо (особенно в Померании), широкий, низкий, крутой лоб, прилегающие скуловые кости, узкий или средний

⁷² A. Schlitz, Die steinzeitlichen Schädel..., стр. 276—278.

⁷³ A. Schlitz, Die Vorstufen der nordisch-europäischen Schädelbildung.

⁷⁴ В. В. Бунак, Краниологические типы западноевропейского неолита, Краткие сообщения Института этнографии, I, 1946, стр. 50.

⁷⁵ W. Scheidt, Указ. раб.

⁷⁶ A. Schlitz, Die steinzeitlichen Schädel des Grossherzoglichen Museums in Schwerin.

⁷⁷ R. Virchow, Schädel von Ulejno, Kazmierz und Pawlowice.

⁷⁸ R. Virchow, Schädel von Guben und Nachrichten über lausitzer Alterthümer, Verhandl. d. Berlin. Gesellschaft f. Anthropologie, Ethnologie u. Urgeschichte, 1881, стр. (93).

нос — напоминают своим строением черепа мегалитического типа из каменных ящиков Мекленбурга и Вестфалии. Примеси других компонентов, общие процессы изменчивости краниологических типов с неолита до средневековья не могли не наложить своего отпечатка на строение черепов древневендского населения, однако два основных неолитических комплекса коренного населения Мекленбурга и Померании сохранились у своих потомков — древних вендов на той же территории. Так дело обстоит в западных районах расселения прибалтийских славян.

На востоке, в районах восточной части Померании, Западной и Восточной Пруссии, неизвестны краниологические серии, датируемые эпохой неолита и бронзы. Лиссауэром опубликованы краниологические материалы с территории восточной Померании, относящиеся к раннему железному веку, которые Лиссаур рассматривает как древнепруские черепа⁷⁹. По его данным мы подсчитали средние величины для черепов, происходящих с территории из окрестностей Нейштедтина и Гданьска (см. табл. V, серия 4). Эти черепа как по суммарной краниометрической характеристике, так и по краниоскопическим данным оказываются не только близкими, но почти идентичными славянским черепам VIII—XIII вв. из Кальдуса⁸⁰, описанных тем же автором. Чрезвычайно интересно, что черепа раннежелезного века из Пруссии оказываются морфологически очень близкими по своей суммарной характеристике к черепам из полей погребальных урн Украины (табл. V, серия 5). Нельзя не обратить также внимания на значительное сходство черепов из полей погребальных урн с Украины с неолитическими черепами из Австрии (табл. V, серия 3)⁸¹. Однако для интерпретации этого сходства у нас пока нет данных. В свою очередь, мы уже отмечали выше, что славянские черепа из Западной Пруссии (Кальдус) очень близки к полянам курганного периода на территории Украины (табл. I) и некоторыми другими группами восточных славян.

Таким образом, на востоке, в областях стыка западных и восточных славян, в эпоху раннего железного века существовал единый антропологический пласт, который прослеживается в краниологических материалах с территории Украины в культуре полей погребальных урн и в раннем железном веке Западной Пруссии и, очевидно, с рядом незаметных переходов уходит на запад к Эльбе. На основе этого пласта формируются позднейшие потомки этого населения — славяне раннего средневековья.

Выяснив возможные пути формирования прибалтийского мезокранного славянского населения в эпоху раннего средневековья, постараемся проследить исходные формы для образования второго типа — долихокранного с массивным лицевым скелетом, установленного нами среди южной группы древнего славянского населения на территории Германии и Польши. В эпоху неолита и бронзы, помимо долихокранных и брахикранных грацильных форм, широко распространенных в западных, центральных и южных областях Западной Европы, в Прибалтике⁸² (Мекленбург, Эстонская ССР⁸³, Швеция⁸⁴), на территории Польши⁸⁵, Украины⁸⁶, в Западном Поволжье⁸⁷, в Приладожье⁸⁸ и в

⁷⁹ Lissauer, *Crania prussica*, Ztschr. f. Ethnologie, Bd. VI, 1874, стр. 108—226.

⁸⁰ Lissauer, *Das Gräberfeld am Lorenzberg bei Kaldus im Culmer Land*, 1878.

⁸¹ Lebzelter, *Sitzungsberichte d. Antr. Ges. in Wien*, Bd. LXVI, 1936, S. 1—16.

⁸² A. Schlitz, *Die steinzeitlichen Schädel*.

⁸³ A. Fridenthal, *Ein Beitrag zur vorgeschichtlichen Anthropologie Estlands*, Ztschr. f. Ethnologie, Bd. 63, 1932, стр. 1—39.

⁸⁴ W. Scheidt, *Указ. паб.*

⁸⁵ S. Czortkower, *Lebky z Ulwowa*, «Anthropologie», X, Prague, 1932, стр. 212; см. также описание Е. Венславовой неолитического черепа из Вуйцина Стрылнинского округа (черепной указатель 76,4, верхняя высота лица 67 мм, скуловой диаметр 140 мм, верхнелицевой указатель 47,9).— Е. Wesława, *Czaszka*

Прионежьи (Олений остров)⁸⁹, — были распространены долихокраничные формы, с крупными размерами черепа и лица, с широкими лицами, с сильно развитым надбровьем и выступающим носом (табл. VI). Эти гиперморфные формы, особенно в тех сериях, где большая ширина лица сочетается с относительно небольшой его высотой, напоминают кроманьонские формы верхнего палеолита.

При большом сходстве в главных особенностях строения черепов этого типа в некоторых сериях по отдельным признакам встречаются отклонения от основного типа, что, впрочем, может также объясняться и случайными причинами, зависящими от недостаточного числа черепов. Так, например, серии черепов эпохи бронзы из Среднего Поднепровья и из Эстонии отличаются очень большими высотными диаметрами. Осторфская неолитическая серия характеризуется значительной широконосостью. Пропорции лицевого скелета тоже несколько различаются: осторфская неолитическая серия, черепа бронзовой эпохи (лужицкая культура) из Ульвовка (Ulwowka), черепа фатьяновской культуры из западного Поволжья отличаются эурипризопностью (относительной широколицестью по указателю), остальные при абсолютных крупных размерах скулового диаметра — по указателю мезопрозоппы (среднешироколицы). Наибольшей массивностью черепа и лицевого скелета характеризуются серии черепов бронзовой эпохи из Эстонии, ладожская неолитическая серия и, в особенности, черепа из Южного Оленьего острова в СССР. В советской литературе⁹⁰ обращалось внимание на эволюционное значение процессов грацилизации в строении черепов, идущего с различной быстротой и степенью интенсивности в разных группах, что особенно заметно при рассмотрении одного краниологического типа. Жиров в этой связи рассматривает тип людей из Южного Оленьего острова, как наименее сдвинувшийся на пути грацилизации и наиболее близкий к кроманьонским формам верхнего палеолита⁹¹. В эпоху верхнего палеолита кроманьонские формы были широко распространены на территории Западной Европы, но в неолите и в эпоху бронзы они почти исчезают там, за исключением Прибалтики и восточных областей⁹².

На территории Германии, кроме осторфской неолитической серии черепов, других кроманьонидных серий не известно. Однако можно думать, что в эпоху неолита этот тип был распространен шире на севере Германии. Несомненно, что разрывы в ареале распространения этого типа связаны с отсутствием краниологического материала, так как по исследованиям антропологического состава современного населения, ареал распространения кроманьонидных форм, в особенности в Прибалтике, обрисовывается значительно полнее. В Германии в настоящее время этот тип распространен в двух вариантах — мезоцефальном и брахицефальном, оба светлопигментированные, широколицые; второй

neolityczna z Wójcina, Przegląd antropologiczny, t. IX, Poznań, 1935, стр. 80—84, а также среди смешанной серии неолит. черепов см., Żejmo-Żejmis, Seria czaszek neolitycznych z Brześcia Kujawskiego. Wiad. arch., t. XV, 1938, стр. 158—186.

⁸⁶ Г. Ф. Дебеч, Указ. раб., стр. 98, табл. 28.

⁸⁷ М. С. Акимов, Антропологический тип населения фатьяновской культуры, Труды Института этнографии, Новая серия, II, М.—Л., 1947.

⁸⁸ А. П. Богданов, Человек каменного века, в кн. А. А. Иностранцев, Человек каменного века побережья Ладожского озера, СПб., 1882.

⁸⁹ Е. Жиров, Заметка о скелетах из неолитического могильника Южного Оленьего острова, «Краткие сообщения ИИМК», VI, 1940, стр. 51—54.

⁹⁰ Г. Ф. Дебеч, Указ. раб., гл. V, стр. 292—322.

⁹¹ Е. Жиров, Указ. работа.

⁹² В Восточной Европе кроманьонидные серии, помимо указанных выше, известны в погребениях ямной и срубно-хвалынской культур. (См. Г. Ф. Дебеч, Указ. работа).

ТАБЛИЦА VI

Кроманьонидные формы неолита и бронзы и сравнительные серии

Страна	Германия	Польша	УССР	РСФСР	Эстонская ССР	Предел вариаций	Предел вариаций
Местонахождение или название серии	Осторф и Роггов (Мекленбург)	Сокальский окр. Ульяновка	Среднее Поднепровье	Западное Поволжье	Эстонская сборная	Познань и Мазовия	Поднепровье (древляне, дреговичи, радимичи, кривичи — полоцкие)
Эпоха или культура	Неолит	Бронза	Бронза	Бронза (фатьяновская культура)	Бронза	Западные славяне (2 группы)	Восточные славяне (4 группы)
А в т о р	Шлиц 1908	Чортковер 1932	Дебец 1932	Акимова 1947	Фриденгаль 1932	Группа авторов	Дебец
№ серии	1	2	3	4	5		
Продольный диаметр	190,0(5)	186,0(2)	193,0(14)	191,4(10)	195,5(10)	188,4—191,1	188,1—189,8
Поперечный »	138,4(5)	137,5(2)	141,0(14)	138,4(9)	142,5(10)	138,6—139,4	137,6—139,8
Высотный »	134,0(5)	136,0(2)	140,1(9)	132,0(6)	146,7(9)	133,0—136,7	135,3—138,1
Наименьший лобный диаметр	98,2(5)	100,0(2)	98,4(15)	99,3(10)	99,4(10)	—	—
Черепной указатель	72,9(5)	73,4(2)	73,0(14)	72,5(9)	73,0(10)	72,9—73,5	72,7—73,9
Высотно-продольный указатель	70,5(5)	73,2(2)	72,3(9)	69,2(6)	74,8(9)	70,2—73,8	71,1—73,4
Высотно-поперечный »	96,9(5)	98,8(2)	99,1(9)	95,3(6)	101,9(9)	95,4—98,8	98,1—100,8
Лобно-поперечный »	71,0(5)	72,8(2)	69,7(14)	71,9(7)	69,6(10)	—	—
Верхняя высота лица	68,0(5)	67,5(2)	70,5(13)	66,1(10)	73,6(7)	68,2—71,0	67,4—71,2
Скуловой диаметр	136,2(5)	137,5(2)	136,2(11)	138,0(4)	140,3(4)	132,6—135,3	133,1—135,6
Лицевой указатель	49,8(5)	49,1(2)	52,2(11)	48,8(4)	54,5(4)	51,8—52,1	50,4—53,2
Носовой »	54,0(5)	51,7(2)	49,5(13)	49,2(10)	48,3(7)	46,7—51,3	49,0—52,1
Орбитный »	82,5(5)	74,5(2)	80,4(13)	81,3(10)	75,1(7)	76,3—79,8	78,1—82,7

тип отличается особенно большой шириной лица. Первый тип Н. Н. Чебоксаров рассматривает как подсеверный, второй — как западнобалтийский⁹³. Население, характеризующееся чертами этих антропологических типов, локализуется в Ганновере и Шлезвиг-Гольштейне. За пределами Германии, в Прибалтике, морфологически близкие формы встречаются в Дании, Восточной Пруссии, в Латвии, Эстонии, Финляндии, Швеции и Норвегии⁹⁴. В других областях Германии в настоящее время эти типы не выделяются. В эпоху же раннего средневековья, как мы показали выше (табл. II), долихокраны с широким лицом прослеживались в более южной полосе северной Германии как среди германских, так и среди западнославянских групп (табл. II и VI). Среди германских групп раннего средневековья эти краниологические типы имели узкое распространение и известны лишь среди саксов и фризов, приведенных в нашей таблице.

Третий тип — долихокранный с узким и высоким лицом, который мы установили в более чистом виде на группе черепов из Уг. Скалице и в Слабошеве (по измерениям Вирхова), тоже не является новым на рассматриваемых территориях. Если мы обратимся к краниологическим материалам, относящимся к неолитической культуре шнуrowой керамики⁹⁵ и к более поздней унетичкой культуре⁹⁶ с территории Чехословакии, то убедимся, что основные характерные черты этого типа, установленные нами у славян раннего средневековья, начиная уже с эпохи неолита, выступают у населения этой области. Действительно, обе серии (табл. VII, серии 2 и 3) характеризуются резкой долихокранией, высоким черепом как по абсолютным, так и по относительным размерам,

ТАБЛИЦА VII

Тип шнуrowой керамики и сравнительные серии

Страна	Польша	Чехословакия		
Местонахождение или название серии	Йорданс-мюль (Силезия)	Гросс — Черносек	Чешская сборная	Словакия Уг. Скалице
Эпоха или культура	Неолит ленточная керамика	Неолит шнуrowая керамика	Бронза унетичкая культура	Славяне IX в.
Автор	Рехе 1908	Рехе 1908	Стсцкий 1931	Матейка 1925
№ серии	1	2	3	4
Продольный диаметр	184,2(9)	192,0(18)	191,4(60)	190,5(4)
Поперечный »	136,8(9)	134,2(18)	134,7(58)	137,5(4)
Высотный »	134,2(4)	142,9(14)	143,4(32)	136,2(4)
Наименьший лобный диаметр	96,2(4)	97,5(18)	96,9(55)	99,5(4)
Черепной указатель	74,3(9)	70,0(20)	70,6(70)	72,2(4)
Высотно-продольный указатель	72,9(4)	74,5(14)	75,4(46)	71,3(4)
Высотно-поперечный »	98,2(4)	106,6(14)	104,7(46)	99,1(4)
Лобно-поперечный »	70,2(9)	72,6(18)	72,3(64)	72,5(3)
Верхняя высота лица	65,2(5)	70,6(12)	67,4(23)	73,0(3)
Скуловая ширина	125,0(4)	120,8(12)	128,8(18)	130,0(3)
Лицевой указатель	52,1(4)	53,9(12)	52,9(30)	56,3(3)
Носовой »	57,3(6)	46,1(16)	49,1(29)	43,7(3)
Орбитный »	78,6(6)	76,7(14)	78,4(35)	90,6(3)

⁹³ Н. Н. Чебоксаров, Антропологический состав современных немцев, Ученые записки Московского гос. ун-та, вып. 63, М., 1941, стр. 271—308.

⁹⁴ Там же, стр. 288 и 291, табл. I и VI.

⁹⁵ O. Reche, Zur Anthropologie der jüngeren Steinzeit in Schlesien und Böhmen, Archiv f. Anthropologie, N. F., B. VII, 1908, стр. 220.

⁹⁶ A. Stocky, Lid unetické kultury, „Anthropologie“, IX, Prague, 1931, стр. 225.

узким лицом как абсолютно, так и относительно, узким и сильно выступающим носом⁹⁷. Славянская серия из Уг. Скалице отличается меньшей высотой черепа и большей высотой лица⁹⁸. Некоторые группы немецкого населения Баварии⁹⁹ в раннем средневековьи характеризовались антропологическим типом, который также может быть сближен с типами населения эпохи культуры шнуrowой керамики и более поздней унетичкой культуры с территории Чехословакии (табл. III и VII). Лер-Сплавинский рассматривает антропологический компонент культуры шнуrowой керамики как праславянский, распространение которого с последующей ассимиляцией местного населения, по его мнению, повело к сложению славян¹⁰⁰.

Антропологический компонент, представленный в культуре ленточной керамики Силезии, умеренно долихокranный, с средними размерами черепа, с небольшими размерами лица, но, что особенно характерно для этого компонента, прогнатный и для европейских серий очень широконосый (носовой указатель 57, 31), как показали исследования Швидецкой¹⁰¹, принял участие в формировании некоторых славянских групп, в частности силезской. Среди рассмотренных нами серий нет ни одной, где бы этот тип был преобладающим, однако его примесь в ряде серий весьма вероятно в особенности в соседних группах в Познани и Саксонии¹⁰².

III

В результате проведенного исследования мы установили, что среди западных славян на территории современной Германии и Польши в эпоху раннего средневековья выделялись четыре типа: 1) мезокranный прибалтийский тип, 2) долихокranный широколицый кроманьонидный тип, 3) долихокranный узколицый (моравский) и 4) умеренно-долихокranный, прогнатный и широконосый (силезский), который в качестве примеси установлен Швидецкой у силезской группы славян.

Большая часть этих типов прослеживается в глубь веков вплоть до эпох неолита и бронзы на тех же территориях. Только в одном случае мы имеем возможность проследить преемственность краниологического славянского типа с типом населения эпохи раннего железа с той же территории. Это мезокranный прибалтийский тип с территории Западной Пруссии и Померании, который связывается с жившим здесь прежде населением¹⁰³. На территории Мекленбурга и западной Померании в западных областях расселения мезокranного типа краниологических материалов, относящихся к эпохе раннего железа нет, но в типе славянского населения раннего средневековья этой территории можно проследить черты бытовавшего здесь неолитического населения.

Краниологические типы раннего железа из восточной Померании имеют большое морфологическое сходство с типами населения культуры полей погребальных урн в среднем Поднепровьи, так же как и славянского население Померании и Западной Пруссии сходно с киевскими по-

⁹⁷ Об этом можно судить по фотографиям и рисункам.

⁹⁸ Мало черепов, возможны случайные отклонения.

⁹⁹ K. Saller, Указ. раб.

¹⁰⁰ T. Lehr-Splawinski, Указ. раб., стр. 122.

¹⁰¹ I. Schwidetzky, Указ. раб.

¹⁰² Необходимо отметить, что привлеченные для рассмотрения краниологические типы неолитических и более поздних культур не являются единственными носителями этих культур, а лишь отдельными их локальными формами, наряду с которыми в других географических областях их распространения встречаются также и иные краниологические компоненты.

¹⁰³ Славянское население раннего средневековья по сравнению с населением раннего железного века, жившим в этих областях, отличается лишь некоторым повышением черепного указателя. Это указывает на проявление процесса брахицефализации, эпохальной изменчивости черепа, неоднократно отмечавшееся в различных группах.

лянами и с некоторыми другими группами восточных славян. Долихокранный широколицый тип, широко распространенный как среди рассмотренных групп западных славян, так и у ряда племенных объединений восточных, известен в северном и восточном неолите Прибалтики, а в эпоху бронзы также встречается на территории Польши, на Украине и в западном Поволжье (фатьяновская культура). На территории Германии в неолите он представлен слабо, а краниологических материалов, относящихся к эпохе бронзы, нет. Среди германских племен этот тип вошел в состав фризов и саксов.

Долихокранный, узколицый тип, выявляющийся наиболее ярко у славян из Уг. Скалице (Моравия) и в Слабошеве, прослеживается через унетичскую культуру до неолитического населения культуры шнуговой керамики на территории Чехословакии¹⁰⁴. Некоторые группы северян с территории нынешней Украины сближаются по своему типу с западно-славянскими группами из Познани и Моравии. И, наконец, четвертый тип, прогнатный и широконосый, установленный в составе древнеславянского населения Силезии, имеет преемственную связь с основным типом населения культуры ленточной керамики из Силезии. Сходные формы отмечаются также у некоторых групп восточных славян.

На основании этих результатов исследования можно сделать следующие выводы:

1) Массовой смены населения на территории Северной Германии и Польши в эпоху «великого переселения народов» не было, нет никаких оснований предполагать позднее появление славян на территории Северной Германии. Формирование рассмотренных групп западных славян происходило в основном на тех же территориях, на которых они известны по позднейшим письменным источникам.

2) Наличие нескольких краниологических типов среди рассмотренных групп западных славян, связанных с населением древнейших эпох тех же территорий, не дает оснований рассматривать какой-либо один из этих типов как исходный праславянский тип. Славяне, как и все другие группы народов Европы, формировались на расово разнородной основе.

3) Поскольку в состав славян вошли различные антропологические типы, известные для различных культур неолита и отчасти бронзы, на основании антропологических материалов можно говорить о скрещении различных племенных группировок, представленных в этих культурах, которые в процессе этногенеза повели к сложению исследованных групп западных славян. Вместе с тем необходимо отметить, что исходные антропологические типы, вошедшие в состав формирующихся западных славян, большей частью сходны с теми, которые прослеживаются на территории восточно-славянского этногенеза. Проблема антропологических связей западных и южных славян требует еще дальнейшего исследования.

4) Наличие некоторых краниологических типов, известных как среди славянских, так и среди германских групп раннего средневековья, восходящих до неолита, свидетельствует о древних связях этих групп в контактных зонах их формирования.

¹⁰⁴ Близкие формы могут быть также отмечены на территории Австрии, как в эпоху унетичской культуры (Шумбати), так и в гальштадскую эпоху, см. материалы, приведенные Куном в его работе: Coon, The Races of Europe, New York, 1939, стр. 656 и соответствующие таблицы.

Акад. Л. С. БЕРГ

НАЗВАНИЯ РЫБ И ЭТНИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЛАВЯН

Названия рыб могли бы много дать для выяснения вопросов об этнических взаимоотношениях между народами и о миграциях последних. Но для того, чтобы подвинуть вперед разрешение этих проблем, необходимо знание, с одной стороны, ихтиологии, с другой — лингвистики. Таких специалистов, однако, бывает очень мало, и автор настоящей статьи, по специальности ихтиолог, причислить себя к лингвистам, к сожалению, не может. Тем не менее, он решается высказать некоторые соображения, которые, возможно, окажутся полезными и для филологов.

Этимологии названий рыб, предлагаемые как в специальных филологических изысканиях, так и в ихтиологических трудах, к прискорбию, сплошь и рядом совершенно ошибочны. Приведем два-три примера. В этимологическом словаре немецкого языка, составленном Клюге (Kluge), под словом *Bleihe* („род частиковой рыбы“; это — лещ. — Л. Б.) делаются сопоставления с древними германскими названиями рыб *bleicha*, *bleikja*, *blicke*, и в качестве корня указывается *bleich* — бледный. Ниже будет показано, что *Bleihe*, *Bleye*, *Blei* термин, заимствованный из славянских языков. — Ихтиологи Геккель и Кнер в книге о рыбах Австро-Венгрии (1858, стр. 12) пишут, что название судака в Австрии *Schiel* или *Schill* происходит от *schielen* — косить. Между тем корень этого слова тюркский (см. ниже). По мнению тех же авторов (стр. 300), немецкое название вьюна *Bissgurn*, *Pissgurn* происходит от *beissen* — кусать и *Gor* или *Gur* — грязь, навоз. На самом деле *Pissgurn* есть славянское *piskórz*, *пискун*, как эта рыба местами называется и у русских (см. ниже).

В нижеследующем мы рассмотрим славянские названия рыб, заимствованные германцами у славян, а также русские названия, взятые русскими от финских и тюркских народов.

1. Немецкие названия рыб, общие с имеющимися в славянских языках. Замечательно, что названия рыб в северной Германии резко различны от южногерманских. При этом северногерманские названия, употребляемые, в частности, в Пруссии, сходны со славянскими; южногерманские же имена рыб принадлежат к коренным германским. Это обстоятельство позволяет нам с уверенностью утверждать, что северногерманские названия заимствованы у абorigенов — славян, исконным занятием которых, наряду с земледелием, было рыболовство. Вот несколько примеров.

Густера (научное название в зоологической литературе *Blicca björkna*), сев.-нем. *Güster*, *Giester*¹, южн.-нем. *Blicke*. Украинцы *густыря*, *ласкирь*, *лоскирь* (одного корня с лещ, лящ), белорусы *усцера*, кашубы *gùszczer*, кашубские словинцы *гушчора* (Вернекер, стр. 363), русск. на Клязьме у Павлова и Богородска *лопырь* (ср. ка-

¹ Согласно Геснеру (1558, стр. 1278), по Эльбе в Саксонии густеру („Blicca“) называли *geuster*, *guster*.

рельское *lorpuri* у Сердоболя). Замечательно, что у болгар (*гуштер*), сербов (*гуштер*), словенов (*гушчер*, *гушчор*), полабских славян (*гаустар*) этот термин служит для обозначения ящерицы (Вегнекер, стр. 363). То же и у румын в Добрудже (*гуштер*).

Следует отметить, что и южно-нем. *Blicke* тоже славянского происхождения. Другие немецкие названия густеры, рыбы, весьма похожей на леща и часто повсюду смешиваемой с последним, *Blick*, *Blickling*, на Рейне у Кельна *Blech*, *Bleeche*, в Швейцарии на оз. Бьенн или Биль *Plechle*, в Цюрихе годовалых лещей называют *Blicke* (все эти термины взяты мною у Геснера, 1558, стр. 27). Швенкфельд (1603, стр. 422) для латинизованного *Blicca* приводит следующие немецкие названия: *Blähe*, *Bleye*, *Blick*, *Blicking* (вероятно, в Силезии). Геккель и Кнер (1858, стр. 120, 122) указывают для густеры, которую они называют *Blicca argyroleuca* (другое название для *Blicca björkna*, еще иначе *Abramis blicca*), следующие названия у австрийских немцев: *Pletten*, *Pleinzen*, *Bleinzen*, *Güster*, *Blicke*. В настоящее время *Pleinzen* — это в Германии название одной из близких к лещу рыб — синца (научное имя которого *Abramis ballerus*). Зибольд (1863) дает для густеры названия: *Blicke*, *Blick*, *Bleeke*. Ср. англ. *bleak* для уклейки (*Alburnus alburnus*). С термином *Blicke* надо сопоставить старинные польские названия густеры *blik*, *bleiak* (Rzączyński, 1736, стр. 209) и синца *bleia* (Jarocki, 1822). Того же корня немецкие (современные и древние) названия леща *Blei* (Пруссия, также Зальцбург), *Bley*, *Bleihe*, *Bleicha*, *Bleikja* (о них мы уже говорили выше). Геснер (стр. 1274) приводит для леща названия *Blehe* vel *Plötze*.

Тот же цюрихский ихтиолог Геснер (стр. 27) указывает, что в Савойе густеру называют *platte*, *platton* (ср. плотва). Это вполне подтверждает Fatio (I, стр. 360), согласно которому густера в Швейцарии носит имена *platelle*, *platton* (озера Невшатальское и Мора; но так же здесь называют и леща, стр. 329)², *Bliengge*, *Bliegge* (Люцерн), *Güster*, *Blick*, *Blicken* (Цюрих, Валленштадт), *Fliengg*, *Fliengli* (Цуг), *Plunken*, *Plünken*, (Базель). Кроме того, согласно тому же автору (стр. 459), красноперку (научное название *Scardinius erythrophthalmus*) называют *plate*, *platelle*, *plateron* (Савойя), *plotta* (Энгадин), *piotta* (Тичино).

Все эти слова восходят к славянскому корню *бле*, *бла*, *пле*, *пла*, которым обозначают леща, плотву, воблу и других небольших пресноводных рыб из семейства карповых. См. ниже под словами лещ, плотва.

Возможно, что и термин *лещ* того же корня: не называлась ли эта рыба у славян *блещ*, *плещ*? За это говорит следующий факт: Геснер (1558, стр. 28) сообщает, что в Македонии в реке Струме и в оз. Бешик (*Pischiacus lascus*) ловится лещеобразная рыба, которую местные жители (славяне) называют *plestya* (плещ?), а также *platanes*, *platognia* (плотва, плотница?). Укажем еще, что по-польски лещ местами называется *kleszcz*, а у чехов — *длещец*³.

Карась, сев.-нем. *Karausehe*, *Karas*, *Karus*, *Krus*, *Karausee*, *Karusche*, *Karutze*, *Carusse*, южн.-нем. *Gareisel*, *Gareis*, более древние формы *karaz*, *karûtsch*⁴. Польск. *karas*, кашуб. *kârus*, лужич. *kharas*, *karas*, серб. *караш*, чеш. *karas*, мадьяр. *kárász*, болг. *караш*, *каракуда*, румын. *caracuda*, но в румынской Молдавии также *caras*. Черемисы *карака* (Варпаховский, 1886), эсты *kozer*, *karus*.

Корюшка (*Osmerus eperlanus*), сев.-нем. *Stint*, польск. *stynka*, белорусы *стынка*, литовцы *stinta*, русск. (для озерной формы, *morpha spirinchus*) *снеток*, *сняток*, *снимок*, *снят*, фин. *sintti*, ижор. *tinti*.

² У поляков густера обычно называется *plócica* (Jarocki, 1822, стр. 69).

³ Не от леща ли происходит название озера *Плещеево*, в древности *Клещино*?

⁴ У Геснера (1558, стр. 377, 1274, 1275) *Karass*, *Karuntiss*, *Kariss*, *Gariss*, *Karas*, *Karaussen*, *Kares*. У немцев в Семиградии *Kores*.

Лещ (*Abramis brama*), сев.-нем. *Blei*, *Bleye*, южн.-нем. *Brachsen*, *Brassen*. Польск. *bleia* (но также *leszcz*), прусы *blingis*. Термин *блея* родственен русс. *вобла* (*Rutilus rutilus caspicus*); *вобла*—это проходная плотва, рыба, входящая из Каспийского моря в Волгу; украин. *бобла* (= плотва), *бібліця*; в славянских языках произошло удвоение: корень *бла* тот же, что у *Blei*. Того же корня название уклейки у румын на Дунае *облец*, *облете*, *боблец*, *боблете*, шемаи у болгар *облез*, плотвы у болгар и румын *бабушка* (очевидно, народное осмысление из *бобл*). См. ниже, под словом плотва.—*Brachsen* или *Brassen* одного корня с франц. *brême*, чеш. *pražma*.

Лещ, укр. *лящ*, мелкий лещ на Десне *ляска*, польск. *leszcz*, чеш. *dlešec*, кашуб. *kleszcz*, фин. *lahna*, эст. *lasna*; повидимому, последние два слова родственны слав. лещ.

Миного (*Lampetra fluviatilis* и другие виды). Это рыбообразное у русских называется *выюном* (то же имя прилагается и к настоящему выюну, *Misgurnus fossilis*), и лишь в бассейне Балтийского моря (и на Волге) употребляется название *минога*, взятое, очевидно, славянами из латышско-литовских и финских языков, а немцами у славян. В России термин *минога* появляется только со времен Петра Великого, будучи заимствован у поляков⁵. Немцы *Neunauge* (= девятиглазка — обозначение, не имеющее смысла), *Negenooge*⁶, шведы *nejonöga*. Поляки *minog*, *ninog*, чехи *nejnok* из *nýnok* (Miklosich, стр. 215), мазуры и кашубы *minoga*, латыши *nehgis*, *nehge*, *nehgenohgs*, литовцы *nege*, куры *pogis*, ливы *nehgus*, финны суоми *nahkiainen*, коми (зырянские) на Печоре *нюгли* (Ревнивых, стр. 209).—Корень этот (*neg*, *nehg*, *nahk*) восходит к древнеиндийскому *nāgah* — змея, англо-сакс. *snaca*, англ. *snake*, — змея, нем. *Schnake*, *Schnacke* — уж. — Русское и польское *минога*, *миног* получилось, очевидно, из *нинога*, *ниног* подобно (Преображенский, стр. 538) Миколай, Микита из Николай, Никита. *Ниног* есть удвоение из *ног*, подобно тому как *библиця* и *вобла* из *блея*. Таким образом, общепринятое мнение (Преображенский) о заимствовании термина *минога* славянами у германцев неправильно; наоборот, как видно из предыдущего, немцы взяли его у славян.

Общность рассматриваемого корня у литовцев и латышей с одной стороны и у финнов с другой показывает, что народы эти жили в древнейшие времена рядом и оказывали друг на друга культурное влияние, что, впрочем, известно и по другим данным⁷.

Плотва (*Rutilus rutilus*), сев.-нем. *Plötze*, *Plätz*, *Pletz*, *Pletze*⁸, в Австрии на Галльштатском озере (Зальцбург, Тироль) *Blätten* (Siebold, 1863; стр. 407; того же корня, что плотва), южно-нем. *Rotauge*. Корень русс. слова плотва — *плот*, ибо уменьшительное *плотица*⁹. Белорусы *плоть*, *плотка*. Украинцы *бібліця* (ср. *вобла*), *бібліця*, *бібла*, *облиця*, *плітка*, *плотиця*, *плотка*, карпатские ук-

⁵ Н. А. Смирнов, Западное влияние на русский язык в петровскую эпоху. Сборн. Отд. русского языка и словесн. Акад. Наук, т. 88, № 3, 1910, стр. 197.

⁶ В перечне рыб Восточной Пруссии, относящемся к 1526 г. (Венеске, стр. 285), упоминаются *lampredenn* (морские миноги, *Lamprete*) и *neunaugenn* (речные миноги). — Еще польский натуралист Ржончинский (1721, стр. 134) считал, что немецкое *Neunaug* произошло от „девяти глаз“ (того же мнения держался и Геснер, стр. 19, 702) и что польское *minog*, *minog* заимствовано у немцев. Следует отметить, что из польских названий миноги Геснер (стр. 703) приводит только *ninog*.

⁷ Д. В. Бубрих, Происхождение карельского народа, Петрозаводск, 1947, стр. 11—12.

⁸ В начале XV в. *Plotccze* (Венеске, стр. 279). Вероятно, правильное *Ploticze*, читается „плотице“.

⁹ *Плотвой*, *плотицей*, *плоскушкой* на юге называют, кроме плотвы, еще красноперку, густеру (Кесслер, 1860). В Боснии и Далмации вся частичковая („белая“) рыба носит название *плотица*.

раинцы *плотыця*. У болгар название *платика* применяется к лещу¹⁰ и к горчаку (*Rhodeus sericeus amarus*). Чехи *plotice*. У сербов *платица*, *платика* есть название густеры, *платичица* — горчака; *плотица* в Далмации — это красноперка. Поляки *plotka*, *plóc*, *plócica*, *plotycia*. Кашубы *plotka*. Из русских названий заслуживают внимания названия, употребляемые на Ильмене (Варпаховский, 1886): *плотва*, *сорога*, *облуха*, *бобла*. Последние два родственны русскому названию проходной плотвы — *вобла* и украинскому *библица*. Что же касается названия *сорога*, то оно весьма любопытно. Этим именем у нас называют плотву на севере и во всей Сибири, а также (быв. уральские казаки) на Аральском море (*сарга*, *сорожка*). Термин этот родственен наименованию плотвы в финских языках: суоми *särki*, эсты *särg*, ижоры *särgi*, ливы *särg*, мордва *särga*, черемисы (мари) *шеренга*, ханты (остяки) *sарax*, *sарак*. Наименование непроходной плотвы в низовьях Волги *серушка*, очевидно, происходит от того же финского корня *сeрг*. Шведы называют красноперку, рыбу, с которой повсеместно смешивают плотву, *sarf* (у финнов-суоми *sorva*).

Мы уже упоминали, что во французской Швейцарии красноперку (*Scardinius erythrophthalmus*) называют *plate*, *platelle*, *plateron* (савойский берег), в Энгадине *plotta*, в кантоне Тичино *piotta*. Румыны называют леща *platica*, *platică* (Antipa, стр. 139, 142). У греков (современных) *платица* есть название сазана (*Cyprinus carpio*; Hoffman, стр. 243). У древних греков какая-то рыба носила название *πλώτα* (D'Arcy Thompson, 1947, стр. 203).

Термины *плотва*, *вобла*, *Pleinzen* (*Abramis ballerus*), *Bleitzen* (в Австрии название леща), *Blei* заключают корень *пло*, *пла*, *бла*, *бал*, имеющий всесветное распространение и служащий, повидимому, для обозначения рыбы — *плавающего* в воде существа. Ср. тюркское *балык* (рыба)¹¹, сиамское *пла* (рыба)¹². Того же корня санскр. *plu*, *pri* — плавать, греч. *πλέω*, *πλώω* плавать, нем. *fliessen* (течь, плыть), *Flosse* (плавник), *Floss* (плот), *Fluss*, *Flut*, лат. *pluvius* (дождь).

Сиг (*Coregonus lavaretus*, *Coregonus albula* и др.), нем. *Maräne*, в немецком источнике 1526 г., перечисляющем рыб Пруссии, *marzene*, *marene* (Венеске, стр. 285). Взято с кашубского *brzona* (С. *lavaretus*). Поляки именем *brzana*¹³ обозначают рыбу из другого семейства — усача (*Barbus barbus*); у болгар усач — *мряна*, *мирена*, у украинцев *марена*, *марина*, *мирон*, у румын *мряна* и *бряна*.

Сопя (*Abramis ballerus*), у Даля *сана*, сев.-нем. *Zope* (в источниках XV и XVI вв. *szopen*, *szorpen*; *sz* тогда читалось как *ц*), южно-нем. *Pleinzen*. Наименование сопы следует сопоставить с литовско-латышским названием голавля (*Leuciscus cephalus*) *шапальс*, *шапалас*, *сапальс* (Кипарский, стр. 138), у куров *sapal*. У русских (липован) в дельте Дуная *Abramis ballerus* называется *цона* (Antipa, стр. 146). В древнеиндийском языке *sapharah* означало крупночешуйную карповую рыбу *Barbus saphore*.

Судак (*Lucioperca lucioperca*), сев.-нем. *Zander*, *Sandat* (с конца XV в.), *Zant*, *Zannat*, *Sander*, *Sandert*, *Sandart*, *Sannert* и др., южн.-

¹⁰ Болгарское обозначение леща *платика* напоминает нам такое же эстонское название леща (*Abramis brama*) *latikas*, *latik*, русское *латик* для густеры на Вытегре, финское *latukka* для густеры. Во французской Швейцарии леща местами называют *plattion* (Fatio, I, 1882, стр. 329).

¹¹ Корень слова балык — *бал*. — См. С. П. Толстов, Города гузов, „Советская этнография“, 1947, № 3, стр. 72. Тот же корень *бал* в тюркских языках означает грязь, болото. От этого же корня происходит слав. *блато*, русс. *болото* (Толстов, там же), лат. *palus*.

¹² Н. М. Smith, The fresh-water fishes of Siam or Thailand. U. S. Nat. Mus., Bull. 188, 1945, стр. 34, 612—615.

¹³ У Ржончинского *barwana*.

нем. *Amaul*, чеш. *candát*, польск. *sandacz*, кашуб. *sendacz*, укр. *сундак, сандак, сандач*.

Сырть (*Vimba vimba*), сев.-нем. *Zärthe*, южно-нем. *Russnase*, поляки *cyrta, certa, syrt*, кашубы *certa*. Русские называют эту рыбу сыртью только в бассейне Балтийского моря, на Украине же она носит имя *рыбец*.

Уклея (*Alburnus alburnus*), сев.-нем. *Uckelei*, также *Ickelei*, в древности *okeleu*, южно-нем. *Laube*. Болгары *уклейка*, поляки *ukleja, uklej, okleja*, чехи *ouklei*, словаки *uklajka, oklajka*, кашубы *ukleja, uklej, wakleja*, украинцы *уклій, уклія, оклія, уклева*, карпатские украинцы *зуклея*, сербы *укльева, уклива*, словены *клеј*, румыны в Добрудже *oclee, uclei* (Антипа). Русские на Ильмене и на востоке (Кама, средняя Волга) называют эту рыбу *шекля, башкля*, на Белоозере и Чарандском озере *вашкол, вашкал* (очевидно, с финского). Литовцы *aukšlė* (аукшле), латыши *juglinsch*. Возможно, что лит. *аукшле*, слав. *уклея, шакля* и *вашкол, вашкал* одного корня (см. Берг, 1933, стр. 758).

Нельзя ли сопоставить *уклея, уклива* с *clupea*, названием маленькой речной рыбы (Плиний; в научной номенклатуре имя *Clupea* приурочено к морской сельди *Clupea harengus*)? Есть предположение, что южногерманское название уклейки *Laube* одного корня с *clupea* (Walde, 1938, стр. 240, считает это последнее мнение неосновательным). По-шведски уклея *löja*; не родственны ли эти имена? Ср. также слав. название (русс., укр., серб., словен., болг., чеш., польск.) *клень, клен*, прилагаемое к ельцу (*Leuciscus leuciscus*) и голавлю (*Leuciscus cephalus*). Не родственен ли корень этого слова фин. *kilo* (см. ниже, килька)?

Из предыдущего ясно, что в южной Германии, например в Баварии, для рыб существуют германские названия рыб, в Пруссии же немецкие наименования заимствованы у славян. Как известно, еще в XI в. границы Польши простирались на западе до Одера и даже западнее. Балтийско-полабские славяне на запад распространялись за Эльбу (Лабу).

Есть и в южной Германии славянские названия рыб. О *Blicke* и *Karausche* мы уже говорили. Помимо того, в Баварии вьюн (*Misgurnus fossilis*) носит немецкое название *Bisgure* (отсюда книжное *Misgurnus*), *Pisker, Peisker, Pietzker, Peitzker*, что есть искажение слав. *пискун*, под каковым названием эта рыба местами известна и у нас; у поляков и кашубов *piskórz*.

Язя (*Leuciscus idus*) местами немцы называют славянским именем *Jesen, Gäse* (чехи *jesen*, сербы *jaz*, поляки *jaź*). Другое немецкое название язя, *Gängling*, того же корня, что и язь. Возможно, немецкое название *ельца* (*Leuciscus leuciscus*)¹⁴ *Häsling* родственно славянскому язь: у мазуров елец называется *jasz*, у эстов чудской сиг *iäs*.

Теперь остановимся на названии карпа (или сазана), которое тоже возможно, заимствовано германцами у славян.

Сазан (*Cyprinus carpio*) свойствен бассейнам Черного, Каспийского и Аральского морей, будучи приурочен к низовьям рек и к опресненным частям названных морей. Однако путем искусственного разведения эта рыба теперь широко распространилась по земному шару. Название *сазан* заимствовано у тюркских народов. Этим самым именем обозначают *Cyprinus carpio*, например, волжские татары, казахи, каракалпаки, узбеки, азербайджанцы. Тем же термином поль-

¹⁴ Елец (*Leuciscus leuciscus*) — название загадочного происхождения. Возможно, оно имеет корня *Alet, Alat*, прилагаемое в немецкой Швейцарии к близкому виду — голавлю (*Leuciscus cephalus*) (см. Siebold, 1863, стр. 406; Fatio, I, 1882, стр. 559). Швенкфельд (1603, стр. 446) приводит для голавля названия *Alatt, Altte, Eltte* — очевидно, в Силезии. Геккель и Кнер (1858, стр. 184) для Австрии — *Allt, Elten, Elt*.

зуются и русские на Волге, на Куре, в Средней Азии, на Амуре, также местами греки в Греции. Однако у южновеликорусов эта рыба носит название *карп*¹⁵, *карпия*, *корон*¹⁶, у поляков *karp*, у кашубов *karp*, *karpie*, у болгар *кранъ* (помесь между сазаном и карасем на Днестре у русских называется *кран-карась*), у сербов *кран*, у румын *crap*, у чехов *капр*. Немецкое *Karpfen*, *Karpfe*, *Karp*, *Karpe*, очевидно, заимствовано у славян (*карп*). Латинское *carpa* впервые упоминается в 533 г. Кассиодором: Дунай, говорит он, доставляет карпов (*destinet carpat Danuvius*) (Кипарский, стр. 138). По-персидски на южном берегу Каспия в Гиляне *копур* (сообщение ихтиолога А. М. Шуколюкова). У греков (Аристотель) *κίπρινος*, откуда литературное *Сурпинус* (встречается у Плиния). Греческое наименование ближе всего к персидскому и чешскому¹⁷.

Несостоятельно предположение Бернекера (стр. 575), будто *корон* можно сопоставить с укр. *коропавий* — грубый, ибо „карп со своей крупной чешуей дает повод к такому названию“ (Кипарский, 1934, стр. 137). Как указывает Кипарский (стр. 138), Миклошич и Шрадер высказали предположение, что корень *карп* заимствован у первоначального населения Европы.

Во всяком случае, корень этот очень древний. Греческие авторы приводят название *κίπρινος* для какой-то рыбы, водящейся в Ниле. Сазан в Ниле не встречается, но есть карповые рыбы с крупной чешуей. D'Arcy Thompson (1928, стр. 27; 1947, стр. 136) предположительно сопоставляет *κίπρινος* с египетским названием какой-то рыбы *chepri*.

Возможно, что тюркское *турпю* (см. ниже) одного корня с *сурпинус*. Ср. фин. *turppa*, которым обозначают жереха (*Aspius aspius*).

2. Переходим теперь к славянским названиям рыб, родственными как индоевропейским, так и финно-угорским, а частью тюркским терминам.

Примером может служить *лосось* (*Salmo salar*), широко распространенный в Европе в бассейнах Северного, Балтийского, Баренцова морей. Некогда он встречался в изобилии в бассейне Черного моря. До сих пор он ловится в Каспийском море и его притоках. Корень этого слова свойствен всем славянским языкам: у чехов *losos*, у поляков *łosoś*. У немцев — того же корня *Lachs*, древненемецк. *lahs*, у шведов *lax*. У литовцев *lâszis*, у латышей *lasis*, у прусов *lasasso*. У тохаров, среднеазиатского народа, говорившего на одном из индоевропейских языков, какая-то рыба (вероятно, из мелкочешуйных карповых) называлась *laks*. Но замечательно, что того же корня наименование лосося и в финских языках: у финнов (суоми) и карелов *lohi*, у вепсов *лохи*, у эстов *lôhi*. Отсюда вторичное заимствование у русских: *лох* (половозрелый самец лосося — на севере). У лопарей (саами) *luossa*, *luosa*, *luõssa*, *luos*, *luss*, *luoss*, *luõss*.

Другой пример. *Угорь* (*Anguilla anguilla*) имеет общеславянское наименование: у поляков *węgorz*, у кашубов *wengorz*, у сербов *jeгуља*, *угор*, у македонцев *ягула* (Ковачев, стр. 111), у чехов *ouhoř*. У литовцев *ungurys*, у прусов *angurgis*. Латин. *anguilla*, греч. *εγγέλις*, *ἐγγέλις* того же корня. Но вместе с тем по-фински *ankerias*, у эстов *angerias*.

Как мы видели, название угря и лосося одного корня у балтийцев (литовцев, прусов, латышей) и у западных финнов. Специалисты

¹⁵ Род. падеж *карпа*, а не *карпѣ*, как неправильно у Преображенского. Равным образом прилаг. не *карпѣвый*, как у Преображенского, а *карповый* (общеупотребительно у зоологов; ср. также у Даля: *карповый*).

¹⁶ Также *шаран*, болг. и молдав. *шаран*.

¹⁷ Старые ихтиологи сопоставляли *Сурпинус* с *Κύπρις* (Киприда, Венера) якобы по причине большой плодовитости карпа. А *carpio* выводили из *καρπός* — плод по той же причине. Но эти этимологии явно несостоятельны.

финноведы считают (Thomson, 1890, Бубрих, 1947), что западные финны, пришедшие на берега Балтийского моря с востока, очень многое в языковом отношении заимствовали у балтийцев. Данные по названиям рыб подтверждают это предположение: угря, например, на востоке русской равнины нет, и название этой рыбы предки западных финнов должны были заимствовать у балтийцев. С другой стороны, на берега Балтийского моря финны должны были принести знакомство с такими широко распространенными рыбами, как осетр (суоми *sampi*), судак (суоми *kuha*), сом (суоми *säkiä*) и др. Далее (Thomson, 1890 и Бубрих, 1947)¹⁸, принимают, что некогда (около начала нашей эры, а может быть и ранее) балтийцы в области Западной Двины и верхнего Днепра вклинивались между славянами и финнами. И это подтверждается названиями рыб: у финнов нет славянских названий рыб (кроме недавних заимствований из русского, каковы, например, русс. *ёрш*, карел. *йорсси*, вепс. *йорши*, суоми *kiiski*; пескарь на Койвисто *piskari*; карась там же и у ижбóров *karussi*, — впрочем, возможно, этот термин и не заимствованный: у эстов *karus* — судак, у ижбóров *sudakka*; уклейка у них же *uklekka*), так как финны и славяне в те времена не были соседями. В русском языке, как мы увидим далее, есть ряд финских названий рыб; однако это также явление позднейшего времени, связанное с продвижением русских на север.

Щука (*Esox lucius*), болгары *щука*, поляки *szczupak*, чехи *štika*, сербы *штучка*, карпатские украинцы *чука*, *щука*, мадьяры *czuka*. Возможно, что все эти слова родственны фин. *hauki* (покойный академик Б. М. Ляпунов подтвердил в личной беседе возможность такого сопоставления, каковое, впрочем, не принимается Д. В. Бубрихом — личное сообщение), эст. *aug*, *awi*.

Выше мы привели ряд названий рыб, общих многим индоевропейским и финским языкам.

Укажем еще на следующие: *осётр*, *осетёр* (*Acipenser sturio*, A. güldenstädti и др.), болгары *несемпа*, *есемпа*, сербы *јесемпа*, чехи *jeseler*, поляки *jesiotr*, латыши *stuhre*, *stohre*, *store*, литовцы *eršketras*, прусы *eskretres*, эсты *tuur*, ливы *tühr*, румыны в дельте Дуная *nisetru*. Нем. *Stör*, древнегерман. *sturo*, *sturjo*. Рыбы этого рода распространены по всей Европе и в северной Азии. Однако у финнов (суоми) *sampi*; у казанских татар (*шамби*) и у чувашей (*шампа*) этот термин относится к налиму (зоологическое название *Lota lota*). Возможно, что того же корня *сом*, польск. *sum*.

Того же корня, что осетр, и *стерлядь* (*Acipenser ruthenus*), нем. *Sterlet*, заимствованное у славян¹⁹. У сербов *кечига*, у поляков *czesuga*²⁰, у мадьяр *kescege*, у карпатских украинцев *кечеге*, у украинцев в низовьях Днепра и Днестра *чечуга*, у болгар *чига*, у молдаван *cigâ*, *ciciugâ*, *ceciugâ*. Весьма замечательно, что у мари (черемисов) стерлядь называется *суга*, *суге*, у чувашей *сугу* (Ревнивых, стр. 210). Вероятно, это наименование попало в украинские степи через посредство мадьяр во время их передвижения на юго-запад. Не родственны ли термины *суга*, *hauki*, *щука*?

Немецкое название белуги (*Huso huso*) *Hausen* родственно польскому наименованию той же рыбы — *wiz*, *вуз* и украинскому *виз*, каковым словом в низовьях Днепра и Днестра обозначают помеси осетровых рыб. Румыны в дельте Дуная именем *viză* называют осет-

¹⁸ Д. В. Бубрих, Происхождение карельского народа, Петрозаводск, 1947, стр. 11.

¹⁹ Нет никаких оснований думать, чтобы название этой рыбы, свойственной Восточной Европе, было заимствовано русскими из германских языков (ср. *Stör*), как думает Преображенский (II, стр. 384). Berneker (I, стр. 265) считает происхождение имени осетр темным.

²⁰ Но также *sterla*.

ровую рыбу — шипа (*Acipenser nudiiventris*). Болгары ту же рыбу называют *виза*.

Бершом на Волге называют восточного судака (*Lucioperca volgensis*). Но это же имя в Германии прилагают к родственной рыбе, окуню (*Perca fluviatilis*) — *Barsch*, *Bärsch*, *Börsch*, *Bars*, *Berschke*, *Pörschke*, *Perschke*, *Perske*, *Barschig*. Того же корня греч. *πέρκη*, лат. *perca*, франц. *perche*.

Пескарь (*Gobio gobio*) по украински называется *кобль*, *кобл*, *кобель*, *коба*, *коблик*, у карпатских украинцев *ковблык*, *говбень*, *глобень*, у белорусов *келбук*, у поляков *kieib*, *kieib*, *kieib*, *kieib*, *kieib*, *kieib*, у кашубов *kelpg*, *kielb*, *kielbch*, у литовцев *kilbukas*. У австрийских немцев подкаменщик (*Cottus gobio*) называется *Korpe*, *Kopp*, *Korpen*, в Тироле *Tolbn*, *Dolm*, (Heskel und Kner, стр. 31). Все эти слова родственны классическим *gobio* (*cobio*) и *gobius* (*cobius*), греч. *κοβίος*. В современном греческом языке *κοβίος*, *κοβία* обозначает и *Gobius* (рыба, носящая на Черном море название бычок), и *Gobio* (пескарь); см. D'Arcey Thompson, 1947, стр. 137. Того же корня *κοβίτις* (*Cobitis*). Пескарь — рыбка, широко распространенная в Европе и северной Азии.

3. К третьему типу славянских названий рыб мы относим такие наименования, которые являются общими с финскими языками.

Замечательно, что в русском языке нет собственного названия для *хариуса* (*Thymallus*)²¹, рыбы, свойственной преимущественно северным рекам, впадающим в Балтийское и Ледовитое моря. Хариус или хайрюз — финское наименование, *harjus* (у лопарей или саами в Финмаркене *harre*). Подобно русским, и шведы пользуются для наименования этой рыбы финским корнем (*harr*)²².

От финнов же заимствованы названия ряда северных рыб:

Сиг, суоми *siika*, вепсы *siigu*, эсты *sig*, коми-зыряне на Печоре *жыган*, шведы *sik*, литовцы и куры *sykas*.

Ряпушка (*Coregonus albula*), суоми *reäpys*, эсты *räbis*, *räbus*, саами (лопари) *repas*, латыши *repsis*.

Салака — так на берегах Финского залива русские называют балтийскую сельдь (*Clupea harengus membras*); в других местах севера иногда *салагой*, *салакушкой* называют похожую на сельдь рыбу — уклейку (*Alburnus alburnus*). У финнов уклейка *salakka*, эстов *salakas*, карелов *šalakka*, вепсов *salag*; у ливов *salak* — корюшка, у латышей *šalaka* — корюшка.

Килька (*Sprattus sprattus balticus*), суоми *kilo*, эсты *kilu*. Название *килец* (*Coregonus albula kiletz*) носит на Онежском озере глубоководный озерный сиг из группы ряпушек. Замечательно, что на Боденском озере глубоководный озерный сиг *Coregonus lavaretus acronius* называется *Kilch*, *Kilchen* (Fatio, II, 1890, стр. 254). Это же название прилагают к тому же глубоководному сигу в баварском озере Ammersee. Название *Kilch* для сига Боденского озера упоминается у Геснера, 1558, стр. 37.

²¹ У западных славян есть свое название для хариуса: *липень* — у сербов (*липен*), чехов (*липан*), поляков (*Иpień*).

²² Хариус по-немецки *Aesche*, *Asche*. Происхождение этого слова не известно. Карстен (Т. Е. Karsten, Germanisch-finnische Lehnwortstudien, Acta soc. scient. fennicae, vol. 45, № 2, Helsingfors, 1915, стр. 251) полагает, будто немецкое название хариуса происходит от слова *Asche*, — пепел, ибо рыба эта «пепельносерого цвета». — Ихтиологи никак не могут согласиться с таким предположением, ибо хариус не более «пепельносер», чем десятки других пресноводных рыб. Далее, тот же автор думает, что фин. *asikko* — форель заимствовано от герм. *Asche*. Вообще, произведение Карстена переполнено тенденциозными и фантастическими соображениями насчет прежнего распространения германцев на восток (вроде того, что *Нарва* (город) германского корня, и т. п.).

Камбала, суоми *kampela*, у саами или лопарей *kambel* ²³.

Треска, суоми *turska*, эст. *tursk*, *turss*, *turts*, у саами (лопарей) *dorske*, *torska*, *torske*, у шведов *torsk*, у нем. *Dorsch*.

Корюшка, *корюха*, суоми *kuore*, олонекские финны *kuoreh*.

Сельдь, суоми *silli* (и *haili*), у саами (лопарей) *silddi*, у эстов *silke*, у литовцев *silke*, у прусов *syleke*, у поляков *śledź*, у кашубов *sledz*. Того же корня *селява*, как на Украине называют похожую на сельдь шемаю (*Alburnus chalcoides* или *Chalcalburnus chalcoides*) и частью уклейку (*Alburnus alburnus*), а в Белоруссии — ряпушку (*Coregonus albula*). У поляков ряпушка *sielawa*. У русских на Печоре и на Оби сибирская ряпушка (*Coregonus sardinella*) носит название *сельдь*, *зельдь*, у коми (зырян) *сельга*, *сельги* (то же название коми прилагают на Оби к тугуну, *Coregonus tugun*). Надо сказать, что ряпушка по внешнему виду очень похожа на сельдь (хотя рыбы эти относятся к разным семействам).

Таймень (*Salmo trutta*), у суоми *taimen*, эсты *taim*.

Кумжа (*Salmo trutta*), суоми *kumsi*, карелы *kumpsi* (Kalima, стр. 142), саами (лопары) *чувича*, *куовча*, *кувче*, *гувича*.

Возможно, что непонятное русское и украинское наименование окуня (белорусы *вокунь*, поляки *окуń*, чехи *okoun*, кашубы *окоп*) родственно финскому *ahven*, эст. *ahven*, *ahun*, ижор. *afen*, у коми (зырян) и пермяков *о́кыш*, *ё́куш*, *еки*, *жо́кыш*, саами (лопары) в Норвегии *вуоско*, на Кольском п-ве *воск*. Из *ahven*, *ahun* могло получиться *окунь*, ибо финскому *a* соответствует русское *о*: ср. фин. *akkuina*, русс. *окно*; фин. *tappura*, русс. *топор*.— Преображенский (стр. 645) приводит совершенно неприемлемое объяснение: от око, „потому что рыба эта имеет большие глаза“.— У восточных украинцев *окунь*, но у карпатских украинцев *кострыш*, *острах*, *стрихан* (Владыков, стр. 20), *костриш*, *костриж*, откуда румынское в Молдавии *костриш*, *коструш* (Aptira, стр. 14). Возможно, что термин окунь принадлежит древнейшему населению Европы, от которого его унаследовали и славяне и финны. Окунь (*Perca fluviatilis*) — это распространеннейшая рыба Европы и Азии (есть и в Северной Америке).

Отметим некоторые любопытные языковые связи. Голавль (*Leuciscus cephalus*) на Луге у русских носит название *турбак*; это ижорское слово *turbakka*. У финнов-суоми голавль называется *turvas*, *turpa*, у эстов *turbas*, *turvas*, *turb*, *turva*, у мари (черемисов) *труппака*. Близкая к голавлю рыба *Leuciscus schmidtii*, у русских на Иссык-куле *чебак*, у киргизов на Иссык-куле носит название *турпю*. Быть может, с этим же корнем можно сопоставить литовское название язя (*Leuciscus idus*) *topar*, откуда у немцев в Пруссии *Topar*, *Tapar*, *Tabarre* (Венеске, 1881, стр. 133).— На севере название *морна* прилагается русскими к форели (*Salmo fario*) и кумже (*Salmo trutta*) — от фин. *torppi* (форель).

Быть может, общее название для близких карповых рыб — *турпа* у финнов и *турпю* у киргизов — есть воспоминание о том времени, когда предки финнов и киргизов сидели рядом где-нибудь в области Алтая и Саян.

4. Займствования из тюркских языков. В низовьях Дона *судак* (*Lucioperca lucioperca*) носит название *сула*. Так до сих пор татары на Каме (*сула*) и каракалпаки на Аральском море (*сла*) называют эту рыбу. Родственное название у чешских и трансильванских немцев — *Schiel*, *Schill*, у чехов *śil* (но также *candát*), у мадьяр

²³ Название камбалы широко распространилось далеко за пределами обитания финских народов: у румын *cambula*, у русских в дельте Дуная *камбула* (Aptira, стр. 91).— В словаре Преображенского (1910, стр. 288) термин камбала отнесен к числу необъясненных.

süllö, у карпатских украинцев *шуллю* (с мадьярского), у болгар в Бургасе *сулка* (Ковачев, стр. 23). Надо думать, что тюркское наименование судака *сула* занесено венграми в бассейн Дуная — к немцам, а от них к чехам.

Черноморско-азовская проходная плотва (*Rutilus rutilus heckeli*) носит название *тарань*. Это — тюркское слово, прилагаемое обычно к лещу (*Abramis brama*), рыбе из семейства карповых, довольно близкой к плотве. В дельте Волги таранью называют густеру и других малоценных карповых рыб. Казахское название леща — *тран*.

Рыба из осетровых *севрюга* (*Acipenser stellatus*) носит тюркское название. Ее славянское название *пестрюга* (украин.; поляки *pistruha*, сербы *паструга*, болгары *паструга*, румыны и молдаване *pastrugă*). У немцев на Дунае *Scherg*, что одного корня с термином севрюга, у татар *сюрюк*²⁴, у мадьяр *söreg*.

Лещ на Дону²⁵ называется *чебаком*. *Чабак* это обозначение леща у казахов и каракалпаков на Аральском море и впадающих в него реках; у татар на средней Волге и у башкир *чабак* — это плотва; у чувашей *супах* — это лещ. Чебаком русские во всей Сибири называют сибирского ельца (*Leuciscus leuciscus baicalensis*), на Иссык-куле *Leuciscus schmidtii*.

Выводы

1. Германцы, проникшие в средние века с запада в северо-восточную Германию и Польшу, заимствовали у аборигенов — славян (балтийских славян) очень много терминов, относящихся к рыбам.

2. Нет ни одного, достоверно доказанного, заимствования славянами названий рыб у германцев.

3. Общность названий лосося, угря и миноги у ряда индо-европейских и финских языков указывает, что народы, говорившие на этих языках, с древнейших времен соприкасались между собой на берегах Балтийского моря.

4. Есть ряд названий рыб, унаследованных современными языками из языков древнейшего населения Европы; таковы: *плотва* (*вобла*), *карп*, *осетр*, возможно *окунь*.

5. Корень *бла*, *пла*, *бал*, *пал*, в первоначальном значении „рыба“, имеет широчайшее распространение у самых разнообразных народов Европы и Азии — у славян (от них у германцев), тюрков (от них у финнов), греко-романских народов, сиамцев (или тай). О том, что большинство языков Европы и Азии таят в себе какую-то общую древнейшую основу, недавно писала Г. М. Василевич²⁶.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, В КОТОРОЙ ДАНЫ НАЗВАНИЯ РЫБ²⁷

Берг Л. С., Рыбы в: „Фауна России и сопредельных стран“, изд. Акад. Наук, I, 1911, III + 337 стр.; III, вып. 1, 1912, 336 стр.; III, вып. 2, 1914, стр. 337—704; III, вып. 3, 1933, стр. 705—846 (Фауна СССР).

Берг Л. С., Рыбы пресных вод СССР, 3-е изд., 1932—1933, 903 стр. — 4-е изд. печатается. (В этой и предыдущей работах приведены названия рыб не только на русском языке, но и вообще на языках народов, обитающих в СССР.)

²⁴ Западносибирские татары называют стерлядь *сюрик*, *сурук* (Ревнивых, стр. 210). — Сопоставление с фин. *särki* (сорога, плотва), какое делает Преображенский (II, стр. 268), несостоятельно.

²⁵ А также местами на Украине — в Полтавской области.

²⁶ Г. М. Василевич, Материалы языка к проблеме этногенеза тунгусов, „Краткие сообщения Института этнографии АН СССР“, I, 1946, стр. 46—50. Древнейшие языковые связи современных народов Азии и Европы. Труды Инст. этногр. АН СССР, II, М., 1947, стр. 205—232.

²⁷ В этом списке мы обращаем особое внимание на ихтиологические работы. В общих же словарях обычно встречается очень мало данных по рыбам; притом в словарях татарского, марийского, чувашского и других языков много названий рыб, недавно заимствованных из русского.

- Варпаховский Н., Очерк ихтиологической фауны Казанской губернии, Записки Акад. Наук, LII, прил. № 3, 1886, 70 стр. (русские, чувашские, марийские названия рыб).
- Владыков В., Рыбы Подкарпатской Руси, Ужгород, 1926, 147 стр. (украинские, чешские, мадьярские названия).
- Гильфердинг А. Ф., Остатки славян на южном берегу Балтийского моря, Этнографический сборник, изд. Геогр. общ., V, 1862 (кашубские названия рыб).
- Кесслер К., Естественная история губерний Киевского учебного округа. Рыбы, Киев, 1856, 98 стр., 4° (украинские назв.).
- Кесслер К. Описание рыб, которые встречаются в водах С.-Петербургской губернии, СПб., 1864, 240 стр. (русские и ижорские названия).
- Ковачев В. Т., Сладководна та ихтиологична фауна на България, Архив на Мин. на земл. и държ. имоти, III (1922), София, 1923, стр. 1—165.
- Николичский Н. В., Русско-чувашский словарь, Казань, 1910, 640 стр.
- Панчић Јосиф, Рибе у Србији. Гласник Друштва Србске словесности, XII, Београд, 1860, 171 стр. (оттиск в библиотеке Зоол. инст. Акад. Наук СССР; сербские названия).
- Преображенский А., Этимологический словарь русского языка. М., 1910—1916, I, XXIV + 674 стр.; II, 416 стр. (не окончено).
- Ревнивых А. И., О местных названиях рыб Урала, Труды Урал. отделения Инст. озер. и речн. рыбн. хоз., III, Свердловск, 1941, стр. 208—222.
- Рогов Н., Пермско-русский и русско-пермский словарь, СПб., 1869, изд. Акад. Наук, VI + 415 стр.
- Русско-татарский словарь, Казань, 1938, 667 стр.
- Савваитов П., Зырянско-русский и русско-зырянский словарь, СПб., 1849, типогр. Акад. Наук, VI + 497 стр.
- Шарлемань М. і Татарко К., Назви хребетних тварин, изд. Украин. Акад. Наук (Словник зоологічної номенклатури. Част. II), Киев, 1927, 125 стр.
- Antipa Gr., Fauna ichtiologica a României. Academia Română. Public. fondului V. Adamachi. XVI, Bucuresti, 1909, 294 стр.
- D'Arcy W. Thompson, On Egyptian fish-names used by Greek writers, Journ of Egyptian Archeology, XVI, 1928, стр. 22—33.
- D'Arcy Wentworth Thompson, A glossary of Greek fishes, Oxford University press, London, 1947, VI + 302 стр.
- Benecke B., Fische, Fischerei und Fischzucht in Ost- und Westpreussen, Königsberg, 1881, 514 стр. (немецкие, славянские, литовские названия в Пруссии. Прусские названия приведены по немецко-прусскому словарю, относящемуся к началу XV в. и составленному в Мариенбурге, что в низовьях Вислы, стр. 279).
- Berneker E., Slavisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1908—1913, I, 760 стр., II, 80 стр. (не окончено, до слова морь).
- Fatio V., Faune des vertébrés de la Suisse, vol. IV—V. Histoire naturelle des poissons, Genève, I, 1882, 786 стр.; II, 1890, 576 стр.
- Frič Ant., Česke ryby, Praha, 1859, 56 стр. (оттиск из журнала Živy, 1859).
- Gesner Conrad, De Piscium et Aquatilium animantium natura, Tiguri (Цюрих), 1558, folio, 38 нумер. + 1297 стр. (немецкие и многие другие названия рыб; весьма важный источник; книга есть в библиотеке Зоол. инст. АН СССР, Ленинград).
- Hackel J. und Kner R., Die Süßwasserfische der Österreichischen Monarchie, Leipzig, 1858, XII + 388 стр. (названия рыб у народов Австро-Венгрии).
- Hoffman H. A. and Jordan D. S., A catalogue of the fishes of Greece, with notes on the names now in use and those employed by classical authors. Proc. Acad. Nat. Sci., Philadelphia, 1892, стр. 230—285.
- Jarocki F. P., Zoologia, IV, Ryby, Warszawa, 1822, VII + 464 стр. + указатель (польские названия).
- Kalima Jalo, Die ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen, Helsingfors, 1915, XV + 265 стр., диссертация.
- Kiparsky V., Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen, Annales Acad. scient. fennicae, ser. B, XXXII, No. 2, Helsinki, 1934, 329 стр.
- Kluge F., Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 10. Aufl., Berlin und Leipzig, 1924, XVI + 558 стр.
- Mela A. J., Suomen luurankoiset (Vertebrata fennica), 2-е изд. под ред. К. Е. Кивirikko, Porvo, 1909, 532 стр. (финские и карельские названия).
- Miklosich F., Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886, VIII + 548 стр.
- Novicki M., O rybach dorzeczy Wisły, Styru, Dniestru i Prutu w Galicyi. Kraków, 1889, IV + 54 + 27 стр. (стр. 52—53 список местных названий рыб).
- Quigstad J., Lappiske navne paa pattedyr, krybdyr og Padder, Fiske etc. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, Bd. 42, 1904, рыбы стр. 372—379 (у саамов).
- Ramulł Stefan, Słownik języka pomorskiego, czyli kaszubskiego, изд. Крак. акад. наук, Kraków, 1893, XLVIII + 298 стр., 4°.
- Riikoja H., Kodumaa kalad, Tartu, 1927, 136 стр. (эстонские названия).
- Rzeczyński G., Historia naturalis curiosa regni Poloniae, magni ducatus Litvaniae etc., Sandomiriae, 1721, XVI + 456 + XVI стр.

Rzączyński G., Auctuarium historiae naturalis curiosae regni Poloniae, magni ducatus Litvaniae etc., Gedani (Гданск, Данциг), 1736, 504 стр.

Schneider Gu., Einige Bemerkungen zur Fischkunde in den Ostseeprovinzen, Korrespondenzblatt Naturforsch. Vereins, Riga, XLIV, 1901, стр. 18—20; XLVII, 1904, стр. 65—66 (эстонские, финские, шведские названия).

Siebold C. Th., Die Süßwasserfische von Mitteleuropa, Leipzig, 1863, VIII + 431 стр., особенно стр. 396—407 (немецкие названия).

Schvvenckfeld Casp., Theriotropheum Silesiae, Lignicii (Лигниц), 1603 (в конце книги указан год 1604), 22 нумер. + 563 + 4 нумер. стр. (немецкие названия).

Walde A., Lateinisches etymologisches Wörterbuch, 3. Aufl. von J. B. Hofman. I, A.—L. Heidelberg, 1938, XXXIV + 872 стр.

Wałęcki A., Przyczynek do fauny ichtyologicznèj, Pamiętnik fizyjoğraficzny, X, No. 3, 1890, стр. 273—303 (польские названия).

А. П. СМЕРНОВ

ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЕ ПАМЯТНИКИ НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Вопросу о древнем славянском населении юго-востока Европейской части СССР посвящено немало работ. Поднятый в свое время В. Ламанским¹, он разрешался положительно многими историками, в том числе Иловайским². Положительно решал его и А. А. Шахматов, основавший свое мнение на свидетельстве восточных писателей, из числа которых этого вопроса касались Масуди и аль-Белазури. Первый из них отмечает, что берега Дона заселены многочисленными славянскими народами: «Большая часть их племен суть язычники, которые сожигают своих мертвецов и поклоняются им, что же касается язычников, находящихся в стороне Хазарского царя, то некоторые из них суть славяне и Русы. Они живут в одной из двух половин этого города и сожигают своих мертвецов с их выюнным скотом, оружием и украшениями»³. Аль-Белазури, писавший во второй половине IX в., отмечает, что Мерван взял в плен в земле хазар 20 000 человек⁴. А. Шахматов, опиравшийся на эти сведения, указал, что многие названия рек в бассейне среднего Дона и Донца — славянского происхождения. Однако, несмотря на определенные исторические данные, заставившие А. Шахматова вслед за Голубовским признать наличие славян не только на Дону, но и далее на юго-восток, положительное разрешение этого вопроса не получило общего признания. Ю. В. Готье в своей работе «Железный век в восточной Европе»⁵ отрицает возможность широкого проникновения славян в юго-восточную Европу в хазарский период. Эту проблему он расчленяет на два вопроса. Первый относится к славянскому населению в хазарских городах и разрешается положительно. Об этом говорят почти все восточные писатели, об этом свидетельствует наличие славянских судей в Итиле. Русское население имелось и в Саркеле, где было найдено большое число русских вещей и открыты славянские поселения. Второй вопрос — о славянском внегородском населении — разрешался им отрицательно. С недоверием отнесся к свидетельству аль-Белазури и Гаркави, считавший, что Мерваном были взяты в плен славянские дружины, служившие в хазарском войске⁶, причем цифру 20 000 он считает преувеличенной. Вестберг совершенно отрицал возможность пленения Мерваном славян; он полагал, что название Сакалиба прилагалось к аланам, о которых здесь и идет речь⁷. Различные мнения по этому вопросу показывают, что он не может быть разрешен без привле-

¹ В. И. Ламанский, О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании, Ученые записки второго отделения Академии Наук, кн. V, СПб., 1859, стр. 74.

² Д. Иловайский, Розыскания о начале Руси, Ж. М. Н. Пр., М., 1882, стр. 74—81.

³ Гаркави, Сказания мусульманских писателей о славянах и русских, СПб., 1870, стр. 38.

⁴ Там же, стр. 38.

⁵ Ю. В. Готье, Железный век в восточной Европе, ОГИЗ, 1930, стр. 88—89.

⁶ Гаркави, Указ. раб., стр. 41—43.

⁷ См. Журнал Министерства народного просвещения, 1908, № 2, стр. 365.

чения новых материалов, которые позволили бы разобраться в не совсем точных сведениях восточных писателей. Археологический материал несомненно может разрешить этот неясный вопрос.

Среди археологов мы встречаем также сторонников как первой, так и второй точек зрения. А. А. Спицын полагал, что в этой области (юго-восток) несомненных следов пребывания русских пока не найдено, хотя и открыты вещи курганных типов XI в.⁸, вообще же юго-восток был заселен иранской народностью⁹. Последние работы М. И. Артамонова дали возможность этому исследователю утверждать, что славяне появляются на юго-востоке не ранее конца X в.¹⁰

Этой же точки зрения придерживается и Ляпушкин, который считает, что от побережья Черного и Азовского морей вплоть до северной границы с лесостепью до X в. никаких поселений с памятниками, свойственными древнейшей славяно-русской культуре, известными нам по собственно славянской территории, здесь мы пока не знаем. Многочисленные поселения этой поры принадлежат так называемой салтовомаяцкой культуре, этнически пока не определенной. По мнению автора, славяне появляются там в конце X в. и остаются до XII в.¹¹ На других позициях стоит В. Мавродин, считающий славян автохтонным населением юго-востока¹². На близких позициях стоит и А. Арциховский, на основе изучения керамики полагавший, что этот край был издавна заселен славянами¹³. Эта точка зрения подтверждается и археологическим материалом, правда, пока еще не очень значительным. Анализ курганных погребений эпохи раннего средневековья позволяет выделить небольшое число памятников, которые не могут быть связаны с сарматами и хорошо сопоставляются с трупосожжениями славян. К их числу следует отнести курганы, открытые в Нижнем Поволжье, у села Денгоф Саратовской области. Первый из них, обозначенный Е—7, представляет сильно размытую насыпь 0,20 м высотой и диаметром около 9 м. Квадратный раскоп 3 м ширины открыл остатки сожженного на древней поверхности костра из дубовых стволов и веток. Сохранившаяся часть кострища позволяет заключить, что материал для костра был сложен в виде квадрата 2,5—3 м ширины. Около обугленных веток с северной стороны в подстилающей почве замечены небольшие пятна красноватого обжига. В центре и в юго-восточной поле кургана обнаружены в виде беспорядочных вкраплений мелкие угольки и комочки докрасна прокаленной почвы. В том же слое, в центре, среди угольков, найдены осколки конских бабок. Ни ямы, ни следов грунтового выкида под насыпью не обнаружено¹⁴.

Того же типа курган Е—13, расположенный у села Эндерс на левом берегу р. Большого Карамона, где в центре насыпи на глубине 0,75 м от поверхности были обнаружены остатки кострища. Сохранившаяся периферийная часть костра состоит из полуистлевших и обугленных березовых и дубовых плах 0,15—0,20 м толщины. Судя по расположению остатков, кострище занимало площадь 3 м² в поперечнике. В восточной части кострища найдены в небольшом количестве мелкие остатки жженных костей и незначительный обломок черепа крупного животного¹⁵. Таков же и курган Е—14 у села Прайс, где обнаружены

⁸ Там же, кн. VIII, СПб., 1899, стр. 48.

⁹ Там же, СПб., январь, 1909, стр. 56.

¹⁰ М. И. Артамонов, Средневековые поселения на Нижнем Дону, 1—1933, стр. 42.

¹¹ Материалы и исследования по археологии СССР, М., 1941, № 6, стр. 191.

¹² В. Мавродин, Славяно-русское население Нижнего Дона и Северного Кавказа в X—XIV вв., Ученые записки Ленингр. педагогич. ин-та им. Герцена, т. XI, Л., 1938, стр. 48.

¹³ А. В. Арциховский, Лекции по археологии, ч. II, М., 1938, стр. 62—63.

¹⁴ Труды секции археологии РАНИОН, IV, М., 1928, стр. 1432.

¹⁵ Там же, стр. 432.

остатки кострища, находившегося в насыпи на глубине 45 см. К сожалению, курган был разграблен и обряд погребения проследить не удалось.

Несколько больше материала дал курган Д—42¹⁶, овальный в плане, несколько уплощенной формы, высотой 15 см. На древней поверхности под насыпью прослежены остатки кострища из березовых дров. Почва кругом обожжена. Там же найдены вещи, несколько поврежденные пожаром: острое, железный нож, бронзовая пряжка, украшения и псалии конского убранства. В южной части кургана найдены кости лошади и обломки посуды, сделанной из грубо отмученного теста с краем, покрытым поперечными зарубками.

Таков же по обряду погребения расположенный рядом курган Д—47. Овальный в плане, высотой 0,20 м, он под насыпью хранил остатки костра с одной вещью — серебряной пластиной от пояса, покрытой по краям зернью, и с двумя глазками на поверхности. Почва вокруг была прокалена¹⁷. И, наконец, сюда же относится курган Д—18 полушаровидной формы, диаметром 12 м, высотой 30 см, окруженный неглубоким рвом. Под насыпью не обнаружено следов могильной ямы, но замечены кости животных и угли от костра.

Производивший исследования П. Рау делает следующий вывод о характере раскопанных им курганов с остатками костров. Костер сгорал на месте, от чего происходил больший или меньший прокал почвы как в подстилающем, так и в покрывающем слое мощностью в 10—15 см. Это подтверждается также известным порядком в расположении плах и брусев. Опираясь на тот факт, что наши кострища являются остатками сожигавшихся тут же костров и принимая во внимание размеры этих кострищ, следы действия огня в почве и почти полное отсутствие золы, можно высказать достаточно обоснованное сомнение в самой возможности бесследного уничтожения человеческого тела силой столь слабых сравнительно костров. Следовательно, нет никакого основания усматривать в изучаемых кострищах остатки трупосожжения, — подобное допущение является по меньшей мере преждевременным. На основании наличного материала можно с несомненностью установить лишь следующее: на поверхности почвы или на выровненной вершине кургана зажигался сложенный из дубовых и березовых бревен и веток костер, в который клялись вещи: оружие, конский убор и части коня. Горящий еще костер забрасывался небольшой насыпью. Ясно во всяком случае одно: рассмотренные кострища на основании имеющихся данных нельзя ставить в связь ни с человеческим погребением, ни с трупосожжением. И только при условии непредвзятого подхода к ним, как к памятникам не выявленного еще ритуала, гарантирована та полнота внимательного и осторожного к ним отношения, которая необходима для выяснения их истинного смысла.

По находкам вещей в кургане Д—42 и Д—47 исследователь датирует эти памятники IV—V вв. н. э.

Наиболее интересными из этой категории памятников являются курганы, открытые в 1925 г. близ г. Покровска, занесенные в дневник под №№ 17 и 18 и давшие большое количество вещей¹⁸. Первый из них имеет высоту 0,45 м и диаметр 12 м. При вскрытии насыпи на глубине 20 см в центре кургана обнаружены небольшие комочки обожженной земли и угольки. Здесь же в северо-восточном углу колодца найдены жженные позвонки барана, а рядом и вплоть до горизонта — обломки

¹⁶ P. Rau, *Prähistorische Ausgrabungen auf der Steppenseite des deutschen Wolgagebiets im Jahre 1926*, Pokrowsk, 1927, стр. 72.

¹⁷ Там же, стр. 75—76.

¹⁸ Изв. Краеведческого ин-та при Саратовском гос. ун-те, т. 1, Саратов, 1926, стр. 133.

сбруйных украшений в виде бронзовых золоченых прямоугольных штампованных с орнаментом пластинок и круглых прямоугольных штампованных же блях с изображением львиных голов *en face*. Почти в центре насыпи на той же глубине найдены в кучке скипевшиеся на огне железные трехперые стрелы, обломок железного однолезвийного массивного меча, удила и обломки костяного плоского предмета, хорошо отполированного, имеющего форму пластинки, вроде тех, какие служили для обкладки лука. Все предметы носят следы пребывания на огне и лежат в кучке угля и золы.



Схематическая карта размещения курганов с трупосожжением

Курган № 18, расположенный рядом с № 17, имеет высоту 0,60 м и диаметр 10,50 м. В насыпи были найдены на глубине 0,20 м кости ног с лопатками и обломки ребер молодой лошади, лежавшие в порядке по направлению с юга на север. Около задних ног, т. е. в северной стороне, обнаружена на глубине горизонта и выше куча мелкого угля, золы и обожженной земли, в которой помещались обломки сбруйных украшений в виде прямоугольных квадратных пластинок с остатками позолоты и штампованным орнаментом, изображающим морды львов. Здесь же найдены небольшие, в 4—5 см длиной, бронзовые трапеции с круглыми отверстиями в вершине, обломки костяных пластинок и изогнутая с сохранившимися бронзовыми гвоздиками плоская тонкая бронзовая обойма, очевидно, для обкладки седла. Мелкие кости барана, иногда жженные, попадались здесь же. В обоих курганах, очевидно, имеем трупосожжение.

Анализу материала двух последних курганов посвящена работа Т. М. Минаевой «Погребение с сожжением близ г. Покровска»¹⁹, в которой привлечен сравнительный материал и определена датировка.

¹⁹ Ученые записки Саратовского гос. ун-та, т. VI, Саратов, 1927, стр. 89.

Автор, участник раскопок²⁰, считает, что в обоих случаях мы имеем дело с трупосожжением, произведенным на стороне. Остатки костров были перенесены и засыпаны, также были засыпаны и кости животных, представляющие собой части тризны. Г. М. Минаевой в качестве аналогии привлечен материал, полученный раскопками Самоквасова близ Новогригорьевки Екатеринославской области²¹. В отчете отмечено девять гробниц, не имевших над собой курганных насыпей. По наружному виду они представляют собой круглые, ровные пятна от 10 до 28 м в диаметре, помещающиеся на распаханых полях, но обходимые плугами пахарей и потому поросшие дикими растениями. Исследование их показало, что плуг обходит эти пятна потому, что в них залегает слой камня на глубине одной-двух четвертей от поверхности. Одно из таких пятен, раскопанное Самоквасовым, дало слой камня на глубине 2 четвертей от поверхности. Между камнями оказались зола и железные стрелы оригинальной формы, железное кольцо, глиняный просверленный шарик, несколько золотых и бронзовых бляшек. Тут же между камнями находились угли и обугленные кости человека и лошади. В других могилах были найдены лишь уголь и жженные кости, в одной из них — только черепки разбитого сосуда. В остальных могилах инвентарь был более богат и содержал предметы вооружения и различные орнаментальные бляшки и украшения. Интересна одна деталь погребального обряда: боковые стенки двух могил оказались выложенными булыжником, битым камнем и плитками. В отчете отмечено, что «признаков сожжения трупа на месте его в могиле не было; уголь, жженные кости и все перечисленные предметы помещались в слое черной земли, не имевшей никаких признаков обжигания; под этим слоем чернозема следовал нарушенный материковый слой желтой глины, на котором также не было замечено никаких признаков действия огня. Повидимому, труп покойника, его лошади, оружие и украшения были сожжены вне могилы, а после сожжения, остатки костра собраны, рассыпаны в неглубокой могиле и прикрыты слоем чернозема, а по нем слоем камня». Т. М. Минаева правильно сопоставляет Новогригорьевку с покровскими курганами, так как в Новогригорьевке мы, несомненно, имеем дело с курганным погребением. Курганные невысокие насыпи были, повидимому, распаханы до слоя камня, который не позволил проводить более углубленную распашку и спас тем самым памятники от окончательной гибели. В своей работе Т. М. Минаева связывает эти курганы в одну группу и отмечает, что в обоих случаях мы имеем дело с сожжением, с подчеркнутой ролью коня в погребальном обряде. Она отмечает, что аналогичные погребения известны в Саратовском Поволжье из раскопок Ширинского-Шихматова у села Нижней Добрынки в быв. Камышинском уезде. Вещи, полученные при раскопках, носят следы пребывания в огне. В их числе — однолезвийный меч, трехперые стрелы, двойные удила, бронзовая лента, покрытая золотой пластиной. Все вещи аналогичны новогригорьевским. Разбирая покровский материал, автор отмечает широкое распространение вещей этого стиля. Она приводит аналогии из Южного Поднепровья, из Северного Кавказа, из Молотовской области, из Венгрии, материал из керченских склепов, датируемых III—IV вв. н. э. На основе широкого сопоставления материала она убедительно датирует покровские курганы временем от конца IV—V вв. до VII в. н. э.

Нельзя также пройти мимо курганов, открытых близ с. Буд и Березовки, в Харьковской области, давших ту же картину. Это курганные насыпи полушаровидной формы высотой от 30 до 60 см и диаметром

²⁰ Изв. Краеведческого ин-та при Саратовском гос. ун-те, т. 1, Саратов, 1926, стр. 89, прим. 1.

²¹ Отчет Археологич. комиссии за 1882—1889 гг., СПб, 1891, стр. 52.

15—25 м²². В первом пункте было раскопано два лучше сохранившихся кургана. В одном из них на глубине около 30 см от уровня горизонта обнаружен слой золы мощностью около 60 см. Как в насыпи этого кургана, так и в слое золы ничего не было найдено; такие же результаты дала дальнейшая раскопка его, доведенная до материка. В другом кургане обнаружена зола в небольшом количестве и несколько разрозненных обломков глиняных сосудов, а на глубине около 40 см от уровня горизонта найден небольшой глиняный горшочек.

Другая группа состояла из девяти курганов, из которых раскопано шесть. Курганы этой группы вполне аналогичны курганам первой, причем все сильно распаханы. Высота их от 40 до 65 см, а окружности — 45—70 м. Слой золы в этих курганах был мощностью 50—60 см; иногда зола лежит не сплошь, а гнездами — в центре и по краям кургана. В двух курганах обнаружены круглые ямы, засыпанные черной землей. Из находок, сделанных при раскопке, интерес представляет керамика. Она вылеплена из красноватой слегка очищенной глины, не содержащей искусственных примесей. Горшки лепились на глиняных правилах. Край у всех горшков отогнут и обрезан волнообразно, шея низкая, плечи выражены слабо, боковые стенки выпуклые. Днища плоские, довольно узкие и тонкие и часто окружены валиком. Орнамент по краю состоит из отверстий.

Исследователь пришел к заключению, что в описанных курганах встретился обряд погребения с трупосожжением. Плохая сохранность курганов не дает возможности восстановить во всех деталях погребальный ритуал, но в общих чертах картина его ясна. Покойник сожигался, повидимому, не на том месте, где его погребали, так как обожженных мест в курганах не оказалось, а зола была или совсем чистой, или с примесью мелких угольков. «Во всяком случае можно признать вполне установленным, — пишет автор, — что кости сожженного покойника складывались в глиняные урны, которые ставили потом или в насыпи кургана, или на поверхности почвы, т. е. на уровне горизонта, или на небольшой глубине, ниже уровня горизонта... Каждый курган заключал в себе, повидимому, по несколько погребений, на что указывают кучи золы, имеющиеся в некоторых курганах, и большое количество обломков крупных глиняных сосудов».

Курганы близ Харьковки дали аналогичную картину трупосожжения. Особый интерес представляет курган № 1, где аналогичное трупосожжение открыто на глубине 60 см и является вводным, а ниже его, на глубине 94 см, обнаружено основное трупоположение, давшее фибулы так называемого «готского» стиля VI—VII вв.²³

Все разобранные памятники дают одну очень хорошо прослеженную картину трупосожжения, как правило, произведенного на стороне и только в двух случаях — на месте. Над останками, положенными на горизонте или в небольшом углублении, насыпался невысокий курган. Дата этих памятников устанавливается довольно точно. Как выше отмечено, Т. М. Минаева убедительно доказала время этих захоронений IV—VII вв. н. э. На эту же эпоху указывает и материал, полученный раскопками П. Рау. В кургане Д—42 им найдены: трехперая стрела, пряжки — круглая и овальная с язычком, изогнутым на конце, накладные бляшки, украшенные зернью и вставками. Все эти вещи хорошо укладываются во время IV—VI вв. н. э.

Кому же могут принадлежать описанные курганы? П. Рау не остановился на этом вопросе, считая курганы не трупосожжениями, а па-

²² Данилевич, Раскопки курганов около с. Буд и Березовки Ахтырского у. Харьковской губ., Труды XII археологич. съезда в Харькове 1902 г., т. I, М., 1905, стр. 411.

²³ Данилевич, Указ. раб., рис. 56.

мятниками особого ритуала. Т. М. Минаева склонна была отнести их к сарматам, длительно и, видимо, непрерывно населявшим степи юго-востока России. Вместе с тем она отмечает: «Несмотря на то, что рассмотренные выше данные говорят за последнее положение (сарматы), на него все же пока следует смотреть как на гипотезу. Мало еще материала, совершенно не изучена нами эпоха переселения народов, чтобы утверждать это положение категорически...»²⁴. П. С. Рыков также относит курганы с трупосожжением, открытые в Поволжье, к сарматам: «Как бы то ни было, своеобразные курганы типа кургана № 17 являются большим исключением и, принадлежа к сарматским, относятся к IV—V вв. н. э.»²⁵.

Трудно согласиться с высказанными точками зрения. Ритуал сарматских погребений трудами ряда исследователей изучен достаточно хорошо. Мы не встречаем там сожжений. Правда, в погребальном обряде сарматов огонь играл большую роль. У могилы разводился погребальный костер, остатки его ссыпались в могилу, часто в горячем виде, что приводило к обожжению трупа. Пережиточные формы древнего местного обычая сожжения исчезают на позднесарматской стадии²⁶.

Описанные выше курганы с сожжением, таким образом, выходят из рамок погребального ритуала сарматов. И трудно согласиться с объяснением, которое дает этим памятникам К. Ф. Смирнов: «Остатки жертвоприношений и тризны часто занимают центральное место в сарматском кургане,— пишет исследователь,— а погребение смещается в западную полу кургана — как бы происходит отделение могилы от места тризны. Содержимое курганов с сожжением IV—V вв. имеет характер таких жертвенных мест: части оружия, конская сбруя, битая посуда, раздробленные и обожженные кости овцы и лошади. Не являются ли курганы с сожжением местами таких отделившихся от погребений жертвоприношений по смерти представителей сарматской знати IV—V вв.?»²⁷.

Трудно согласиться с таким утверждением прежде всего потому, что таких курганов мало, всего несколько, на большее число курганов с могилами сарматской знати. Да и, кроме того, эта гипотеза не объясняет присутствия жженных костей и отсутствия вещей, что как будто необычно для погребений богатых членов рода. Эпоха, следующая за сарматами, дает памятники алано-хазарского типа. Это также труположения, связанные генетически с предшествующей эпохой. Таково погребение, открытое близ села Зиновьевки Лопатинского района Саратовской области. Это погребение оказалось впускным²⁸. В могиле, имевшей в глубину до 1,15 м, в ширину 0,80 м и в длину 2 м, лежал костяк мужчины вытянуто на спине, головой к северо-востоку. На тазовых его костях были найдены остатки кожаного пояса с серебряными плоскими бляшками. Под спиной лежал серебряный наконечник от ремня и плоская прорезная пластинка, а в ногах четыре бронзовые обоймицы. Сравнение инвентаря погребения с материалом средневекового Крыма позволило датировать погребение VII—VIII вв. н. э. и отнести его к поздним аланам, т. е. к тому же племени, к которому относится и Салтовский могильник.

²⁴ Ученые записки Саратовского гос. ун-та, т. VI, Саратов, 1927, стр. 92.

²⁵ Изв. Краеведческого ин-та при Саратовском гос. ун-те, т. 1, стр. 104.

²⁶ К. Ф. Смирнов, Сарматские курганные погребения в степях Поволжья и южного Приуралья, Доклады и сообщения Исторического фак-та МГУ, вып. 5, М., 1947, стр. 77.

²⁷ Там же, стр. 77.

²⁸ П. Рыков, Позднесарматское погребение в кургане близ с. Зиновьевки Саратовской губ., Саратов, 1929.

Последний также не дал погребений с трупосожжениями, а обычное трупоположение в камерах. В могильные камеры вел проход в виде коридора, иногда очень глубокого и далеко идущего в глубь земли. Стены и пол его хорошо заметны. Пол наклонный, заканчивается вертикальной стенкой, иногда до 5—6 м. Внизу в самом конце вырывалось отверстие около 70—80 см высотой и во всю ширину прохода; отверстие это вело в самую камеру. Пол камеры вырывался или наравне с полом прохода, или чаще на 10—20 см ниже, иногда же в самом отверстии делался невысокий порог. Камеры встречаются различных размеров, но до сих пор находились только одиночные, без каких бы то ни было указаний на проход в другую камеру или боковые помещения. Пол почти квадратный, около 2 м в длину и ширину, иногда больше, иногда значительно меньше. Камеры выкладывались сводчатые, свод делался коробовый или крестовый, причем в последнем случае ребра схождения частей свода выведены настолько резко, что видны до сих пор. Камеры вырыты небольшим орудием. Обыкновенно вход в камеру ничем не закрывался, только один раз был найден кусок дерева, прикрывавший отверстие; обыкновенно же доступ к камере засыпался землей. В каждой погребальной камере заключалось несколько, чаще всего три скелета, значительно реже один или два. Погребение сопровождалось вещами: орудиями труда и украшениями²⁹. Все материалы показывают, что, начиная с эллинистической эпохи, происходит развитие одной культуры — сарматской, которая переходит в аланскую культуру Салтовского могильника. Погребальные камеры последнего, несомненно, развились из подобных погребений сарматов и составляют непосредственное их продолжение. Ту же преемственность мы найдем и в вещах. На территории юго-восточной Европы не встречено трупосожжение, которое можно было бы бесспорно отнести к сарматам. Анализ их памятников от эллинистической эпохи до VIII—IX вв. не оставляет места для рассмотренных выше редких трупосожжений.

Немногочисленный вещевой материал рассмотренных трупосожжений не является типичным для какой-либо культуры. Подобные вещи встречаются на значительной территории. Уже Т. М. Минаева в цитированной выше работе указала аналогии им в ряде областей — на Северном Кавказе, на Камае, в Среднем и Нижнем Поволжье, в Венгрии, т. е. в областях, занятых различными племенами. Эти вещи имели самое широкое распространение и не могут свидетельствовать о племенной принадлежности погребенных. Они дают лишь датировку памятников IV—VII вв. н. э.

Керамический материал в поволжских курганах встречен в таком незначительном количестве, что не дает возможности произвести сравнения. Значительно больше керамики дали курганы у села Буд. Встреченная здесь керамика, грубая и лощеная, хорошо сопоставляется с материалом роменских городищ.

Однако вопрос о племенной принадлежности вовсе не так безнадежен, как это кажется на первый взгляд. Все рассмотренные памятники имеют специфические черты, которые не оставляют сомнений в их племенной принадлежности. Перед нами невысокие курганы, окруженные ровиками с остатками кострищ на поверхности, под насыпью кургана жженные кости, в частности кости животных. Типична бедность инвентаря. В ряде курганов вещей никаких нет. Другая же часть курганов содержала вещи, частично побывавшие в огне. Интересна деталь погребального обряда кургана у Новогригорьевки в виде каменной вы-

²⁹ А. М. Покровский, Верхне-Салтовский могильник, Труды XII Археологического съезда в Харькове 1902, т. I, М., 1905, стр. 479.

мостики, между камнями которой находились жженные кости человека и лошади. В той же курганной группе мы встречаем углубления, выложенные камнями, в которых были положены жженные кости и вещи.

Все эти черты типичны для погребений древних славян. Таков относящийся к концу этой эпохи могильник на среднем Дону. Он отличается крайней бедностью находок, среди которых на первом месте стоит однотипная грубая керамика³⁰. Эта же бедность находок характерна и для более западных и северо-западных славянских областей, отличая их от более ранних скифо-сарматских, где вещественные находки, как правило, встречаются в значительно большем числе. Картину, аналогичную вышеразобранному сожжению, мы находим и у радимичей. Там курган насыпался над местом сожжения. На поверхности находились пепел, уголь и кости. Иногда перед засыпкой кострище сдвигалось в одну кучу. Вещей, как правило, не встречается³¹.

Для северных областей эпохи второй половины I тысячелетия нашей эры характерны сопки и длинные курганы. Собранный материал позволил установить распространение и время этих памятников. Датированные вначале VIII—IX вв. они позднее дали материал, позволивший пересмотреть этот вопрос и понизить дату с VIII—IX до VII в., а для некоторых и до V в. н. э. Эти ранние курганы приходят непосредственно к трупосожжению IX—X вв. и курганам с трупоположением XI—XII вв. Длинные курганы расположены не только на севере, но по некоторым данным заходят и южнее. Так, имеются сведения, полученные от Мазараки, о какой-то долгой могиле, где была найдена фибула «готского» типа с эмалью, на реке Суле в пределах бывш. Роменского уезда.

Исследованные курганы дали несколько вариантов обряда погребения, различного в деталях. Обычно под насыпью находились остатки кострища. Помещались они или в центре, или с краю площадки кургана, причем в последнем случае сожженные кости лежали отдельно в насыпи кургана. В некоторых курганах кости лежат на кострище, но не во всех этих случаях трупосожжения совершены на месте кургана. В ряде курганов кострища или очажки лежали выше в насыпи курганов и являлись, повидимому, остатками жертвоприношения. Сравнительно редко остатки сожжения помещались в неглубоких ямках. Необходимо отметить одну деталь погребального обряда, которая встречается в ряде курганов: это наличие каменных кладок, устроенных или в виде дуги или помоста.

Бранденбург отмечает, что особенностью многих сопок являются массивные, иногда циклопического характера, каменные сооружения. Они имеют вид простых нагромождений, помостов, стенок, правильных кругов. Погребения обычно находились сверху насыпи. В качестве примера можно привести большую сопку у села Михаила Архангела, расположенную выше села на левом берегу Волхова. Там в насыпи находилась каменная кладка в виде круглого цоколя, внешняя стенка которого сложена из валунов, внутренняя — из плит. Внутри этой кладки встречено шесть слоев валунов. Между кладками в трех местах найдены уголь и остатки обгорелых бревен. В юго-восточной части на подошве обнаружен слой сожженных костей и вещей. Нельзя также пройти мимо средневековых погребений, открытых близ Пастерского городища и представляющих собой невысокие курганы до 1,5 м высотой и 30—50 м в окружности. Под насыпью, на уровне земли, находился слой выжженной до кирпичного состояния глины, где попадались куски обгорелых человеческих костей, а вокруг — обломки двух-трех разбитых сосудов,

³⁰ П. П. Ефименко. Раннеславянские поселения на Среднем Дону, Сообщения ГАИМК, 1931, № 2, стр. 7.

³¹ Б. А. Рыбаков, Радимичи, Минск, 1932, стр. 84.

железный нож, каменный брусок, бронзовая шпилька, гладкие бронзовые браслеты и в одном случае железный топорик³².

Расположение сожженных костей в славянских курганах также аналогично поволжским. В сопках кости лежат слоем, реже собраны в горшок. Иногда слой костей незначителен, иногда же имеет в диаметре около 1 м; в последнем случае с человеческими костями нередко смешивались кости животных, преимущественно домашних. Груды, площадки из валунов характерны для сопок³³. Сравнивая весь материал, нетрудно видеть, что древнеславянские сожжения, кстати не имеющие типичных славянских украшений, по обряду погребения, во всех деталях аналогичны описанным курганам Нижнего Поволжья.

Судя по незначительному числу таких курганов, проникновение славян в эпоху V—VII вв. не носило тогда массового характера, но оно явилось предшественником более поздней славянизации края в конце хазарской эпохи, когда славянское население, судя по раскопкам Саркела и сведениям восточных писателей, было уже многочисленным. Это хорошо установлено для Саркела, где М. И. Артамоновым исследовано значительное число славянских погребений и где раскопки города дали большое количество славянских вещей. Славянские вещи этого времени распространены и на Тамани, где близ Фанагории были открыты погребения со славянскими вещами и найдены печати. На Кубани исследованиями М. В. Покровского и Н. В. Анфимова открыто большое число средневековых селищ, расположенных по правому берегу Кубани. На этих селищах среди подъемного материала найдено некоторое количество типичных славянских черепков, которые свидетельствуют о проникновении славянства в Предкавказье. Нельзя не отметить и случайное погребение со славянской керамикой, открытое Т. М. Минаевой в районе Сталинграда. Исследованная ею могила содержала костяк, положенный вытянуто на спине головой к северо-западу. Возле правого виска стоял типичный славянский горшок. Т. М. Минаева справедливо сопоставила эту находку с той славянской волной, которая характерна для хазарской эпохи. Она отмечает, что русские оставались в том или ином числе на Дону еще в XIII в., как видно из сообщения Рубруквиса, видевшего здесь русское село, которому Батый и Сартак предоставили здесь право перевоза через Дон³⁴.

Нельзя пройти мимо погребений с радимичскими семилучевыми височными кольцами X—XI вв., найденными на покойниках, положенных вытянуто головой на запад, т. е. по славянскому обычаю. Эти погребения открыты покойным директором Моршанского музея П. П. Ивановым при исследовании Пановского могильника близ Моршанска. Не лишена интереса и привеска мощинского типа с эмалью, найденная близ Моршанска и хранящаяся с отмеченными радимичскими кольцами в Моршанском краеведческом музее.

Типичные славянские памятники находим мы и на территории волжских булгар. Записка Ибн-Фадлана и свидетельства других восточных авторов сохранили нам описание русов, приехавших в город Булгар. Среди археологических памятников, расположенных в области булгар, обращают на себя внимание курганы с трупосожжением, исследованные А. Штукенбергом и В. В. Егеревым. Эти курганы нельзя считать принадлежащими булгарам, так как обряд погребения последних нам хорошо известен и по записке Ибн-Фадлана и по раскопкам «Бабьего бугра» в булгарском городище. Там в 1947 г. объединенная экспедиция

³² В. В. Хвойко, Городища Среднего Приднепровья, их значение и народность, Труды XII Археологич. съезда, т. I, М., 1905, стр. 93.

³³ А. Спицын, Сопки и жалыники, Записки Русского археологич. об-ва, т. XI, СПб., 1899, стр. 142—143.

³⁴ Т. М. Минаева, Погребение Зацарицынского района г. Сталинграда, Сообщения ГАИМК, 1932, № 3—4, стр. 63.

Института истории материальной культуры, Гос. Исторического музея и Госмузея Татарской АССР раскопала домонгольское кладбище X—XII вв. Там все погребения оказались обычными трупоположениями головой на запад. Ибн-Фадлан подробно описал обряд погребения: «И когда он прибудет туда, они берут его с повозки и кладут его на землю, потом очерчивают вокруг него линию и откладывают его в сторону, потом выкапывают внутри этой линии его могилу, делают для него боковую пещеру и погребают его»³⁵. Этот обряд напоминает ритуал позднесарматских захоронений. Различие с захоронениями «Бабьего бугра» объясняется многоплеменным составом булгарского царства, где каждое племя имело свои обычаи.

Интересующие нас курганы с трупосожжениями открыты в селе Балымерах Куйбышевского района Татарской АССР. Эти курганы дали местный рядовой материал и отличны от других курганов, известных по раскопкам Штукенберга. В одном из последних был найден меч каролингского типа X в. Этот курган мог принадлежать только какому-либо купцу-русу. Он как бы является овеществленным рассказом Ибн-Фадлана.

Балымерские курганы первой группы исследовались неоднократно. В 1870 г. группу курганов куполообразной формы раскапывал некто Стоянов, давший отчет о своих раскопках в «Приложениях» к протокол. засед. от 21 апр. 1871 г. Общества естествоиспытателей при Казанском университете. Раскопки Стоянова дали «неопределенные» результаты: обнаружено было, что все шесть насыпей, раскопанных Стояновым, состояли из смеси песка и чернозема с некоторым количеством золы, углей и обгорелых костей животных. Позднее, в 1882 г., раскопки курганов в окрестностях сел. Балымеры производил П. А. Пономарев. Особенно удачной в смысле находок была раскопка кургана П. А. Пономаревым и Н. П. Лихачевым, обнаружившая оружие, доспехи покойника (причем труп покойника был сожжен) и некоторые другие вещи.

Таким образом, раскопка кургана довольно определенно выяснила следующую вероятную картину погребения: на поверхности земли раскладывается большой продолговатый костер; после сожжения на нем трупа погребяемого продукты горения несколько сгруживаются к центру, так что кострище суживается и укорачивается; затем на образовавшейся кругом него расчищенной полосе, сохранившей только отчасти следы пепла, в определенном порядке раскладываются оружие и прочие вещи, и в заключение над местом погребения насыпается курганообразный холм.

В Государств. музее Татареспублики хранится коллекция В. В. Егерева³⁶ в составе: наконечника копья, двух медных золотоордынских монет, ральника, трехгранного наконечника стрелы с полукруглым дугообразным лезвием, металлической пластинки, костяной иглы, двух бусин, двух прясл, небольшого сосуда. В коллекции Общества археологии, истории и этнографии имеется несколько обломков сосуда из красной глины высокого обжига, прясло, фрагмент восточного зеркала со следами орнамента³⁷. При обследовании Шолома в 1924 г. Смолиным было собрано 26 обломков посуды из желтоватой, темной глины с примесью крупнозернистого песка плохого обжига. При исследовании в 1925 г. в кургане обнаружено 30 кострищ и было найдено большое число обломков посуды с грубой бугристой поверхностью, с сильно утолщенным дном. Глина буровато-темная с примесью крупнозернистого песка. Обжиг сосудов низкий. Наряду с этой посудой (95%)

³⁵ Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу, М., 1939, стр. 77.

³⁶ Изв. Об-ва археологии, истории и этнографии, т. XXXIII, вып. 2—3, Казань, 1926, стр. 117.

³⁷ Там же, стр. 119.

имеется незначительное число обломков посуды высокого обжига из хорошо промешанного теста, сделанной на гончарном круге. Удалось установить среди посуды горшки, чаши, кувшины, миниатюрные сосуды. Помимо посуды была найдена янтарная подвеска.

Вероятнее всего этот курган представляет коллективное кладбище, существовавшее в период IX—XII вв.; по своему характеру он напоминает ранние славянские курганы с трупосожжением. Отличием является отсутствие погребальных урн. Есть все основания полагать, что в Поволжье эти курганы явились результатом проникновения славян. Вместе с тем, вещи, найденные при кострищах,— местные. Особенно это хорошо видно по керамике, аналогичной посуде верхних слоев городищ рогожной керамики и раннебулгарской. Местный материал не позволяет говорить о погребении какого-нибудь купца-руса, а здесь может быть похоронен или славянизированный болгарин или славянин, пришедший с булгарами и здесь ассимилировавшийся с местным населением, но погребенный по обряду своего народа.

Все приведенные археологические памятники заставляют с вниманием отнестись к сообщениям восточных писателей о славянах в хазарском каганате. Несомненно, славяне играли большую роль и у булгар, что привело к сходству некоторых элементов материальной культуры и языка булгар и славян, отмеченному рядом восточных авторов.



МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ С С С Р

Е. В. ГИППИУС

О РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПОДГОЛОСОЧНОЙ ПОЛИФОНИИ В КОНЦЕ XVIII — НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

I

Первые опыты записей русского народного многоголосия были опубликованы только в 70-х годах XIX в., через сто лет после появления первого печатного сборника музыкальных записей народных русских песен «Собрания русских простых песен с нотами» В. Ф. Трутовского (три части которого были изданы в 1776, 1778 и 1779 гг.)¹.

Дореволюционными исследователями народных русских песен отсутствие записей русской народной хоровой полифонии до 70-х годов XIX столетия представлялось вполне естественным и объяснялось тем, что многоголосный склад крестьянских песен, пока на него внезапно не обратил внимание Ю. Мельгунов, — просто не привлекал внимания собирателей. «До него, — писала Е. Линева, — и в публике и между собирателями крепко держался предрассудок, что народ поет в унисон», — «даже такой серьезный исследователь народной песни, как Сокальский, был такого мнения», — добавляет она в примечании². То же объяснение повторяет А. Маслов, указывая при этом на В. Ф. Одоевского как на прямого виновника многолетнего невнимания собирателей к русскому народному многоголосию: «С легкой руки князя В. Ф. Одоевского, — замечает он, — русское общество и интеллигенция, незнакомые с деревенской жизнью, были убеждены в том, что старинные русские песни поются одностольно, и только исследователь этих песен Ю. Мельгунов раскрыл всем глаза на истинное положение вещей»³. Это объяснение, не вполне точное и по существу (Маслов не оговаривает, что первые записи русского народного многоголосия были опубликованы еще до Ю. Мельгунова в 1872—1873 гг. В. Прокуниным, хотя это было отмечено в историографических обзорах Н. Лопатина⁴ и С. Рыбакова⁵), вызывает вместе с тем недоумение в той части, в ко-

¹ Четвертая часть сборника В. Трутовского вышла значительно позднее (1795), уже после опубликования второго печатного сборника народных русских песен в музыкальных записях И. Прача (1790).

² Е. Линева, Ю. Мельгунов, как новатор-исследователь народной песни, «Русская музыкальная газета», 1903, № 23—24, стр. 566.

³ А. Л. Маслов, Украинская народная музыка, журн. «Украинская жизнь», 1912, № 12, стр. 66.

⁴ Н. Лопатин и В. Прокунин, Сборник русских народных лирических песен, ч. 1, Вступление (Н. Лопатина), 1889, стр. 42.

⁵ С. Рыбаков, Русская песня, Энциклопедический словарь Брокгауза — Ефрона, т. XXVII (53 полумом), стр. 318.

торой оно касается В. Одоевского. Упрек в утверждении идеи одноголосного склада русского народного хорового пения Маслов бросает Одоевскому голословно, без ссылок на его работы. Ни в одной из известных печатных работ Одоевского нет ни одного высказывания, которое давало бы хоть какой-нибудь повод к подобному обвинению. Наоборот, в работе «Русская и так называемая общая музыка» (1867) Одоевский описывает русское народное многоголосие на основании своих наблюдений над пением народного хора И. Молчанова, который состоял из певцов, незнакомых с нотной грамотой, и исполнял народные русские песни в стилях устной традиции, как исторически более ранних (старинных крестьянских), так и более поздних (городских и армейских). Описание Одоевского относится, однако, несомненно, именно к старинному традиционному стилю крестьянского хорового многоголосного пения, а не позднему стилю, в котором этот хор исполнял городские и армейские песни. Поздние стили русской городской песни XVIII—XIX вв. Одоевский не признавал самобытными и отрицал (крайне резкие его высказывания по этому поводу общеизвестны). В репертуаре И. Е. Молчанова он высоко ценил именно старинные крестьянские песни, напевы которых он записывал от Молчанова в начале 60-х годов⁶ (ранее от того же Молчанова их записывал Глинка⁷, позднее тексты крестьянских песен от Молчанова записывал П. В. Шейн, см. «Великорусс», 1900, № 957). «Мелодия и характер наших старинных песен,— писал Одоевский,— наиболее слышатся в хорах Ивана Евстратьевича Молчанова («Русского певца»), человека весьма замечательных дарований и которого чудная память хранит в себе несколько сотен русских напевов. Пение хора этого почтенного человека должно быть предметом особого изучения со стороны всякого, желающего следить за историей и развитием нашего музыкального элемента, потому более, что все певцы этого хора поют не по нотам, а по слуху, следовательно руководятся не какой-либо искусственной теорией, но внутренним чувством русского человека. Сам Молчанов — чудное дело! — сочиняет и разучивает четырехголосные партии — на память, на слух. Весьма любопытен ход аккордов в этой инстинктивной гармонизации; разумеется, русское ухо не боится опасных ходов (*sehr gefährliche Gänge* Альбрехтсбергера), посягает — иногда и на последование чистых квинт»⁸. Одоевский называет далее это многоголосное пение «старинным грунтом» русской «самобытной мелодии и гармонии».

Если даже допустить, что Маслову было известно какое-нибудь устное высказывание Одоевского об одноголосной природе русского народного хорового пения или высказывания в этом направлении, опубликованные в какой-нибудь из его заметок, не учтенных библиографами, все же нет основания считать Одоевского виновником невнимания к русскому народному многоголосию со стороны собирателей конца

⁶ Напевы, записанные Одоевским от Молчанова, после смерти Одоевского были частично опубликованы В. Кашперовым без указания, от кого сделаны записи (их источник установлен нами по рукописному архиву В. Одоевского, хранящемуся в Центральном музее музыкальной культуры в Москве); см. В. Кашперов, Напевы русских песен, записанные кн. В. Ф. Одоевским, Вестник О-ва древне-русского искусства, 1876, отд. 2, № 11—12 (записи от И. Е. Молчанова №№ 6, 8, 19, 22, 25).

⁷ И. Липаев («Русская музыкальная газета», 1898, стр. 655, хроника) сообщает, что, по свидетельству П. Суворова, в молодые годы И. Молчанов (по распоряжению содержателя хора) неоднократно бывал у Глинки (по просьбе последнего) для исполнения старинных песен, которые композитор записывал с его голоса.

⁸ В. Ф. Одоевский, Русская и так называемая общая музыка, исслед. К. В. О., газ. «Русский», 1867, №№ 11 и 12 (опубликовано также отдельным изданием типогр. газ. «Русский», М., 1867), стр. 13.

XVIII в., выступавших до его рождения или в начале XIX в. — в годы его юности. Взгляд на русское народное хоровое пение как на унисонное в 60-х годах был высказан, но не Одоевским, а Серовым (в известной его работе «Русская народная песня как предмет науки», 1869). Из этого высказывания, однако, не видно, чтобы Серов «держался предрассудка, что народ поет в унисон», — что ему ставит в упрек Линева. Унисонный характер русского народного хорового пения Серов действительно подчеркивал, но не как признак одноголосного его склада, а как одну из национальных самобытных, типических черт русского народного многоголосия, отличающих русское народное подголосочное многоголосное пение (основные особенности которого — подголоски, варьирование различными голосами хора песенного напева и согласование этих вариаций в совместном пении — Серов описывает) от сплошного четырехголосия западноевропейской музыки. «Русская песня, — пишет он, — музыкальный эмбрион, созданный прежде всего для единичного голоса или для хорового пения в унисон. Совместная с данной мелодией гармония есть дело выработки западноевропейской, роскошь музыкальная, нашему народу почти чуждая. Народ в своих импровизированных хорах поет не все время в унисон, это правда, но «подголоски», «припевы» в других голосах, кроме главного ведущего мелодии, создаются только в виде мелодической прикрасы, в виде модификации варианта, а никак не сплошь под каждую ноту данного напева. Тут при глубоком вникании в «суть» самого дела окажутся своеобразные мелодико-гармонические приемы, чрезвычайно не похожие на принципы общеевропейской гармонизации»⁹.

Указывая на унисонность, как на одну из самобытных стилистических черт русского народного хорового пения, Серов имеет в виду обилие унисонов в русской хоровой подголосочной полифонии, позднее отмеченное и подчеркнутое А. Кастальским в книге «Особенности народно-русской музыкальной системы», а ранее (еще в 30-х годах) замеченное М. Глинкой. Обилие унисонов, их применение в конечном счете — одна из наиболее характерных стилистических особенностей хоров «Ивана Сусанина», отличающая их от хорового склада русской оперы и оратории до-глинkinской поры (Д. Бортнянский, С. Дегтярев, Д. Кашин и др.). На эти творческие итоги наблюдений Глинки над русской народной хоровой песней Серов, несомненно, и опирается в своей характеристике национально-своеобразных, стилистических особенностей ее склада. Серов (точно так же, как и Одоевский), следовательно, имел достаточно верное представление о русском народном многоголосии и в основных чертах описал этот стиль (так же, как и Одоевский) за десять лет до выступления Мельгунова.

В самом начале 60-х годов русское народное многоголосие было описано В. Далем в его «Толковом словаре живого великорусского языка» под словом «запевала» (1861). Из этого описания видно, что Далию был известен русский народный хоровой подголосочный стиль функционального двухголосия, распространенный, по данным современных наблюдений, в областных традициях крестьянского хорового пения на территории областей, лежащих к юго-востоку от Москвы. «В русской песне, — пишет Даль, — запевала держит голос лад и меру; он, второй голос и бас называются голосами, прочие подголосками. Запевала затягивает, голоса пристают и вторят, подголоски подхватывают, один высокий заливает

⁹ А. Н. Серов, Русская народная песня как предмет науки, Критические статьи, т. IV, СПб., 1895, стр. 2132 (разрядка моя. — Е. Г.).

ся, другой выносит, заканчивает в одиночку»¹⁰. Общие принципы функционально-двухголосной традиции русского многоголосного пения в этом описании охарактеризованы вполне верно, если не считать неточностей в деталях (характеристика запевалы как голосовой партии, отличной от партии первого и второго голоса).

Отсутствие записей русского народного многоголосия вплоть до 70-х годов XIX столетия было, однако, истолковано некоторыми исследователями как доказательство отсутствия многоголосия в русской народно-песенной традиции до 70-х годов. Такое предположение (опирающееся на цитированное выше высказывание Маслова) было сделано проф. К. В. Квиткой в его очерке «М. Лисенко як збірач народних пісень». «Если Маслов,— замечает в этой работе Квитка,— приписывал князю Одоевскому распространение неправильного представления о русской народной музыке как об одноголосной..., то может быть он не задумывался над возможностью того, что в первых десятилетиях XIX века, когда вырабатывались основные понятия у Одоевского, многоголосие в русском народном пении еще не было заметным и характерным явлением, а в старости он уже не мог уделить ему достаточного внимания»¹¹. В той же части, в которой суждение это касается высказываний В. Ф. Одоевского, оно основано, как мы уже знаем, на недоразумении. Из слов проф. Квитки: «если Маслов приписывал князю Одоевскому» — видно, что сам он не обращался к работам Одоевского в период работы над статьей о Лысенко и основывался всецело на изложении мыслей Одоевского Масловым, что и ввело его в заблуждение. Однако предположение проф. Квитки о возникновении русского народного многоголосия в середине XIX в. неверно и по существу.

Предположение о возникновении русской народной подголосочной полифонии в середине XIX века опровергается прежде всего ранними свидетельствами о народном многоголосном хоровом исполнении русских песен, которые игнорировались историографами русских песенных сборников, несмотря на то, что свидетельства эти были хорошо известны отдельным собирателям 50—60-х годов. «Многими из наших и иностранных музыкантов замечено разнообразное движение голосов в хоровых русских песнях», — писал, например, в 1854 г. М. Стахович¹², обративший внимание на русское народное многоголосие за 25 лет до Мельгунова. Еще более отчетливо характеризовал полифонический склад русского народного многоголосного пения А. С. Гациский в статье «Голицынские концерты», опубликованной в 1865 г. в «Нижегородском Ярмарочном Справочном листке»: «Пользование формой фуги в хорах князя Голицына, — писал он, — тем более удачно и уместно, что всякому знакомому с чисто народным нашим хором должно быть известно, что в нем нечто вроде фуги явление обыкновенное, кровное, но в отношении к настоящей фуге играет роль сырого материала»¹³.

Самое раннее свидетельство о национальном своеобразии русского народного хорового многоголосного пения относится к концу XVIII в.

¹⁰ «Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля», IV изд., под ред. проф. И. А. Бодуэна де Куртене, т. 1, СПб., 1912, стр. 1562. Разрядка автора.

¹¹ К. Квитка, М. Лисенко як збірач народних пісень. Українська Академія Наук. Повідомлення Музично-етнографічного Кабінету, ч. 1, Київ, 1923, стр. 6 (разрядка моя. — Е. Г.).

¹² М. Стахович, Собрание русских народных песен, тетр. 3-я, Предисловие, М., 1854.

¹³ Нижегородский Ярмарочный Справочный листок, 1865 г., № 21, А. Г-цский, Голицынские концерты. (Это свидетельство о русском народном многоголосии, мне неизвестное, любезно сообщил мне Б. С. Штейнпресс.)

(1790) и принадлежит Н. А. Львову. Описывая исполнение протяжных песен (в трактате «О русском народном пении», предпосланном им первому изданию сборника: «Собрание народных русских песен», с их голосами, на музыку положил Иван Прача), Львов замечает, что протяжные русские песни запеваются «выходкою одного голоса», «возвышаются потом общим хором», который поет «правильно», «армонически».

Правильным «армоническим» хоровым пением Львов называет именно многоголосное пение, что видно из его противопоставления многоголосного хорового склада русской народной песни («каким образом без учения достигли сии певцы одним только слухом руководимые до художественной части музыки, то есть до армоний?») одноголосному хоровому складу украинской («мне неизвестна,— пишет он,— ни одна армоническая малороссийская песня») ¹⁴.

В том же трактате Львов ссылается на известный отзыв о русских народных песнях композитора Паизиелло, обычно цитируемый в историографических обзорах народных русских песен в сокращенном изложении по предуведомлению ко второму, третьему и четвертому изданиям сборника И. Прача, где главная мысль, высказанная Паизиелло, передана не точно: «Не повторю здесь того, что сказано в первом издании о мнении г. Паизиелло,— гласит сокращенное изложение этого отзыва,— который не хотел верить, чтобы русские протяжные песни были случайным творением простых людей, но полагал оные произведением искусных музыкальных сочинителей». Из этого можно заключить, что отзыв Паизиелло относится к протяжным песням вообще (в этом смысле на него ссылается и автор первого историографического обзора сборников народных русских песен И. Сахаров, который излагает мнение Паизиелло превратно ¹⁵, и автор одного из наиболее обстоятельных историографических обзоров русской народной песни С. Рыбаков: «композитор Паизиелло, услышав русские песни,— пишет он,— не мог поверить...» и т. д.) ¹⁶. Из полного изложения отзыва Паизиелло в статье Львова, предпосланной первому изданию сборника И. Прача, видно, что его поразили не самые протяжные песни, а народное многоголосное хоровое их исполнение. «Где охотник нечто доброе примечает, там знаток часто оное находит...— так излагает Львов мнение Паизиелло в вводной статье к первому изданию сборника Прача,— искусный нашего века музыкальный сочинитель (Паизиелло) нашел в наших протяжных песнях столько доброго и образа пения оных столь правильно хором исполняем, что не хотел верить, чтобы были они случайное творение простых людей, но полагал оные произведениями искусных музыкальных сочинителей... сие понятно,— продолжает Львов,—

¹⁴ На противопоставление Львовым многоголосного склада русской песни одноголосному — украинской — до сих пор не было обращено внимания, по всей вероятности потому, что в цитируемой категорической форме оно было высказано Львовым только в первой редакции его трактата (опубликованной при первом издании сборника Прача, составляющего библиографическую редкость). Во второй общеизвестной редакции той же статьи (опубликованной при втором, третьем и четвертом изданиях сборника Прача под заглавием «Предуведомление») характеристика хорового склада украинской песни дана в более осторожной, менее категоричной форме: «не видно ни одной армонической малороссийской песни, которая бы равнялась с нашими протяжными». Это изменение характеристики украинского хорового пения весьма ценно как самое раннее указание на многоголосный склад украинской народной музыки. Характеристика украинской песни как одноголосной в первой редакции трактата Львова могла быть вызвана знакомством его с правобережными стилями украинской народной музыки, которым (в отличие от левобережных) одноголосный хоровой склад более свойствен.

¹⁵ «Сказание русского народа», собранные И. Сахаровым, т. 1, изд. 3-е, СПб., 1841, стр. 96.

¹⁶ С. Рыбаков, Указ. работа.

касательно до мелодии; но каким образом без учения достигли сии певцы одним только слухом руководимые до художественной части музыки, т. е. до гармонии?»¹⁷

Еще более ценное свидетельство о русской народной полифонии относится к началу 30-х годов XIX столетия. В 1834 г. в «Neue Zeitschrift für Musik», редактируемой Р. Шуманом, появляется корреспонденция из Петербурга, автор которой восторженно описывает национально-своеобразный склад русского народного многоголосного хорового пения по своим непосредственным наблюдениям над хоровым пением крестьян-отходников на строительстве Исаакиевского собора: «Каждый голос поет свою мелодию, все голоса фугообразно переплетаются, захватывая почти все тоны аккорда, но сохраняя свою мелодическую природу..., — пишет автор корреспонденции, — подобный естественный хор производит глубоко своеобразное впечатление»¹⁸. Трудно переоценить значение этого не учитывавшегося до сих пор описания, засвидетельствовавшего впервые полифонический склад русского народного многоголосного хорового пения за пятьдесят лет до опубликования первых опытов записей русского народного многоголосия, в те самые 30-е годы, когда последнее, по предположению проф. К. В. Квитки «еще не было заметным и характерным явлением».

Свидетельства конца XVIII и начала XIX в., доказывая необоснованность предположения о возникновении русского народного многоголосия в первой половине XIX в., не объясняют, однако, почему образцы русской народной полифонии не были записаны и представлены в песенных сборниках в течение целого столетия.

Отсутствие до середины XIX в. записей русской народной полифонии до сих пор не было поставлено в связь с теоретической неосознанностью русскими композиторами и теоретиками ладового своеобразия русской народной песенной мелодии именно до этого времени. Не было обращено внимания на то, что первые опыты записей русского народного многоголосия в 70-х годах были непосредственно обусловлены именно теоретическим осознанием ладового своеобразия русской народно-песенной мелодики в 50—60-х годах (Стахович, Одоевский), подготовленного творческими догадками Глинки в этой области. С теоретической точки зрения иначе не могло быть: закономерности каждой многоголосной системы всецело определяются закономерностями мелодики, лежащими в основе этой системы, следовательно и закономерностями ее ладового строя. Теоретическое осознание каждой данной многоголосной системы становится возможным только после теоретического осознания закономерностей данной мелодической системы и ее ладового строя и только на базе такого осознания. Между тем, достаточно внимательно прочитать вводную статью Мельгунова, предпосланную первой части его сборника (1879) (первый опыт теоретического обоснования русской народной подголосочной полифонии), — чтобы убедиться, что к идее русского народного многоголосия Мельгунов пришел не столько индуктивным, сколько дедуктивным путем — путем искания национально-самобытных приемов гармонизации русских народных песен. Отнюдь не случайно более половины своей статьи он посвящает не описанию своих наблюдений над закономерностями русской народной

¹⁷ (Н. А. Львов) О русском народном пении, Вводная статья к сборнику: Собрание народных русских песен с их голосами, на музыку положил Иван Пращ, СПб., 1790.

¹⁸ Neue Zeitschrift für Musik, 1834, стр. 283 и сл.

полифонии, а отвлеченно — теоретическому гармоническому ее обоснованию методом искусственного соотнесения закономерностей русской народной подголосочной полифонии к абстрактной схеме восходящих мажорных и нисходящих минорных гармоний (трактуемых как «опрокинутые» мажорные) — схеме, не имеющей никакого отношения к хоровому полифоническому складу народной русской песни. Свои записи мелодических вариаций и подголосков Мельгунов рассматривает в сущности только как материал для гармонизации, которую он и поручает сделать для своего сборника (в соответствии с устанавливаемыми им абстрактными гармоническими схемами) Кленовскому и Бларамбергу. Из статьи Мельгунова видно, что он обратил внимание на русское народное многоголосие не столько вследствие своей особой наблюдательности, сколько под непосредственным влиянием появившегося в 1866 г. сборника Балакирева, в котором впервые мастерски была решена задача национально-самобытной ладовой гармонизации русских народных песен (под свежим впечатлением творческих находок Глинки и теоретических исследований Одоевского). Выступление Мельгунова с его «открытием» русского народного многоголосия поэтому отнюдь нельзя рассматривать, как это принято, — изолированно, вне эпохи. В начале статьи Мельгунова (предпосланной его сборнику 1879 г.) в ссылке на Одоевского и в полемике с Балакиревым по поводу толкования последним ладового строя русских песен — отчетливо звучит отголосок споров вокруг проблемы ладовой и гармонической самобытности русского народного песенного мелоса, которые разгорелись в 60-х годах под впечатлением открытого Глинкой русского голосоведения, гармонизаций русских народных песен Балакиревым и теоретических выступлений Стаховича, Одоевского и Серова. В центре этих споров были именно балакиревские гармонизации, пробудившие критическое отношение даже к голосоведению Глинки. Напомним статью Лароша «Глинка и его значение в истории музыки» (1867), в которой автор, опираясь на теоретические исследования Одоевского и талантливейшие обработки русских народных песен М. Балакирева (1866) утверждает, что «русские народные песни требуют гармонизации исключительно трезвучиями», и замечает, что «Глинка лишь отчасти, а не вполне соединяет в своих сочинениях технические признаки русской народной песни»¹⁹.

Теоретическое осознание русской народной подголосочной полифонии Мельгуновым, таким образом, непосредственно развивало опыты теоретического обоснования ладового строя напевов старинных крестьянских песен (Одоевский) и исканий национально-самобытных приемов их гармонизации (Одоевский, Балакирев), относящихся к 60-м годам. Первые гениальные слуховые постижения Глинки в этом направлении, относящиеся к 30—40-м годам, еще не могли быть им теоретически сформулированы. «На какие технические признаки (в особенности для практики), — писал по этому поводу в 1864 г. В. Одоевский, — можно указать, как на причину, почему всякий русский человек... руководимый единственно внутренним чувством, слушая то или другое пение, безошибочно скажет «русское, великорусское» — или «это, что-то не наше, не так, неправильно»? Эти вопросы со многими другими к ним соприкасающимися возбудились для меня впервые в наших музыкальных беседах с покойным Михайлом Ивановичем Глинкой. Гениальный, угадывал многое своим чудным чутьем, но этого для нас было недостаточно, для нашего полного сознания истины не доставало точки опоры... Мы видели связь между нашим древним песнопением и так называемую средневековую общую

¹⁹ Г. А. Ларош, Сборник музыкально-критических статей, т. 1, М., 1913, стр. 34.

тональностью, но чувствовали между тем, что эта тональность все-таки не вполне совпадает с характером и составом нашего великорусского пения... как бы то ни было Михаил Иванович (к сожалению не задолго до кончины) нашел необходимым углубиться в начало средневековой тональности; с полным самоотвержением истинного художника взялся он учиться этому делу. Я между тем обратился к рукописям, которых огромный запас представили мне Румянцевский музей и Императорская публичная библиотека»²⁰. Изучением «средневековых тональностей» Глинка занялся в последние два года своей жизни (1856—1857), первые теоретические статьи Одоевского о русской народной музыке и древнерусском церковном пении появились в 60-х годах, а уже в 1863 г. (за три года до опубликования Балакиревского сборника) Одоевский выступает в печати с опытом национально-самобытной ладовой гармонизации старинной русской песни, выбрав для этого историческую песню о заключении Петром царицы Евдокии²¹, расцениваемую им как образец архаической песенной мелодии. В это же время Одоевский делает второй опыт ладовой гармонизации и выбирает снова наиболее архаический образец: напев песни «А мы просо сеяли» (опубликованный после его смерти Ю. Арнольдом в Трудах Музыкально-этнографической комиссии ОЛЕАЭ)²². В эти же годы Одоевский формулирует свой взгляд на принципы ладовой гармонизации народных русских песен, которая, по его мнению, должна быть полифонической: «Если вы хотите, чтобы напев не погиб в вашем сопровождении, ограничивайтесь в контрапункте единственно нотами, представляемыми вам тою погласицею, которой принадлежит песня»²³.

Прямая связь теоретического осознания русской народной подголосочной полифонии с теоретическим обоснованием ладовых закономерностей древнерусского певческого искусства мелодического склада, мыслимого вне гармонии, отражает общность природы ладовых закономерностей древнерусского певческого искусства мелодического склада, мыслимого вне гармонии и закономерностей русской народной подголосочной полифонии. Позднейшие записи русской крестьянской хоровой полифонии, в особенности окраинных ее местных стилей (донских стилей, стилей северодвинского правобережья), всецело подтверждают общность этих закономерностей. Это дает основание предполагать, что развитые формы русской народной подголосочной полифонии, засвидетельствованные в конце XVIII столетия, существовали в развитой форме не менее, по крайней мере, трех столетий до XVIII в., т. е. в XV—XVII вв., а быть может, и значительно ранее. Из этого следует вместе с тем, что предположение проф. К. В. Квитки о решающем влиянии на становление русского народного многоголосия армии, школы и церкви (в цитированной уже выше его статье о Лысенко) произвольно.

Выдвигая это исторически неверное предположение К. В. Квитка сопровождает его, правда, оговоркой: «Народное многоголосие у русских и у украинцев,— пишет он,— которые жили на территории Русского государства, без сомнения, развивалось под сильным влиянием культивировавшегося в церкви, армии и школе хорового пения; эти

²⁰ В. Ф. Одоевский, О древнем русском пении, Еженед. газ. «День», изд. И. Аксаковым, 1864, № 17, стр. 7.

²¹ В. Ф. Одоевский, Старинная песня, Русский архив, 1863.

²² Труды Музыкально-этнографической комиссии, т. I. М., 1906 (Изв. ОЛЕАЭ, т. CXIII, Труды Этнографического отдела, т. XV), стр. 437—440 (По поводу гармонизации одной русской песни, примечания к запискам кн. Вл. Ф. Одоевского о русской музыке. Посмертная статья Юрия Арнольда).

²³ Там же, стр. 424 (Н. Я. Янчук, Князь В. Ф. Одоевский и его значение в истории русской церковной и народной музыки).

источники текли через высшие сословия общества, из Западной Европы, однако, в широких массах модифицировались, возможно, сливались с местным течением, которое имело естественную тенденцию к многоголосию (через гетерофонию) и ускоряло это течение»²⁴. Эта оговорка отнюдь не ослабляет ошибочного положения, выдвигаемого Квиткой, но зато уясняет теоретические корни его концепции позднего исторического происхождения русского и украинского многоголосия. В самом деле, утверждая, что местные самобытные формы народного многоголосия представляли собою формы не развитые и относя все высокоразвитые формы русского и украинского многоголосия за счет влияния высших сословий общества, Квитка объясняет возникновение русской и украинской полифонии в духе реакционной буржуазной концепции «сниженной культуры», концепции, сущность которой сводится к объяснению явлений народного искусства, как явлений, творимых высшими классами и лишь усваиваемых народом. Выдвигаемое Квиткой положение о существовании местных самобытных эмбриональных форм многоголосия находится в полном соответствии с концепцией «сниженной культуры». Ганс Науман, один из наиболее ярких пропагандистов этой концепции, точно так же не отрицает существования древнего исторического слоя «общинной культуры», которая, согласно его схеме, впоследствии видоизменяется под воздействием культуры высших классов. Абсолютно антиисторическое положение об определяющем влиянии церковной музыки на музыку народную, положение, вытекающее из более общего антиисторического тезиса об определяющем влиянии религии (вплоть до первобытных религиозно-магических верований) на происхождение и развитие искусства должно быть решительно отвергнуто, тем более, что этот антиисторичный тезис продолжает протаскиваться во многих советских этнографических и фольклористических исследованиях. Ошибочный взгляд Квитки на развитие русского и украинского многоголосия в сущности сводится именно к этому положению. Применительно к многоголосию предположение это нередко мотивируется тем, что только под влиянием церкви в народной песенной традиции могло утвердиться разделение хора на партии двух и трех голосов. Между тем, наблюдения над теми стилями русской хоровой полифонии, в которых имеет место разделение на две партии (стили функционального двухголосия), позволяют вполне определенно утверждать, что выделение особой партии верхнего голоса определилось в этих стилях вовсе не под влиянием церкви, а вследствие регистровых октавных перестановок, представляющих вполне самобытный народно-певческий прием своеобразного двойного контрапункта, несвойственного русскому церковному пению. С другой стороны, разделение на двух- и трехголосные партии отсутствует во многих, при этом наиболее развитых традициях крестьянского подголосочного многоголосия. Функциональное двухголосие, по данным современных наблюдений, не встречается в крестьянских хоровых стилях севернее Москвы. В певческих стилях севернее Москвы, в особенности в певческих стилях северо-двинского правобережья и Поморья, в которых отсутствует разделение на самостоятельные голосовые партии, вместе с тем сохранилась древняя самобытная практика регистровых октавных удвоений (двух- и трехъярусных) подголосочных пучков. Удвоение пучков подголосков в октаву в женских голосах обозначается в народной певческой практике особыми музыкальными терминами: женские голоса, исполняющие нижние подголоски, называются толстыми голосами, женские голоса, исполняющие подголоски на октаву выше, называются тонкими голосами. В певческой практике северо-двинского правобережья именно такое удвоение или

²⁴ К. Квітка, Указ. работа, стр. 5—6.

утроение подголосочных пучков (в две или три октавы) и называется многоголосным хоровым пением. Форма октавно-регистрового сопоставления голосов не имеет ровно ничего общего с делением голосов на две и три партии. Принцип октавных удвоений и утроений представляет явление стадийное, восходящее к древнейшей практике совместного пения различных полововозрастных групп. Национально-своеобразной вариацией этого принципа является октавное удвоение пучков подголосков, намеренно разветвленных и намеренно согласуемых по вертикали в совместном пении и отсюда образующих в двух или трех октавах параллельное встречное и противоположное движение внутренних голосов.

Антиисторическое предположение о позднем происхождении русского народного многоголосия (в течение XVIII—XIX вв.) совсем недавно было снова выдвинуто в вводной статье к сборнику Ф. В. Тумилевича «Песни казаков-некрасовцев», опубликованному в 1947 г. В конце этой статьи Ф. В. Тумилевич (ссылаясь на музыкальные записи песен казаков-некрасовцев, сделанные в 1946 г. композитором Т. И. Сотниковым, и на выводы Сотникова «о характере некрасовской музыки») пишет: «Т. И. Сотников пришел к заключению, что у некрасовцев нет многоголосия, и это дает основание предположить, что русская народная песня или, по крайней мере, ее донская ветвь в начале XVIII в. была еще одноголосной и многоголосие сложилось позднее. Некрасовцы увезли в Турцию одноголосную песню и такой привезли ее на родину. За время их отсутствия сложилось многоголосие»²⁵.

Замечание это вызывает полное недоумение. Как можно бросать вскользь, бездоказательно столь ответственное историческое предположение, совершенно неубедительное. Как можно из частного факта одноголосного пения небольшой группы казаков-некрасовцев делать подобное широкое историческое обобщение? У народов, имеющих высоко развитую культуру народной хоровой полифонии, в том числе и у русских, многоголосная форма хорового пения распространена отнюдь не повсеместно. Среди русского населения встречаются отдельные небольшие территориальные «островки», где унисонное пение сосуществует с многоголосным, а в отдельных селениях, в силу особых исторических условий, оказывается и единственным местным стилем. Аналогичные «островки» одноголосного пения встречаются и в Грузии, где высоко развитая культура хорового многоголосия распространена столь же широко, как у русских, и столь же типична для национальной песенной культуры. Так, например, грузинское племя месхи (Ахалхалашский и Ахалцихский районы) не знает многоголосия; многоголосное пение мало развито и у грузинского племени хевсуров. В смысле аналогии с казаками-некрасовцами особый интерес представляет грузинское племя чанов, или лазов, проживающее на территории Турции в районах Трапезунда и Эрзерума (грузинской территории, захваченной Турцией в XVI в.). В то время, как соседи лазов аджарцы, проживающие на территории Грузинской ССР, на границе с Турцией, имеют высоко развитую хоровую полифоническую культуру, лазы не знают многоголосия; более того, они поют свои песни в сольной традиции. На Украине народное многоголосное пение имеет поместное, а не повсеместное распространение; оно широко распространено на правобережной Украине, в меньшей степени на левобережной, а на западной Украине (по утверждению известного исследователя украинской народной музыки Ф. Колессы, подлежащему, кстати сказать, проверке) оно не встречается. Этим, быть может, и объясняется убеж-

²⁵ «Песни казаков-некрасовцев. Запись песен, вступительная статья и сведения о сказителях Ф. В. Тумилевича. Под общей редакцией проф. П. Г. Богатырева». Ростов н/Д., 1947, стр. 22.

денность проф. К. В. Квитки в позднейшем происхождении украинского народного многоголосия.

Данный краткий экскурс в область современных наблюдений над народным многоголосием, само собой разумеется, не может рассматриваться как решение проблемы генезиса русской народной подголосочной полифонии; он показывает, однако, насколько необоснована и недоказательна гипотеза о позднем происхождении русской народной подголосочной полифонии — теория отрицания национально-самобытного происхождения высокой хоровой полифонической культуры, создававшейся русским народом в течение многих столетий.

II

Непонятный на первый взгляд факт отсутствия вплоть до 70-х годов XIX столетия записей русской народной подголосочной полифонии, поражающей иностранных наблюдателей конца XVIII и начала XIX столетий своей глубокой самобытностью и высоко развитым полифоническим мастерством, становится вполне объяснимым, если его рассматривать не изолированно, а в связи с процессом исторического развития русского музыкального искусства XVIII и XIX столетий в целом.

Склад русской народной подголосочной полифонии отчетливо указывает на то, что это многоголосное искусство развилось на почве высокой строго мелодической культуры «растягания» слога Новгородской и Московской Руси, т. е. на почве строго мелодического мышления вне гармонии и тактовой ритмики.

В XVIII в., в эпоху зарождения и формирования новых национальных гомофонно-гармонических стилей русского романса и русской оперы, внимание собирателей «простых» русских песен вполне закономерно было сосредоточено не на этом древнем, самобытном музыкально-стилевом типе крестьянского хорового пения, а на новых хоровом и гомофонном стилях народной песни русских городов. Интерес именно к новым городским музыкальным стилям русской народной песни находил свое выражение и в отборе материала для музыкальных записей и в фиксации песен в музыкальных фактурах, наиболее типичных именно для русского городского песенного творчества: в фактуре трехголосного канта и в фактуре городских бытовых стилей сольной песни с инструментальным гармоническим сопровождением.

Традиция записи русских народных песен в фактурах их городского бытования продолжалась и в XIX столетии. По этому пути шли Д. Кашин, И. Рупин, А. Варламов, А. Гурилев; даже М. Стахович, впервые записавший крестьянские песни в деревне, излагал их еще для одного голоса с сопровождением семиструнной гитары, в наиболее популярной в первой половине XIX столетия городской бытовой фактуре. В конце XVIII, начале XIX в. — и в народной музыке и в творчестве русских композиторов отчетливо обозначается процесс национально-самобытного претворения (на основе мелодического языка народной русской песни) отдельных элементов музыкальной речи западноевропейских народов. Из своего отбиралось в эту эпоху далеко не все ценное, что в нем было, а вначале то, что было ближе к усваиваемому вновь. В этом легко убедиться, проследив процесс развития русской музыки во второй половине XVIII и первой трети XIX столетия. Почвой, на которой стал развиваться новый гомофонный стиль народной русской городской песни с инструментальным гармоническим сопровождением, оказался не столько старый хоровой стиль подголосочной полифонии, сколько новый хоровой стиль, в котором в XVIII в. исполнялась народная песня в русских городах — стиль трехголосного канта.



1.-Рукописный сборник Гос. Ист. музея, № 2436. Разд. „Песни“, № 2, расшифровка Т. Н. Ливановой и И. А. Штейнмана (История русской музыки в нотных образцах под ред. проф. С. Л. Гинзбурга, т. I, Л. — М., 1940, стр. 13)

Умеренно



2. Русские народные песни, собранные Н. А. Львовым. Напевы записал и гармонизовал Иван Прач (Изд. 4-е), СПб., 1896, стр. 72.

Влияние хорового стиля трехголосного канта на новый утверждающийся стиль сольного пения с инструментальным гармоническим сопровождением ярко отразилось в сборниках народных русских песен конца XVIII в. Достаточно сопоставить хоровое изложение народных русских песен в рукописных сборниках кантов и псалм второй половины XVIII в. с изложением тех же песен в сборниках Трутовского и Прача, чтобы убедиться, что большая часть гармонизации обоих собирателей представляла в сущности аранжировку для фортепьяно трехголосно-хоровой фактуры канта (см. примеры 1 и 2).

Полифонический стиль канта как в культовой, так и в народной музыке русских городов в XVIII в. осознавался, однако, в русле национально-самобытных норм и закономерностей строго мелодического склада — склада мелодики, мыслимой вне гармонии. В последней трети XVIII в. в русской как классической, так и народной музыке обозначается осознание и усвоение гармонических норм западноевропейской музыки в собственном смысле.

Процесс этот протекает, прежде всего, в форме самобытного творческого усвоения то н и к о - д о м и н а н т о в о г о к а д а н с а, элемента нового для слухового опыта русских певцов и музыкантов XVIII в., повидимому, параллельно — в классической и народной музыке. В первой — через обучение русских композиторов XVIII в. у итальянцев — быстрее, во второй — медленнее. В народной музыке тонок-доминантовый каданс осознается и усваивается впервые в практике балалаечных наигрышей, в которой он (в форме без б а с а) ритмизируется в самобытных традиционных ритмических формулах народных плясовых песен, определяющих тот новый стиль напевов городских плясовых песен, который представлен в записях Прача (см. пример 3).

Довольно скоро ♩ = 120



3. Плясовой наигрыш на балалайке — 1-я фигура кадрили „Ах вы, сени, мои сени“. Запись В. В. Эвальда в 1926 г. в Заонежье (дер. Верховье), исполнитель П. Ф. Кузьмин



4. Плясовой наигрыш на гармонии „черепанке“, — 1-я фигура кадрили „Сени“. Запись фонографом (и нотация) Ф. Рубцова в 1937 г. в Вологодской обл. (Кирилловский район, с. Никольский Торжок) от Н. П. Артюшина (Народные песни Вологодской обл. под ред. Е. В. Гиппиуса и З. В. Эвальд, Л., 1938, стр. 23)

Следы этой ранней формы освоения тонико-доминантового каданса без б а с а дошли до нас в песенной традиции русской деревни в практике балалаечных наигрышей окраинных областей и наигрышей народных гармонистов на одной из ранних разновидностей гармошки — «черепанке» (см. пример 4).

В то же время формула тонико-доминантового каданса усваивается в народно-певческой практике через распространение новых гармонических формул военного марша.

Осознание формулы тонико-доминантового каданса в начале XIX в. в народно-песенной традиции именно без б а с а — чрезвычайно важная черта, так как до сих пор, пока позднейшая форма тонико-доминантового каданса б а с — а к к о р д не получает распространения, тонико-доминантовый каданс в народно-песенном обиходе остается всецело подчиненным закономерностям старинной русской народной песенной ритмики, мыслимой вне ощущения пульсации сильных и слабых времен, т. е. не соотносимой к такту. Осознание норм европейской тактовой ритмики в народной музыке относится, повидимому, к началу XIX в. и определяется в результате усвоения тонико-доминантовой кадансовой формулы в новых формах: б а с — а к к о р д, позднее б а с — перебор (см. примеры 5 и 6).

Не спеша

тёт за ме-те-лицей мой миленький и-дёт. rit.

5. А. Е. Варламов. Полное собрание сочинений, т. VII, изд. Гутхейль, стр. 142

Этот процесс в первой половине XIX в. находит отражение в русских городах — в фактуре гитарных сопровождений (песня, бытовой романс), во второй половине столетия — в деревне в фактуре инструментальных сопровождений сольному пению на гармошках (частушки, страдания).

Процесс освоения тонико-доминантовой формулы в форме б а с — аккорд, б а с — перебор не вполне закончился в сельской практике русских окраинных областей до сих пор. Этим объясняется распространенность в русской деревне инструментальных гармошечных наигрышей, сопровождающих пляски, в виде назойливого повторения в схематической форме формулы тонико-доминантового каданса.

Умеренно

Ах, не од-на, ах, не по-на,

во по-ле до-ро- - - жень-

на про-ле-га-ла

6. Фонографическая запись Е. В. Гиппиуса в 1933 г. в Ленинграде от Елены Шишкиной, левицы-цыганки, знатока старинных русских песен (напев этой песни Шишкина выучила по сборнику И. Рупина, „Народные русские песни», СПб., 1831, № 4; гитарное сопровождение — импровизация гитариста-цыгана А. Масальского в традиционном бытовом стиле. Русские нар. песни — песенник, редактор-составитель Е. В. Гиппиус, Л., 1943, стр. 175)

Ритмическое значение формулы каданса в формах бас — аккорд и бас — перебор определяется тем, что бас усвизивался в ритмической функции сильного времени, а аккорд и перебор — в ритмических функциях слабых времен. Таким образом, ритмическое ощущение пульсации сильных и слабых времен было привнесено в народную русскую песню через посредство инструментальных сопровождений позднего гомофонно-гармонического стиля, это и привело к

утверждению в русской народной и русской классической музыке норм тактовой ритмики, исторически обусловленной противоречием между: 1) древней самобытной квантитативной и акцентной ритмикой мелодики старинных крестьянских песен, мыслимой вне гармонии, и 2) новыми песенными стилями русских городов, опосредствованными гармонически и через нормы тактовой ритмики.

Национально-своеобразный синтез новых гармонических и ритмических слуховых навыков и старых традиционных явлений народной песенности и в русской классической музыке и в народном песенном искусстве русских городов определяется только к 30-м годам XIX столетия. В классической музыке этот синтез находит выражение в песенном творчестве А. Варламова и романсовом творчестве М. Глинки; в народно-песенном искусстве он находит отражение в записях, опубликованных в сборнике начала 30-х годов певцом и композитором из крепостных И. Рупиным (И. Рупини).

Творческие находки Глинки, впервые угадывающего чисто слуховым путем теоретически еще не осознанные закономерности мелодического склада старинной русской песенности и русского крестьянского хорового стиля, открывают новый период исторического становления стиля русской классической музыки — период творческого осознания национального своеобразия старинного русского крестьянского песенного мелоса строго мелодического склада, мыслимого вне гармонии, в полном его объеме, осознания его ладовой самобытности и нового творческого решения проблемы гармонизации русской народной песни методом подчинения ладо-тональных закономерностей европейского гармонического языка закономерностям строго мелодического склада русской песни (мелодического склада, мыслимого вне гармонии) методом, прямо противоположным методу, применявшемуся русскими композиторами и составителями сборников музыкальных записей народных русских песен во второй половине XVIII и начале XIX столетия.

В это время, когда русские музыканты впервые осознают, что в процессе приспособления русского народного песенного мелоса в XVIII и начале XIX столетий к нормам западноевропейского гармонического мышления самобытные формы древней высокой певческой культуры Московской Руси (строго мелодического склада) были утрачены,— Одоевский (не без влияния прославиофильской идеализации музыки русского средневековья и тенденции противопоставить ее русской музыкальной культуре послепетровского времени) обращается мыслями к знаменному распеву и мелосу старинных крестьянских песен. Записи, опубликованные в печатных сборниках народных русских песен, не дают ему, однако, точки опоры для теоретических обобщений, которые становятся возможными лишь после появления первых записей местных крестьянских песен, сделанных в 50-х годах М. Стаховичем, и, в особенности, записей, сделанных самим Одоевским в начале 60-х годов. Обострение интереса к национально-самобытным особенностям русского народного песенного искусства в 50-х годах (проявляющееся, например в деятельности кружка молодой редакции «Москвитянина») еще более подготавливает почву для теоретического осознания ладового своеобразия русской песенности и крестьянской подголосочной полифонии.

В 1854 г. Стахович в вводной статье к третьей тетради своего сборника говорит о ладовом своеобразии напевов русских песен, сближает их ладовый строй со средневековыми церковными ладами, обращает внимание на разнообразие движения голосов в хоровых русских песнях и выдвигает, наконец, положение, на котором в сущности и строят свой метод записи народного многоголосья первые авторы опытов его записей — В. Прокунин, Ю. Мельгунов и Н. Пальчиков. «При собирании песен,— пишет Стахович,— не должно пренебрегать малей-

шими вариантами их...» «для полного уразумения темы необходимо видеть ее место в целой системе вариантов; такой обработки русских песен мы не имеем, оттого и слышим мы от любителей русского пения жалобы, что русские песни нельзя узнать в музыкальной обработке»²⁶.

Почву для «открытия» самобытного стиля русского народного многоголосного хорового пения подготавливают окончательно теоретические статьи Одоевского середины 60-х годов о ладовом строении старинных русских песен и древнерусских церковных песнопений и, наконец, творческие находки Балакирева в области национально-самобытных ладовых гармонизаций крестьянских песен. Исторически созревавшая в 60—70-х годах идея самобытности русской народной хоровой гармонии, подготовленная процессом развития русского музыкального искусства в целом, отнюдь не случайно приходит в голову не одному Мельгунову, как это принято думать. Вопреки общепринятому представлению, Мельгунов записал образцы русского народного многоголосия не первый и не первый их опубликовал. Первые записи хоровых крестьянских песен в многоголосном исполнении были сделаны (как это было уже выше указано) В. Прокуниным, опубликовавшим три многоголосные записи крестьянских песен в своем сборнике 1872—1873 гг., изданном под редакцией П. Чайковского за шесть лет до выхода Мельгуновского сборника (текст этот упомянут только в историографических обзорах Н. Лопатина и С. Рыбакова). Пять хороводных песен в народном двухголосном изложении (две в полном, три в частичном) еще ранее были опубликованы в сборнике Балакирева. В то же время с середины 60-х годов, за пятнадцать лет до появления Мельгуновского сборника, опыты записей русского народного многоголосия делает выдающийся провинциальный собиратель Н. Пальчиков, которому не были известны аналогичные записи Мельгунова в Москве (записи Пальчикова были опубликованы, однако, только в 1888 г.—после его смерти, через девять лет после выхода первой части сборника Мельгунова, что и послужило причиной общепринятого неверного представления о нем, как о последователе Мельгунова).

Заслуга Мельгунова, которому принято неверно приписывать честь открытия русского народного многоголосия (якобы никем до него не замеченного) состоит не в том, что он будто бы первый заметил русскую народную подголосочную полифонию и будто бы первый записал и опубликовал ее образцы, а в том, что он первый привлек к искусству русского народного многоголосия общественное внимание, поставив эту проблему остро полемически в теоретической статье (предпосланной его сборнику 1879 г.), в которой впервые описал некоторые важные общие закономерности русской народной подголосочной полифонии, теоретически до него не осознанные (подголоски, их варьирование, образующее полифоническую ткань, и др.). Вместе с тем, он первый составил сборник народных русских песен целиком из записей образцов народного многоголосия и нарочито подчеркнул это в заглавии «Русские народные песни, непосредственно с голосов народа записанные», наконец, он первый повел открытую борьбу за общественное признание идеи многоголосной природы русской народной песни.

Насколько исторически назрел вопрос о самобытном стиле русского хорового пения к 60—70-м годам, вместе с тем видно из того, как «открытие» Мельгунова стремительно подхватывается и развивается теми русскими композиторами, творческая мысль которых в эти годы

²⁶ «Собрание русских народных песен», тетрадь 3. Текст и мелодии собрал и музыку аранжировал для фортепиано и семиструнной гитары Михаил Стахович, М., 1854.

наиболее напряженно работает в области исканий национально-своеобразных стиливых черт русского хорового пения,— Мусоргским и Бородиным.

Об интересе Мусоргского к Мельгуновскому сборнику можно судить уже по одному тому, что он был единственным из композиторов, процитировавших две песни из сборника Мельгунова в своей опере (песни: «Возле речки на лужочке» и «Поздно вечером сидела» — в «Хованщине») через год после его опубликования. Этим, однако, не ограничивается след, оставленный сборником Мельгунова на творчестве Мусоргского. В 1880 г., через год после появления музыкального сборника и за год до своей смерти, Мусоргский пишет для учащихся школы Д. Леоновой пять хоровых обработок русских народных песен²⁷, записанных от Терция Филиппова.

Достаточно сопоставить полифонический стиль двух из этих пяти хоров («Скажи, певица милая» и «Ты взойди, взойди, солнце красное») с полифоническим стилем хоров, написанных Мусоргским ранее (до появления сборника Мельгунова), чтобы убедиться, что во многом несовершенные опыты записей русской народной полифонии, опубликованные в 1879 г. Мельгуновым, а быть может, и его описания приемов народного многоголосия, помогли Мусоргскому по-новому осознать и по-новому уяснить многое незамеченное им ранее в полифоническом складе народной русской песни. Вместе с тем, приемы народной подголосочной полифонии применены Мусоргским — впервые в русской хоровой литературе — с поразительной уверенностью столь искусно, что не приходится сомневаться в том, что благодаря своей наблюдательности, чутко и слуховой хватке он услышал в записях Мельгунова значительно более того, что они давали объективно. Он прочитал эти записи творчески и столь проникновенно, как это после него удалось сделать только Бородину и Кастальскому, отобрав из записей Мельгунова то ценное, что они давали, и откинув отдельные аляповатости (обусловленные отсутствием у Мельгунова опыта), которые в известной степени оттолкнули от его сборника Римского-Корсакова.

До сих пор не были исследованы и источники Бородинского хора поселян; не было обращено внимание на то, что этот хор был написан Бородиным после опубликования Мельгуновского сборника и после выхода сборника Прокунина под ред. П. Чайковского, в котором были опубликованы три первые записи русского народного многоголосия. Полифонический стиль хора поселян столь же резко отличается от полифонического стиля Бородинских хоров, написанных ранее, как и полифонический стиль написанных в 1880 г. двух хоров Мусоргского

²⁷ М. Мусоргский, Полное собрание сочинений под общей ред. А. Александрова, П. Ламм и Н. Мясковского, т. V, вып. 10, Записи народных песен, черновые наброски и др. материалы. Ред. Павла Ламм, Гос. изд. «Искусство», М.—Л., 1939.— Были ли сделаны эти записи Мусоргским, как это полагает редактор полного собрания его сочинений П. А. Ламм, неизвестно. П. А. Ламм не сделал попытки установить, от кого записаны песни, обработанные Мусоргским для хора. Достаточно, однако, сравнить напевы и тексты, обработанные Мусоргским для хора, с записями тех же песен в сборнике Римского-Корсакова «40 народных песен, собранных Т. И. Филипповым», чтобы убедиться в их тождестве (см. №№ 12, 13, 16, 31 и 38 названного сборника). Песни эти, следовательно, были записаны, несомненно, от Т. Филиппова. Записал ли их, однако, Мусоргский или он воспользовался записями Римского-Корсакова, которые могли быть ему известны, хотя в 1880 г. они и не были еще опубликованы, неясно. Вероятнее всего, Мусоргским была записана только одна из этих песен «Плывет, всплывает» (напев которой не вполне точно совпадает с записью Римского-Корсакова), остальные четыре представляют собой, повидимому, записи Римского-Корсакова, так как трудно допустить, чтобы оба композитора могли одновременно сделать записи столь точно, нота в ноту совпадающие, поскольку известно, что Т. Филиппов импровизационно варьировал исполняемые им песни (записи, сделанные от него в конце 70-х годов Римским-Корсаковым, заметно отличаются от записей тех же песен, сделанных от него же в 1860 г. К. Вильбоа, не только по степени точности, но и вариантно).

от всего ранее им написанного. Достаточно сопоставить первую половину хора поселян (до модуляции) с многоголосной записью песни «Горы Воробьевские», опубликованной в 1873 г. Прокуниным, и сравнить отдельные полифонические его построения с многоголосным изложением песен №№ 10, 17 и 20 в первой части Мельгуновского сборника, чтобы убедиться в том, что Бородин точно так же, как и Мусоргский, творчески прочитал оба эти сборника и, быть может, поэтому услышал в русской народной подголосочной полифонии многое, не замеченное им ранее.

Теоретическое осознание в 70-х годах русского народного многоголосия было, таким образом, непосредственно связано с обращением русских собирателей 50—60-х годов к местной крестьянской песенной традиции, исканиями в ней национально-самобытных музыкально-стилевых черт и прямо обусловлено творческими догадками Глинки и теоретическими изысканиями Одоевского в области ладовых закономерностей древнерусского певческого искусства строго мелодического склада, не опосредствованного нормами западноевропейской гармонии, сохранившегося в мелосе старинных крестьянских песен.

Проблема русской народной полифонии не была и не могла быть поставлена ни в творчестве русских композиторов, ни в деятельности собирателей народных русских песен до тех пор, пока в процессе осознания норм западноевропейского гармонического мышления мелодика народных русских песен приспособлялась к этим, чуждым ей нормам.

Исследование данных о русском народном многоголосии, относящихся к концу XVIII и началу XIX века, к периоду, когда образцы его еще не были записаны, показывает, таким образом, историческую необоснованность теории позднего и несамобытного происхождения русской народной хоровой полифонии. Тот факт, что уже в конце XVIII века были засвидетельствованы высокоразвитые формы русского народного многоголосия, поражающие своим самобытным складом иностранных наблюдателей, отчетливо указывает на то, что до этого времени русское народное многоголосие прошло долгий путь исторического развития.

В. И. ЧИЧЕРОВ

РУССКИЕ КОЛЯДКИ И ИХ ТИПЫ

Русским новогодним песням в истории фольклористики не посчастливилось. Большинство ученых проходило мимо них, считая русскую колядку деформированной, утерявшей характерные черты обрядовой поэзии, не интересной для науки. Такая традиция отношения к песням, исполнявшимся в кануны зимних новогодних праздников, идет еще от мифологов 40—60-х гг. Ор. Ф. Миллер¹, А. Н. Афанасьев², Ф. И. Буслаев³ предпочитали при рассмотрении календарного обрядового фольклора обращаться к материалам любого славянского народа, только не русского. Это отношение сохраняется и в последующие десятилетия, когда формируется взгляд на колядку как на исторический документ. В 70-х гг. получает распространение исторический метод изучения колядок, в пределах которого образуются два ведущих направления. Одно из них решает проблему исторических отражений в колядках путем примитивных и произвольных сближений содержания песен с «образованием дружинного отряда», «отражением набега», походом князя Романа Волынского и т. п.⁴, другое — путем поисков в колядках народных вкусов и взглядов (см., например, работы Н. Костомарова). Это второе направление было ближе к истине, но ученые, представлявшие его, в силу порочности своих концепций и методологии не были в состоянии правильно понять интересовавшие их явления устного народного творчества и этнографии. В истории науки вымысел «мифологов», абстрагировавших представления о борьбе сил природы, сменялся предположениями «историков» об отражении исторических событий в произведениях обрядового фольклора. Ни в период мифологических увлечений, ни во время поисков утраченной истории русские колядки не могли считаться выигранным материалом. Вполне земные, говорящие о жизни человека и его труде, они были далеки и от борьбы света и мрака, и от громовых туч, превращавшихся в Илью пророка, и от князя Романа, собиравшего отряды, и от всего прочего, что пытались найти ученые и что им виделось в сложных, отразивших христианство сюжетах и образах обрядовых песен украинцев и южных славян. Русская обрядовая производственная песнь оставалась в стороне от путей академической науки. Даже когда она привлекалась для сопоставлений с колядкой других славян, она в сущности являлась предметом подсобным в исследовании. Например, в рецензии Н. П. на сборник Антоновича и Драгоманова⁵ были использованы русские колядки. Н. П. стремился установить генетическую общность колядок

¹ Ор. Ф. Миллер. Опыт исторического обозрения русской словесности, ч. I, СПб., 1865, стр. 27—42.

² А. Н. Афанасьев, Поэтические воззрения славян на природу, т. III, 1869.

³ Ф. И. Буслаев, Лекции 1859—1860 гг., журн. «Старина и новизна», кн. VIII, X, XII.

⁴ См. Антонович и М. Драгоманов, Исторические песни малорусского народа, 1874—1875.

⁵ Н. П. (Н. Петров), Труды Киевской духовной академии, 1876, № 10, стр. 146—168.

великоруссов и украинцев, считая эти песни общим славянским фондом, вынесенным из арийской прародины и послужившим основой для создания исторического эпоса. История в украинских колядках проявилась в случайных, малых отражениях. По мнению Н. П., украинцы сохраняли «первобытное достоинство славян» в наименее измененных формах, что не случилось с русскими, которые славянскую «первобытную словесность» превратили в новый жанр, жанр исторического эпоса, давшего преобладание лицам и фактам истории. Таким утверждением вопрос об обрядовой поэзии великоруссов снимался совершенно.

Вопрос о ней снимали и другие ученые. В 80-х гг. появляется работа А. Н. Веселовского «Румынские, славянские и греческие колядки»⁶. Проблема особенностей русской колядки также не решалась в ней. Эта работа, как и другие исследования Веселовского, характеризуется порочными методами позитивистской либерально-буржуазной науки второй половины XIX в. В названной работе А. Н. Веселовский поставил вопрос о восприятии славянами византийской культуры и, признавая почву подготовленной для греко-римских влияний, пришел к выводу о возобладавшем греко-римском начале, определившем формы «языческого элемента коляд»⁷. Восточнославянские новогодние действия ставятся в зависимость от греко-римской традиции и влияний, понятых как нечто внешнее, в сущности не связанное с проблемой культурного наследия античного мира. Средневековые славянские редакции обрядов отмечаются, но не выявляется самостоятельность и самобытность колядовых действий и песен. Выводы из Византии русский новогодний обряд, А. Н. Веселовский не мог изучать его своеобразие, тем более что мотивов христианской легенды, разбору которых он посвящает значительную часть исследований, в русской колядке оказалось невозможным найти. Только в конце своего исследования Веселовский обращается к русскому фольклору, но не к обрядовому, указанному в названии очерка, а к былевой поэзии, которая могла, по его предположению, эпизодами войти в календарную и свадебную поэзию⁸. Исследование А. Н. Веселовского, широко охватывавшее обрядовый фольклор, ориентировалось на песенные материалы румын, болгар и украинцев в первую очередь; русская колядка, русский обрядовый фольклор, как и у предшественников Веселовского, оставались забытыми.

Другое крупное исследование того же времени — «Объяснение малорусских и сродных народных песен» А. А. Потебни⁹ — также растворяет русскую новогоднюю поэзию в славянском фольклоре, беря исходным пунктом украинские колядки и щедривки. Формально-филологический анализ текстов, данный А. А. Потебней, позволяет ему сблизить песенные мотивы по внешнему сходству положений, совершенно игнорируя конкретную историческую среду, обусловившую появление и развитие рассматриваемых произведений; вся работа имеет четкий идеалистический отпечаток. Затерянные на страницах объемистого

⁶ А. Н. Веселовский, Разыскания в области духовного стиха, Сборник ОРЯО, т. XXXII, № 4, СПб., 1883. Очерк VII.

⁷ Начиная первую главу этой своей работы «Языческий элемент коляд», А. Н. Веселовский указывал, что обличения, направленные против греко-римского фонда верований, оставались в силе повсеместно, где существовала аналогичная обрядность. Сходство обрядов, по его мнению, можно объяснить «единством натуралистических представлений, легших в их основу; вместе с тем, в этом общем есть частности и совпадения, невольно вызывающие вопрос о возможности одного древнего культурного влияния, распространявшегося одновременно и оставившего следы в очертаниях нового обряда».

⁸ См. у Веселовского: «Древних отголосков древней народной лирики и эпоса следует искать именно в обрядовой песне, свадебной или колядной..., простиравших на приставшие к ним песенные мотивы охранительную руку консервативного обряда» (Указ. соч., стр. 290).

⁹ Варшава, 1887.

труда Потебни русские обрядовые песни являются дополнением к обзору исследователя, стремящегося учесть материалы с предельной полнотой.

Исследования А. Н. Веселовского и А. А. Потебни были характерным явлением для реакционной идеалистической науки. Долгое время после их появления не выходило ни одного обобщающего труда, по-новому ставящего изучение вопроса. Рассматривались и дискутировались частные проблемы¹⁰.

Только в 30-х гг. нашего века выходит в свет работа, которая дает ранее неизвестное направление изучению колядок. Это книга П. Карамана «*Obzréd kolédowania i Słowian i u Rumunów*»¹¹. Караман попытался подойти к колядкам, учитывая обстановку, в какой они пелись, и ввел классификацию по признаку обращения песни к тому или другому лицу (хозяину, хозяйке, парню, девушке и т. д.). В его книге ставится вопрос о конкретной исторической среде бытования колядок; одновременно решаются другие вопросы: где некогда был центр обряда? Каким путем обряд колядования распространялся? Какие народы и какую роль в этом играли? Исследуя специфику колядования и колядок разных народов, П. Караман впервые обобщил наметавшуюся в науке точку зрения на русскую колядку. Выделяя основными ведущими типами украинскую, болгарскую и румынскую колядовую поэзию, он сравнивает с ней песни других народов. Он считает, что, например, у сербов по сравнению с ней отсутствует общее богатство мотивов и широкая эпичность (несмотря на наличие у них изумляющего своей красотой исторического эпоса); что белорусские колядки являются более слабой копией украинских; что у греков обряд колядования находится в упадке, а у албанцев он просто «угасающее эхо» и т. д. О русском колядовании П. Караман говорит, что, ввиду дальности нахождения русских от предполагаемого им центра экспансии обряда колядования (на Балканском полуострове), русские сохранили только слабые отголоски обряда. Так П. Караман в 30-х гг. нашего века подвел столетний итог отношению и оценкам русской новогодней поэзии всего предшествовавшего периода изучения колядок¹².

До сих пор сохраняется отношение к русской колядке как к чему-то наносному, неоригинальному, находящемуся с давних пор в состоянии полного упадка. В действительности же русская колядка еще на грани XIX—XX вв. сохраняла свои особые формы, рассмотрение которых приводит к убеждению, что новогодняя песнь великоруссов была порождена трудом и бытом народа-земледельца и в силу ряда причин весьма четко сохранила свои архаические индивидуальные формы, позволяющие видеть в ней аграрно-магическую поэзию.

Выяснению специфики русской колядки в разных районах ее бытования и посвящается настоящая статья.

Наименование русской новогодней песни, исполнявшейся в кануны главных зимних праздников — Рождества, Нового года, Крещения, — различны. Их называют «коляда», «овсень», «виноградь»; последние два наименования на одной и той же территории не встречаются. Если первое из указанных названий общеславянское, то два других являются исключительно русскими¹³. В большинство мест русское население не разделяло песен соответственно их названиям по праздникам («к

¹⁰ См., например, в кн. Е. Аничкова, Весенняя обрядовая песня на западе и у славян, в ст. А. Маркова, Что такое овсень? и др.

¹¹ P. Caraman, *Obzréd kolédowania i Słowian i u Rumunów, Studium rogoónawcze. Prace Komisij etnograficznej*, № 14. Kraków, 1933.

¹² Почти за сто лет до выхода книги П. Карамана, в 1837—1838 гг., были опубликованы первые сводные работы о русском обрядовом фольклоре И. Сахарова и И. Снегирева.

¹³ В редких случаях «виноградь» встречается также у белоруссов и украинцев.

Рождеству», «к Новому году», «к Крещению»); это отличает восприятие русскими своей новогодней поэзии от восприятия, например, украинцев, у которых колядка определяется как рождественская песнь, щедривка — как новогодняя. Русские сохраняли рождественско-крещенские обряды как целостный цикл, относимый ко всему новомуднему периоду, а не как раздробленные детали, приуроченные в одних случаях к христианскому празднику рождения Христа и в других к календарной дате нового года — 1 января. В этом отразилась старая традиция счета времени по периодам, а не по дням календаря («численника»).

Документы XVI—XVII вв. сохранили сведения о русских новогодних обрядах и песнях, довольно полно перечисляя их и указывая на их широкое распространение. Упоминание в Стоглаве «нощного плещевания и бесчинного говора», «бесовских песен и плясания»¹⁴ в навечерие Рождества Христова, «святые вечера и в навечерие Богоявления», запреты, «чтоб с кобылками не ходили и на игрище б мирские люди не сходилися... и коледы б, и овсеня, и плуги не кликали»¹⁵, в различных вариациях (а иногда слово в слово) повторяются в грамотах и других исторических памятниках. «Ведомо нам учинилося, — значит в грамоте Алексея Михайловича, датированной 1649 г., — что на Москве, наперед сего в Кремле, и в Китае, и в Белом, и в Земляном городах, и за городом, и по переулкам, и в черных и в ямских слободах по улицам и по переулкам, в навечерии Рождества Христова кликали многие люди Коледу и Усень...»¹⁶ Но обряд колядования, несмотря ни на какие преследования, пережил направленные против него грамоты и в ряде местностей сохранил даже названия песен, упоминавшихся в XVI—XVII вв.

Названия песням даются по припеву, имеющему форму восклицания (отсюда: кликать коляду, кликать овсень). Песни с припевом «коляда, ой, коляда!» распространены по всей территории России, но в ряде районов уступают место своеобразным русским формам. Такой формой в северных районах (на территории новгородской колонизации) было виноградье. Центральная полоса России и Поволжье (в основном районы московской колонизации, за исключением Вологды) имеют своей областной формой овсень. Южнорусские области, частью среднее и нижнее Поволжье, отчасти казачьи районы не имеют своего четкого областного типа песни. В Воронежской, Курской областях, на Брянщине, на Дону, под Астраханью и вверх по Волге вплоть до Саратова обнаруживается перекрещивание типов новогодних песен. В этих местностях смешиваются разные русские песни с украинскими; наблюдается одновременное бытование овсеня, русской и украинской колядки, украинской щедривки. Указанные районы характеризуются как районы смешанных колядовых песен. Появление смешанного типа новогодней поэзии в этих местах было обусловлено тесными культурно-историческими связями русского народа и украинцев, их взаимовлияниями, ролью переселенцев с Украины, переносивших в новые места свои национальные обычаи и обряды, и многим другим¹⁷. В южнорусских районах не выработался свой областной тип новогодней песни; в них сосуществуют русские и украинские колядки, среднерусский овсень и украинские щедривки.

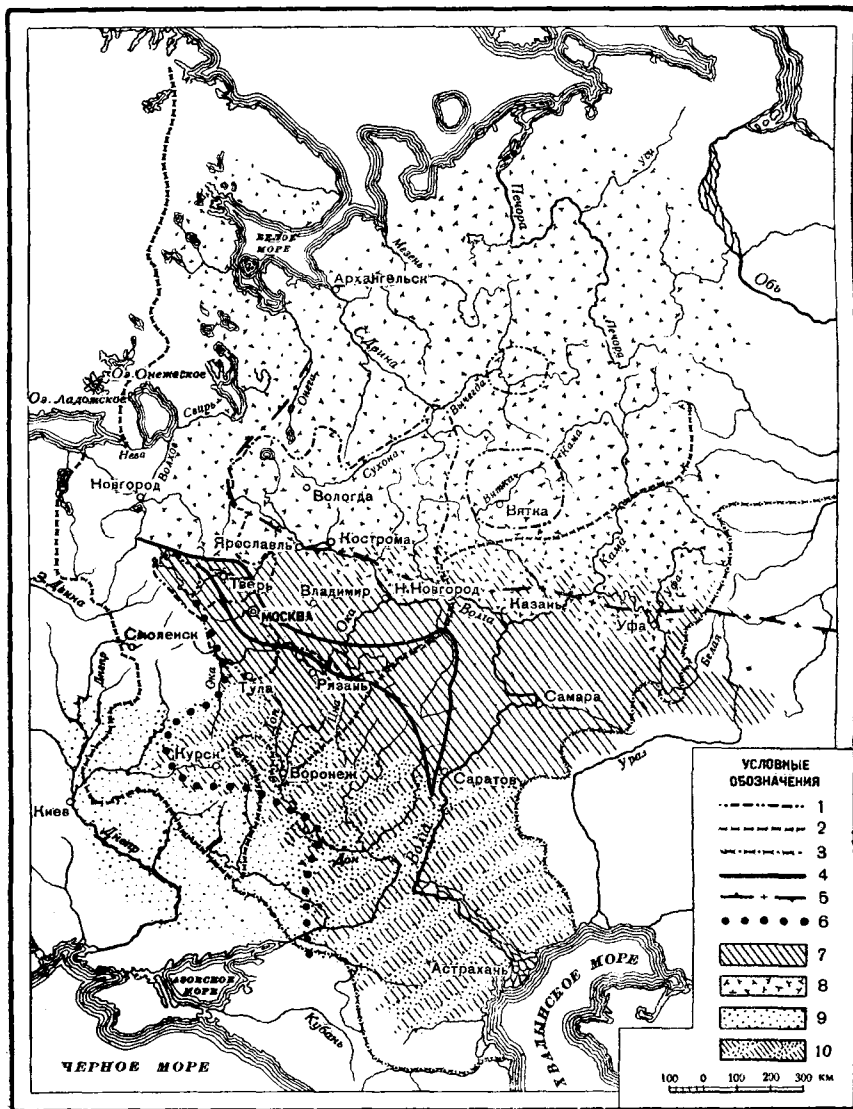
¹⁴ Стоглав, см. гл. 41; ср. гл. 92.

¹⁵ Акты исторические, VII, 96.

¹⁶ Ср. с этим текстом Указ Алексея Михайловича в сибирские города (память Верхотурского воеводы), грамоту Шуйскому воеводе и др. (Акты исторические, IV).

¹⁷ См., например, сведения о распространении типов восточнославянских песен по «Описанию рукописей Ученого архива Русского географического общества», сделанному Д. К. Зелениным (СПб., вып. I, 1914; вып. II, 1915; вып. III, 1916).

В отношении русской новогодней поэзии следует говорить о двух ее видах: 1) среднерусском и поволжском (овсень) и 2) севернорусском (виноградь).



Границы* распространения типов русской колядки: 1—территория Московского великого княжества к 1462 г. (начало княжения Ивана III); 2—границы русского государства в 1533 г.; 3—южные и восточные границы русского государства в 1600 г.; 4—схематическая граница среднерусских говоров; 5—схематическая граница владимирско-поволжских говоров; 6—схематическая граница южнорусских говоров; 7—территория распространения овсеня; 8—территория распространения виноградь; 9—территория распространения украинских колядок и щедривок; 10—территория распространения русского овсеня и украинских новогодних песен

Овсени не известны ни на великорусском Севере, ни в Белоруссии¹⁸, ни на Украине. Их северная граница проходит южнее бывш. Новгород-

¹⁸ Ср., например, свидетельство Е. Карского, категорически утверждающего отсутствие у белоруссов овсеня (Белоруссы, т. III, 1915, стр. 107—108).

ской губ. (для районов Новгорода характерны колядки вообще без припева; попутно укажем, что в бывш. Новгородской губ. нередко встречаются обряды смешанного типа). Далее граница идет по направлению к Казани, захватывая средние и южные районы бывш. Тверской, Ярославской и Владимирской губерний. В северных районах названных губерний преобладают песни с припевом «коляда». Выходя на Волгу, овсень распространяется по всему Поволжью (захватывая и более восточные области, например, бывш. Оренбургскую губ.) вплоть до Астрахани; начиная со среднего Поволжья к Астрахани, с овсенем уживаются виды украинской новогодней песни. Наиболее типичен овсень для районов, группирующихся вокруг Москвы, Владимира, Горького, Рязани. Южная граница овсеня устанавливается значительно менее четко благодаря взаимовлияниям с украинским фольклором; в Курской, Воронежской и соседящих с ними с востока областях встречаем сочетание овсеня с воспринимаемыми от украинцев новогодними шедривами. Несмотря на указанную нечеткость южной границы распространения овсеньевых песен, имеющиеся записи позволяют подвести ее к Северному Кавказу. Там тип овсеня и обряд колядования смыкаются с обрядами и песнями народов Северного Кавказа (см. у осетин), заклинающими плодородие и благополучие.

Границы распространения овсеня не случайны. Центр этого обрядового песенного типа находится в землях, или принадлежавших Москве еще в середине XV в. (до падения Новгорода), или соседивших и боровшихся с ней (Тверь, Рязань), но связанных с культурой крепнувшей Москвы. Территория овсеня, если ее нанести на карту Руси XIV—XV вв., — это прежде всего московские земли, осуществившие разгром татар, сбросившие их иго, окрепшие в борьбе и объединившие русские княжества в единое многонациональное государство. Объединительная роль Москвы определила сохранение на ряд столетий в ее владениях традиционных черт местной культуры, а вместе с тем и культурных явлений северных и южных областей, соединяемых рукой московского князя. Средняя Россия образовала особый комплекс явлений культуры, условно обозначенный как «переходный тип» (в то же время вполне оригинальный и своеобразный). «Переходный тип» явлений жизни и быта Московской Руси во многом стал истоком для дальнейшего формирования русской культуры.

Историческая обоснованность границ распространения овсеня подтверждается их соответствием с некоторыми фактами из области материальной культуры. Например, при изучении одежды в этих же местах можно найти переходную черту от сарафана к панёве; в области жилища именно северная часть Московской обл., Владимирская обл., верхнее Поволжье характеризуются «переходным типом», сближающимся по плану с северным (ср. архангельско-вологодский), но по способу устройства повторяющим южный (открытый двор и т. п.)¹⁹. Сказанное справедливо, несмотря на некоторые отклонения, обнаруживающиеся при сопоставлениях границ распространения отдельных явлений культуры²⁰. Видимо, овсень как вид новогодней песни входил одним из элементов в русскую культуру и быт, принимающих особые очер-

¹⁹ В районе бытования северных видов обрядового фольклора (областях новгородской колонизации) также находим соответствие границам «виноградья» границ распространения северных типов жилищ, выделяемых по единству ряда признаков (двухэтажные постройки, крытый двор и т. п.; ср. архангельско-вологодский и олонечский типы изб).

²⁰ Так, можно было бы предполагать, что в Вятской обл. имеется чистый северный тип жилища; однако там обнаруживается особый переходный тип — одноэтажная изба с соединенным с ней открытым двором. О связях с культурой Севера свидетельствует наличие сарафана и ярко выраженный окаящий говор во Владимирской обл.; о том же говорит окаяние и в части Горьковской обл.

тания в период формирования Московского государства. Территория распространения овсеновых песен является в то же время территорией святочных обрядов среднерусской полосы и Поволжья. Колядование, а наряду с ним другие обряды Нового года (с 24 декабря по 6 января ст. ст.) существуют как самостоятельные эпизоды в общем предречении благополучия на предстоящий отрезок времени, проводимые параллельно и независимо один от другого. Это может быть сочтено исконной чертой среднерусской новогодней обрядности.

Цитированные выше документы и сопоставления с данными материальной культуры, языка и прочими свидетельствуют, что в Московской Руси овсеновые песни и самый обряд существовали в развитых формах. Имея первоначально практическое, а не игровое, развлекательное назначение, они отразили в своей форме и направленности не только производственные моменты жизни, но и семейный и общественный строй народа. Новогодние заклинания, предрекающие благополучие, урожай, плодovitость и плодородие, прямым и непосредственным образом связаны с основной ячейкой родового строя — семейной общиной или большой семьей, в пережитках сохранявшейся у русских до недавнего времени. В силу различия в историческом развитии народов образуются разные типы семейной общины; их своеобразные черты четко выявляются, например, при сопоставлении великорусской большой семьи и южнославянской задруги; последняя представляет собой первобытно-демократический тип²¹, великорусская же большая семья — тип отцовский²²; более поздний, обусловленный более сложной по своему состоянию культурой народа. Совершенно справедливы указания М. О. Косвена²³ на то, что в среде славян тип отцовской семейной общины находит отчетливые формы у русских, тогда как, видимо, другие восточные славяне — и белорусы и, по всем данным, украинцы, так же как южные славяне, — характеризуются первобытно-демократическим типом.

Особенности типа семейной общины у русских и у других славян определили различия у них обряда колядования. Двум типам семейной общины соответствуют два типа этого обряда: обобщенный и дифференцированный. Оформившись в период полнокровного существования родового строя у славян, эти обрядовые типы (в силу известной консервативности обряда) сохранили свои особенности и в период разложения и даже полного исчезновения у некоторых народов семейных общин; в обрядовом цикле нового года исчезновение их более всего сказалось не на порядке проведения действия и исполнения текстов, которые часто остаются теми же, а на изменении темы, содержания и образов песен, на характере высказываемых пожеланий. Указанные два типа обряда колядования следующие.

1. Дифференцированный тип обряда. Обряд проводится с учетом каждой индивидуальности, входящей в состав семейной общины (иногда учитываются также лица, не входящие в нее, но случайно оказавшиеся в данном доме в момент прихода колядующих). Внешними признаками этого обряда служат: колядование у дома и в доме и дифференцированные колядки, с которыми обращаются к каждому отдельному человеку, желая ему личного благополучия и личного счастья в его семье.

²¹ Глава общины (задруги) — обычно выборный, не обладает неограниченной властью.

²² Глава такой семьи (дед или отец) — неограниченный распорядитель хозяйства, с деспотической властью.

²³ М. О. Косвен, Очерки по этнографии Кавказа, «Советская этнография», 1946, № 2, стр. 116—117; см. его же, Семейная община (статья подготовлена к печати).

2. **Обобщенный тип обряда.** Обряд проводится по отношению к семейной общине в целом (большой семье) и обращен к главе семьи (остальные ее члены упоминаются лишь по связи с ним). Внешним признаком обобщенного типа является колядование у дома или в самом доме и **общая** колядка в которой высказывается пожелание благополучия семье в целом.

Дифференцированный тип обряда достаточно полно описан в научной литературе; он представлен колядованием украинцев, болгар, румын в первую очередь и единым с ним «кликаньем коляды» другими славянами. Особняком стоит великорусский обряд, до сих пор не исследованный; он должен быть характеризован как обобщенный тип обряда. Различия между русским колядованием и колядованием других славян обнаруживаются даже при беглом сопоставлении их схем.

Новогоднее колядование украинцев, болгар и других славян, как и румын, требует длительной и достаточно сложной подготовки, обусловленной широтой и разнообразием песенного репертуара, включаемого в обряд. Задолго до Рождества создается одна или несколько групп по 5—7 (иногда больше) человек, в зависимости от того, как велика деревня и как колядующие разделили ее между собой. Каждая группа колядующих выбирает себе учителя — какого-нибудь знатока песен — и обязуется подчиняться приказам его или его помощника. К колядующим в ряде случаев присоединяется музыкант, нередко исполняющий обязанности мехоноши²⁴. В ряде мест готовящиеся к колядованию занимаются в течение рождественского поста в доме своего учителя или в избе, снятой на этот случай. К процессу колядования привлекались местное духовенство и церковный староста²⁵. Колядовать начинали или от дома своего главы — учителя или от дома священника, строго соблюдая порядок исполнения колядок: сначала во дворе или под окном, затем в доме — всей семье, а далее: отдельно хозяину, каждому члену семьи в порядке их старшинства, отсутствующим родственникам, детям (даже новорожденным), гостям и покойникам²⁶.

У русских схема обряда колядования имела другие формы. Имея обобщенный характер, она не требовала специальной подготовки к прославлению отдельных лиц и, естественно, исключала необходимость специальной подготовки под руководством главы — учителя. Русский обряд в его наиболее типичной среднерусской (овсеновой) редакции был описан в 30—40-х гг. Сахаровым, Снегиревым и Терещенко²⁷. Указанное Снегиревым приурочение овсеновых песен исключительно к кануну Нового года не может быть принято безоговорочно. Дифференциация по времени кликанья усеня и коляды отсутствует в грамотах XVII в. Помимо того, фольклорные и этнографические материалы XIX—XX вв. также свидетельствуют о нечеткости приурочения овсеня. И овсень и колядка нередко тождественны по тексту, во многих местах пелись и под Новый год и в рождественский сочельник²⁸.

²⁴ Мехоноша или мехоноска — тот из колядующих, который несет кошель для поклажи подарков.

²⁵ См., например, у П. П. Чубинского в «Трудах этнографическо-статистической экспедиции в Западно-русский край», вып. 1, СПб., 1872, стр. 265; ср. также А. Н. Афанасьев, Поэтические воззрения славян на природу, т. III, 1869, стр. 752; Н. Петров, О народных праздниках в юго-западной России, Труды Киевской духовной академии, 1871, сентябрь, стр. 567—568; А. Н. Веселовский, Румынские, славянские и греческие коляды. Разыскания в области русского духовного стиха, Сборн. ОРЯС, т. XXXII, № 4, СПб., 1883, Очерк VI, стр. 106 и др.

²⁶ Длительная подготовка к колядованию и дифференцированная форма его у ряда славянских народов осложнялись в условиях феодализма и не могут считаться раз навсегда данными и неизменными.

²⁷ См. И. Снегирев, Русские простонародные праздники и суеверные обряды, вып. 2, М., 1938, стр. 103 и сл.; см. также М. Н. Макаров, Русские предания. М., 1838, стр. 47—51.

²⁸ Так, например, было по личным наблюдениям автора настоящей работы в

Сведения о колядовании, опубликованные в 30—40-х гг. XIX в., рисуют его как обряд, для проведения которого жители селения объединялись в однородные половозрастные группы (иногда характер их нарушался соединением в одну группу девушек и парней). Колядующие определяли, кому быть мехоношей. В отдельных случаях среди колядующих выделялся главарь, руководящий обходом домов.

Организация колядового обхода у русских и других славянских народов была различна; она обуславливалась последовательностью стадий в развитии обряда, изменявшегося соответственно состоянию семейной общины. У русских обряд не был деформированным, распавшимся и утерявшим характерные черты: он был обрядом, естественно, изменившимся с утверждением в быту отцовской большой семьи, явился следующей по отношению к южнославянскому и украинскому обряду стадией, соответствующей патриархальному перерождению семейной общины. Указанная форма великорусского обряда и песен, входящих в него, получила типическое выявление в районе средней России и Поволжья — на территории Московской Руси.

Среднерусские новогодние песни могут быть сведены к трем основным типам, элементы которых существуют и отдельно и в комбинации друг с другом. Условно эти типы можно определить так: а) тип величания с пожеланием богатства, б) тип просьбы о подаении и в) тип шуточной песни (с цепевидно построенными вопросами и ответами). Последний тип стоит особняком.

Помимо названных трех типов, существуют отдельные колядки, имеющие своим истоком разные лирические и обрядовые (не новогодние) песни. Эти колядки немногочисленны и нехарактерны.

Каждый из указанных типов имеет редакции: а) основную и б) осложненную комбинациями. Характерно, что в осложненных редакциях, как правило, мотивы, присоединяемые к основному тексту, подчиняются ему, не разрушают его идейный замысел. Комбинация в среднерусских овсенях и колядках приводит к осложнению и детализации мысли, выражаемой новогодней песнью.

Характерный тип величальной колядки (не комбинированный) был опубликован еще в 1838 г. И. Снегиревым.

Коляда, коляда!
Пришла коляда накануне Рождества.
Мы ходили, мы искали, коляду святую
По всем дворам, по проулочкам.
Нашли коляду у Петрова-то двора.
Петров-то двор — железный тын,
Среди-то двора три терема стоят,
Во первом терему светел месяц,

А в другом терему красно солнце,
А в третьем терему частые звезды,
Светел месяц — Петр сударь свет Иванович,
Красно солнце — Анна Кирилловна,
Частые звезды — то дети их.
Здравствуй, хозяин, с хозяйшкой,
На долгие веки, на многие лета! ²⁹

Цитированная колядка по композиции трехчастна: а) приход коляды и поиски ее колядующими; б) характеристика хозяев (величание) и в) пожелание благополучия на Новый год. Величание содержит поэтические образы, генетически восходящие к магии и элементам древних культов: железный тын — поэтическое осмысление ограждающего круга, в котором железо синонимично неразрушимой крепости ограды. Такой смысл образа тына в колядке связан со святочными обрядами разрушения забора у избы, ломанья ворот и тому подобными действиями, которые должны были вызвать приход несчастья в семью, исчез-

Вязниковском и Гороховецком уездах Владимирской губ. в первые десятилетия XX в.; ср. в Архиве РГО аналогичные данные из других местностей.

²⁹ И. Снегирев, Русские простонародные праздники..., стр. 68, № 3.

новения в данном доме удачи и обилия. Уподобление хозяев солнцу, месяцу, звездам входит в круг элементов обрядовых действий солнечного культа, сохранившихся в праздновании Рождества — Крещенья; такое уподобление является формой восхваления и пожелания благополучия (хозяева равны празднуемому солнцу) и связано в своих истоках с новогодней обрядностью, как обрядностью возрожденного солнечного светила. Формула пожелания, завершающая величание, приобретает особый смысл в условиях новогодней обрядности, распространяющей действие заклинаний на весь вновь начинаемый период времени (ср. магию «первого дня»).

Изложенное содержание новогодней величальной песни наиболее типично для этого разряда. В связи с ним А. А. Потебня указывал: «Черта «двор на столбах» одна или вместе с золотыми в медными воротами, как кажется, исстари связана с другим главным величальным мотивом: в терему (или в теремах) — то-то (напр. месяц, солнце, звезды), но все это не то-то, а хозяин, хозяйка, дети». Далее А. А. Потебня отсылает к славянским и русским новогодним и свадебным песням³⁰.

Тип новогодней песни-просьбы включает в себе требование обрядового подаяния. В песенном тексте изображается реальная деталь обряда (получение обрядовой еды колядующими). Этот тип иногда встречается в форме самостоятельной песни и почти всегда входит в другие тексты как их составная часть.

Таусины, таусины!
Кишки, лепешки,
Свинные ножки,
В печи сидели,
На нас глядели,

Каши захотели.
Ты не режь, не ломай,
Подай целый каравай,
Кишку с лутышку,
Краешку с колбешку!³¹

Колядки-просьбы варьируются как песни, непосредственно требующие подаяния, песни, повествующие о приготовлении обрядовой еды, предназначенной для одаривания колядующих, и песни, рассказывающие о благополучии и удаче как результате подаяния. Самая просьба о подаянии при этом может иметь форму изложения ожидаемого или форму угрозы принести вред дому, если просьба не будет исполнена. Все три вида колядок-просьб, разумеется, могут сводиться воедино³².

Колядка-величание и колядка-просьба связаны между собой единой целью новогоднего обрядового действия и соответствуют его основным моментам: заклинанию благополучия и приобщению к нему заклинающих. Естественным следствием указанной связи является контаминирование обоих типов колядок. Контаминация несколько изменяет композицию колядки, давая ей следующую характерную редакцию: а) приход коляды и поиски ее колядующими, б) характеристика хозяев (величание), в) просьба о подаянии. Такой текст встречается очень часто наряду с указанными выше основными типами. Например, колядка-овсень из сборника Шейна «Великорусс...», № 1042 началом текста имеет традиционное: «Мы ходили-походили по свитым вечерам...»; далее: Алексеев двор «тыном отынен, кольцом обведен», во

³⁰ А. А. Потебня, Объяснение малорусских и сродных народных песен, II. Колядки и щедровки, Варшава, 1887, стр. 609.

³¹ Вариант публикуется впервые. Записан в 1940 г. М. П. Григорьевым, Н. Г. Ермаиловой, В. И. Чичеровым в г. Звенигороде Московской обл. от уроженки Пензенской обл. Марии Ильиничны Симоновой.

³² Варианты цитированной колядки-просьбы см. в сборниках и статьях: П. В. Шейн, Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях..., т. I, вып. 1, 1898, № 1044 и др.; П. М. Сухов, Несколько данных по народному календарю..., «Этнографическое обозрение», 1892, № 2—3, стр. 239; К. Завойко, Веражения, обряды и обычаи великорусской Владимирской губ., «Этнографическое обозрение», 1914, № 3—4 и др.

дворе шатер, хозяин, хозяйка, дети — месяц, солнце, звезды. Окончание текста:

Вы скажите, прикажите, Не дадите пирога —
У ворот не держите. Мы корову за рога... ³³

Просьба о подаении занимает место прямого пожелания благополучия в доме (его заменяет изображение дома и его обитателей в величальной части колядки, как бы утверждающее наличие богатства, обилия, довольства, красоты жизни). В данном тексте просьба о подаении принимает негативную форму угрозы; это отзвук того, что колядующие приходят не скромными просителями-нищими, а коллективом людей, совершающих магический обряд, который должен вызвать желаемое в грядущем. Активная роль колядующих исключала мотивы смиренности и покорности перед восхваляемыми в колядках. Не просьба, а требование, перерастающее в угрозу навлечь беду, — частое явление в великорусских колядках.

Дальнейшая разработка контаминированного текста идет по пути развертывания и детализации отдельных подробностей. При этом особо подчеркиваются мотивы благополучия и довольства в хозяйстве ³⁴. Нередко, сжимая описание терема, такие колядки вводят изображение идущего на водопой стада как символ изобилия в хозяйстве:

Дайте коровку, Мазану головку! Уж, ты ласточка, Ты, касаточка, Ты не вей гнезда Во чистом поле, Ты завей гнездо У Петра на дворе ³⁵ .	Дак, дай ему бог Полтора ста коров, Девяносто быков. Они на реку идут. Всё помыкивают. А с реки-то идут, Все поигрывают! ³⁶
---	--

Мотив «дай бог богатство», аналогичный заключению — пожеланию благополучия в колядках-величаньях, здесь вырастает из описания терема и довольства семьи. В условиях крестьянской земледельческой жизни он, естественно, варьируется как пожелание урожая, от богатств которого получают колядующие. С этим связана и начальная просьба в цитированной колядке: «Дайте коровку, мазану головку». «Коровка» — обрядовое печенье, делаемое на Рождество для одаривания колядующих, изображало рогатый скот и омыслилось как средство получения благополучия в доме. В описании А. Б. Зерновой обрядов Дмитровского уезда сообщается: «Колядующие получают от религиозных хозяев лепешки и фигурки коров, испеченные из теста в это же утро. Верующие считают, что если хозяин не подаст колядующим, то в хозяйстве на этот год не будет проку» ³⁷.

В связи с этим становится понятным появление мотивов урожая, пожелания которого закономерно высказывались колядующими в начале года:

А дай бог тому, Хто в этом дому, Ему рожь густа, Рожь ужими ста.	Ему с колосу осьмина, Из зерна ему коврига, Из полужерна пирог ³⁸ .
---	--

³³ П. В. Шейн, Указ. раб., № 1042.

³⁴ См., например, текст колядки в ст. А. Ф., «Коляда в Ярославской губернии», «Этнографическое обозрение», 1906, № 4, стр. 119.

³⁵ Ср. поверье о счастье, приносимом семье ласточкой, выющей гнездо под крышей дома.

³⁶ Записано в июле 1944 г. О. А. Ганской и В. И. Чичеровым от Анны Ивановны Поляковой 93 лет. Колядка бытовала в Звенигородском районе в 60-х гг. XIX в.

³⁷ А. Б. Зернова, Материалы по сельскохозяйственной магии в Дмитровском крае, «Советская этнография», 1932, № 3, стр. 17.

³⁸ П. В. Шейн, Указ. раб. № 1032; см. также № 1040 «Уехали в поле пшес-
10*

Описываемые колядками красота двора и дома, обилие скота, богатство желанного урожая, уподобление хозяев солнцу, месяцу и звездам образуют целостный комплекс пожеланий-заклинаний, произносимых колядующими. Пожелания имеют две редакции: а) ожидаемого благополучия (так будет!) и б) изображения предреченного как исполнившегося (так уже есть!). И та и другая редакции являются проецированием будущего, но вторая из них воспринимается как более действенная, так как в ней желаемое изображено исполнившимся. Благополучие, обещаемое песнью, обусловлено доброжелательными взаимоотношениями колядующих и хозяев (прославление хозяев и одаривание колядующих). Отражая активную волю людей, совершавших новогодние обряды и заклинания, русская колядовая поэзия, естественно, выразила категоричность требования подаяния и вместе с ним включила элементы угрозы³⁹. Традиция категоричности требования, генетически связанная с магией слова, особенно важного в ответственные моменты начала того или другого периода времени, сохранялась и развивалась в более позднее время уже вне связи с верованиями, всецело на основе бытовых взаимоотношений и устанавливающегося в XIX—XX вв. отношения к колядованию, как к развлечению, увеселению. Но появление нового отношения к обряду не помешало сохранить в «негативных» колядках пожелания, противоположные обычным: разорения, позора, несчастья, смерти и т. п. «Негативная» колядка, вызванная неполучением подаяния или малым количеством его, предрекает:

На Новый год
Осиновый гроб,

Кол да могилу,
Ободрану кобылу⁴⁰.

Русские «негативные» колядки имеют форму или пожелания несчастья в текущем году (как приведенная выше) или форму угрозы насильно что-либо взять, нанести ущерб в крестьянском хозяйстве:

Давайте пирога!
Кто не даст пирога,—
Сведем корову за рога!

Или:

Дайте нам ломоть пирога
Во все коровьи рога,
Не дадите лепешки —
Закидаем все окошки.
Не дадите пирога —
Закидаем ворота⁴¹.

Тема благополучия в большой семье и ее хозяйстве, обеспечиваемого или разрушаемого колядующими, явственно звучит в среднерусских новогодних песнях-пожеланиях. У русских, у других славянских народов, как и у румын, таким образом, совпадает целевая установка новогодних песен. Спецификой русской колядки является то, что она имеет обобщенный тип, тогда как у большинства других народов ко-

ничку сеять. Дай им бог из полужерна пирог»; № 1041: «Уж дай тебе бог, чтобы рожь родилась, на гумно свалилась!».

³⁹ См. например, А. Лядов, Сборник русских песен, М., Музгиз, 1933, № 3; Материалы песенной экспедиции 1895 г. из Рязанской губ. Данковского у. дер. Гремячка. Записано Некрасовым и Истоминим. — Сказанное о привнесении в колядки элементов угрозы заставляет отвергнуть встречаемое в литературе утверждение, будто «негативные» колядки и «колядки-ругательства» явились результатом разложения обряда в новое время.

⁴⁰ Г. К. Завойко, Указ. раб., «Этнографическое обозрение», 1914, № 3—4.

⁴¹ П. В. Шейн, Указ. раб. №№ 1039, 1038. Сравнительный материал о колядках, навлекающих несчастье, см. в ст. П. Карамана, Des kolindatul dans le Sud-Ost Europeen, в кн.: «Сборник на IV конгресс на славянските географи в София — 1936», София, 1936, стр. 321—327.

лядки характеризуются дробностью, выделением отдельных лиц, к которым колядующие обращаются.

Подобная дробность величаний известна и русскому фольклору, но у русских она связывается не с аграрно-календарным обрядом, а с семейной обрядностью, выдвигающей на первый план не тему общности сельскохозяйственной единицы, а проблему роли и взаимоотношений отдельных членов семьи. Индивидуализированные свадебные величания, бытующие в той же среде, в которой живут и колядки, оказывают некоторое воздействие на новогоднюю поэзию, однако не сливаясь с ней в среднерусских обрядовых циклах. Основой для взаимодействия семейной и календарной поэзии служит единая тема брачного союза, по-разному разрабатываемая, но значительная и характерная также для аграрной магии (ср. воздействие на плодородие земли брачной связью). Колядка подчеркивает значение ожидаемого в семье события, но не акцентирует внимание на личных переживаниях и судьбах вступающих в брак (именно последнее характерно для поэзии свадебного обряда, ср. причеты и песни)⁴².

Осложнение текстов среднерусских новогодних песен мотивами песен, тематически смежных, не нарушало основной направленности овсеней. Тексты творчески варьировались, сохраняя в то же время особенности старого овсеневого типа. Только иногда песни, тематически сходные с типом новогодних величаний (с темой терема-двора), становились колядками (например, свадебные величания или песни-просьбы). Это не было массовым явлением. Свадебные и лирические песни при этом приобретали обобщенность колядок и подчеркивали обязательность обрядовых подаяний. При перенесении текстов свадебных величаний в святочный обрядовый цикл они сочетаются с колядками-просьбами, приобретая, таким образом, традиционную форму новогодней поэзии.

Как у месяца зототы рога,
Как у солнышка лучи ясные,
У Ильи-то же у Васильевича кудри
русые,
По плечам-то кудри расстилаются,

Серебром кудри рассыпаются,
Уж ты, тетушка, подай ты, лебедушка, подай,
Ты подай-ко пирога, с руковичку широк,
Подавай, не ломай, ты начинку не теряй.
Тетка, подай пирога!⁴³

В таком же значении представляют и другие песни, неколядовые в своей основе (игровые, хороводные и др.)⁴⁴. Как и свадебные, они подвергались переработке. В святочных переработках игровых и хороводных песен исчезают изобразительные моменты; текст не иллюстрировался ни движением, ни танцем⁴⁵.

⁴² Тексты со свадебными мотивами см. П. В. Шейн, Указ. раб., № 1037; А. Лядов, Сборник русских песен, № 3, а также: в ст. П. М. Сухова, Несколько данных по народному календарю..., «Этнографическое обозрение», 1892, № 2—3, в Архиве РГО и др.

⁴³ И. В. Некрасов, 50 песен русского народа для мужского хора из собранных И. В. Некрасовым и Ф. И. Покровским в 1901 г. в Нижегородской губ., М., 1903, стр. 18, № 12. Ср. в кн. И. Снегирева, Русские простонародные праздники..., стр. 113, № 3.

⁴⁴ См. тексты: К. Завойко, Указ. раб., стр. 145, 146; И. В. Некрасов, 50 песен русского народа, стр. 16, № 10; и некоторые другие тексты в статьях и сборниках, публикующих колядки.

⁴⁵ С уничтожением изобразительных моментов в хороводах и игровых действиях появляется большая свобода в варьировании текста, изменении образов и даже устойчивых словесных формул. Ср., например, овсеневый вариант «Заиньки» в сборн. И. В. Некрасова «50 песен русского народа», Сочинение литер. Г, стр. 10—11, № 2. Особо следует остановиться на разборе известной колядки «За рекою за быстрою», напечатанной И. Снегиревым в работе: «Русские простонародные праздники», стр. 68—69, № 4. Этот текст издавна привлекал внимание исследователей необычностью содержания: горят огни, сидят люди, кипит котел, рядом стоит козел, старик хочет зарезать козла — «брatца Иванушку», козел не может выпрыгнуть.

Рассмотрение двух видов среднерусских овсеневого песен (величания и просьбы) в их чистых и смешанных редакциях показывает, что они сохраняли обобщенность песен-заклинаний, первоначально являвшихся магическим действием, совершаемым коллективом, — действием, направленным к определению судеб семейной общины. Коллективно-производственный характер новогодней обрядности и поэзии обуславливает основные образы колядок, прежде всего, образ реально существующей большой семьи: дома-терема и двора, наполненных богатствами; во главе дома стоит хозяин — он же глава семьи, властвующий над своими чадами и домочадцами, владеющий стадами, богатым урожаем и многим другим, о чем мечтал человек, непрерывно борясь с нуждой и тяготами жизни. Русские колядки образ «большого дома» сохраняют основным, ведущим, в то время как другие народы, не потерявшие колядовой поэзии, затемняют этот образ новообразованиями, нередко религиозно-христианского или апокрифического происхождения. У украинцев (отчасти белорусов), южных славян, румын и, в известной мере, у западных славян (как это достаточно ясно было показано материалами, обобщенными в работах А. Н. Веселовского, А. А. Потебни, в новейшем исследовании П. Карамана) новые заимствования из устной поэзии и книги возобладали над древнейшими элементами колядок; русские же колядки овсеневого типа, как свидетельствует разобранный выше материал, подчиняют старому образу более поздние контаминированные детали текстов, привлекаемые в колядовый цикл песен или по сходству описываемых положений (ср., например, величальные, хороводные, лирические песни), или по смежности их временного исполнения (ср. например, переход в колядки эпизодов из зимних игровых и посиделочных песен).

Среднерусские колядки не застыли в раз и навсегда созданных формах; но особенности их развития и осложнения были таковы, что они по своей близости к древнейшей обрядовой поэзии Нового года получили приоритет в сравнении с колядками других славянских и неславянских народов. Высказанное положение касается основного овсеневого типа колядок. Наряду с ним в русском фольклоре существовал и другой тип новогодних поздравительных песен, представлявших собой новообразование, которое может быть определено как использование колядующими во время обряда поздравления с Новым годом и Рождеством необрядовых песен. Отголоском обряда колядования в таких песнях обычно являются только первые две или даже одна строка («Пришла коляда...») и заключительная просьба о подавании. Основной текст безразличен к обрядности. По существу здесь имеет

В основе текста лежит украинская колядка, напечатанная впервые Ив. Срезневским в статье «Славянская мифология» («Украинский вестник», 1817, Апрель, стр. 19—20); текст в этой работе оканчивался указанием на старика, точащего нож, и козла, стоящего рядом. В этой же редакции текст был перепечатан И. Снегиревым в вып. 1 указанной работы (стр. 103). В вып. 2 этот текст был напечатан с упомянутым окончанием. Многие исследователи (Ф. И. Буслаев и др.), следуя за Снегиревым, видели в этой колядке изображение новогоднего жертвоприношения и считали ее отзвуком «языческого периода славян». Это мнение, как обнаруживается при сравнительном разборе текстов колядок, ошибочно. Колядка из работы Снегирева двухчастна. В первой части говорится о новогодних кострах, вошедших устойчивым элементом в святочную обрядность (изображается в колядке один из моментов обряда). Вторая часть — это заимствование из сказки, почти дословное повторение стихотворной вставки-песни из сказки «Братец Иванушка и сестрица Аленушка», (см., например, в сборн. Д. Садовникова, Сказки и предания Самарского края, СПб., 1884) и является присоединением к новогодней песне. Не лишне вероятно предположение, что это заимствование из сказки было сделано самим Снегиревым, — настолько необычна контаминация новогодней песни и сказочного эпоса. Подтверждение сказанного можно найти в параллельном рассмотрении текстов, свидетельствующих о том, что в колядках действительно встречается мотив костра и что мотив заклинания козла сомнителен по своему положению в этом типе песен.

место механическое (а не органическое, как в овсенях) соединение необрядовой и обрядовой (точнее: колядки-просьбы) песни. Почти все известные по записям колядки этого рода имеют вопросно-ответную форму. Эта форма варьирует один из древнейших видов обрядовой поэзии — вид загадок, распространенный не только у земледельческих, но и у скотоводческих и охотничьих народов⁴⁶. Может быть, некогда и среди песен русской новогодней обрядности существовали подобные песни-загадки. Они не дошли до нас, но полузабытые традиции вопросно-ответной обрядовой песни могли притянуть в святочный цикл произведения, имеющие ту же форму (варьирующую загадку), но не связываемые своим содержанием с обрядом. «Овсенки», «безразличные» к содержанию обряда, представляют собой обычно цепь вопросов, формально привязываемых к даваемым ответам. Типичные образцы таких новогодних песен следующие:

- 1) Иван большой
Купил горшок.
- 2) На что горшок?
— Кашу варить.
- 3) На что кашу?
— Детей кормить. . .⁴⁷

Разночтения в отдельных вопросах и ответах приведенных колядок не снимают положения об общности их типа. В разных текстах совпадают не только ряд вопросов и ответов, но и самая композиция песни, в которой собственно к обряду относятся зачин и концовка, основная же часть с обрядом не связана. При таком положении с песнями из рассматриваемого разряда колядок естественной необходимостью делается установление истоков интересующих текстов. Обычно необрядовый текст в обряд переносится той категорией исполнителей, для которой он типичен, в которой он популярен. При обрядовом исполнении необрядовой песни необходимо, следовательно, обратить внимание на то, кто исполняет данное произведение.

Колядки, состоящие из вопросов и ответов, как правило, исполнялись детьми, реже подростками и только в отдельных случаях, как можно заключить по свидетельству информаторов и отчасти собирателей, — взрослыми парнями и девушками⁴⁸.

Шуточные вопросно-ответные колядки могут быть связаны с детьми не только как с их исполнителями, но и по самому стилю, тождественному стилю одного из разрядов детского фольклора, так называемым «потешкам». Потешки — примитивные шуточные песенки. Ритмически

⁴⁶ Свод славянских песен, варьирующих тему загадок и часто входящих в обряды зимы и весны — лета, дан в главе «Загадки» кн. А. А. Потебни, *Объяснение малорусских и сродных народных песен*, II, Колядки и щедровки, стр. 575—594.

⁴⁷ Записано В. И. Чичеровым в Загорске от А. Я. Табаковой в 1946 г.: колядка бытовала на грани XIX—XX вв.: ср. в ст. А. Б. Зерновой, *Материалы по сельскохозяйственной магии в Дмитровском крае* («Советская этнография», 1932, № 3, стр. 17): «Текст, записанный в Дмитровском уезде в 1850 г. и опубликованный проф. Д. Зелениным в т. II, стр. 712. Описания рукописей Ученого архива РГО, ни разу во время работы обнаружен не был». Указанный А. Б. Зерновой по архиву РГО вариант отличается отсутствием вопросно-ответной формы, обязательной для этой колядки (в Московской обл. в 1946—1947 гг. было записано 10 вариантов ее, все в вопросно-ответной форме; см. Архив Фольклорного сектора Института этнографии АН СССР и личный архив автора). «Кутья» этого текста, заменяющая «кашу», — также особенность данного варианта. Предполагаю, что цитированный вариант Дмитровского уезда — редкое для этого типа переосмысление необрядовой песни применительно к обряду.

⁴⁸ См. А. Б. Зернова, *Указ. раб.*, стр. 17, а также сообщение П. М. Сухова, «Несколько данных по народному календарю и о свадебных обычаях крестьян Саратовской губ.», «Этнографическое обозрение», 1892, № 2—3. — Сухов указывает, что колядующие пели детскую шуточную песню «Сорока-Дуда», являющуюся вариантом вопросно-ответной колядки.

и по характеру образов они настолько далеки от колядовой поэзии, что только с большим трудом могут быть сближены с ней. Характерно, что А. А. Потебня в своем формально-филологическом анализе колядок и «сродных с ними песен» даже не упоминает о потешках⁴⁹. Между тем сопоставление потешек и вопросно-ответных колядок обнаруживает текстуальное совпадение в значительном числе случаев⁵⁰.

Встрелась коза,
Лубяные глаза
— Где, коза, была?
— Я коней стерегла.
— Что выстерегла?
— Коня в седле
В золотой узде.

Таусень дуда,
Ты где была?
— Коней пасла.
— Что выпасла?
— Коня в седле
В золотой узде...⁵¹

Превращенная в колядку шуточная песнь не может быть приравнена к традиционным овсeneвым колядкам, хотя истоком ее, как часто бывает в детском фольклоре, могла явиться обрядовая песнь. В основе старых колядок лежало представление о возможности магического слова и действия; колядка была заклятием. Колядка-потешка же сохраняет исконное значение шуточной песни, далека от элементов заклинаний и должна развлечь, послужить предлогом для подарка. Помимо того, потешные колядки ни в какой степени не связаны с темой большой семьи. Исполняющие эти песни выступают поздравителями с праздником, а не совершающими обряд, воспринимавшийся некогда как имеющий значение для сельскохозяйственной деятельности человека. Песни такого рода являются новообразованиями в святочной обрядовой поэзии, соответствуют превращению серьезного обряда магического характера в развлекающую (в то же время служащую источником дохода) игру, в увеселение. Изменение смысла обрядового действия, видимо, определяло и возможности включения песен иных типов, чем возникшие первоначально. Считаю, что к типу новообразований в святочной поэзии относится и текст «Плуги», неправильно воспринятый собирателями и исследователями как древний текст песни, обнаруженной случайной удачей собирателя⁵². «Плуга» ничем не отличается от колядок-потешек, полностью воспроизводя их текст; ее начало: «луга за лугой, друга за другой», — если и восходит к какой-то древней обрядовой песне, ничего нам не выясняет, оставаясь, как и запев коляды в однородных текстах, не связанным с основным повествованием.

Несмотря на отмеченные различия в основных типах колядок, они, являясь частью единого сельскохозяйственного бытового обряда, имели сходные черты по их отношению к христианско-религиозным верованиям. Православная церковь русского средневековья колядование выводила за пределы выполняемого ею ритуала и боролась с ним. Великорусские колядки во всех их формах до конца дней своего существова-

⁴⁹ См. А. А. Потебня, Указ. раб.

⁵⁰ См., например, потешки у П. В. Шейна, Указ. раб. №№92, 95, 98, 102, 103 и др. Тот же текст, но приуроченный к летней уличной игре, приводит И. П. Сахаров (Сказания русского народа, СПб., Изд. А. С. Суворина, 1885. Русские народные игры, загадки, присловия и притчи, стр. 218—219. Игра «Коза»).

⁵¹ Текст «потешки» см. у П. В. Шейна, Указ. раб. № 98. «Таусень» — у А. Н. Минха, Народные обычаи, обряды, суеверия и предрассудки крестьян Саратовской губ., СПб., 1890. — Совершенно такой же текст «колядки» см. в сборнике И. В. Некрасова, 50 песен русского народа (текст сохраняет даже характерное для потешек начало: «Аклошечка, шевелюшечка...», ср. «Ай и сыночка да й малюшечка...» и др.); в указ. выше ст. К. Завойко, стр. 146; в кн. И. Снегирева, Русские простонародные праздники..., стр. 113—114, № 4; в упомянутой выше статье П. М. Сухова, стр. 239, где сохранено потешное начало: «Сорока-дуда» (ср. «Сорока где была?»), и в других работах.

⁵² См. указ. ст. А. Б. Зерновой и кн. Ю. М. Соколова, Русский фольклор, М., 1938, стр. 143.

ния сохранили свои языческо-мирские черты. В русском быту колядки во всех их видах остались чуждыми и противостоящими христианским молитвам и рождественским школьным стихам. В чуждости колядок образам христианства — принципиальное отличие великорусских колядок от колядок всех других народов, включая даже украинцев и белорусов. Эта черта русской новогодней поэзии может быть понята как следствие ее большей архаичности и как исторически появившийся результат борьбы с древними аграрными обрядами московского официального русского православия, объявившего себя в эпоху создания русского многонационального государства хранителем древнего благочестия восточноевропейской церкви и развернувшего не только борьбу с «латынниками» западного христианства, но и с пережитками аграрной магии, с народными верованиями, так называемым бытовым православием и утвердившейся в быту и церковной писменности переработкой христианских догм⁵³. Борьба русской церкви за пересмотр официальной богослужебной литературы и литературы для православного чтения была частью деятельности господствующего духовенства, направленной к уничтожению «ересей», бытового осмысления христианской легенды и пережитков дохристианских верований в быту. Процесс пересмотра религиозных взглядов и убеждений, таким образом, должен был воздействовать не только на среднее, низшее духовенство, бояр и чиновных людей, но и на народные массы средневековой Руси, чьи верования были связаны с их трудовой жизнью, их бытом. Развившееся и углубившееся движение за каноническое учение привело к проведению в XVII в. церковной реформы и к расколу, на который, естественно, откликнулось как один из участников всей предыдущей и происходившей борьбы, испытывавшее жестокий феодальный гнет крестьянство, имевшее свои традиции аграрной религии, далекой от христианской аскезы. История русской официальной церкви, таким образом, не может не приниматься в расчет при объяснении антихристианского характера русской аграрной обрядности и связанной с ней поэзии⁵⁴. Народы, не знающие аналогичной борьбы господствующей церкви в период становления национальной культуры, не имеют и характерного для русского народного творчества противопоставления обрядовой поэзии церковной христианской легенде⁵⁵. В обширном своде А. А. Потебни «Объяснение малорусских и сродных народных песен» нет ни одного русского песенного текста, использующего эпизоды христианской легенды, вводящего образы бога, Христа, богородицы, святых как действующих лиц. Исключение — несколько текстов подблюдных песен, исполняемых в других условиях и с другими целями, чем новогодние песни-заклятья типа овсена. Введение имени Христа, Николая Чудотворца в подблюдные песни может быть объяснено их принадлежностью к гаданьям, нередко использующим христианско-религиозные элементы (ср. гадания с обращением к Параскеве Пятнице, Иосифу Прекрасному и др., гадания на паперти и т. д.⁵⁶).

⁵³ Памятники литературы Московской Руси см. в хрестоматии Н. К. Гудзия. Древняя русская литература, изд. 3-е, М., 1947.

⁵⁴ Сказанное объясняет также многое в отличиях русской обрядовой и необрядовой поэзии от украинской и белорусской. На Украине и в Белоруссии политика церкви, ее отношение к формированию народной культуры, ее место в государственной жизни отличалось от того, что было в Московской Руси.

⁵⁵ Ср. также весеннюю поэзию, например, царинные песни, белорусские волочобные песни, обрядовую поэзию южных славян и пр.

⁵⁶ А. А. Потебня. Указ. раб. — Из славянских народов Потебня традиционно ориентируется преимущественно на украинцев, болгар и белорусов и старательно выявляет отражение в колядках Рождества как христианского праздника. Это видно даже по оглавлению книги: «VI. Три радости. Бог (в. царь и пр.) зовет, дарит»; «VIII. Бог орет, святые помогают»; «X. Господь обходит двер величаемого...»; «XI. Господь со святыми или святые... обходят хозяйское поле...», и т. д.; см. также за-

В составе русских колядок обнаруживаются только реалистически бытовые сюжеты; вообще большей частью в русской песенной лирике (семейной обрядовой и необрядовой) находим вполне земное осмысление сюжетов, в которые другие народы нередко вводят христианско-религиозные образы. Примером может быть схема даров хозяину⁵⁷.

Отмеченная чуждость русской новогодней поэзии христианской легенде, составляющая наряду с ее архаичной недифференцированностью по членам семьи основную ее особенность, не учитывалась исследователями, нередко переносившими черты колядок других народов на обрядовую поэзию русских⁵⁸.

Типы рассматриваемых овсеней среднерусской полосы и Поволжья, возводимых своим наименованием по крайней мере к XV—XVI вв., представляют собой основной тип русской новогодней песни, предназначенной для заклинания плодородности и благополучия. Выделяясь своим припевом, имеющим непосредственное касательство к начальному периоду удлинения дней и разгорания солнца⁵⁹, овсени сохраняются на территории Московской Руси. На русском Севере припевы: овсень, усень, таусень, баусень и прочие не известны. Северные песни, соответствующие среднерусскому овсеню, имеют другой припев: «Виноградье красно-зелено мое». Святочные песни с этим припевом на своей южной окраине граничат непосредственно с овсеновыми песнями и распространены далеко на северо-востоке, а на севере известны в русских селах вплоть до Белого моря (см. приведенную выше карту распространения русских святочных песен).

Обстановка, в которой поют святочные винограды, тождественна тому, что имело место в средней России и в Поволжье. Как и в отношении овсени, нет повсеместного и обязательного прикрепления к какому-либо одному дню праздника. «Повсеместно,— сообщал Э. Я. Заленский,— в деревнях Псковского уезда существует обычай вечером первого дня Рождества ходить «кликать» коляду. Кликает коляду только женское население деревни — девки и бабы. Полученный сбор в виде зерна жита и овса обращается в деньги, идущие на покупку обыкновенно гостинца. Песня коляды повсеместно однообразна. Далее приводится текст винограды⁶⁰. Другие свидетельства дополняют цитирован-

головки глав XII, XIV, XXI, XLVI, LII, LXXIV, LXXV, LXXXVII, LXXXVIII. Четкие связи колядок с христианским осмыслением Нового года у рассматриваемых в книге Потебни народов, за исключением русских, обнаруживаются и в других главах, названия которых не упоминают ни бога, ни Христа, ни святых.

⁵⁷ См. сравнительный материал в работе А. А. Потебни (гл. «Три радости. Бог зовет, дарит» и др.).

⁵⁸ В связи со сказанным надо обратить внимание на ставшее традиционным истолкование песни «Таусень» из упомянутого сборника П. В. Шейна, № 1038, стр. 307. («Берите топоры, рубите мост, ехать по мосту Василию»). Василий этой «овсени» истолковывается как Василий Кессарийский, празднуемый 1 января (см. у Афанасьева, Ор. Миллера, А. Н. Веселовского и др.). Сопоставление таусеня, опубликованного Шейном, с текстами, напечатанными Снегиревым и Терещенко, обнаруживает в тексте Шейна элементы сатирической песни, родственные изображениям в корильных свадебных текстах (например, сваты, едущие на курице, на поросенке; ср. в песне: «писарь едет на свинье» и т. д.; уже это ставит под сомнение указанное истолкование Василия); расшифровка смысла имени Василия дается Терещенко (Быт русского народа, VII, стр. 118), указывающим, что поют о «молодце-удальце», едущем через мост (т. е. о том, о ком говорит колядка). Песнь не может быть связана с образом Василия Кессарийского также и потому, что суеверия противопоставляют свинью как нечистое животное святому (Василий освящает свинину), но не сливают их воедино, подобно тому как сливаются в религиозном воображении, например, св. Егорий и его конь. Если на свинье, по христианско-суеверным представлениям, кто и ездит, то только ведьмы и прочая нечистая сила.

⁵⁹ См. об этом у А. В. Маркова, Что такое Овсень?, «Этнографическое обозрение», 1904, № 4.

⁶⁰ Э. Я. Заленский, Что поет современная деревня Псковского уезда? Псков, 1912, стр. 181.

ное, утверждая, что обряд совершался в сочельник, в первые три дня Рождества, под Новый год, что его совершали дети, парни, женатые и т. д.⁶¹ Локальные особенности пения новогодних песен показывают, что исполнение виноградьа связано не с одним днем, а с двухнедельным отрезком времени — временем новолетия (с 24/XII по 6/I ст. ст.).

Один из сюжетов виноградьа тождественен с основным типом величального овсена. Строение песни то же: идут колядующие, подходят к господинову двору; двор огорожен тыном; хозяин, хозяйка, дети — месяц, солнце, звезды (вариант: хозяин в доме — Адам в раю, хозяйка — оладейка в меду, дети — орешечки в меду)⁶². Устойчивый сюжет дает осложнение описываемого, как и в овсене. Но направленность осложнений другая. В виноградье, как правило, отсутствует характерное для овсена развитие аграрно-земледельческих мотивов (работы в поле, уборки урожая и пр.). Детализируются мотивы семейной жизни, поведения человека и пр.⁶³ Наиболее распространенная вариация сюжета терема-семьи в виноградье связана с эпизодом: хозяин едет суды судить. Обзор этой песенной детали дан А. А. Потебней на материалах великорусских, украинских и белорусских святочных и пасхальных песен⁶⁴. Приведенные им тексты свидетельствуют о распространении этой детали у восточных славян и о включении ее в разные циклы песен. Видимо, характерный сюжет новогодней песни в данном случае осложнился популярным в песенной поэзии рассказом об отъезде из дома хозяина и его возвращении с подарками семье. Поводом для включения его в новогоднее величание должна была послужить общность с основным текстом темы богатства, довольства, благополучия. Подтверждением этого смысла эпизода служит встречающаяся вариация его, в которой при сохранении рассказа о подарках отсутствует упоминание об отъезде хозяина «суды судить». Хозяина дома не случилось потому, что его «звали пиры пировать». Вариантом является также указание на охоту⁶⁵.

Особенностью святочных виноградий русского Севера является обилие в них величальных свадебных мотивов. В отличие от овсеновых песен, где они также имеются, но подчиняются теме пожелания благополучия и обилия дому-семье, в виноградьах свадебные, брачные мотивы независимы от нее и звучат как простое, не переосмысленное применительно к новогодней обрядности перенесение песни из одного обрядового цикла в другой. С этим связана и дифференциация по отдельным лицам святочных виноградий. Разные виноградьа поются молодым, девушке, холостому парню и другим. Общий с овсеном тип

⁶¹ Ср., например: П. В. Шейн, Указ. раб., стр. 305; Глушков, Топографическо-статистическое и этнографическое описание г. Котельнича, Этногр. сборн., вып. 5, СПб., 1862, стр. 77—80, а также другие издания, включающие описание святок на русском Севере.

⁶² См. те же сравнения в свадебном величании неженатому гостю, например, в сборн. П. В. Киреевского, Песни, Новая серия, вып. I, М., 1911, № 74, стр. 30—31.

⁶³ См. И. К. Копаневич, Народные песни, собранные и записанные в Псковской губ., Псков, 1907; Э. Я. Заленский, Что поет современная деревня Псковского уезда? Псков, 1912; П. Кораблев, Этнографический и географический очерк г. Каргополя, Олонецкой губ., М., 1851; М. А. Колосов, Заметки о языке и народной поэзии в области северновеликорусского наречия, Сборн. ОРЯС, т. XVII, СПб., 1877; Ф. М. Истомин и С. М. Ляпунов, Песни русского народа, СПб., 1899; П. С. Ефименко, Материалы по этнографии русского населения Архангельской губ., М., 1878; Материалы, собранные в Архангельской губ. летом 1901 года А. В. Марковым, А. Л. Масловым и Б. А. Богословским, ч. 2, Терский берег Белого моря, М., 1908; Материалы архива РГО и другие издания и архивы.

⁶⁴ А. А. Потебня, Указ. раб., стр. 710—714.

⁶⁵ См. П. С. Ефименко, Указ. раб., стр. 94; ср. вариант в Арихве РГО, записанный в 1856 г.: «Виноградьа — благочестивый обычай, существующий в уездах Архангельском, Холмогорском и частью в Пинежском, Мезенском» (архив РГО, № 61).

виноградья, естественно, закрепляется за хозяином дома ⁶⁶. В домах, где в текущем году справлялась свадьба, в первый день Рождества величают молодых особым виноградьем. Тема его — охота и встреча мужа и жены — представляет собой перепевы свадебной поэзии, в которой охота является устойчивым символом брака ⁶⁷. Свадебной же песнью является другой текст виноградья, также поющийся молодым супругам. Сопоставление новогодней и свадебной редакций песни обнаруживает незначительность разночтений:

По сенечкам, по сенечкам,
По частым переходочкам,
Ходила, погуливала
Молодая жена барыня
 молодого боярина,
Душа Анна Ивановна.
Она носила во рученьях
Тарелку серебряную.
В тарелке серебряные
Два яхонта катаются,
Две алмазные запанки;
Промежь себя думала,
Со мудрости молвила:
Вы яхонты, яхонты,
Алмазные запанки!
Побудьте малешенько... и т. д. ⁶⁸.

По сеничкам, по сеничкам,
По частым переходичкам,
Там ходила, гуляла
Молодая боярыня
 молодого боярина.
Она на ручушках носила
Два блюда серебряна,
На блюдечках носила
Два яхонта червчата,
Две домашние запаны;
И сама она говорила
Во всю буйну голову:
Уж, вы, яхонты, яхонты,
Два алмазные запаны!
Полежите малешенько... и т. д. ⁶⁹.

Приведенные тексты виноградья и свадебной величальной песни относятся друг к другу, как варианты одного текста, исполняемого в одинаковых условиях. Виноградье «По сеничкам» не имеет никаких следов приурочения его к святкам; в цитированной записи нет даже традиционной песни-просьбы о подаании. Совершенно очевидно, что славящие в данном случае использовали без изменений традиционную песню свадебного цикла, воспринимаемую как величание, не осмысляя его применительно к месту и времени исполнения. Мотивы свадебной лирики в величаниях северных святок вообще преобладают над всем остальным. Виноградье, поющее в тех же местах холостому парню, также варьирует свадебное величание ⁷⁰.

Святочное величание мальчику имеет также образцом и источником свадебную поэзию. Величания мальчикам на свадьбе составляют один из видов песен семейной обрядности ⁷¹. Аналогичные величания зафиксированы собирателями в обряде святочного славения на севере. Тип величания мальчику связан с величанием парню, общими для них мотивами являются, например: мотив завивания кудрей, мотив птицы, прославляющей красоту и достоинства восплаемого ⁷², и другие. Одновременно величания мальчику связаны и с колыбельными песнями — по-

⁶⁶ Варианты см. у П. С. Ефименко: «Для женатых», а также в Архиве РГО, № 61, Архангельск. губ. — «Хозяину и хозяйке».

⁶⁷ См. М. А. Колосов, Указ. раб., стр. 168—174.

⁶⁸ Архив РГО, № 61, записано в 1856 г. с пометкой об исполнении в уездах Архангельском, Холмогорском, Пинежском, Мезенском.

⁶⁹ П. В. Киреевский, Песни, Новая серия, вып. 1, М, 1911, стр. 7, № 11 (записано в г. Мезени); ср. также стр. 45, № 115 (записано в г. Новгороде с пометкой: «поется гостю с гостьей»).

⁷⁰ Святочное величание-виноградье см. в указ. выше сборнике П. Ефименко; свадебные варианты см., например, в указ. сборн. Киреевского — песнь «Неженатому гостю или боярину», стр. 31, № 77 (11); ср. также в сборн. Ф. М. Истомина и С. М. Ляпунова, Песни русского народа, СПб., 1899, стр. 134, № 39, стр. 135—136, № 40 (молодец идет к заутрене, все дивуются его красоте, спрашивают, кто его, взростил, он отвечает: мать, отец, сестры).

⁷¹ См., например, в сборн. П. В. Киреевского, стр. 33, № 81 (15): «Маленькому боярину».

⁷² См. в Архиве РГО, № 61, Виноградье мальчику, а также см. в сборн. Киреевского текст свадебного величания (№ 81).

желаниями ребенку счастья, богатства, удачи; связь обусловлена пожеланием, обычным в байках: «Ты расти, расти, чадо... по часам по минутам». Величальные перефразировки мотивов колыбельной на свадьбе и на святках совпадают ⁷³.

Связаны по своему происхождению со святочным циклом также величания девушки. Устойчивый мотив этих величаний — вышивание девушкой платка (вариант — ковра). Девушка в шатре вышивает на платке (полотне, ковре) солнце, луну, звезды. Приходит молодец-охотник, выводит ее из шатра и женится на ней ⁷⁴. Или: девушка вышивает, сидя в тереме; ее видит молодец, хочет ее взять; она обещает сама пойти за него замуж ⁷⁵.

Обилие свадебных текстов и мотивов, включенных на русском Севере в обряд новогоднего славения, заставляет поставить вопрос о соотношении зимней календарной и свадебной поэзии. Устанавливая общность текстов в севернорусском семейном и аграрном обрядах, одновременно выявляем и характерную черту, отличающую северное новоеднее славение от среднерусского. На севере в отличие от средней России и Поволжья обнаруживается четкая дифференциация (по прославляемым лицам) святочной песни. В свадьбе такая дифференциация естественна и необходима, так как самый обряд, устанавливая отношение между членами семьи, выделял то или другое лицо, обособлял его и приводил к созданию в поэзии его художественной характеристики. Целевая установка аграрного обряда первоначально была производственной, а не семейно-бытовой. Индивидуализированные величания, обнаруживаемые на русском Севере в семейной и календарной обрядности, первоначально разрабатывались как вид свадебной лирики и только в результате произошедших изменений в отношении людей к проводимому ими колядованию были перенесены в новогодний обряд. При переносе отдельных текстов из свадебного цикла в календарный произведения на русском Севере не подвергаются качественной переработке и сохраняют обращение к тому лицу, к какому они адресуются во время совершения брачного ритуала (к отцу, матери, брату, холостому парню, девушке и т. д.). На примере севернорусской святочной поэзии можно видеть один из путей изменения аграрной поэзии. Самое наименование северной святочной песни — «виноградье» свидетельствует о перерождении древнего обряда заклинания плодородия, урожая и довольства в доме. Термин виноградье не связан с святочной обрядностью. Он только в отдельных случаях в быту получил календарное обрядовое приурочение, в результате чего перешел в научную терминологию, утвердившись там (благодаря работам А. А. Потебни, А. Н. Веселовского и других ученых) в значении святочной песни.

В тех же местах Севера, где записаны новогодние виноградья, известно виноградье свадебное (т. е. величание) и бытовое виноградье (обычно типа «корильных» песен). О бытовом и свадебном виноградье собиратели сообщали уже в середине прошлого века ⁷⁶. Свадебные и

⁷³ См., например, свадебный текст. П. В. Киреевский, Указ. сборн. стр. 45. № 114 (1), записано в Новгороде; святочный текст: Архив РГО, № 61, записано в Архангельской губ.

⁷⁴ П. С. Ефименко, Указ. раб., стр. 95; Архив РГО, № 61, Величание взрослой девице.

⁷⁵ М. А. Колосов, Указ. раб., стр. 251—252; П. С. Ефименко, Указ. раб., стр. 95; ср. Архив РГО, № 61.— А. А. Потебня справедливо связывал ту и другую песню, указывая параллели им в поэзии других славянских народов (см. Указ. раб., стр. 394—395, 668, 670—672).

⁷⁶ А. В. Марков, говоря о материалах, записанных на Терском берегу Белого моря («Материалы, собранные в Архангельской губ. летом 1901 г. А. В. Марковым, А. Л. Масловым и Б. А. Богословским», ч. II, М., 1908, стр. 15) писал: «Из свадебных величальных песен №№ 69 и 70 — варианты рождественской песни, помещенной

новогодние величания русского Севера связаны между собой не только общностью образов, эпизодов, даже полных текстов, но и названием «Виноградье» и припевом: «Виноградье, красно-зелено мое»⁷⁷.

Несомненно прав был А. А. Потебня отмечая широкое распространение образа винограда-виноградья, проникающего в разные типы песенной поэзии. В одних песнях, появляясь в припеве, он был ограничен, вытекая из содержания (например, девушка стережет сад, засыпает и т. д.), в припевах других он с содержанием не связан, в третьих — он сам делается основным образом песни, в четвертых — сохраняется в форме запева⁷⁸. Возникнув первоначально как образ растительности, осмыслившись в плане брачной символики, виноградье приобретает значение предречения или изобилия и удачи или — в негативной форме — неудачи и позора⁷⁹. Как правило, предречение винограда имеет форму настоящего времени (это есть...), а не будущего (это будет...), характеризую лицо или изображаемое явление. Значение винограда как характеристики, выражающей отношения коллектива к человеку, особенно отчетливо выявляется в тех случаях, когда виноградье исполняется в его негативной форме (т. е. служит не для восхваления, а корит, позорит то или другое лицо; ср. корильные песни, не имеющие припева «виноградье», обращенные к дружке, свахе и другим чинам свадьбы). Бытование негативных виноградий на зимних сборищах девушек зафиксировано в этнографической литературе. Особенно интересный материал, относящийся по времени записи к 1867 г., был опубликован в сборн. П. С. Ефименко⁸⁰.

Пение величаний на зимних вечерках (супрядках), распространенное повсеместно и на севере и в центральной полосе России, подтверждается и другими свидетельствами. Например, в новой серии «Песен» П. В. Киреевского есть тексты, сопровождаемые примечаниями: «Обозначена, как вечериночная величальная», «Величальная», «Песня, которою подружки величают друг друга, сидя на посиделках»⁸¹. Правда, эти величальные песни из сборн. П. В. Киреевского не имеют припева «Виноградье», но его отсутствие легко объясняется тем, что посиделочные величания в данном случае записаны в Орле и бывш. Московской губ., где образ винограда (виноградья) красно-зелена встречается только как песенный запев или как традиционный символ любви-брака.

в I ч. «Материалов» под №№ 43, 70 и 71, записанные от девушки с Летнего берега, называются «виноградьями» — термином, прилагаемым в других местностях лишь к рождественским обрядовым песням; № 70 поют не только на свадьбах, но также и на святках и вообще на вечеринках. Этим № 70, как помечено в сборнике, «припевают девуку». Содержание песни — женитьба молодца на девушке (тема, типичная, как выше указывалось, для величаний девушке — и свадебных и святочных). Вторая из указанных А. В. Марковым песен (дана с примечанием: «Поется молодым после венца») полностью совпадает с рассмотренным выше виноградьем: молодая жена-барыня на тарелке носит алмазные запонки. Указание А. В. Маркова на исполнение виноградий во время свадьбы не единично в литературе. В сборн. Истомина и Ляпунова, Песни русского народа, изданном в 1899 г., была опубликована величальная свадебная песня, записанная в Вологодской губ. (погост Маркушевский Бережно-слободской волости Тетемского уезда), по содержанию близкая святочным, включающая характерный припев: «Да виноградие красно-зеленое» (стр. 127—128). Ср. также материалы других сборников.

⁷⁷ Употребительное в средневековом русском языке слово — виноград — сохранено в народной поэзии как поэтический образ, вне зависимости от местностей выращивания винограда. Песенное значение его тем не менее неизменно: виноград — символ плодородия, растительности, обилия и довольства, а вместе с тем — любви, брачной жизни. Это образ, общий для обрядовой и необрядовой лирики. В песнях о свиданиях влюбленных, о сватовстве, любовной ласке образ винограда один из самых излюбленных.

⁷⁸ А. А. Потебня, Указ. раб., стр. 472—473.

⁷⁹ Во втором случае оно приобретает значение колядки-угрозы (см. выше).

⁸⁰ П. С. Ефименко. Указ. раб., стр. 132—133.

⁸¹ См. П. В. Киреевский, Указ. раб., вып. II, ч. 2. Песни необрядовые, М., 1929, №№ 1935 (1), 2964 (79), 2965 (80), 2966 (81).

Выделения песенного цикла припевом «виноградье красно-зелено моё» центральная полоса России не знает⁸². Виноградье, зафиксированное в припеве фольклорной экспедицией Института этнографии АН СССР, работавшей в 1945 г. в Брянской обл., было занесено туда, повидимому, благодаря имеющимся в районах Брянщины связям с Белоруссией и Украиной; хотя для белорусской и украинской песни этот тип припева не характерен, все же он иногда имеет место⁸³. Карта распространения в русских районах виноградья ясно свидетельствует о том, что другого пути его проникновения в Брянщину, как через Белоруссию и Смоленскую обл., не могло быть. Калинин, Москва, Владимир, Горький его не знают. Одно из самых южных мест бытования виноградья можно видеть в сообщении И. Снегирева, который, ссылаясь на «Сын Отечества», 1837 г., № 15 (ст. Н. Петровского), писал: «В Ярославле на Масляной неделе кроме угощения блинами и катанья на горах и по улицам, есть обыкновение, вероятно, остаток времен языческих, петь Коляду, которую обыкновенно воспевают в России на святках»⁸⁴. Цитированная И. Снегиревым «коляда» — типичное обобщенное виноградье.

В пении виноградья на масляницу нет ничего необычайного. Виноградье не было святочной песнью (это подтверждается также отсутствием упоминания его в документах XVI—XVII вв., перечисляющих осень, коляду, плугу). Сведения о различном приурочении виноградья (к свадьбе, вечеркам и пр.) уже достаточно ясно показали, что оно не имеет точного временного осмысления и определяется как величальная песнь, исполняемая при различных обстоятельствах. Припев «виноградье красно-зелено мое» по своей связи с символикой свадебной поэзии и обрядом величания на свадьбах на русском Севере осмыслился как принадлежность всякого величания и потому вошел в единственный сохранный там сюжет новогодней песни — сюжет хозяйского терема, окруженного тыном. Являясь признаком величания, он прикреплялся к любой песне, заставляя ее принимать значение произведения, которым прославляют и развлекают. Припев превращал в обрядовую песнь тексты, не имевшие связей ни с календарными, ни с семейными обрядами. Как сообщал Ф. М. Истомин, он по следам И. А. Шляпкина, слышавшего в г. Устюге былинку «Илья на соколе-корабле» в виде колядки, в 1893 г. в устюжской слободе Дымкове от названного Шляпкиным И. Ф. Говорова записал ее. Былина в необычайной для нее редакции святочной обрядовой песни сохраняла все свои типовые черты и отличалась от других вариантов сюжета «Илья на корабле» только упоминанием виноградья («Илья на соколе-корабле» в форме святочного виноградья записывался также в Сибири — в местах перекрещивания разных областных песенных традиций). В том же значении святочного виноградья выступают иногда и исторические песни⁸⁵.

Включение на русском Севере в цикл новогодних славлений ряда песен, не имеющих к ним касательства, характерно. Святочной песнью может стать и становится не только свадебная и необрядовая лирическая песнь, не только былина и историческая песнь, но и духовные стихи. Виллье де Лиль-Адам, описывая дер. Княжая Гора и ее окрестности сообщал, что на святках христовлавы пели «Богатого и бедного

⁸² Ср., например, в том же сборнике П. В. Киреевского тексты песен о винограде, но без припева: «Виноградье»; №№ 1883 (10а), 1965 (31), 1997, 2107, 2237 (60), 2922 (1).

⁸³ Ср. свидетельство Е. В. Карского в 3-м томе его «Белоруссов» (М., 1916, стр. 110), а также А. А. Потебни, указ. раб., стр. 711.

⁸⁴ И. Снегирев, Русские простонародные праздники..., стр. 133; см. также стр. 134 и сл.

⁸⁵ См. тексты в сборн. Ф. М. Истомина и С. М. Лапунова, Песни русского народа; сведения об условиях и формах исполнения сообщены в ст. Ф. М. Истомина, напечатанной в том же сборнике, стр. XII—XIII.

Лазаря». «Девки ходят по деревне и поют Лазаря во всякой избе, за что им дают по куску пирога. В Ручьях вместо Лазаря также поют «Коляду». В старину в Княжой горе вместо Лазаря также пели колядовую песню» (вариант напечатанной у Сахарова в «Сказаниях русского народа»⁸⁶).

Материалы, привлеченные для рассмотрения виноградьа, позволяют утверждать, что на севере новогодние песни-заклинания потеряли свою обособленность вместе с потерей первоначального обрядового значения. Целью пения их стало собирание подарков — отсюда потеря текстов, возникавших в связи с производственной жизнью человека.

Наряду с виноградьем на русском Севере зафиксированы новогодние песни, не имеющие припева «Виноградье красно-зелено» и называемые собирателями и исследователями колядками. В ряде случаев под общим названием коляды сохраняются песни о богатствах большого дома-семьи с популярным запевом — «Ходила коляда накануне рождества»⁸⁷.

Коляда русского Севера, в отличие от виноградьа, сюжетно узко ограничена; она сохраняет, но не развивает, как в средней России и в Поволжье, основной текст, являясь в полном смысле слова пережитком, идущим к полному умиранию⁸⁸. Коляду сменили обычные величальные песни, называемые виноградьями, которые постепенно стали вытеснять старинные новогодние пожелания, удачи и довольства дому-семье, дробившиеся и разнообразившиеся за счет использования всего фонда русской северной песенной поэзии, среди которого, однако, предпочтительнее всего отбирались свадебные величания, как тематически более подходящие.

* * *

Обзор великорусской новогодней закликательной песни показывает сохранение архаических обобщенных форм ее в производственных аграрных, далеких от христианства редакциях. Основной тип величальной святочной песни был некогда известен русскому населению повсеместно под общеславянским наименованием колядка, коляда (ср. чешское, словацкое, сербское: *koleda*, словинское — *coleda* и т. д.) и в землях Московской Руси под названием национально русским — овсень (таусень, баусен, усень и др.), упоминаемым в средневековой русской письменности и сохранным до наших дней в средней полосе России и в Поволжье. Именно овсень представляется исконным типом русской новогодней песни. На юге, в областях, пограничных с Украиной, он теряется, затемняясь украинской новогодней поэзией, более разнообразной по содержанию и образам и более новой по своему качеству. На севере, не знаящем названия овсень, песнь постепенно

⁸⁶ Владимир Вильер де Лиль Адам, *Деревня Княжяя Гора и ее окрестности*, Записки РГО, по Отд. этнографии, т. 4, СПб., 1871, стр. 277. Дер. Княжяя Гора входила в бывш. Петербургскую губ. (Лужский уезд) и отстояла от границы Новгородской губ. на 8 верст. Княжяя Гора упоминается в книгах Водской и Шелонской пятин.

⁸⁷ Ср. в материалах Архива РГО (см. Д. К. Зеленин, *Описание рукописей Ученого архива Императорского Русского географического общества*, Пгтр., 1914, вып. I, стр. 422, А. Шубин, *Этнографические материалы из села Аджижа Малмыжского уезда* (рукопись, 1847; Вятская губ.); ср. другие материалы. — Интересно отметить, что в Новгородской губ. (большая ее часть) знают только «Коляду», но, по данным собирателей, песни с припевом «Виноградье» не поют. Так, не было обнаружено виноградьа в Белозерском крае братьями Б. и Ю. Соколовыми, работа которых отличалась необычайной тщательностью обследования. Ими были записаны новогодние песни-колядки, напечатанные с примечанием: «Ходят одни девицы в Васильев вечер накануне Нового года по избам и поют «калѣдѹ»».

⁸⁸ См. тексты в *Известиях Археологического общества изучения Русского Севера*, 1913, № 1, стр. 24, в «Пермском краеведческом сборн.», вып. IV, Пермь, 1928, стр. 124—125 (статья В. Н. Серебrenникова, Из записей фольклориста) и др.

теряет общеславянское обозначение «коляда» и принимает обозначение жанра величаний, используемых в разных случаях при разной обстановке, — винограды; одновременно в новогоднюю обрядность вводятся тексты, не связанные с ней, заимствованные в первую очередь из свадебной поэзии. Таким образом, хранительницей в XIX — начале XX в. древнего русского обряда колядования является Москва, окруженная рядом близлежащих областей (Рязанской, Владимирской и др.), к которой тянутся и земли Поволжья — с ними древняя русская столица была издавна связана водными путями. Выходя за пределы распространения овсеня, вступаем в местности разложения и перерождения новогодней песни. В отношении русского Севера это тем более странно, что в его условиях до самого последнего времени хранились и совершенствовались произведения народного искусства, исчезающие в других местах, развивались эпические формы устного творчества народа.

XIX—XX века играют решающую роль в судьбах овсеня и его разновидностей. Святочные песни, некогда заклинавшие благополучие хозяйства, отмирают. Существенным признаком этого явилось также распространение и увеличивавшаяся популярность в XIX — начале XX в. так называемых «рацей» — стихов, славящих Христа и таким образом вводивших религиозные церковные мотивы в русскую, чуждую христианству, новогоднюю песню.

«Рацей» или «вириши» своим истоком имели евангелие и церковное богослужение, являясь «светской» редакцией кондака, стихир, ирмоса. При сопоставлении текстов их во многих случаях обнаруживается прямой пересказ виршами стихов из церковных песнопений. Эти стихи «на тему» — духовно-семинарского происхождения и по самой своей сущности, а вместе с тем по языку и по стилю оставались чуждыми народу и исполнялись в святочной обрядности недолгое время (XIX — начало XX в.). Характерно, что при опросах старшего поколения деревни, сообщавшего сведения о том, как в дни его молодости справлялись святки, тексты вирш почти никогда не вспоминаются (тогда как тексты колядок и овсеней многие припоминают достаточно четко). Пение или чтение вирш — внешний, наносный, а потому быстро забываемый элемент в зимней обрядности. Вирши на Рождество не могут рассматриваться как вид колядовой поэзии, потому что сущность их и колядок различна. Славянские колядки, как это особенно четко обнаруживается при рассмотрении русских овсеней, были частью производственно-магических новогодних действий; рождественские вирши — поздравительные стихи, излагающие легенду христианского праздника. Имея своим источником каноническое церковное песнопение, они не могут сопоставляться также с украинскими, южнославянскими и румынскими колядками, включавшими образы бога, Христа, святых, не на основе официальной церковной книги, а преимущественно апокрифов и дуалистических устных легенд, отражавших в средневековой Европе оппозиционные настроения народа в отношении феодальной аристократии и духовенства. С исчезновением обычая принимать духовенство в первый день Рождества выветрился и обычай чтением вирш поздравлять с праздником.

* * *

Так в обряде колядования, забытом послереволюционной советской деревней, открывается прошлая жизнь. В нем был отражен семейный и общественный быт народа, его сопротивление идеям и религии господствующих классов, жизнь в труде, который определил характер народного искусства.

М. Н. ШМЕЛЕВА

ТИПЫ ЖЕНСКОЙ НАРОДНОЙ ОДЕЖДЫ УКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ

Народная одежда украинского населения Закарпатской области не раз привлекала внимание исследователей. Вопрос, однако, остается мало изученным. То, что имеется в этой области, сделано по старой методике и не может удовлетворить современную этнографическую науку.

Одно из первых описаний одежды закарпатских украинцев («угорских русинов», как их тогда называли) было сделано Я. Ф. Головацким¹. Работа Головацкого не выходит за рамки очень короткого и схематичного описания внешнего вида одежды. Автор постоянно отсылает читателя к одежде населения бывшей Галиции, описанной им в этой же работе более подробно, находя сходные или одинаковые формы. Такой метод, с одной стороны, дает более широкую перспективу, представляя закарпатскую одежду не как нечто единичное, отрывочное, а как часть чего-то более обширного, целого, с другой стороны, лишает эту одежду некоторых особенностей, свойственных только ей. Наличие местной терминологии и хороших иллюстраций, дополняющих описание, дает более или менее полное, хотя и чисто внешнее представление об одежде населения Закарпатья того времени. До Головацкого описание закарпатского костюма дал Бидерманн². Благодаря своей краткости, поверхностности, отсутствию какой-либо системы в изложении, а также благодаря отсутствию местной терминологии и неточным датировкам, описание это дает весьма небольшой фактический материал, пригодный лишь как сравнительный при наличии более обширных и точных данных. Ряд интересных сведений находим у Ю. Жатковича³. Его беглое описание дает представление не о всей закарпатской одежде, а лишь о некоторых ее особенностях. Хорошее знание местной этнографии и приводимая в статье местная терминология делают это описание ценным, несмотря на порочность метода изложения материала, заключающуюся в том, что отдельные элементы одежды описываются изолированно от всего комплекса, их изменения прослеживаются лишь географически (с севера на юг), описываются лишь те элементы костюма, которые, по мнению Жатковича, являются исконными на данной территории. Краткий популярный очерк одежды закарпатских украинцев с иллюстра-

¹ Я. Ф. Головацкий, О костюмах или народном убранстве русинов или русских в Галичине и Северо-Восточной Венгрии, СПб., 1868. Изд. перераб. и доп.: О народной одежде и убранстве русинов или русских в Галичине и Северо-Восточной Венгрии, Зап. Русского географического общества по отделу этнографии, т. VII, 1877.

² Bidermann, Die ungarischen Ruthenen, ihr Wohngebiet, ihr Erwerb und ihre Geschichte, I, Innsbruck, 1862.

³ Ю. Жаткович, «Замітки етнографічні з угорської Русі, Етнографічний збірник, видає Наукове Товариство ім. Шевченка, т. II, Львов, 1896.

циями и объяснениями к ним дает Григорий Купчанко⁴. Все эти старые работы дают очень общее представление о внешнем виде украинского костюма в Закарпатье и имеют лишь историческую ценность.

XX век дал несколько более подробных описаний одежды и ряд исследований, так или иначе затрагивающих вопросы об одежде закарпатских украинцев. Таково краткое описание Годинки в общем очерке о закарпатских украинцах⁵, в котором не только указывается, что тот или иной элемент одежды сходен с каким-либо элементом одежды одного из соседних народов, но и дается описание этих сходных или совпадающих элементов. Это выгодно отличает данное описание от всех предыдущих. Ф. К. Волков в работе «Этнографические особенности украинского народа»⁶ также затрагивает вопросы об одежде закарпатских украинцев, для чего использует материал, собранный им самим во время поездки в бывшую «Угорскую Русь», а также материалы Головацкого. Рассматривая закарпатскую одежду как часть украинской, автор, естественно, отмечает лишь наиболее интересные элементы закарпатско-украинской одежды, чем-либо выделяющиеся на фоне общеукраинской. Большую ценность представляют иллюстрации, приложенные Волковым к его работе.

На основании собранного ею самого материала А. Кожминова опубликовала очерк одежды населения «Подкарпатской Руси»⁷, который очень неравномерно охватывает интересующую нас территорию, описывая главным образом западную часть Закарпатья (на запад от р. Рики). Описывая более или менее подробно женскую одежду, Кожминова очень мало внимания уделяет мужской. Более равномерно охватывает территорию Закарпатской Украины краткий очерк одежды, данный С. Маковским в богато иллюстрированном издании «Искусство Подкарпатской Руси»⁸. Очерк явился результатом поездки автора в Закарпатье с целью собирания материала для выставки «Искусство и быт Подкарпатской Руси» (в 1924 г. в Праге). Но Маковский подходит к одежде, как искусствовед, интересуясь больше всего художественной ее стороной. Поэтому его описание часто страдает отсутствием деталей, важных для этнографа. Используя материалы Кожминовой, Маковского и других, Ян Гусек⁹ в работе об этнографической границе между словаками и закарпатскими украинцами касается вопросов закарпатско-украинской одежды. Он отмечает наиболее характерные черты и сравнивает ее с одеждой словаков. К сожалению, автор часто ограничивается одной лишь терминологией. Эта работа касается лишь той части Закарпатья, которая граничит со словаками. Краткое внешнее описание одежды населения бывшего комитата Мармарош дает К. М. Бескид¹⁰. Однако его интересует только художественное оформление костюма, преобладающие цвета вышивок, головных платков, передников и т. д. Автор описывает главным образом женскую одежду, очень коротко останавливаясь на мужской. Последней из известных нам работ об одежде закарпатских украинцев является статья Ф. Потушняка¹¹, имеющая скорее описательный, чем исследовательский характер. Автор дает не только схематическое изображение внешнего вида

⁴ Г. Купчанко. Наша родина, Иллюстрированный сборник для простонародного чтения, Вieden, 1897.

⁵ H o d i n k a, Die Ruthenen, In «Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild», B. V., T. 2. Wien, 1900.

⁶ Ф. Волков, Этнографические особенности украинского народа, сборн. «Украинский народ в его прошлом и настоящем», т. II, Петроград, 1916.

⁷ Amalie Kožminová, Podkarpatská Rus. Prace a život lidu po strance kulturně hospodářské a národopisné, Praha, 1922.

⁸ С. Маковский, Народное искусство Подкарпатской Руси, Прага, 1925.

⁹ Jan Húsek, Národopisná hranice mezi Slováký a Karpatorusy, Bratislava, 1925.

¹⁰ К. М. Бескид, Mar moroš Užhorod, 1929.

¹¹ Ferenc Potusnyak, A ruszin népviselet, Ungvár, 1944.

той или иной формы одежды, но также и выкройки. Однако мы не можем согласиться с делением автором закарпатской одежды на гуцульскую, мармарошско-верховинскую и лемацкую. Деление на пять локальных типов (об этом см. ниже) нам кажется более соответствующим действительности¹².

Таким образом, несмотря на наличие некоторой литературы, народная одежда украинского населения Закарпатской области до сих пор остается не только неизученной, но даже не имеющей полного детального систематического описания, отвечающего требованиям современной науки. То обстоятельство, что украинская одежда в Закарпатье продолжает бытовать до сих пор, сочетая архаические элементы с самыми новыми, делает ее чрезвычайно интересной для исследователя, тем более, что территория Закарпатской области являлась частью района формирования славян и расположена на стыке трех главных ветвей последних.

Во время трех экспедиций Института этнографии АН СССР в Закарпатскую область (1945/46, 1946, 1947 гг.) автором и другими членами экспедиций был собран большой материал по народной одежде украинского населения Закарпатской области. Особенно большой интерес представляет женская одежда, которая сохранилась лучше, чем мужская. Экспедиции выявили, что на сравнительно небольшой территории Закарпатской области среди украинского населения наблюдается большое разнообразие в женской народной одежде. Каждое село имеет свои особенности в одежде, отличающие его от любого иного села. Однако, отвлекаясь от частных, не имеющих принципиального значения, на территории Закарпатской области это разнообразие можно свести к пяти локальным типам, вернее комплексам одежды (см. карту).

Выделение указанных локальных типов произведено, главным образом, на основании анализа женской сорочки, как основной составной части одежды. Сорочка в данном случае является наиболее показательным элементом, так как каждому типу сорочки соответствует определенный комплекс костюма, состоящий из присущих только ему частей. Один из таких локальных типов женской одежды (см. рис. 1) бытует по долинам реки Теремби (Тячевский округ и юго-восточная часть Воловского с селами: Синевир, Негровцы, Колочава), р. Рики (Хустский и Воловский округа до с. Соимы на севере) и р. Боржавы (северная часть Иршавского округа и восточная часть Сваевского) — так называемая Довжанская долина (села Довге, Кушница, Керецьки, Березняки, Лисичево, Суха, Бронька, Задне)¹³. Для этого комплекса костюма характерна исключительная простота. Основу составляет сорочка из белого, чаще всего конопляного полотна, вытканного дома на кроснах. Сорочка длинная, широкая, с длинными широкими рукавами, без воротника. Покрой ее прост: она сшита из 3—5 прямых цельных полотнищ («пол»), верхний край которых вместе с верхним краем рукавов собран в сборку и образует ворот с разрезом («рѳспірка») сзади. Покрой рукава и способ скрепления его со станом также чрезвычайно просты (см. табл. рис. а). Рукав у запястья собирается в сборку и обшивается узкой обшивкой («зарукавник»), а иногда также имеет сборку шириной 1—6 см, составляющую одно целое с самим рукавом («фѳдра» или «фѳдрош»). Такая сорочка особенно характерна для Довжанской долины. Дальнейшая эволюция сорочки выражается в том, что часть цель-

¹² Кроме перечисленных работ, см также: M. T ú m o v á, *Národní kroj na Podkarpatské Rusi*, Katalog výstavy Podkarpatské Rusi, Praha, 1924; Adam Fischer, *Rusini*, Warszawa, 1923; В. Бі л е ц ь к а, *Українські сорочки, їх типи, еволюція і орнаментация*, мат. до укр.-руськ. етнології та антроп. видає Науков. Т-во ім. Шевченка, Львів, 1929. Ряд отдельных заметок об одежде закарпатских украинцев разбросан по различным журналам русским и иностранным.

¹³ См. карту, комплекс I.

ных полотнищ стана заменяется так называемыми «скосами», т. е. половинками разрезанного по косой линии полотнища, а также в том, что либо к рукаву прибавляется ластовица, либо нижняя внутренняя часть рукава («рбсточка»), выкраивается мысом, который отгибается вниз, вклинивается в стан сорочки и выполняет роль ластовицы. Иногда (например, в селах Волове, Лозянське, Запередилля, Кушница, Керецки, Березняки) верхняя часть переднего полотнища заменяется так называемой «пазухой» — куском толстого полотна, специально для этого вытканного. Верхний край этого куска у воротника имеет цветную тканую кайму, шириной 5—7 см, которая также называется пазухой.



Рис. 1. Женская одежда из с. Запередилля
Воловского округа

В данном районе такая сорочка является единственной нательной и верхней, праздничной и будничной, домашней и выходной одеждой женщин всех возрастов и положений.

Сорочка украшается вышивкой цветными нитками или шерстью на рукавах, груди (там, где не делают тканую пазуху) и обшивке ворота («ошийник»). Вышивка меняется в зависимости от возраста и положения женщины в семействе, а также имеет свои локальные особенности. Подпоясывается сорочка поясом («сіленка» — с. Керецки, «пас» — с. Буштино), сплетенным из цветной шерсти. Пояс сохранился не везде. Его нет, например, в селах Воловом, Колочаве, Крайниково и др. Костюм дополняет передник из покупной материи («плат»). Девушки носят плат ярких цветов, особенно в Довжанской долине, пожилые женщины — более темный. В селах Теребля, Буштино плат украшается яркими лентами; в с. Волове, Лозянське и др. носят плат большей частью одноцветный, боковые края его так далеко заходят назад, что почти сходятся там. Такой плат сильно напоминает юбку (остается только сшить края, чтобы получилась юбка). В селах Крайниково Сокрыница, Салдобош (теперь Стеблівка), Буштино и Теребля плат обшивается широкой твердой обшивкой-поясом; такой плат является

как бы комбинацией передника и пояса вместе (пояс как самостоятельная часть одежды в этих селах отсутствует).

В южной части района распространения данного комплекса (села Крайниково, Сокрыница, Буштино и др.) девушки в праздники надевают поверх сорочки «лайбик» — узкую, очень короткую безрукавку, пышно украшенную кружевами, лентами, галунами. По словам местного населения, лайбик не является на данной территории исконным. Его стали носить всего лет 30—40 назад. Показательным в этом отношении является то, что лайбик носят здесь только девушки по праздникам, тогда как старшее поколение, отличающееся большей консервативностью в одежде, его не носит. Интересно также отметить, что такая безрукавка носит название, чуждое украинскому языку (лайбик — от немецкого Leib). На севере (в Воловском округе) вместо лайбика все женщины (и замужние и девушки) носят «камизэльку» — безрукавку несколько иного покроя и внешнего вида, чем лайбик, чаще черного или синего цвета. Эта «камизэлька» очень напоминает такую же безрукавку, широко распространенную среди населения бывшей Галиции с таким же названием — «камизэлька» (об этом см. ниже). В селах Довжанской долины лайбик не носят. Здесь безрукавка шьётся из пестрой покупной материи более длинная, чем лайбик; она с низким вырезом и полами с зубцами, которые связываются между собой шелковыми нитками, создавая впечатление шнуровки. Безрукавка является здесь исключительно принадлежностью костюма невесты («плічки» — с. Керецьки). Более зажиточные слои населения носили «бунду» — короткую меховую безрукавку мехом внутрь, с лицевой стороны сплошь покрытую вышивкой цветной шерстью, кожаными аппликациями и медными бляшками. Бунда больше распространена на юго-востоке Закарпатской области. Бунды делались специальными ремесленниками в городах и больших селах. Они никогда не были массовым видом одежды. Можно сказать, что для данного локального типа одежды безрукавка не характерна. Она явилась здесь результатом влияния либо со стороны соседних народов (на юге), либо со стороны соседнего локального типа закарпатской одежды (на севере). На юге в связи с теплым климатом безрукавка была не нужна. Она пришла сюда сравнительно поздно и является декоративной частью одежды. На севере, в условиях более сурового климата горной местности она становится необходимой. Поэтому камизэлька шьётся из теплого сукна и не украшается. Можно предположить, что здесь южный тип одежды пополнился безрукавкой, заимствованной у соседнего северного комплекса.

Верхней зимней одеждой является «у́йош» (как для женщин, так и для мужчин) — куртка из толстого домотканного и валеного сукна белого цвета, отделанная полосками сукна черного или синего цвета. И теперь еще в некоторых местах бытует уйош примитивного покроя. Так, в Довжанской долине уйош поперечный: он выкраивается из одного цельного полотнища, перегнутого поперек дважды (на боках). Уйош имеет невысокий стоячий воротник, полы его не застегиваются. В долине р. Рики ранее бытовал такой уйош, но теперь он почти совершенно вытеснен уйошом городского покроя (выкройным). По р. Теремле носят уйош туникообразного покроя, который состоит из одного полотнища, перегнутого поперек на плечах. В настоящее время уйош весьма широко распространен по всей Закарпатской области; однако он представляет собой явление сравнительно позднее. О нем нет никаких упоминаний ни у Головацкого, ни у Бидерманна. Жаткович говорит о суконном «реклике» на юге и в средней полосе Закарпатья, указывая на него как на одежду не типичную для закарпатских украинцев¹⁴.

¹⁴ Ю. Жаткович, *Замітки етнографічні*, стр. 28.

По словам самого населения и по данным литературы, уйош стали носить всего лет 40—50 тому назад, когда на село пришли портные, которые умели его шить. На это обстоятельство собственно настойчиво указывали нам в Воловском округе, где, кстати говоря, очень редко можно встретить уйош примитивного покроя. Может быть, это объясняется тем, что сюда уйош проник сравнительно поздно в своей, уже более сложной, форме. Данная часть одежды называется венгерским термином (уйош — *ujjas* по-венгерски означает — «с рукавом», «куртка»).



Рис. 2. Женщина в «гуне» из с. Буштино
Тячевского округа

Традиционной верхней зимней одеждой закарпатских украинцев является «гуня» или «пéтек» (пéтек более легкий, чем гуня). «Гуня» — это распашная одежда длиной до колен или немного ниже, простого покроя, из белого, серого или черного (только в Довжанской долине) сукна, изготовленного так, что лицевая сторона его покрыта длинным пышным ворсом и напоминает овчину. Гуня имеет очень длинные, свисающие ниже колен рукава. Ее носят внакидку (см. рис. 2). Теперь гуня вытеснена уйошом и имеется только у старшего поколения. Однако еще совсем недавно (лет 30—50 тому назад) гуня была единственным видом верхней одежды закарпатских украинцев. Еще Жаткович отмечал, что без гуни нельзя представить себе «угорского русина», что он не разлучается с ней ни зимой, ни летом¹⁵. Гуня представляет большой интерес для исследователя: она является, несомненно, пережитком первобытного мехового плаща, который, по всей вероятности, контаминировался с какой-то рукавной одеждой.

Головным убором служит платок, обычно покупной («ширінка» или «платина»). Девушки носят платки яркой расцветки, замужние женщины — темные, одноцветные. Платок покрывается таким образом,

¹⁵ Ю. Жаткович, Указ. раб., стр. 28.

что концы его завязываются либо под подбородком (например, в Терeble, Угле, Буштино), либо сзади над центральным углом (в Волове, Лозянське), либо сзади под центральным углом (с. Кушница). Однако строгого разграничения по селам нет. Лет 15—20 назад замужние женщины обязательно должны были носить чепец («чепець», «чепак»), который надевали прямо на волосы под платок. Теперь чепец носят очень редко, но его можно еще кое-где видеть у старух.

На территории распространения данного комплекса одежды (кроме Довжанской долины) бытует или бытовал в недавнем прошлом чепец из квадратного куска черной материи (чаще шелковой) размером 23 см², вышитый растительным орнаментом цветными нитками и блестками. Передняя сторона квадрата собирается в сборку, образуя приподнятый угол («куток»), остальные три стороны остаются прямыми, к средней из них пришиваются цветные ленты. Они бахромой спадают на затылок. Такой чепец прикрывает темя и макушку и удерживается на голове с помощью «вінка» (венка), который надевают поверх чепца. Венок — это обруч из твердого картона, украшенный искусственными цветами, кусочками зеркала, блестками. Волосы при этом заплетались в две косы, которые свободно висели сзади. Подобный же чепец носили и под платком без венка (например, в с. Терebile). Необходимо отметить, что такой головной убор, не закрывающий волос, является необычным и чуждым явлением не только для закарпатских украинцев, но и для всех славянских народов. С древнейших времен обычай закрывать волосы являлся правом и обязанностью замужних женщин в отличие от девушек¹⁶. В Закарпатской области строго соблюдается это правило. В с. Сокрыница существует даже поверье, что, если простоволосая женщина выйдет на улицу, — ее убьет громом.

Указанные выше черные чепцы продавали в городах на базаре (особенно в г. Хуст); они распространены по долинам р. Рики (до с. Соймы) и р. Терebile. В Довжанской долине носят чепцы в виде колпакообразной маленькой шапочки красного цвета, которую надевают на пучок волос, уложенных высоко на затылке.

Девушки заплетают волосы в одну или две косы, вплетая в них либо ленты — «пántлики», либо «кїтици» — шнурок с пучками разноцветных шариков из шерсти на концах (Довжанская долина). Лет 15—20 назад девушки еще носили в праздничные дни на головах венки (вінок — с. Терebile, Буштино; «віпець» — села Крайниково, Сокрыница). Теперь венки сохранились лишь как головной убор невесты в день свадьбы. Костюм невесты сохранил еще один очень архаический элемент женской одежды — это белое покрывало, так называемая «примітка» (например в селах Данилово, Сокрыница). Эта примітка является пережитком того самого «завоя» или «намитки», который был головным убором еще древнеславянских женщин¹⁷.

Шею украшают мелкими стеклянными бусами либо в несколько рядов (до 10, как в с. Керезки — «монисто»), либо в одну нитку (как в с. Терebile — мелкие «дбонья», крупные — «пацьорки»), а также узкими полосками, сплетенными из разноцветного бисера («пацьорки», «партка» — с. Крайниково, «сплітка» или «сплєтєнек» — с. Колочава).

У закарпатских украинцев как раньше, так и теперь преобладающим видом обуви являются постолы, которые сохраняют свою архаичную форму. Прежде чем надеть постолы, надевают шерстяные носки («капци») или «онучи» (полотняные или суконные), а иногда и то и другое вместе. Постолы привязываются к ногам либо тонкими ремешками («стрóками»), либо широкими шерстяными шнурками черного

¹⁶ Lubon Niederle, Slovanskí starožitnosti, díl I, svazek 2, Praha, 1913, стр. 505.

¹⁷ Там же, стр. 510.

цвета («волоками»). Кроме постолов, женщины носят также сапоги с твердыми голенищами и на каблуках («чіжми» — Крайниково, Сокрыница, Данилово; «чоботи» — с. Буштино, Теремля и др.). Однако сапоги никогда не были массовым видом обуви. Они всегда стояли слишком дорого и поэтому являлись праздничной обувью лишь зажиточных слоев населения. Теперь, кроме постолов и сапог, носят также городские ботинки («бокінчи») и туфли («топánки»). Однако исконным видом обуви на территории Закарпатской области являются несомненно постолы.

Таким образом, описанный нами комплекс одежды характеризуется чрезвычайной простотой и архаичностью основных его элементов. Главными составными частями этого комплекса являются: длинная сорочка, передник, пояс, чепец и головной платок (в прошлом белое покрывало), постолы и гуня. Это как бы первоначальное и основное ядро одежды не только в данном районе, но, как мы увидим позже, всюду в Закарпатской области. Все остальные элементы комплекса являются большей частью результатом внешнего влияния. На территории распространения данного комплекса одежды, как и на всей остальной территории Закарпатской области, кроме ее северо-восточной части (об этом см. ниже), за время экспедиций, кроме упомянутого плата, нами не было обнаружено другой древней набедренной одежды (вроде украинской плахты), из которой, как полагают этнографы, впоследствии образовалась юбка. Литература также не дает никаких сведений об этом. Этот вопрос является чрезвычайно интересным и требует дополнительного исследования.

Наибольшей простотой, строгостью и выдержанностью стиля данного комплекса отличается одежда Довжанской долины.

Второй локальный комплекс женской одежды отмечен в долинах р. Тисы в пределах южной части Раховского округа до с. В. Бочково и р. Тересвы (Тячевский округ)¹⁸. Здесь основу комплекса составляет длинная, широкая сорочка с четырехугольным низким вырезом ворота. Рукава длинные, пышные, с фодрами (оборками) или без них, с одними зарукавниками (обшлагами). По покрою в основе своей сорочка туникообразная (см. таблицу, рис. б). Нижняя часть сорочки чаще всего состоит из цельного полотнища более грубой материи, чем вся сорочка. Обычно сорочка шьется из домашнего полотна и очень красиво украшается вышивкой цветными нитками и буфами (рис. 3). Такая сорочка носит местное название «волоська», т. е. волошская, румынская. Поверх сорочки обязательно надевают широкую юбку из покупной материи — «плат» (Тересва), «світа» (Дубове, Калины), «сукня» (В. Бочково, Трибушаны). Иногда поверх юбки надевают еще передник — «плат» (Б. Бочково), «платок» (Тересва). Но передник здесь необязателен, чаще всего обходятся без него. В с. Калины с этой сорочкой носят еще плетеный шерстяной пояс — «періска». Но отсутствие пояса в данном комплексе одежды в других селах, а также наличие в с. Калины еще одного комплекса костюма, более древнего, повидимому, заставляет предполагать, что пояс не принадлежит костюму с волошской сорочкой. В селах по р. Тересве еще и теперь (правда, очень редко) можно видеть старых женщин в сорочке первого описанного выше комплекса с одним передником поверх нее. Такая сорочка в отличие от «волошской» называется «руськой» (с. Тересва). Несомненно, что волошская сорочка со всем ее комплексом сменила первый комплекс, бытовавший некогда здесь. Наличие в этом районе того же черного чепца, характерного для первого комплекса, подтверждает это предположение. Что же касается южной части Раховского округа, то и здесь комплекс с волошской сорочкой не является единственным. Наряду с волошской сорочкой здесь

¹⁸ См. карту, комплекс II.

бытует «українська» — короткая, широкая, с длинными, широкими рукавами. Покрой ее напоминает покррой сорочки 1-го типа, но с разрезом ворота спереди. Таковую сорочку носят с широкой юбкой. Но и этот последний тип не является здесь исконным. В литературе он не известен. Во всех описанных южная часть Раховского округа включается в район распространения так называемого «гуцульского» комплекса одежды, который характерен для северной части этого округа и о котором мы будем говорить ниже. Что же касается волошской сорочки, то ее начали здесь носить только лет 20—25 назад. Ни Маковский, ни более ранние описания закарпатской одежды не знают волошской сорочки.



Рис. 3. Женщина в «волошской» сорочке из с. Требушаны Раховского округа

Название же ее «волошська» (т. е. румынская) само по себе говорит о влиянии со стороны соседнего румынского населения. Действительно, в селах с румынским населением (Верхняя, Средняя и Нижняя Апши) мы видим такую сорочку со всем ее комплексом.

Поверх сорочки девушки иногда надевают бунду (долина Тересвы). В селах Калины и Дубове вместо нее все женщины носят так называемый «рёклик» — очень короткую и узкую безрукавку, связанную из шерсти. Но безрукавка и здесь, как и для первого комплекса, не является характерным элементом. В южной части Раховского округа носят «кожушок» — тоже меховую безрукавку мехом внутрь, украшенную вышивкой и аппликациями из разноцветного сафьяна. Его орнамент отличается от орнамента бунды. Этот кожушок является, видимо, остатком бытовавшего здесь когда-то так называемого «гуцульского» комплекса одежды.

Верхней одеждой в селах по р. Тересве служит серый уйош, часто еще старого поперечного покроя, в селах по Тисе — «сердак» или «лайбан» — пиджак из толстого домашнего сукна черного цвета, иногда туникообразного покроя с не застегивающимися, но запахивающимися полами, украшенный вышивкой цветной шерстью. Гуня еще встречается в селах по р. Тересве, но редко и только у старух.

Главным убором служит «хустка» — головной платок. В долине р. Тересвы носят черный чепец, о котором говорилось выше. Шею украшает чаще всего «ланцок» — узкая полоска, сплетенная из бисера.



Рис. 4. Одежда из с. Квасы Раховского округа

Таким образом, второй локальный комплекс женской одежды является неоднородным. Западная часть территории его распространения, видимо, не так давно охватывалась первым комплексом, а юго-восточная — третьим. Однако современное положение вещей таково, что на данной территории господствующим является комплекс одежды с волошской сорочкой. Это побудило нас выделить его как особый локальный комплекс, хотя он сформировался сравнительно недавно.

Третий локальный комплекс одежды, так называемый «гуцульский» (северная часть Раховского округа с селами Богдан, Ясинь и др.¹⁹), не был исследован экспедициями Института этнографии. Из литературы известно, что основой данного комплекса является длинная, широкая сорочка из домашнего полотна, обычно с «підточем», т. е. нижняя ее часть состоит из куска более грубого полотна, чем вся сорочка. Сорочка имеет длинные, широкие рукава с обшлагами (рис. 4). Покрой такой сорочки имеет много общего с сорочкой 1-го типа, но разрез ворота здесь не сзади, как у сорочки 1-го типа, а спереди. Гуцульские сорочки известны исключительно красивыми вышивками на рукавах в области плеча («установки»), на обшлагах и на груди вдоль разреза ворота. Сорочка подпоясывается плетеным шерстяным поясом («окрайка», «оперіска», «пояс»). Поверх сорочки носят две «запаски» — прямо-

¹⁹ См. карту, комплекс III.

угольные куски, тканые из цветной шерсти в поперечную полоску. Одна запаска привязывается сзади, другая — спереди. Эти запаски принадлежат к той же категории древней поясной одежды, что и украинская плахта и русская панева. Поверх сорочки надевают кожушок или «кіптарь» — меховую безрукавку мехом внутрь, украшенную с наружной стороны красивыми кожаными аппликациями и вышивками шерстью и шелком, которую Ф. Волков считает одним из наиболее древних и примитивных видов одежды²⁰. Зимой носят «сердак» черный или красный (такой же, как в южной части Раховского округа), а также овчинный «кожух» с рукавами. Головным убором служит хустка — головной платок, а обувью — постолы и чоботы.

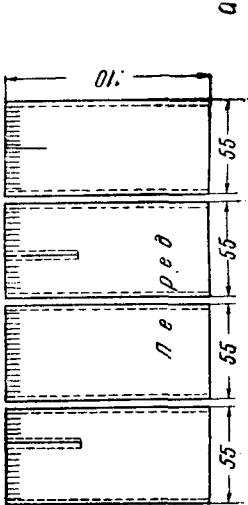
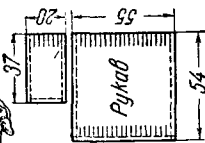
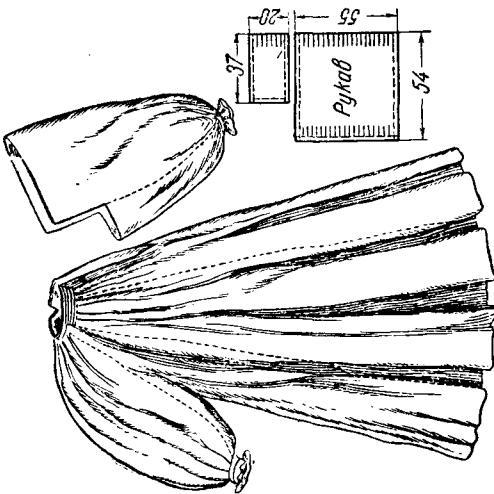
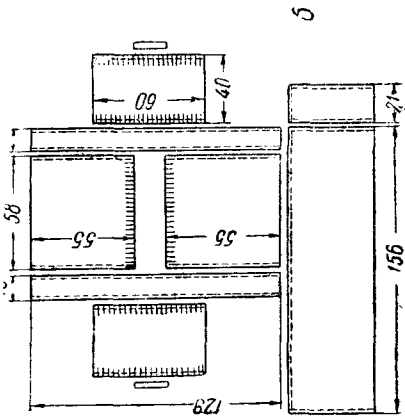
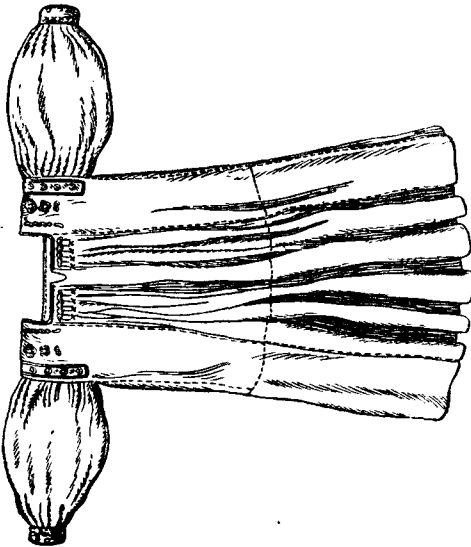
Данный комплекс одежды имеет большое сходство с одеждой населения примыкающей Восточной части бывшей Галиции и Буковины. Эта территория известна в литературе под названием «гуцульщины». Не отличаясь слишком резко от одежды всей остальной территории Закарпатской области, этот комплекс все же больше тяготеет к восточным — галицийским и буковинским районам.

Северная горная часть Закарпатской области (Воловский округ от с. Соймы на север, Воловецкий и Велико-Березнянский округа) является районом распространения четвертого комплекса женской народной одежды закарпатских украинцев²¹. В основном здесь распространена короткая, широкая сорочка с длинными рукавами, без воротника, с разрезом ворота спереди на левом или правом боку (там, где рукав сшивается со станом сорочки). Покрой такой сорочки похож на покрой сорочки I-го типа (см. таблицу, рис. 6 и рис. 5). Сорочка IV комплекса отличается красиво уложенными сборами вокруг ворота и на обшлагах. На груди сборки скрепляются, образуя пазуху шириной 5—7 см. По сборам делается вышивка цветными нитками в виде полосок, например в с. Новоселица. Вышиваются также рукава на плечах и на обшлагах. Орнамент большей частью растительный. Такую сорочку носят вместе с широкой сборчатой юбкой — «сукня» (с. Новоселица), «фартух» (с. Репинне). Теперь юбка в большинстве случаев цветная из покупной материи, особенно на востоке данной территории, раньше же она была белая. И теперь еще в с. Репинне носят такие юбки, которые отличаются и своим своеобразным внешним видом (очень широкие с множеством мелких сборок, ровно уложенных и скрепленных), а также и покроем (поперечная с продольной вставкой спереди). Здесь и цветная юбка, считая таким же образом, называется «фартух». Поверх юбки носят передник «пілка» (Новоселица), «плат» (Ростока), «катран» (Репинне). Поверх сорочки надевают узкую короткую безрукавку обычно из покупного сукна или бархата черного цвета — камизельку. Иногда (например в с. Ростока) она украшается вышитым шелком растительным орнаментом, и тогда она сильно напоминает такую же безрукавку (камизельку) из соседних районов бывшей Галиции (Н. Сонч, Ясло, Красно, Санок и др.),²² в то время как нигде больше на территории Закарпатской области такая вышитая безрукавка не встречается. Несколько выделяется одежда с. Люта Велико-Березнянского округа. Сорочка («опліча») здесь длинная с «підточкой» и близкая по покрою короткой сорочке. Она имеет разрез ворота спереди на левом боку и украшена вышитым растительным орнаментом на рукавах (в области плеча) и на груди вокруг ворота, а также на обшлагах. Поверх сорочки надевают широкую белую юбку (фартух) такого же покроя, как в с. Репинне, поверх юбки — широкий

²⁰ Ф. Волков, Этнографические особенности украинского народа, стр. 558.

²¹ См. карту, комплекс IV.

²² И. Симоненко, Экспедиция на Украину в 1945 г., Институт этнографии, «Краткие сообщения», II, 1947, стр. 44.



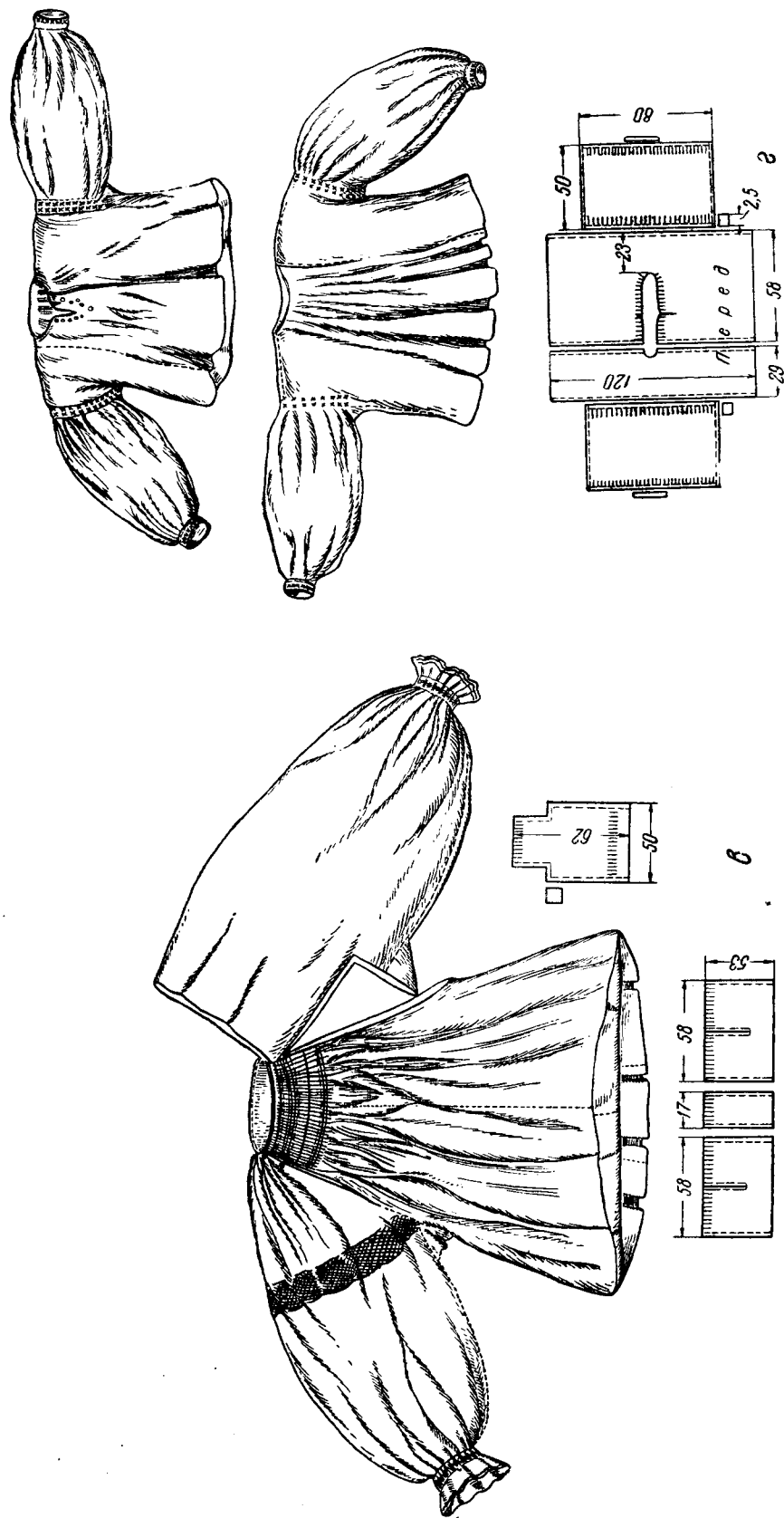


Рис. 6. Локальные типы женской сорочки украинцев Закарпатской обл. а—сорочки из с. Буштино Тячевского округа; б—сорочки из с. Тересва Тячевского округа („волоська“ сорочка); в—сорочка из с. Нижнее Студеное Воловского округа; г—сорочка из с. Бовище Мукачевского округа

вязанный из красной шерсти пояс («сіленка») и черный передник «запиначка». Весь комплекс одежды данного района сильно напоминает одежду соседних районов Западной Украины. По сравнению с первым типом женской одежды этот комплекс является более сложным, пошедшим далее в своем развитии.

Пятый локальный комплекс женской одежды (см. рис. 6) бытует в юго-западной части Закарпатской области (Перечинский округ, северная часть округов Ужгородского и Мукачевского, юго-западная часть Иршавского округа и Свалявский округ, кроме сел Керецьки и Березняки²³) (см. карту, комплекс V). Здесь носят короткую узкую сорочку поперечного или туникообразного покроя с круглым или четырехугольным вырезом ворота, с разрезом ворота спереди или, реже, сзади, с длинными пышными рукавами с обшлагами и низко спускающейся на руки плечевой частью сорочки. Сорочка украшается узкой полоской вышивки вдоль шва на плечах, на обшлагах, а иногда и вдоль разреза на груди (см. таблицу, рис. 2). С сорочкой носят очень широкую юбку — «кабат» (с. Порошково), «сукня» (Бобовище), «сукман» (Серенчовцы). Такую юбку шьют из покупной материи различных цветов. Раньше, всего лет 5—10 назад, вместо цветной юбки носили белую широкую сборчатую («ряснѹ») юбку с широким поясом — «подбóлок». Подбóлок имел такой же внешний вид и покрóй, как фартѹх из с. Люта или Репинне. Теперь подолком называют здесь белую нижнюю юбку. Несколько таких юбок наде-



Рис. 5. Девушка из с. Нижнее Студеное Вововского округа.

вают подооно словакам или венграм под верхнюю юбку. Обычай носить под верхней юбкой несколько нижних не встречается нигде на территории Закарпатской области, кроме данного района. Поверх кабата надевают широкий, тоже в складку передник — «катра́н».

Лет 25—30 назад здесь стали носить «візітки» — узкие кофты с баской, темного цвета, часто отделанные кружевами и разноцветной тесьмой. Візітка является выходной верхней одеждой. Ее надевают поверх сорочки. Благодаря наличию візітки сорочка в данном районе стала постепенно превращаться из верхней одежды в нижнюю. Она начинает играть роль белья, поэтому теряет вышивку и рукава (очень короткие рукава еще остаются). Візітка же появилась у закарпатских украинцев недавно (всего лет 20—25 назад) видимо под влиянием соседнего словацкого и мадьярского населения, где она широко распространена. Поверх сорочки или поверх візітки часто носят большие

²³ Южная часть Ужгородского и Мукачевского округов; округа Береговский и Виноградовский имеют смешанное украинско-венгерское население и поэтому не вошли в наш очерк.

платки («кистеман» или «кестеман») либо тонкие яркие с длинными кистями, концы которых перекрещиваются на груди и завязываются сзади на талии, либо тяжелые черные — просто накидываются на плечи. Такие платки широко распространены у мадьяр. Зимней одеждой служит суконная жакетка — «реклик» — городского покроя, а также гуня — белая, короткая. Головным убором служит платок «ширинка», «кестеманча» (с. Порошково), а также для замужних женщин — чепец («чепак»). На севере Ужгородского и Мукачевского округа еще лет 5—10 назад носили чепец в виде полотняной шапочки, закрывающей всю голову, уши и шею. Чепец завязывался под подбородком. Верхний край его, украшенный кружевами или оборкой, всегда виднелся из-под платка. Оригинальный чепец до сих пор бытует в долине р. Турьи. Он белый полотняный, украшен вышивкой и лентами и имеет форму выпуклого полумесяца с рогами, обращенными назад. Чепец твердый и высокий. Его надевают на волосы, уложенные на затылке, и он высоко поднимает платок, придавая голове вытянутую форму. Подобную форму головного убора мы встречаем у венгров в комитате Borsod²⁴. Обувью служат постолы, которые здесь называются «бочкóры», а также сапоги — «чїжми».

На одежде данного локального типа городское влияние сказалось больше, чем в каком-либо ином районе Закарпатской области. Традиционную народную одежду здесь носит не все население, как это имеет место на территории первого или третьего комплексов, а лишь меньшая его часть. Даже старшее поколение начинает оставлять ее, переходя к городской. Лучше всего здесь сохранилась народная одежда в селах по долине реки Турьи. Бросается в глаза и то, что стиль этого комплекса абсолютно чужд стилю одежды украинского населения всей остальной части Закарпатской области. Это происходит оттого, что он более, чем какой-либо другой комплекс, подвергся влиянию со стороны соседних народностей, а именно со стороны словаков и мадьяр.

Мы приходим к следующим выводам:

1. Наиболее типичным для закарпатских украинцев и наиболее архаичным является первый локальный комплекс одежды, распространенный на территории центральной части Закарпатской области (точно границы см. выше, в описании комплекса). Этот комплекс в силу своего центрального положения менее, чем другие, испытал на себе внешнее влияние и поэтому сохранил, с одной стороны, архаичные, наиболее характерные черты для украинской одежды Закарпатья, с другой — элементы, сильно подчеркивающие принадлежность данного комплекса к восточноукраинскому, особенно в древних формах последнего.

Остальные же четыре комплекса, как указывалось выше, являются результатом либо дальнейшей эволюции, либо более или менее сильного внешнего влияния как восточно- и западноукраинского, так и венгерско-румынско-словацкого, либо результатом обоих факторов.

2. Несмотря на наличие нескольких разновидностей, которые мы выделили как локальные комплексы, все же в основе своей украинская женская одежда в Закарпатье едина и в этом убеждает нас сравнение покроя четырех из пяти типов сорочек.

3. Женская одежда украинского населения Закарпатья по существу является разновидностью общеукраинской одежды с некоторыми местными особенностями (вышивка и ее место расположения). Здесь мы встречаемся с теми же основными элементами одежды, часто с теми же терминами (сукня, підточка, уставки и т. д.). Покрой сорочки также

²⁴ A Magyarorság néprejza, másodikkidás, I kötet, irta Bátky Zsigmond, Györffy István, Viski Károly, Budapest, 1941, табл. LIV, LXXII.

чрезвычайно напоминает общеукраинский. Особенно показательным является покрой рукава. Наличие в рукаве закарпатской сорочки (см. таблицу) верхней части, более длинной, чем нижняя, заставляет предполагать, что в прошлом рукав имел прямоугольный полик, который теперь сросся с основным полотнищем рукава. Сорочка же с прямоугольными поликами широко распространена по всей Украине. Наше предположение подтверждает также то обстоятельство, что уставками (что означает по-украински полики) называется вышивка на рукавах гуцульской сорочки, расположенная как раз в том месте, где пришивался бы полик к основному полотнищу рукава. Такое расположение вышивки на рукаве в области плеча сохраняется и на сорочках других типов.

4. Вопрос о расположении вышитого орнамента на рукаве сорочки также очень интересен. Исследование в этой области может пролить свет на вопросы эволюции самой сорочки.

5. Окончательное решение вопроса о закарпатской одежде потребует дальнейших экспедиционных исследований, намеченных на 1948 г. Особенно это касается III и отчасти IV комплексов, так как в этих районах экспедиция не проводила еще систематической работы (кроме северной части Волковского округа и с. Люта Велико-Березнянского округа).

Л. Г. БАРАГ, М. С. МЕЕРОВИЧ

БЕЛОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ И СКАЗКИ-ЛЕГЕНДЫ О ЗАСЛОНОВЕ И КОВПАКЕ

Имя Героя Советского Союза Заслонова — командира партизанской бригады, действовавшей в тылу немецко-фашистских захватчиков в Витебской области, пользуется в Белоруссии и за ее пределами широкой популярностью. Чудесные подвиги Заслонова подсказывали легендарно-сказочную трактовку его образа в фольклоре. «Дела большие, — сообщал в 1942 г. Заслонов в одном из своих писем другу, — бомбим, бомбим и бомбим; каждый день что-нибудь новое; временами рубаем — спасения нет немцам... Мои люди — партизаны настолько насолили немцам, что те делали облавы и вызвали меня на бой против трех дивизий»¹. 15 000 убитых немцев, 200 выведенных из строя паровозов, более 60 поездов, пущенных под откос, 120 000 пудов хлеба, отнятых у немецких захватчиков, — таков неполный итог славы боевой деятельности заслоновцев, воспеваемой в песнях и прославляемой в сказках-легендах. Замечательной теплотой чувства, задушевностью отличаются воспоминания партизан, местных крестьян и рабочих об их «дяде Косте». Вечную память о бесстрашном партизанском комбриге и талантливом организаторе масс хранит народ. Выражением этого являются сказки-легенды о Заслонове, бытующие в Витебской области и соседних с ней районах. Люди самых различных возрастов являются творцами и носителями этих фольклорных произведений. Нередко сказка-легенда о Заслонове, сложившаяся в крестьянской среде, подвергалась изменениям и получала своеобразное творческое развитие в среде партизан-заслоновцев.

Легендарной славой покрыто имя дважды Героя Советского Союза Ковпака. Стремительным рейдом прошли партизанские соединения Ковпака весной 1943 г. по районам Белорусского Полесья. Здесь после побед над немецкими войсками Ковпак вел подготовку к новому рейду на Карпаты. В 1944 г. ковпаковцы снова побывали в Белоруссии в районах Пинской и Брестской областей: громя немецкие тылы, они продвигались на запад. И повсюду, где проходили «ковпаки», получали распространение сказки-легенды о Ковпаке и его партизанах. Эти сказки-легенды подвергались художественной шлифовке по мере расширения территории их распространения. Им в большей степени, чем сказкам-легендам о Заслонове, свойственна определенность эпической формы. Крупные масштабы партизанской деятельности Ковпака сравнительно с деятельностью Заслонова, стратегия партизанской войны получили отражение в бесчисленных сказках-легендах о том, как «Ковпак в разведку ходил». В фольклорном образе мудрого и неуловимого старого Ковпака больше эпической стройности и меньше фантастического, чем в фольклорном образе Заслонова. Вместе с тем, сюжеты и мотивы сказок-легенд о Ковпаке менее тесно связаны с

¹ «Звезда», Минск, 14 ноября 1947 г., стр. 3: «Да 5-й гадавіны а дня смерцы К. С. Заслонава».

подлинной биографией героя, чем сюжеты и мотивы сказок-легенд о Заслонове.

Легендарно-сказочная трактовка образов Заслонова и Ковпака в современном фольклоре является выражением исключительной любви народа к этим простым советским людям, подвиги которых были живой легендой.

Произведения белорусского фольклора о Заслонове и Ковпаке являются ярким выражением народности партизанского движения и народных представлений о герое; ряд мотивов сказок и рассказов о них восходит к уже известным фольклорным произведениям и тесно связан с русскими и украинскими сказками-легендами. Такова, например, белорусская сказка «Як Чапай з Заслонавым сябраваў», записанная М. Меерович от семидесятилетней сказочницы Анастасии Степановны Коржень в городе Орша.

Чапай ён не утануў.. Зайшоў к аднаму дзядку і крычыць: «Хто здэсь хадзяін?» Выходзіць сівенькі дзядок і гаворыць: «А хто ты такой?» — «Я, гаворыць, Чапаеў». Тады дзядок і кажа: «Вот табе меч і конь, конь тебе знясе на гару, будзеш там на гарэ жыць, а калі будзіць рускім вайна, тады сайдзеш». Чапай еў на каня і паехаў. Аж за нім пагоня — белякі. Крычаць белякі: «Хто хадзяін?» — «Што вам патрэбна?» — «Ты бачыў ехаў тут Чапай?» Дзядок адказвае: «Не бачыў». — «Брэшыш, ты яму даў каня, ён і паехаў». Павесілі дзядка на бярозу, а Чапай на гары за воблакамі жывець. Настаў цяжкі час вайны, і я усё маліла бога: «Госпадзі, пашлі Чапая нашаму войску». І з'ехаў тады з гары Чапай і прыехаў у Беларусь. Вось стрэў ён чалавека — такога-жэ як ён сам — Заслонава — партызана. Чапай яму і кажа: «бей урага, гані яго, будзе слава народу і цябе». І перадаў яму Чапай веды, як з немцамі ваяваць. І прызваў Заслонаў рабочых з чыгункі і стаў дзейнічаць як Чапаеў.

Далее, в сказке А. С. Коржень повествуется о подвигах Заслонова и о героическом сражении заслоновского отряда с фашистами 14 ноября 1942 г. в деревне Куповать Сеннинского района Витебской области, во время которого смертью храбрых пал Заслонов. Фантастическая сказка, таким образом, как бы переходит в реалистический сказ. Вступительный эпизод этой сказки замечательно совпадает с русской сказкой о Чапаеве, опубликованной в сборниках «Творчество народов СССР», «Красноармейский фольклор» и неоднократно передававшейся по радио. Интересно отметить, что в ряде записанных нами современных белорусских сказок встречаются аналогичные совпадения со сказкой о Чапаеве.

Сказки о чудесном воскрешении в дни Великой отечественной войны героев прошлого записаны во многих местностях Белоруссии, Украины и РСФСР. Летом 1947 г. в местечке Наровля Полесской области Л. Барагом была записана от бывшей партизанки Александры Карповны Демчик — участницы рейда Ковпака в Белоруссию, на Карпаты и в Польшу, — такая легендарная сказка украинского (гуцульского) происхождения.

Раней гуцулы были вольным народом, імі правіў добры гуцульскі князь. У гэтага князя быў нядобры сын, які ажаніўся з польскай крулеўнай. Пасля яго смерці жонка яго завяла сваі польскія парадкі, знішчыла праваслаўную царкву і захацела зрабіць гуцульскі народ рабамі. Гуцулы на чале з храбрым казаком Арцёмам пайшлі ў горы. Там хоць і бедна жылі, але вольна. Шмат часу прайшло. Арцём стары памер, а гуцулы ўсе былі вольнымі і калі ворагі шлі на гуцулаў, падымаўся в магілы стары Арцём і веў гуцулаў на барацьбу. Вось, калі немцы пайшлі вайной, падняўся яго ўнук Каўпак, які кожны раінак зывае ўсіх гуцулаў на пастушкэй трыбе. І кожны дзень ідуць, ідуць да Каўпака вольныя гуцулы. Вось войска Каўпака вызваліла вялікую частку зямлі гуцулаў, але немцы заселі у Зеляніцы і хочуць перарэзаць Каўпаку дарогу у Карпаты. Але не зрабіць ім гэтага... Гэту казку я чула ад старой гуцулкі у жніўні 1943-га году.

В сборнике Ф. Тумилевича «Фольклор казаков-некрасовцев» (Ростов, 1947) опубликована сходная народная легенда о том, как славный казачий атаман Игнат Некрасов, умерший более двухсот лет назад, в годы Великой отечественной войны поднялся из могилы, сел

на боевого коня и стал помогать казакам-воинам Советской Армии бить немецко-фашистских захватчиков. Известны также русские сказы о том, как Чапаев поднялся со дна Волги, сел на богатырского коня и прискакал на помощь героическим защитникам Сталинграда². Легенда о неумирающем герое, появляющемся, чтобы помочь человеку в беде, — одна из распространенных и в старом фольклоре. Но отождествить известные в дореволюционном фольклоре записи этого сюжета с современными невозможно. Сходство легенды о Чапаеве и других, подобных ей, с традиционными произведениями этой же сюжетной группы только формальное. Современность дает новый, коренным образом отличающийся философский смысл легенде о неумирающем герое. Очень важно в произведениях нашего времени подчеркивание новых целей борьбы современного героя, не имеющих общего со старыми. Неумирающий герой борется за свободу своего народа и независимость социалистической Родины. Патриотическая народная идея, выраженная в художественном образе, в сущности ломает и преодолевает традицию, создает новое произведение.

Особенно яркий и своеобразный пример переосмысления старинной легенды о воскресающем воине — полководце в духе современности представляет следующая сказка-легенда, записанная М. Меерович от Филиппа Ивановича Матюшевского (1908 г. рождения) в дер. Утрилово Сеннинского района Витебской области.

Сказываюць, што Заслонаў загінуў у Купавачі, але гэта няпраўда. Ён жыў, яго ранілі і ён скрыўся у Купаватскім лясу. Шоў ён там доўга, сем дзён і выйшаў у веску Леўкова. Зайшоў ён цёмнай ноччу у крайнюю хатку, стучыць і пытаецца: «Хто тут, ці ёсць жывой?» Выходзіць дзядок сівы і кажа: «Ты хто будзеш?» — «Я, адказвае Заслонаў, — Заслонаў». Дзядок яму гаворыць: «Будзеш ты пераможцам». І даў дзядок Засланаву старадаўні меч і кая і кажа: «Езжай на захад і гані ўрага з нашай зямлі». Заслонаў адразу сеў на кая, ды як закрычыць: «Рубанём урагоў, рэбятя». І сам памчаўся з мечом у руке. І дзе ён толькі з таго часу ні паявляўся — бягуць ворагі. Рубіць Заслонаў мечом, страляе з рэвалвера. І біўся ён доўга, зараз з савецкімі войскам. А калі ачысцілася наша зямля ад фашыскай погані і стала зноў вольна жыць народу, стаў Заслонаў разам з другімі героямі, якія лічацца загінутымі, у купавіцкім баю, жыць на высокай лысай гары — гары нясмерцельных герояў. І цяпер жыве.

Кроме варианта Матюшевского, известны и другие варианты легендарного сюжета о подвигах Заслонова после сражения в Куповати. Сюжет этот сложился в партизанской среде в 1944 г. под непосредственным впечатлением побед Советской Армии, освободившей нашу страну. Выражение «Рубанём урага, рэбятя», которое приписывается в этой сказке Засланову, было излюбленным выражением Заслонова и весьма часто встречается в сказках-воспоминаниях о нем партизан и, в частности, в сказках, записанных от бывшего партизана 2-й Заслоновской бригады Ф. И. Матюшевского наряду с приведенной выше легендарной сказкой. Например, в одном из сказов-воспоминаний о Заслонове, записанном от бывшего партизана И. Р. Пахомовича в дер. Карповщина Сеннинского района, так рассказывается о бое заслоновского отряда: «Бывала ён (Заслонаў) заўсёды уперадзі, як закрычыць: «Рубанём, рэбятя, дадзім ім дымку рускага панюхаць! — тады пойдзем і у агонь і у ваду за ім». Легендарная сказка Матюшевского является выражением того же благоговения перед светлой памятью Заслонова, что и воспоминания-сказы многочисленных сподвижников-друзей Заслонова, и вместе с тем выражает веру в бессмертие подвигов партизана-героя, но отнюдь не является прямым утверждением сверхъестественного, часто имевшего место в дореволюционном фольклоре. Фантастические мотивы этой сказки далеки от веры в чудесное «потустороннее»; они связаны с реальными

² См. Г. Попова, Русская народная песня, Музгиз, М.—Л., 1946, стр. 16.

воспоминаниями заслоновцев о боях после смерти их славного комбрига.

Было гэта перад першым маем, — рассказывает бывший партизан отряда „Молодой Большевик“ 2-й Заслоновской бригады Ф. В. Калужин. — Немцы акружлі Куповатскі лес. Здаецца, уж ніколі нам не выбрацца адтуль. Усе мы, пулямётчыкі, пайшлі на магілу дзядзі Косці і тут, стаўшы на калені, мы далі клятву: «Клянемся цябе, дзядзя Косця, адстаць нашу зямлю да апошняга нашага ўздоха» — казалі мы. Усталі мы, і адкуль толькі сіла у нас узлася, как рубанулі, і вышлі усе з акружэння.

Многие реалистические рассказы партизан-заслоновцев о победах их отрядов после смерти Заслонова имеют концовки типа: «Партизаны казалі — сам дзядзя Косця дапамагаў нам».

Таким образом, легендарная сказка о бессмертии Заслонова, формально перекликаясь с древними легендами о чудесной помощи на поле сражения и о «стеклянной горе», проникнута духом современности — духом активного романтизма, она имеет новое качество — она нова и по идее и по образам. Социальное звучание этой сказки близко напоминает боевую песню заслоновских бригад, которую сложили партизаны после боя в Куповати:

Дядя Кости сердце жаркое
Схоронила Куповать.
Имя воина отважного
Будет в бой нас призывать.

Сказки-легенды о бессмертии Чапаева, Заслонова и других славных героев нашей эпохи являются выражением народной мудрости: не может умереть герой, душа и сердце которого — душа и сердце народа.

Если в приведенных выше сказках-легендах традиционный сюжет о «сівеньком дзядке», выручающем героя из беды и дарящем ему богатырский меч и богатырского коня, связан с темой бессмертия народного героя, то в целом ряде фольклорных произведений о Заслонове этот сюжет сплетается с достоверным биографическим рассказом о том, как Заслонов ушел от немцев в лес и стал партизаном. Например:

Было гэта у Куповаці. Прышоў дзядзя Косця у адну хаціну. Выйшаў дзядок і пытае: „Хто ты будзеш?“ Заслонаў яму адказвае: — „Я за народ стаю, хачу ўрага прагнаць з зямлі рускай“. Дзядок яго перахрысціў, даў каня: „Едзь, кажа, у лес, выраеш зямляначку і там жыві, пакуль збяруцца да цябе другія, а там пойдзеш ваяваць“. Пайшоў Заслонаў, а немцы за ім гналіся — не дагналі, потым пайшлі к дзядку: „Хто гэта паехаў, ці начальнік які, ці хто?“ А ён: „Не ведаю, не ведаю“. Яго узлілі, беднага, і павесілі“. А Засланаў і зямляначкі жыві, усе збіраў такіх такіх таварышоў як ён сам. Сабраў ён чалавек сорок. Ён з імі багата цягнукоў, спуściў багата немцаў загубіў. Калі веў партызан у бой, крычаў: „Рубанём, выжанім ўрага, рэбята...!“ Аднаго разу прышлі да нас у Купаваць немцы, іх было шмат, — як хмара чорная, а Заслонаў тут быў адзін. Ён доўга рубіўся з імі, але яго, беднага, забілі. Людзям жалка была, бо добры чалавек быў — прастой.

Записано от Юлии Мартыновны Гвоздевой 75 лет в деревне Куповать Сеннинского района Витебской области.

Легендарное здесь также подчинено идейной направленности произведения — утверждению высокого призвания советского партизана, народного мстителя, и имеет глубокую внутреннюю связь с реально биографической стороной повествования о подвигах и смерти Заслонова. В этом-то и заключается новизна и оригинальность трактовки традиционного легендарного сюжета современной белорусской сказочницей Ю. М. Гвоздевой.

Близка в сюжетном отношении со сказкой Ю. М. Гвоздевой о Заслонове старинная сказка о двух братьях-осилках, записанная Л. Барагом от Никиты Петровича Северина 1872 г. рождения в дер. Большая Вулька, Хойновского сельсовета, Жабчицкого района, Пинской

области. В этой сказке братья-осилки покидают своих односельчан и уходят в далекий дремучий лес. Они поселяются там у старого осилка-волшебника, который дарит им богатырское оружие и посылает их на богатырские подвиги.

В некоторых сказках-легендах о бессмертии Заслонова ярко выражены мотивы героического эпоса. Так, например, сказка-легенда «Як конь Заслонова Парыў ад смерці яго выратаваў» как бы перекликается с древними южнославянскими героическими песнями с Марке Кралевице и его чудесном коне Шарце.

Гэта была каля Купавачі. Шоў бой. Немцы палыходзілі ужо блізка, а у парцізан патронаў не хапала. Заслонаў думае: „Як жа выбрацца? Сам я магу на Парыве усюды прайці, а шкода рэбят астаўляць“. І надумаўся прарваць немцам бок на Парыве, штоб парцізан з акружэння вывесці. А тады сонца заходзіла і як раз немцам у вочы, — ім кепска глядзець. І сказаў Заслонаў Парыву свайму: „Я палажу, а ты давай адзін паглядзі, сколькі у іх радоу цэпей“. Завязаў яму туга паводы. Парыў топнуў нагой, кажыць: „Добра“ і панесся. Немцы стралялі па яму, так і пазналі што гэта абучаны Заслонава конь: у сядле, подковы блішчаць. А пулі яму ніяком. Пранесся і убачыў, што толькі две цэпы немцаў. Подскачыў к Заслонаву і кажыць, што две цэпы“. Засланаў сеў на коня і паехаў, а парцізаны за ім. Немцы страляюць па Заслонаву, пулі яму ніяком. А калі снаряды рваліся, Парыў скачкі даваў па дзесяць метраў і пранёс Заслонава і парцізан правёў. Тады Заслонаў паехаў к дзядку, якой яму Парыва дараваў, а партызанам сказаў: „Тут пабудзіце“. А дзён праз шэсць Красныя прышлі, з'едніліся з парцізанамі. Дзядок спытаў Заслонава: „Ты у акружэнні быў?“ — „Да, быў да Парыў выратаваў“. — Парцізан правёў, парцізаны пайшлі у польскія лясы, а я заехаў до вас, дзедушка, як па знаемству“. Дзядок кажэ Заслонову: „Ну, ідзі у хату я тебе пачастаю“. Бабка сала яму зжарыла, выпілі. Дзядок кажэ Заслонаву: „Ты змарыўся, пайдзі адпачый“. Парыва у стаіну завеў, адкасіў яму травы. А Заслонаў лёг адпачываць трошкі. А потым застаўся Заслонаў у дзедушкі жыць у лясу. Дзедушка на паляванне ходзіць, і живуць яны цяпер там пасля вайны.

Записано А. Никитенко от Вани М. Визнер 13 лет в вёске Мажулёво Раснинского района Витебской области.

Реальные мотивы воспоминаний об «ученом» коне Заслонова Парыве и о сражениях заслоновцев сливаются здесь с творческой фантазией, выражающей георический пафос и восхищение подвигами любимого народного героя. Подобные фольклорные произведения могут получить дальнейшее творческое развитие как в сказочном, так и в песенном народном эпосе.

Легендарные сказки о Ковпаке, записанные в Наровлянском районе Полесской области, через который рейдировал в 1943 г. ковпаковский отряд, на первый взгляд восходят к традиционным для славянского фольклора легендарно-сказочным сюжетам о мнимом страннике и о награде за гостеприимство принявшего его бедняка. В сущности же сходство кажущееся. Эта группа легенд о Ковпаке, имея своеобразную форму приключенческих произведений, характеризуется новым социальным содержанием, не позволяющим их уподоблять произведениям традиционного фольклора. Например:

Адзін раз прыходзіць стары дзед у хату з торбачкай, як сапраўдны старац. Пап-дасіў ён хлеба і дробачак солі. Хлеба людзі далі, а солі не было, „Кепскі справы, калі камандуюць нямецкія правіцелі“, — сказаў сівенькі. „Калі-б ім ні дна, ні пакрышкі, — адказала гаспадыня, — але солі як не было, так і нема“. „Пачакайце крышку, — сказаў стары, — хутка вы атрымаеце соль“. І пашоў з хаты. А праз некалькі дзён спаткнуўся гаспадар гэтай хаты у цемры у сенях аб якім-та мех. Занёс гаспадар мех у хату, аж у мехе соль. Соль прынеслі каўпакоўцы, а падарунак быў ад самага Каўпака.

Записано Т. Старосельской от А. К. Демичик в м. Наровле.

В другом варианте, записанном Л. Барагом от Марыси Язеповны Добуш в с. Вербовичи Наровлянского района, гостеприимный крестьянин, принявший на ночлег неизвестного старца-странника, спустя несколько дней наблюдает торжественный въезд в село освободителей-партизан во главе с Ковпаком в полной генеральской форме, верхом

на могучем белом коне, и с изумлением узнает в генерале своего гостя — мнимого странника.

Многие сказки о том, как Ковпак ходил в разведку, могут вызвать ассоциации с традиционными сказками-легендами. Но эти ассоциации обнаруживают, что легенды о Ковпаке являются преодолением традиционного сказочно-легендарного стиля. Яркость социального содержания таких сказок о Ковпаке тесно связана с их агитационной направленностью в конкретных обстоятельствах народной борьбы против немецко-фашистских оккупантов. Примером может послужить такой фольклорный текст:

У аднім мястэчкў невядомы дзядок прадаваў крэйду. Калі пад вечар усе разыйшлісь, чэты дзядок напісаў на сцяне дома: „Хто крэйду пакупаў, той Каўпака відаў... І знік невядома куды.

Записано Л. Барагом от Николая Марковича Омельченко в с. Вербовичи Наровлянского района.

Интересный вариант записан Л. Барагом от А. К. Демичик в м. Наровле:

Кажуць, што у вёску Храпкоў, Хойніцкага района прыехаў у апошніх чыслах лютага 1943 году дзед стары, прадавець дзёгаць. Дзёгаць гэтага старога быў вельмі таньнік. К дзеду шлі купляць і багатыя і бедныя. Калі кола саней сабралось шмат людзей, гэты старый дзед выняў пачку лістовак з запазухі, раздаў людзям і кажа: „Слухайце добры людзё, і чытайце, што вам кажа стары Каўпак. Сёння я у вас адзін; а праз тыдзень буду з сваім войскам і выжанім чортава немца“. Гэта быў сам Каўпак, які прыходзіў у разведку.

Аналогичные сказки о том, как Ковпак ходил в разведку, записаны Н. Д. Комовской в Сумской, Киевской, Львовской и других областях Украины.

Стремительность победоносного рейда Ковпака и широкая массовая работа, развернутая им среди крестьянства, отразились в народном сказочном образе Ковпака. Народные представления о старческой мудрости, проницательности, подвижности и добродушном лукавстве Ковпака при обрисовке его в фольклоре позволили переосмыслить и частично использовать традиционный сказочно-легендарный образ мнимого нищего странника, друга бедняков, испытывающего честность и справедливость людей.

Сюжеты о продаже на базаре горшков, ведер, дегтя тайным партизанским разведчиком-предводителем партизан, а также сюжеты о переодевании предводителя партизан в нищего отмечены и в фольклорном материале о Заслонове. Но такие произведения о Заслонове не получили столь устойчивой формы, как сказки-легенды о Ковпаке, и отличаются близостью к мемуарным сказам-побывальщинам: отчасти они связаны с традицией восточнославянских сказаний о том, как ходил в разведку к французам казак Платов.

На основе таких произведений о Заслонове можно проследить, как из реальной, фактографической основы рождается художественный сказочный сюжет, как конкретный образ Константина Заслонова переходит в художественный тип находчивого и стремительно действующего партизана-смельчака. Так, например, на основе достоверных фактов о способности Заслонова маскироваться были созданы такие полULEгендарные рассказы.

Ён мог маскіравацца усякім спосабам — то ён рабіўся старым дзедам, то пераадзенеца жабраком. Пойдзе даведаецца дзе ўражыскі гарнізон, потым чуешь — разбілі немцаў. Гэта ўжо сам Заслонаў там быў. Адзін раз ён быў у нашай вёсцы, акружылі яе тады немцы, а ён адзеўся дзядком, зрабіўся хворым, — дзёгцем абмазаўся — немцы зайшлі у хату, яго не чапаюць.

Записано М. Меерович от П. Г. Бурчук, 1911 г. рождения, в дер. Бурбино, Белицкого сельсовета Сеннинского района.

Или:

Калі ён (Заслонаў) уцёк з Оршы, дык пасля хадзіў па Сенно, Талачыну і вёдры прадаваў, — яно, паложым каштуець паўтара пуда жыта, а ён прасіў два пуда, каб не бралі, — гэта ён месца аглядваў і выбіраў тады Купавацкі лес.

Записано М. Меерович от И. Жабицкого в с. Смоляны Кохановского района Витебской области.

Этот же сюжет получает в других вариантах иную местную приуроченность. Например:

Немцы тады стаялі каля Серкуцей, а Заслонаў едзе каля нашай вескі, вёдры прадаець, гаршкі, а дакупіцца ня можна, — дорага просіць. Гэта ён места для сваіх рэбят выглядаў, а немцы думалі гаршэчнік.

Записано М. Меерович от Ильи Степановича Гвоздева 80 лет в дер. Куповат Сеннинского района.

Или:

Аднаго разу двое прыехалі прадаваць гаршкі — прышлося ім заначаваць у майго брата. Былі яны у лапцёх, адзеты у армякі — прамо мужыкі. Калі сталі у нас парцізаны, гляджу я — тыя-ж самыя гаршэчнікі паявіліся. Адзін іх пасмяяўся да кажа: „Ці помніце тых гаршэчнікаў, што у вас начавалі?“ Гляджу я — гэта Заслонаў.

Записано от Ф. И. Гвоздева в д. Утрилово Сеннинского района.

На основе конкретных фактов переодевания советских партизан в немецкую форму или в женские платья с целью разведки и внезапного нападения на противника слагались бесчисленные и легендарные и полуполулегендарные рассказы, сказки. Заслонов в народном представлении был непревзойденным мастером такого камуфляжа, и естественно, фольклорный образ Заслонова стал центром притяжения различных рассказов о ловком переодевании партизан. Популярность имени Заслонова — героя таких произведений обуславливала особенный интерес к ним народной аудитории. Прочную связь с образом народного героя Заслонова получили в белорусском фольклоре Великой отечественной войны такие сюжеты, как «немцы приезжают на крестьянскую свадьбу, разогранную заслоновцами», и наталкиваются на самого Заслонова, переодетого в молодуху»; «Заслонов, переодетый в форму немецкого генерала, «инспектирует» немецкие укрепления», «Заслонов, переодетый в форму немецкого офицера, посещает немецкий ресторан и оставляет там записку»; «Заслонов, переодетый в немецкую форму, приходит в переполненное немцами кино и во время сеанса устраивает там взрыв»; «Заслонов, переодетый в форму немецкого офицера, приезжает на немецкий продовольственный склад во главе отряда переодетых партизан и беспрепятственно получает несколько грузовиков продовольствия», и многие другие.

И сам Заслонов и его партизаны, а также партизаны других отрядов, действовавших против немецких захватчиков, были неоднократно участниками подобных действий. Поэтому типизация фольклорных сюжетов о ловком переодевании партизан выразилась в соединении их с именем популярнейшего в народной белорусской среде отважного партизана-конспиратора Константина Заслонова. Странствующие фольклорные мотивы становились при этом выражением дум и представлений белорусского народа о любимом герое-партизане. Типизация образа неразрывно связана с типизацией сюжета.

Популярная в Витебской области сказка о том, как Заслонов гадал немецкому шефу Штумфе на рыжем петухе и как рабочие подожгли лесозавод Штумфе, основывается на некоторых фактах: 1) Штумфе — реальное лицо; Заслонов, находясь осенью и зимой 1941 г. на конспиративной работе в Орше, вошел в доверие к этому немецкому начальнику и нередко просиживал с ним вечерами за шахматами; 2) уже после своего ухода из Орши и организации им партизанского отряда

Заслонов организовал поджог немецкой фермы в дер. Грязино в 25 км от Орши, предварительно раздав хранившийся на ферме хлеб крестьянам (март 1942 г.). Сюжетная схема этой анекдотической сказки традиционна и известна по целому ряду русских вариантов, записанных в разное время. В. Ю. Крупянская в статье «Фольклор Великой отечественной войны»³ отмечает партизанские сказки о гадаании на петухах, записанные ею в 1945 г. в Клетнянском районе Брянской области и вовсе не связанные с именем Заслонова. Однако сказки о гадаании Заслонова на красном (рыжем) петухе является не менее ярким выражением народной оценки личности Заслонова, чем биографические сказки-воспоминания о нем. Приведем один из вариантов сказки о гадаании Заслонова.

Заслонаў з шэфам Штумбе ігралі у шахматы. Задумаў Штумбе пагадаць, а Заслонаў указаў: «Я вам пагадаю, прынясіце рыжага петуха». Шэф заставіў прынясіці рыжага петуха, штоб гэта ні каштавала. Прынясілі яму петуха. Заслонаў насыпаў дзвенатцаць кучак зярна: „Калі гэты петух з’ест дзвенатцаць кучак, вы атрымаеце рада-сную вестку, а калі не, то ўобычце вялікага рыжага петуха». Петух не мог скле-ваць усё зерно, і Штумбе стаў чкаць вялікага рыжага петуха. А Заслонаў дамовіўся з рабочымі запаліць лесазавад Штумбе. І на трэці дзень запалілі. Тады Засло-наў сказаў Штумбе: „Вось вы і убачылі вялікага рыжага петуха“.

Записано А. Никитенко от Ивана Потаповича Вербицкого, 1923 г. рождения, в дер. Немойта Сеннинского района Витебской области⁴.

Некоторые эпизоды реальной биографии К. С. Заслонова особенно часто отражаются в фольклорных рассказах и получают сказочно-легендарную трактовку. К таким эпизодам относится, например, переодевание Заслонова в бане в чужую одежду перед тайным уходом из Орши 25 февраля 1942 г. Заслонов, опасаясь слежки со стороны немцев, поменялся в бане одеждой со своим товарищем по работе в депо — Чебриковым, сбрил усы и в одежде Чебрикова направился в глухой лесной район за 25—30 км от Орши; вместе с Заслоновым ушли в лес четыре его товарища — рабочих депо. Таковы биографические факты. Характерный пример легендарного переосмысления этих фактов, пример перехода сказа-были в сказку-легенду представляет следующий фольклорный текст:

Ён калі жыў у Воршы, самалетам пуць паказваў, а за ім усе немец сачыў, усё ходзіць за ім. Аднаго разу Заслонаў і кажа: „Я пайду у баню“. І немец той за ім пайшоў, свайго коня у бані паставіў і ахрану сорок чалавек. Заслонаў у бані дзядком сівенькім перарабіўся, — бараду прылепіў. Выйшаў стары з бані, а немец спазнаў Заслонава на вачох — вочы яго дужо высёлыя былі. Толькі той немец к яму падбгае, а ён яго застрэліў і тых сорок чалавек усіх пазастрэляваў, а сам паехаў тады па вёсках гаршкі прадаваць, быццам ён гаршэчнік, а гэта ён месца сабе выглядаў для парцізанаў. Падабраў себе таварышоў, зайшоў у лес і пачаў дзейнічаць. Багата немцаў пабіў, багата цягнікоў спусціў. — немцы яго, як агню, баялісь.

Записано М. Меерович от Юлии Мартыновны Гвоздевой в дер. Куповат Сеннинского района Витебской области.

Сказочно-легендарные элементы получают в устных рассказах о тайном уходе Заслонова из Орши в лес самое различное развитие. На грани реальной биографии и художественного вымысла находятся многие устные рассказы о том, как Заслонов якобы перехитрил немецкого шпика, поджидавшего его у дверей бани, или, как немецкий комендант якобы искал Заслонова в бане среди голых мужчин и т. п.

Известно, что однажды в бытность свою «начальником ремонтных бригад» немецкого железнодорожного депо в Орше Заслонов, просигнализовав советским самолетам, спустился в бомбоубежище и как ни в чем не бывало стал играть с немецким офицером в шахматы. На

³ Известия АН СССР, Серия истории и философии, 1947, № 1, стр. 91.

⁴ Этот анекдотический сюжет был использован Всеволодом Ивановым в пьесе о Заслонове «Дядя Костя» (М., 1945), в картине третьей.

основе этого достоверного факта сложился фольклорный сюжет о том, как Заслонов, играя с немецким офицером в шахматы, в то же время подавал сигналы советским самолетам: эти сигналы будто бы совпадали с ходами Заслонова на шахматной доске.

В таких фольклорных произведениях отражается психологический и социальный облик народного героя Константина Заслонова.

Сказы-воспоминания о Заслонове являются не только истоками эпических, но и лирических художественных произведений о нем.

Дзецям малым і тое ён ім у памяць удаўся, — рассказывает, например, семидесятилетняя Христина Михеевна Барановская (дер. Куповать, Сеннинского района), — каторы гадох пасля смерці Заслонава прайшоў, а яны усё помняць яго, як сёння, і будуць помніць пакуль жыць будуць... Мы ж яго бераглі, як свой глаз, аж не убераглі. Як убілі яго, дык усе плакалі.

Народ наделяет любимого героя волшебной сказки богатырской силой, обаятельной внешностью и наряжает его в драгоценное платье. Именно в гиперболическом, сказочном плане трактуются образы Заслонова и заслоновцев, Ковпака и ковпаковцев в фольклорных рассказах, бытовавших в тех местностях, где эти народные герои были известны только по слухам об их славных подвигах. Приведем рассказы такого типа:

Нашы разведчыкі зайшлі у адзін лясны атрад. Вось там расказвалі, што Каўпак і каўпакоўцы гэта асобныя людзі, усе ваенныя, усе лейтэнанты і капітаны. А каўпакоўцы ўсе маладыя, храбрыя, усе снайперы, усе страляюць з аўтаматаў і у атаку ходзяць, нічога ані не баяцца. Пасля боя яны адзяваюць шоўкавыя плацця, туфлі мадэльныя, усе прыгожыя....

Записано Т. Старосельской от А. К. Демичик в м. Наровля Полесской области. Людзі казалі, што Заслонаў вялікі, здаровы генерал з усамі, — дзе паяўляецца, там немцы уцякаюць. Ходзіць заўсёды у ваеннай форме, носіць ромбу.

Записано М. Меерович от Елены Семеновны Артишук 54 лет на ст. Орша.

В обстановке временной немецко-фашистской оккупации в отдельных районах Белоруссии имелись особые предпосылки создания устных рассказов, заключающих в себе легендарную основу. Чаяння народных масс, пламенная вера народа в победу над ненавистным врагом выражались в легендаризации образов народных героев-партизан и известий об их боевой деятельности. Так, например, отголоском действительных событий — побед партизанских соединений Ковпака на украинской реке Тетерев в феврале 1943 г. явился рассказ, который во множестве различных легендарных вариантов распространялся из уст в уста в южных районах Полесской области, опережая победоносный рейд Ковпака на север:

Праз фронт прарваўся з вялікай арміяй палкаводзец Каўпак, які акружыў Кіеў, знішчыў вялікае нямецкае войска і два тыдня ўжо не падпускае да Кіева ні аднаго эшалона. Часці Каўпака пад Іванкавым разбілі сто тысяч немцаў. Немцы у паныцы уцякаюць і хутка ўся Украіна будзе вольнай, так што і з Беларусі Каўпак хутка пачне немцаў гнаць.

Записано Л. Барагом от А. К. Демичик в м. Наровле Полесской области.

Подобные устные рассказы отражают самую начальную стадию процесса фольклорного творчества. Но и сказки-легенды о героях Великой отечественной войны не отлились еще в законченные художественные формы. История внесет новые яркие штрихи в образы, творимые народом.

Фольклор о Заслонове и Ковпаке является свидетельством ошибочности распространенного мнения, будто бы фантастические жанры относятся к реликтовым, отмирающим жанрам фольклора.

Образы и мотивы легендарного фольклора в советской действительности, не связанные с религиозностью и суевериями, имеют возможности художественного развития, обусловленные романтической устремленностью народного искусства эпохи социализма — искусства социалистического реализма.

Акад. Н. С. ДЕРЖАВИН

АЛБАНЦЫ-АРНАУТЫ НА ПРИАЗОВЬЕ УКРАИНСКОЙ ССР

I

Краткая историческая справка об албанцах на Украине¹

В 70-х гг. XVIII в., после Чесменской битвы, так называемое «греческое войско», образованное капитаном Стефаном Мавромихали из спартанских легионов в целях активной поддержки русских военных сил, было переселено в Россию. В 1775 г. эти греки сами себя называли «албанцами». Говоря об устройстве этих греков, Потемкин в своих докладах называет их «албанским войском». Известный статистик и исследователь Новороссийского края А. Скальковский в 1850 г. замечает по этому поводу: «Они называли себя албанцами вероятно оттого, что большая часть состояла из арнаутов или шкипетаров, обыкновенно именуемых албанцами»². В 1778 г. в судьбе этих «албанцев», отправленных вместе с русскими войсками в Крым, принимает участие Суворов, настаивавший на их водворении, в интересах спасения их от вымирания, в Мариупольском районе среди греков. После присоединения Крыма к России эти «албанцы» были водворены в Балаклаве и в семи селах между Балаклавой и Ялтой: Кадыкой, Карани, Алси, Камары, Керменчик, Балта-Чокрак, Аутка,—причем им было поручено несение карантинно-пограничной службы и они получили наименование «Балаклавский греческий пехотный батальон». В другой раз в наших исторических документах албанцы упоминаются при создании в 1794—1795 гг. гор. Одессы, когда была учреждена специальная «Комиссия для поселения греков и албанцев», причем этих «греков и албанцев» тогда числилось в Одессе 269 чел. С того же времени ведут свое начало и одесские Большая и Малая Арнаутские улицы³.

С названной выше группой так называемых албанцев Балаклавского греческого пехотного батальона и Одессы ничего общего не имеет другая группа албанских поселенцев, явившаяся к нам в Бессарабию через г. Галац в 1809—1810 гг. из болгарской деревни Деви, расположенной несколько западнее г. Варны (см. также Девненское озеро у г. Варны). Переселившись в Бессарабию в числе 300 семейств, эти ал-

¹ Настоящая статья написана на основе материалов, собранных автором в 1925 г. По переписи 1926 г. по Мелитопольскому округу албанцев числилось: мужчин 1475, женщин 1519, а всего 2994. Почти все эти албанцы проживали во Второ-Покровском районе (на берегу Азовского моря), в котором числилось албанцев: мужчин 1465, женщин 1515, всего 2980. Лиц, употреблявших в качестве основного албанский язык, было: мужчин 1430, женщин 1478, всего 2908. Таким образом, албанцы (именно в тех районах, в которых наблюдал их академик Державин) продолжали в то время говорить по-албански и считали себя не турками и не греками, а албанцами. В настоящее время албанцы проживают в селах: Гаммовка (Джандран), Георгиевка (Тююшки) и Девненское (Таз), как любезно сообщил на наш запрос Председатель Исполнительного комитета советов депутатов трудящихся Приазовского района Мелитопольской области тов. Алейников, за что приносим ему глубокую благодарность.—*Редакция.*

² А. Скальковский, Опыт статистического описания Новороссийского края, Одесса, 1850, стр. 279.

³ Там же, стр. 283.

банцы были водворены здесь в татарской деревне Чумай на правом берегу р. Ялпух, а с 1820 г., наделенные по указу 1819 г. землей, они постоянно, вплоть до настоящего дня, живут по левой стороне озера Ялпух в шести километрах к юго-востоку от г. Болграда в колонии Каракурт, откуда в 1862 г. часть населения вместе с массой болгарских колонистов Измаильско-Болградского района переселилась на побережье Азовского моря в Бердянский уезд Таврической губ., образовав здесь три албанские колонии: Гаммовку (Джандран), Георгиевку (Тююшки) и Девненское (Таз), расположенные в 25—28 км к юго-востоку от г. Мелитополя на пространстве между Азовским побережьем и с. Покровка 2-я.

По данным А. Скальковского, в 1821 г. в Новороссии имелось «греков и арнаутов» 900 человек⁴. По данным другого статистика и исследователя иностранной колонизации России — А. Клаус, в 1826 г. в Бессарабии насчитывалось 119 албанских семейств, состоявших из 305 мужчин и 285 женщин, а всего 590 человек населения⁵. Что касается, в частности, с. Каракурт, то по данным, извлекаемым нами из трудов Петра Кеппена⁶, в 1848 г. здесь насчитывалось 160 семейств и 1092 человека, а два года спустя, в 1850 г., — 109 семейств и 1060 человек; еще несколько лет спустя, в 1856 г., в Каракурте Бессарабской губ. показано 123 албанских семейства, а для всей Бессарабии в это же время 154 семейства и 1328 человек, в том числе 686 мужчин и 642 женщины.

Последние, имевшиеся в нашем распоряжении официальные данные для нашей албанской статистики — это Всероссийская перепись 1897 г. Данные эти следующие:

Губернии, города, уезды	Мужчин	Женщин	Всего
Бессарабская губ.	432	416	848
г. Кишинев	9	1	10
Аккерманский у.	2	—	2
Бендерский у.	—	7	7
Измайльский у.	420	407	827
г. Болград	1	1	2
Херсонская губ.	33	4	37
г. Николаев	3	—	3
Херсонский у.	—	3	3
г. Одесса	30	1	31
Таврическая губ.	8	3	11
г. Бердянск	5	1	6
Бердянский у.	—	1	1
Мелитопольский у.	1	—	1
Ятинский у.	1	—	1
г. Севастополь	1	1	2
Итого	473	423	896

⁴ А. Скальковский, Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае, Одесса, 1848, стр. 35.

⁵ А. Клаус, Наши колонии, СПб., 1869, стр. 320.

⁶ П. Кеппен, Die Bulgaren in Bessarabien, Bulletin de la classe des sciences historiques, philologiques et politiques de l'Académie Impér. des Sciences de S.-Petersburg, т. XI, № 13—14, 1854. Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России, СПб., 1861.

В этих данных для Таврической губ., как мы видим, показано всего 11 человек албанцев, а между тем уже у А. Клауса в 1869 г. только для одного Бердянского у. этой губернии мы имеем албанцев: в с. Гаммовке 111 наделенных земель человек и 40 дворов, в с. Георгиевке 166 чел. и 72 двора, в с. Девненском 213 человек и 82 двора, а всего 490 человек и 194 семейных двора.

Эти три албанские колонии, отмеченные Клаусом в 1869 г. в Бердянском у., находятся и по сей день в том же этническом составе и на том же месте, где они были в 1869 г., т. е. в районе б. Бердянского у. Никаких переселений и выселений за все время после 1869 г. здесь не было, о чем свидетельствуют на основании по крайней мере сорокалетнего моего непосредственного знакомства с населением этого района; а между тем на весь Бердянский у. переписью 1897 г. показан всего только 1 албанец, и притом — женщина. Что наши украинские албанцы остались не известными Всероссийской переписи 1897 г., об этом говорит и тот факт, что в общей сводке населяющих Россию народностей показаны только албанцы или арнауты, проживающие в Бессарабской губ. (Измаильский у.) в числе 936 человек⁷.

Не будем, однако, спешить с заявлением об открытии нами на территории СССР какой-то новой, неведомой для старой официальной статистики народности — албанцев, несомненно населяющих целые три селения вблизи от большого районного центра и состоящих в тесном добрососедском хозяйственном и культурном общении со своими ближайшими и весьма многочисленными соседями — русскими, болгарями, гагаузами и молдаванами. Обратимся к другим данным той же переписи, и мы наткнемся на еще более любопытное открытие, которое разъяснит нам, куда исчезли наши украинские албанцы, а вместе с тем послужит нам и маленькой иллюстрацией к тому, какими источниками мы располагаем для составления себе правильного суждения об этническом составе населения нашего Союза.

Перепись 1897 г. показывает для б. Бердянского у., исключая г. Бердянск, между прочими другими народностями также: 1) татар — 479 человек и 2) турок — 296 человек. Зная состав населения б. Бердянского у. из своих многолетних наблюдений, разъездов и обследований, смею утверждать, что ни в 1897 г., ни позже, вплоть до 1925 г., в Бердянском у., после выселения отсюда в самом начале 60-х гг. последних остатков нагайских татар в Турцию, здесь не было ни одного татарского, а тем более турецкого населенного пункта, а потому прихожу к заключению, что за названными в переписи 1897 г. в Бердянском у. турками и татарами скрывается кто-то иной, и думаю, что именно албанцы трех указанных выше колоний: Гаммовки, Георгиевки, Девненского, действительно в значительной своей части говорящие, кроме родного албанского языка, также и на языке турецком.

Действительный состав населения названных трех албанских колоний, по данным на 1923 г., имеющимся в местном (Второ-Покровском) районном исполкоме, выражался в следующих цифрах:

с. Гаммовка	456 мужчин	481 женщина	всего	937 чел.
с. Георгиевка	655 »	635 женщин	»	1 290 »
с. Девненское	385 »	438 »	»	823 »
Итого	1 496	1 554		3 050

Если из этих цифр отбросить русское население прилегающих хуторов, которого для Гаммовки насчитывается приблизительно 200 человек обоего пола, для Георгиевки — 40 и для Девненского — 50, то

⁷ См. «Общий свод по Империи», т. II, 1905, стр. XVI.

албанцев, в общем, для названных трех сел придется считать для 20-х гг. нашего века около 2760 человек обоего пола, за небольшим исключением из этого числа единичных албанизовавшихся болгар и гагаузов, которые могли показать своим родным языком язык болгарский или, действительно, язык турецкий (гагаузы).

По данным Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 г., албанцев на территории СССР числилось 3057 человек по народности и 3008 человек — по языку, в том числе соответственно: в европейской части СССР 3033—2971 и в Азиатской части 24—37⁸.

Что касается, в частности, языка населения, то в этом отношении последнее представляет собой поразительное явление: обычным разговорным языком служит здесь язык албанский; рядом с ним по своей популярности стоит язык турецкий; мужское население, отчасти и женское, говорит, кроме того, по-русски, и, наконец, в отдельных семьях, наряду с албанским и турецким языками, слышна и болгарская речь. Этот полиглотизм явился в результате смешанных браков: наши албанцы владеют обязательно родной албанской и турецкой речью, а если в семью входит, в единичных случаях, в лице отца или матери болгарский элемент, то он усваивает и то и другое, но вместе с тем сохраняет и свой родной болгарский язык.

О своей бывшей родине до переселения на территорию Приазовья б. Мелитопольского округа масса нашего албанского населения вообще ничего не знает. Однако после долгих розысков удалось установить, что кое у кого из старшего поколения хранится в памяти, что родиной их была когда-то *Moldova*, откуда они, бежав за границу, были затем поселены «царем России» на настоящих местах их жительства. Покойный старик из с. Девненское Дмитрий Серемов рассказывал, что *каракуртцы* (албанцы) и *калинчакцы* (болгары) прибыли когда-то в Девну, из Девны пришли в Бессарабию, причем каракуртцы основали здесь с. Каракурт, а калинчакцы — с. Калинчак (в 10 км от Каракурта). По воспоминаниям жителя с. Гаммовки Мих. Конст. Кочева (60 лет), дед которого, Дмитрий Кочев, пришел из Девны в Каракурт в возрасте 28—30 лет и умер 85 лет от роду в 1885 г. в с. Гаммовке, переселение наших албанцев из Девны в бессарабское с. Каракурт имело место приблизительно в 1828—1830 гг. прошлого столетия. Житель с. Гаммовки Ив. Дм. Сербинов рассказывает, что, будучи солдатом в империалистическую войну 1914—1918 гг., он был отправлен в отрядом во Францию, откуда попал на салоникий фронт и был в Албании; оказалось, что тамошние каракуртцы говорят «по-нашему».

Вопрос о том, как албанские каракуртцы из Албании попали в болгарское с. Деви, а оттуда в Бессарабию, оставляю открытым. Что же касается пресловутой *Moldova*, то следует сказать, что в данном случае в народной памяти отмечен тот момент, когда после Севастопольской кампании, с отходом по Парижскому трактату южной окраины Бессарабской губ. (Измаильско-Болградский район) к Румынии, население района механически перешло под власть Румынии, получив вместе с тем право в установленный срок (три года) эмигрировать в Россию, частично воспользовалось этим правом и с большими жертвами и лишениями, преодолевая всевозможные формальные и материальные препятствия, все же покинуло свои насиженные места в Бессарабии и переселилось в Россию. Из истории нашей новороссийской колонизации мы знаем, что в 1861—1862 гг., таким образом, в б. Бердянском у.

⁸ В. П. Шибанов, Этнический состав населения европейской части Союза ССР, Л., 1930.

Таврической губ. возникло около 30 болгарских колоний с населением в несколько десятков тысяч человек⁹. Вместе с болгарскими иммигрантами в 1861—1862 гг. явились к нам же на Украину из Бессарабии и албанцы.

II

Этнографические материалы

Представляют ли собой наши украинские албанцы подлинных албанцев или же это далекие потомки албанизированного славянского населения западных окраин балкано-славянского мира, сказать трудно. Единственным показателем этнической принадлежности в данном случае служит только родной язык населения — албанский. Что же касается внешнего облика населения, его жилища, костюма, хозяйства и вообще всей материальной культуры, то по существу наши украинские албанцы в этом отношении ничем не отличаются от исследованных нами болгарских колонистов того же района. Это обстоятельство, однако, не представляет собой сколько-нибудь убедительного материала для решения основной этнической проблемы. Столетия совместной бок о бок с болгарам жизни сначала на территории Болгарии, затем в Бессарабии и, наконец, на Украине, при общности форм, методов и условий народнохозяйственной жизни, должны были несомненно произвести известную нивелировку и в области народного быта и при этом не только в его материальной части, но также и в части культурной — в узком смысле этого слова. Тем не менее, надо полагать, кое-что в этой последней области у наших украинских албанцев сохранилось и из их оригинальной народной старины, тем более, что сравнительно-этнографическое изучение балканского населения обнаруживает множество точек соприкосновения и общности бытовых установлений, ввиду чего и решение вопроса о первоисточнике того или иного установления требует известной осторожности.

а) Родинные обряды

Новорожденного ребенка албанцы солят, посыпая солью места потения — подмышками, шею, суставы рук и ног и т. п. Делается это для того, чтобы уничтожить специфический запах — человеческий. Затем ребенка моют, пеленают и кладут к матери (*lîhðna* — родильница). Красной ниткой привязывают к голове родильницы и ребенка по стручку (*skilîda*) чеснока; кроме того, родильнице повязывают руку красной ниткой или ленточкой вроде браслета (*të kûke màrsi* — красный март). Пекут пироги — питы и приглашают „на богородичный пирог“ несколько женщин (*ni të rapajàsë pîtë*). На третью ночь после рождения ребенка повивальная бабка (*bâbo*) обязательно ночует у родильницы. Новорожденного одевают в отцовскую рубашу, а у изголовья его кладут серебряный пояс (*raft*) и хлеб с солью: на третью ночь к новорожденному появляются невидимые существа — *vrasniç*,ы (в Албании — *fatitë*), которые назначают судьбу новорожденному, чаще всего — быть ему богатым или бедным. Церковный обряд крещения обыкновенно бывает очень скоро после родов. Повивальная бабка извещает о дне крещения кума (*pup*) и куму (*pîpë*). Мужчин на крестины приглашает отец, женщин — одна из родственниц. Домой из церкви после крещения новорожденного — мальчика несет кум, а де-

⁹ См. Н. С. Державин, Болгарские колонии в России, Таврическая, Херсонская и Бессарабская губ. Материалы по славянской этнографии, София, 1914.

вочку — кума. В дверях дома останавливаются, держа в руках зажженные свечи. Входя с младенцем в комнату, говорят: *turk emÿmɛ, xist'jân esÿltɛ* (турка взяли, христианина принесли) и передают ребенка бабке, которая передает его матери со словами: *pÿja mɛra birnɛ* (или *bilân*) *tin*, называя при этом имя новорожденного, т. е. : на, возьми сына (или дочь) твоего, такого-то. На второй день после крестин в дом к новорожденному собираются женщины и кропят освященной водой (*aÿzma*) родильницу с ребенком. В тарелку с освященной водой бросают зерна, серебро, деньги; купают ребенка, обедают и расходятся по домам.

б) Свадебные обряды

1. *djâlî zalahêti ma çÿrɛt* молодой человек (парень) говорил с девушкой. Свадьбе предшествует обыкновенно предварительный уговор молодого человека и девушки на хороводе (*nî vâlɛt*).

2. *mbÿüss* — сватание. После состоявшегося уговора молодой человек посылает одного или двух из своих близких родственников к родным девушки, чтобы узнать, можно ли посылать сватов. Получив утвердительный ответ, молодой человек шлет к родителям невесты делегацию сватов (*svâta*, мн. ч. *svâtora*) из нескольких самых близких своих родственников; в этой делегации обязательно присутствует отец или мать жениха или лицо, их заменяющее. Сваты имеют с собой золотую монету (червонец) и баклажок (*gɛlgɛɛ*) с вином. При входе в дом невесты сваты говорят:

*na pâmɛ ta jÿva n'i båkɛt n'i
tɛ kÿk' trandafîl, jɛrmɛ tandÿkɛm;
otnalirni li tandÿkɛm esa nok li?*

— мы видели у вас в саду (одну) красную розу, пришли сорвать; оставите (разрешите) ли сорвать или нет.

Со стороны невесты на это отвечают:

nî êštɛ kɛsmèt, otandÿkni; nî mos, kom kɛrkóni kɛsmèt

— если есть судьба, сорвете; если нет, идите ищите (себе) судьбы! — т. е., если вам суждено найти здесь то, что вы ищете, вы получите искомое, а нет, то поищите в другом месте.

После этого сватов приглашают в комнату; начинаются расспросы о состоянии семьи, имущества, о том, которая по счету среди детей будет невеста, и т. п. В конце концов к родителям обращаются с вопросом, согласны ли они отдать дочь; о том же спрашивают и девушку. После утвердительного ответа идет договор о подарках как со стороны жениха, так и со стороны невесты. Договор заканчивается передачей невесте баклажка с привязанными к нему красной ниткой червонцем и пучком васильков (*bisil'ok*). Принимая баклажок, невеста целует руку подавшему, затем, начиная со свекра, угощает из этого баклажка всех присутствующих, целуя им руки, а сваты в ответ на угощение дарят невесте головной платок (*çembèr*), на что невеста с своей стороны отвечает подарком каждому из сватов по полотенцу (*peškîr*). После обмена подарками сватов опять угощают, говоря: *šefkinezê (?) ma tɛ mîrɛ zɛmɛ, ma šîndèt tɛ kitɛm nî ânɛt!* — с хорошим начали, со здоровьем вытащим к концу, т. е. хорошим начали — хорошим и кончать! — Принимающие угощение отвечают: *šefkinàrozaz!* После этого сваты окончательно улаиваются с родителями невесты о дне помолвки (*gÿrɛ*) и свадьбы (*dârsmɛ*).

3. *gÿrɛ*. В назначенный день, обыкновенно в субботу вечером, в дом жениха собираются родственники, откуда отправляются к невесте, неся с собой: *raft* — пояс с серебряными украшениями, *vrahèl* — серебряный браслет, *onàzga* — кольца (ед. ч. *onàzɛ*), золотые червонцы и платье для невесты. По приходе в дом невесты подарки кладут на

стол и родственники невесты их осматривают; затем подарки передаются отцу невесты, причем в кольца для жениха и невесты вдеваются пучки васильков; эти пучки выдергивают и смотрят: в чем кольцо осталось васильков больше, тот и будет главенствовать в семье. В это же время от невесты передаются подарки отцу жениха: рубашка, подушка, чулки. Старика сажатся за стол, а невесту одевают.

Обряд одевания проходит в таком порядке: невесту одевает деверь, причем, беря в руки тот или иной предмет, прежде чем надеть его на невесту, трижды его встряхивает по направлению к востоку, а девушки в это время поют вокруг невесты на болгарском языке: *naходili saj, nanusili saj, nej li ti žalko na tvòjta muminstva, nej li ti žalko na tvòjta mājka* и т. п. После этого невеста уже называется *zgodonica*, а жених — *zgononik*. После одевания невеста (*nùse*) целует всем руки, начиная с деверя, и молодые сажатся за отдельный стол. Во время угощения гости (*musafir*) и хозяева (*čorbadžijni*) за обоими столами обмениваются подношениями (*koniska*): хлебом и курицей и другими подарками. Угощение продолжается до утра. Перед тем как гости должны разойтись (жених всегда уходит первым), невеста отбирает у гостей сделанные им подарки обратно, устраивается хоровод, и уже здесь, на виду у всех, невеста вновь раздает гостям свои подарки, целуя при этом у каждого руку.

4. *dársme* — начинается с понедельника: а) *brème* — тесто. Вечером в понедельник к жениху собираются парни и девушки; из среды девушек выбирают троих (не сироток) — *zèlvga*, и они через три сита (*site*) просеивают муку (*míl*). Во время просеивания муки головы этих девушек покрыты красными платками (*tè àltè sker* — красное було); на голову одной из них, которая затем месит тесто, надевают мужскую шапку; сзади же за пояс каждой из них воткнуто по камышинке; когда одна из них начинает месить тесто, все камышинки втыкают ей за пояс; эти камышинки потом хранятся свекровью (*vìxga*) до конца свадьбы. Во время просеивания муки стараются, чтобы сита не ударились друг о друга; это необходимо для того, чтобы молодые не ссорились (*mos šàhen tè rite*). Тесто делают пресное. Тесто это месится не кулаками, а пальцами, чтобы молодые не показывали друг другу кулаков. Замешенное тесто счищают не лопаточкой, а жениховым кольцом. Из этого теста выпекается затем круглый плоский хлеб — *pìtè*. Во время выпечки хлеба ведут хоровод. Когда хлеб испечен, его разламывают на голове жениха, который стоит на пороге дома лицом к востоку. Жених затем разламывает хлеб на более мелкие куски и раздает в хороводе гостям.

б) *brème* у невесты. В среду днем родственники жениха отправляются к невесте, которая встречает гостей, целуя им руки, а затем усаживает их за стол и показывает им все свое приданое. После этого гости уходят, а вечером в тот же день к невесте собираются парни и девушки и точно так же, как и у жениха, здесь устраивается *brème*, с той лишь разницей, что главную роль здесь выполняет невеста.

в) *та bojà* — обряд крашения невесты (дословно „с краской“). В четверг жених выбирает себе „изметчиев“, товарищей — прислужников на свадьбе. В этот же день в былое время от жениха к невесте отправлялись *та bojà*, т. е. «с краской», и у невесты устраивался обряд крашения; красили щеки, губы невесты. Теперь самый обряд крашения уже утрачен, но имя его сохранилось. Гости отправляются к невесте *та bojà*, но без краски, и невесту не красят: дело ограничивается только угощением.

г) *kuľ'àč* — хлеб. В пятницу одновременно у жениха и невесты пекут *kuľ'àč* и обе стороны приглашают на этот день к себе гостей: *tè vijnì ni kuľ'àčtè* — приходите на куляч! От жениха гости отправля-

ются с кулячами к невесте, там обмениваются кулячами и возвращаются обратно.

д) *та mîš; та rôba*. Утром в субботу „изметчий“ жениха отправляются к невесте *та m'îš*, т. е. „с мясом“. На приношение невеста отвечает с своей стороны подарком — платками (*bòkša; та bòkšit* — с платком или платком). Вечером в тот же день после вечерней церковной службы идут к невесте — *та rôba*, т. е. с одеждой, подвечным платьем. Отвечая на подарок, невеста дарит жениху рубашку, пояс и т. п. Вечер субботы обыкновенно проводят у невесты в том же духе, как и вечер *rûgë*.

е) Обряды в день венчания. Утром в воскресенье специальная депутация от жениха посылается за кумом (*nun*). Привод и встреча кума отличаются исключительной торжественностью. Вместе с кумом жених отправляется к невесте. Невесту одевает к венцу кумà (*nûnë*) — и покрывает ее булом (красный платок). Когда невеста готова, деверь (*bëšà*) за руку подводит ее к жениху. Кум благословляет молодых. После этого, прежде чем процессия двинуться к церкви, перед молодыми разливают ведро воды и молодые должны пройти через воду. Кроме того, перед молодыми растягивают железную цепь (*sindžir*), и они должны пройти через эту цепь, что продлевается до трех раз. Затем процессия отправляется в церковь, где совершается церковный обряд венчания, а после венчания вся процессия из церкви направляется к жениху, где молодых встречают свекор со свекровью, держа в руках чашку с мукой, в которую воткнуты три свечи; свекор (*vîxër*) и свекровь при встрече молодых исполняют перед ними танец. Затем свекора и свекровь обмазывают мукой из чашки: *të rônne të rîte ðe plëktë ger të zbården si k(ë)tà të bårda mil*, т. е., чтобы жили молодые и старые пока побелеют, как эта белая мука. После этого кума снимает с невесты пояс (*raft*) и набрасывает его на шею жениху и невесте и таким образом ведет их к порогу, причем кума держит в руке стакан с медом, а невеста, макая пальцем в мед, пишет медом на дверях в четырех углах кресты. Введя молодых в комнату, ставят их в угол и дают жениху девочку, а невесте — мальчика. Оставаясь в прежнем положении с поясом на шее, жених и невеста три раза приподнимают и опускают детей. После этого жениха освобождают, а невеста продолжает оставаться стоять в углу до конца угощения, которое продолжается до самого вечера. Это угощение называется угощением кума (*gostitën nûnnë* — угощают кума), который является здесь центральной фигурой и предметом общего внимания: ему первому, и притом лучшие блюда, для него песни и танцы. Под конец угощения кума устраивают *gemî* — корабль из куска хлеба (*ku'âç*) и других продуктов. В это же время зажигается трубка с порохом; выстрел сопровождается криками ура. Угощение заканчивается хороводом с участием в нем кума, жениха и невесты, после чего кумовья и девушки расходятся по домам.

ж) *rokžëj*. Родственники невесты — мужчины — собираются к невесте и угощают ее. Угощение сопровождается шутками над родственниками жениха в форме капризных, заведомо невыполнимых требований к угощению и т. п. В это время двое „изметчиев“ направляются в дом невесты с приглашением пожаловать на *rokžëj* — *та kružkë*, т. е. с родственниками. Из дома невесты отправляются с подарками для родных жениха. Подарки делаются обоюдные, причем стараются, чтобы число подарков было четное.

з) Честь новобрачной. После брачной постели невеста переодевается, а нижнюю сорочку передает ближней родственнице, которая кладет ее в решето (*šòšë*), покрывает решето красным платком (*sker*) и выносит в комнату на всеобщее освидетельствование.

и) *təmbel'a rakija* — сладкая водка. Деверь (*bəšə*) с обмотанной красным платком головой в сопровождении родственников жениха отправляется к родственникам невесты, угощает их сладкой водкой и затем возвращается к жениху.

к) Понедельник с утра до обеда в доме жениха проходит в разных выходках и шутках по адресу молодых: портят стены, чтобы дать работу молодой, заставляют молодых перетаскивать с места на место разные предметы, впрягают их в бричку и т. п.

л) выкуп приданого невесты (*gəbat šəsəp* — *одежду продают*). В присутствии невесты пересматривается и проверяется ее имущество. Кивком головы, так как во все время свадьбы невеста должна хранить молчание, она дает свое согласие на принятие имущества.

м) Снятие було (*skep*). При снятии було его сворачивают вместе с теми камешками, которые еще со времени *darstə* хранятся у свекрови; идут к колодцу; в ведро с водой опускают различные сладости (конфеты, орехи и пр.), а также обязательно ячмень, причем ячмень высыпают в ведро из тех башмаков, в которых невеста венчалась (*kròsəs pəstàlka*); затем ведро опрокидывают и дети подбирают сладости.

н) Невеста получает право говорить. Начиная со свекра, все по очереди дарят молодой какой-либо предмет из кухонных принадлежностей, и невеста впервые после свадебного молчания начинает говорить с тем, кто сделал ей подарок. По окончании подношений невеста обмывает всем членам своей новой семьи ноги и с этого времени начинает принимать активное участие в жизни и трудах семьи.

о) *pàrta* — *pàpa* — *вперед—назад*. В понедельник вечером невеста в сопровождении родственников идет к матери в гости и оттуда возвращается домой. Этим последним актом свадьба формально оканчивается.

К сказанному надо прибавить, что все свадебные обряды у албанцев обязательно сопровождаются пением или музыкой, причем поют обыкновенно девушки; музыкант же на свадьбе (*dzigulàr*) всегда бывает один и выполняет все музыкальные номера на своей *səgùl'ke* (то же, что у болгар *кешенче*, у сербов *ћетане*, у гагаузов *kemanè* и пр.) — solo.

в) Похоронные обряды

При последних минутах умирающего присутствующие обращаются к нему со словами: *šutə* — *ndəlèz* такому-то! (имя), как бы посылая через умирающего свой поклон ранее умершему близкому родственнику. После кончины покойника обмывают (*tə l'arə tə vdəkurnə* — купание покойника); мужчину — мужчины, женщину — женщины, и одевают. Затем обмеряют длину тела покойника белой и черной нитками и эти нитки бросают потом на крышу дома: *kəsmèti də šindèti kutù tsəsə*, т. е. счастье и здоровье здесь чтобы остались. В том случае, если тело покойника на ночь остается в доме, под голову ему кладут хлеб с солью, а утром этот хлеб с солью дают скотине: *kəsmètnə tə hajvànət mos emàgə*, т. е. счастье скотины чтобы не взял. Корыто и ведро, бывшие в употреблении при обмывании покойника, остаются в перевернутом положении, дном кверху, вплоть до того момента, когда вынесут покойника со двора, после чего их опять переворачивают в нормальное положение. Это делается для того — *mos bènèt zağar*, т. е., чтобы не было ущерб.

Когда готов гроб, покойника укладывают в гроб со скрещенными на груди руками, в руки вставляют свечу, на голову накладывают венчик, за пазуху кладут деньги. Из дому выносят покойника ногами вперед. Могилу для покойника роют вблизи могил близких родных.

Отправляясь на кладбище для рытья могилы, могильщики несут с собой из дома покойника ведро с горящим углем (кирпич из навоза, служащий здесь обычным отопительным материалом), и во все время, пока роется могила, поддерживается огонь, а место для могилы окуривается ладаном.

Когда могила приготовлена, в нее бросают мерку с тела покойника. Один из могильщиков остается на дежурстве у ямы, а другой отправляется в церковь за хоругвями и фонарем и идет с ними к покойнику. Во время остановок похоронной процессии на кладбище под гроб подстилают полотенце и бросают деньги (*jo! bez!*; *jo! tur.* — дорога, *bez* — полотно из бумаги); деньгами этими покойник как бы расплачивается за то место, где останавливается его гроб. При опускании покойника в могилу во время пения „вечная память“ присутствующие бросают по три горсти земли, а близким покойника бросают землю за воротник; делается это для того, чтобы покойник *špejt tē haŋõpē*, т. е. скоро забыл. В могиле покойника кладут лицом на восток; крест над могилой ставят в головах.

С момента смерти и до выноса из дома покойника, если в доме имеются часы, их останавливают; зеркало завешивают полотенцем, и оно остается завешанным в течение сорока дней после покойника. В день смерти на дерево вешают полотенце с деньгами, и оно висит здесь тоже в течение сорока дней.

Поминки по покойнике устраивают на 3-й, 9-й, 20-й и 40-й дни; выражаются они в форме обеда; во время поминального обеда обыкновенно говорят: *ndēlēni*, т. е. поминайте. Комнату, в которой устраивается поминальный обед, окуривают ладаном.

III

Народные праздники

Народный обрядовый год у украинских албанцев начинается с 20 декабря, *Игнатьева дня*. С этого дня Богородица начинает страдать муками родов (*paŋajāsē mēndim*). Начиная с 20 декабря и до 8 января — „бабина дня“, нельзя ни прясть, ни ткать. Накануне этого дня, вечером варят колево, кадят ладаном, а на следующий день рано утром хозяйка веревкой очерчивает круг и по этому кругу посыпает колево, а сама садится в середину круга и сидит таким образом до тех пор, пока куры не поклюют все зерно.

25 декабря kōlada. Начиная с Игнатьева дня, парни каждый вечер устраивают спевки, причем обыкновенно делятся на две группы — *d'ij kōlē*. В каждой группе лучший из певцов назначается группой на роль *станиник*-а, представителя или главы группы, а также выбирается и его заместитель (*kol*; дословное значение — рука). Второе после станиника и его заместителя место в группе занимает *ašertmadži*. Между этими двумя группами коледарей устанавливается предварительное соглашение на счет того, какую часть села какая группа должна обойти. Вечером, в канун Рождества, часов в 9, обе группы вместе отправляются к председателю сельсовета просить разрешения — *kōladē tē kēndōnnē*, т. е. петь коляду. Получив от председателя требуемое разрешение и спев у него первого колядские песни, группы отходятся одна от другой, и каждая обходит свою часть. Подойдя к тому или иному дому, коледари поют колядку сначала под окном, а затем входят в дом и садятся рядом друг с другом; станиник занимает первое место. Поют „коладу“ по куплетам: первый куплет поет группа вместе со станиником, второй — вместе с *ašertmadži*. По окончании пения хозяева дают станинику „куляч“ (плоский хлеб). Приняв

„куляч“, станиник читает молитву, благословляет хлеб и передает его одному из товарищей, исполняющему в группе обязанности носильщика. После этого коледари с пением уходят из дома. Если в доме имеется девушка, за которой ухаживает тот или иной из членов группы коледарей, а этот момент учитывается при группировке коледарей на группы для обхода той или иной части села, — станиник, спев и благословив хлеб, передает хлеб сначала этому именно то варищу, который тоже произносит „благословку“, а если не знает ее текста, то читает „Отче наш“ и затем передает хлеб носильщику. Собранный во время коледования хлеб продают; вырученные от продажи деньги коледари, члены группы, делят между собой, и затем каждый от себя лично часть от полученной суммы вносит или на церковь или на „сельбудынок“ — сельский домпросвет.

1 января, *sürveš*. Вечером накануне нового года пекут „питу“, или „милину“ (пирог), запекая в нем медную монету, фасоль, соломинку, кукурузинку и пр. Испеченный пирог кладут на низенький круглый стол, а под стол кладут вербовые ветки. Семья собирается вокруг стола. Кроме пирога, на столе в это же время стоит тарелка с пшеницей, луком, чесноком, орехами и пр. Усевшись вокруг стола, все поднимаются и молятся. Глава семьи лемешом от плуга кадит вокруг стола. Этим же лемешом, держа в другой руке вербовую ветку, он окуривает лошадей и весь скот со словами на болгарском языке: *sürve gudina, rak du gudina!* Ужин начинается с того, что пирог разрезывается на части по числу сидящих за столом. По предмету, который окажется в его части пирога, каждому предсказывается его судьба: иметь ли ему много лошадей, коров и пр. В этот же вечер гадают по луку: с головки лука снимают 12 чашечек, и в каждую насыпают соли, и в какой чашечке появится вода, соответственный месяц будет дождливым. Кроме того, в чашечки от лука же кладут хлебные зерна и судят, на какой вид зерна в текущем году надо ждать урожая. Едят новогодние орехи и по внутренности орехов тоже гадают. Вечером в тот же день ходят по селу мальчики и поют под окнами; им дают кулячи, деньги. Эти мальчики называются *balnke*, так же называется и самый вечер. Утром в день нового года по дворам ходят дети с вербовыми ветками в руках и кричат *sürve*, заходят в дом и ветками бьют хозяина дома, хозяйку и пр. У первых посетителей — сурвачей — отламывают кусочек вербовой веточки и кладут его на курятник для того, чтобы водилось больше птицы.

5 января *aǰazta* — освященная вода. От 1 до 5 января домов не метут; впервые выметают сор 5 января утром. Зола из печи от 20 до 25 декабря и от 1 до 5 января собирают и выбрасывают за село степь, брызгая ее освященной водой. День 5 января называется *i tãda aǰazta*, т. е. „большая аязма“. В этот день, с утра до вечера, поят.

6 января *jordàn*. В этот день молодожены посещают церковь. Прибывшие, близкие родственники и знакомые кропят их „святой водой“ (брызжут ею на голову), в ответ на что молодые приглашают их к себе на обед. В этот же день крестьяне объезжают свои полевые участки — нивки, или делянки, и кропят их „святой“ водой. Обедают в этот день только после возвращения с поля.

7 января. Именинники Иваны в этот день устраивают у себя дом *курбан*. Различаются *курбан* общественный и *курбан* частный, семейный, домашний. *Курбан* общественный — это общесельская трапеза у церкви с церковным благословением и освящением приносимых каждым продуктов питания. Каждого Ивана в этот день тянут за уши и дарят ему деньги.

8 января — „бабин день“. Женщины отправляются к повивальной бабке с пирогом, васильками, куском мыла и полотенцем. Подают

бабке мыло, каждая женщина льет ей на руки воду и отдает полотенце. Собравшихся гостей бабка угощает обедом.

17 января, šin tapàs святой Афанасий. Середина зимы. Курбан у Афанасов.

19 января, šin antòn — святой Антон. Курбан у Антонов.

1 февраля, šin trifon — святой Трифон.

3 февраля, šin simeon — святой Симеон; в эти два дня не шьют, не режут, чтобы вновь народившаяся скотина была без изъяна. Если же в эти дни окажется необходимость что-либо резать, то сначала надрезывают порог и хвост кошки, а затем уже могут резать и то, что надобно.

Масляница. В течение всей масляничной недели молодежь катается верхом на лошадях. Вечером в воскресенье жгут костры и прыгают через огонь. В тот же вечер идут друг к другу прощаться.

Великий пост. В первый день поста не варят в черных кастрюлях, чтобы не было зоны в хлебах (специальный зерновой грибок). В субботу первой недели поста молодежь выезжает верхом на лошадях в степь и здесь устраиваются скачки (šin tòdër) — святой Феодор.

1 марта. До восхода солнца подметают дом и вместе с сором выбрасывают вон и метлу. На руки повязывают красные нитки, то же и на деревья; среди двора раскладывают костер; не ткут, чтобы не гремел сильный гром. При виде стаи перелетных птиц поют: lelek, lelek xavadà, imartasè tàvada, т. е. „аист, аист в воздух (xavà тур. — погода), яйцо его на сковороде“.

9 марта, kèrk ašik. В этот день исполняют сорок работ; считают яйца: если их окажется больше сорока, — к богатству, если меньше, — к бедности. Выметая из избы сор, говорят plèštat jàštè, màrsi brènda — „блохи на дворе, март в комнате“.

25 марта, blaguštenì — благовещение. Накануне ложкой стучат по сковороде, приговаривая: g'arç, garç, iku: blaguštenì tè arivu — „змея, змея, убегай: Благовещение тебя нагнало“.

Лазарева суббота. Девочки, держа друг дружку за пояс, ходят по домам и поют лазарские песни. Каждая девочка в группе имеет свое название: 1) bojanès, 2) nùse невеста; 3) kolobišt; 4) b'ist — хвост. Девочка, называемая nùse — невеста, бывает покрыта красным платком.

Страстной четверг. В этот день, по поверию, могилы на кладбище три раза поднимаются и опускаются. Накануне четверга, в полночь пекут хлебы, готовят коливо (кутья), разводят огонь во дворе, ставят у огня стол (sinì) и на стол все приготовленное, на столе зажигают свечи, вокруг стола кладут подушки для сидения и кадят. В это время, по народному поверию, бог выпускает мертвых на свободу на сорок дней. Мертвые являются к столу, садятся на подушки вокруг стола и кушают. Спустя некоторое время, ночью же, убрав со стола хлебы и кутью, несут их на кладбище и здесь раздают друг другу. После этого вплоть до Вознесения по четвергам раздают друг другу хлеб и кутью, отправляются на кладбище и поливают водой могилы покойников. В последний раз это делается в среду накануне Вознесения, после чего мертвые возвращаются на свои места и бог закрывает ворота. 9-й день после Пасхи — близкими родственниками устраивается общий обед на кладбище.

23 апреля šin g'òrgi — святой Георгий. В каждом доме в этот день режут ягненка и в приготовленном виде несут его в церковь, где его святят, затем возвращаются домой, и на улице у дома близкие родственники устраивают общий обед — курбан. Кровь ягненка, кишки и все внутренности бросают в реку: на здоровье и урожай.

1 мая, reperùda. Девушки группами ходят по дворам и обливают водой только что вышедших замуж женщин в доме, а парни обливают

всех девушек водой. Девушкам дают муку, крупу, соль, свечи, ладан, деньги. Муку подают девушкам в сите; освободив сито от муки, девушка катит его по земле: если оно упадет дном книзу, — к урожаю, если же оно ляжет дном вверх, — к неурожаю. Среди девушек одна называется *pîse* — невеста; ее одевают в костюм из травы, а голову украшают венком из цветов. Во время пения „пеперуды“ эта девушка — *pîse* ходит взад и вперед, а хозяин дома разливает перед ней ведро воды. В это же время в медное ведро собирают сажу. Существует также обычай в этот день воровать мартовского цыпленка. После „пеперуды“ девушки делают „керванчу“. Собравшись тайком, они лепят из глины фигурку человека и затем хоронят ее со всеми погребальными установлениями: окружают ее с зажженными свечами и вазильками в руках, кадят вокруг, оплакивают и затем закапывают в землю на засеянной нивке; в течение трех первых дней после похорон по утрам и вечерам навещают могилу своего покойника, поливают ее водой, зажигают над ней свечи. На третий день покойника откапывают и тайком бросают в реку, прося у бога дождя.

Вознесение. Накануне вечером раздают чеснок, лук и вообще зелень в поминки по умершим. В день Вознесения устраиваются большие хороводы, на которые съезжаются из окрестных сел (сбор).

Троица. Зеленными ветками украшают комнаты; пол устилают зеленью; устраивают сбор.

24 июня, jâjna. Проветривают во дворах одежду, чтобы не завонсилась моль.

29 августа. Не едят черного винограда и красных арбузов, так как они напоминают кровь головы Иоанна Крестителя.

14 сентября — „крестов пост“.

26 октября, šin mîtri — святой Димитрий; все Димитрии устраивают у себя курбан.

8 ноября, xarangêl — архангел. Венчавшиеся после Димитрова дня устраивают в этот день курбан.

4 декабря — не варят в черных кастрюлях и не пекут кукурузы, чтобы не было оспы.

5 декабря — Савва.

6 декабря — Николай; разносят угощение о здравии Николая чудотворца.

НАРОДНЫЕ ФАМИЛИИ

а) с. Георгиевка

- | | |
|--|--|
| 1. Борлачкы. | 16. Лёгу (Лев, Леонтий); Ради Иван Лёгос — имя, отчество, фамилия (последняя от Лёгу — на вопрос: чей?). |
| 2. Буланьк (тур. мутный) ¹⁰ . | |
| 3. Гайдѹри. | |
| 4. Дындѹн (дын-дын — танцевать, играть). | 17. Лячко. |
| 5. Дзынгу (дзын-дзын — играть, петь). | 18. Мёнджу (Михаил). |
| 6. Добри (Даниил). | 19. Мермечлѹ (мермер — мрамор). |
| 7. Драгѹй. | 20. Мерджу. |
| 8. Зѹрба. | 21. Моштѹдри (Федор, с приставкой моѹ, выражающей почтительность отношения к лицу). |
| 9. Каймѹни. | 22. Нидѹлку (Надежда). |
| 10. Качѹчи (Кирилл). | 23. Новѹц. |
| 11. Кѹрте (Кирилл). | 24. Пандѹр. |
| 12. Кешѹш. | 25. Пандычки. |
| 13. Кирчу (Кирилл). | 26. Парѹш (Петр). |
| 14. Кисидѹбри. | |
| 15. Киский (тур. острый). | |

¹⁰ В скобках приведены местные объяснения происхождения той или иной фамилии.

27. Пейчу (Петр).
28. Спáсу.
29. Стáнку (Степанида).
30. Татàри.
31. Тòнкы (Федора).

32. Трёпо (Трофим).
33. Трòшу (Трофим).
34. Узун-коли (тур. uzun — длинный).
35. Чакýр (бельмо).
36. Чалýку (острый, кипучий).

б) с. Девненское (Таз)

1. Бабуш.
2. Бойчу (тур. boy — рост).
3. Джаным (тур. — душа).
4. Длгу (болг. длинный).
5. Ексàр.
6. Ивру.
7. Иòвчу (Иов).
8. Калуш (Акилина).
9. Каракаш (тур. черная бровь).
10. Караяни (тур. черный Иван).
11. Кюркчидобри.
12. Мирчу.

13. Миц (Михаил).
14. Ормàни-Орманджи (лесник, сторож).
15. Панту (кичливый).
16. Параскевà.
17. Пипёрко (пипер — перец).
18. Попоран.
19. Пульчу (Павел).
20. Сендели (шатающийся).
21. Сереми (серемджа — невнимательный).
22. Терзи (тур. портной).
23. Чепеленко (чепель — кусок, карлик).
24. Шопи, Шопов.

в) с. Гаммовка (Джандран)

1. Бабеоглу.
2. Болгаров.
3. Данчев.
4. Динчу.
5. Дымов.
6. Друмов.
7. Кайрачка (Кайрак, Кирьяк — Кирилл).
8. Карамелев (черный Михаил).
9. Каранейчик (черный Петр).
10. Кательчу (Пантелей).
11. Киразлиев.

12. Кочев.
13. Кулà.
14. Курдулов.
15. Курти.
16. Панаетов (Пантелей).
17. Стогольский.
18. Топалов.
19. Урумов.
20. Фучаджи (бондарь).
21. Хаджирадов.
22. Чебанов.



МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

П. Н. ТРЕТЬЯКОВ

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЕ ЧЕРТЫ В БЫТУ НАСЕЛЕНИЯ ПРИДУНАЙСКОЙ БОЛГАРИИ

1

На рубеже VI и VII столетий н. э., когда Византийская империя переживала глубокий социальный и политический кризис, на Балканском полуострове протекали события, значение которых в исторической жизни Восточной Европы трудно переоценить. Огромные массы славянского населения двинулись в это время на юг. Они перешли через Дунай, стали растекаться по полуострову старыми путями, хорошо разведанными во времена Балканских войн VI столетия н. э., и навсегда поселились на новых землях. «Славяне отняли у римлян Грецию»,— писал современник этих событий церковный историк и ученый Исидор Севильский.

Как бы ни был в конце концов разрешен сложный вопрос о фракийско-славянских и иллирийско-славянских генетических связях, а также о древних поселениях славян к югу от течения Дуная, занимающий в последнее время внимание акад. Н. С. Державина¹, не подлежит никакому сомнению, что славянские вторжения на полуостров в конце VI и начале VII столетий н. э. сыграли крупнейшую роль в этническом преобразовании балканских земель. К середине VII столетия в северной и средней полосе Балканского полуострова славянский этнический элемент превратился в господствующую силу, подчинившую себе и поглотившую старое иллирийско-фракийское население. «Вся провинция ославянилась и сделалась варварской»,— писал по этому поводу два века спустя Константин Багрянородный. Крупнейшие русские византилисты В. Г. Васильевский и Ф. И. Успенский показали, что славянская колонизация имела большое значение во внутренней жизни Византии. Славянское сельское хозяйство послужило источником оздоровления византийской экономики, а славянская община явилась одним из важнейших слагаемых социальной основы византийского средневековья. «Нет сомнения,— говорил акад. В. Г. Васильевский,— что жизненная энергия, обнаруженная Византией в борьбе с арабами и болгарами, находится в связи с этим приливом новых сил, с улучшением экономических основ государственного быта»².

¹ Н. С. Державин, История Болгарии, I, 1945, стр. 63 и сл.

² В. Г. Васильевский, Материалы для внутренней истории Византийского государства, Журнал Министерства народного просвещения, март 1879 г., стр. 161.

Еще большее значение имели Балканские войны VI столетия н. э. и вторжение славянских племен на полуостров в исторической жизни самих древних славян. Эти события, послужившие одним из заключительных этапов «великого переселения народов» — борьбы варварства, достигшего порога цивилизации, с дряхлеющим рабовладельческим миром, глубоко всколыхнули всю огромную массу славянства. Они ускорили процесс распада первобытных форм жизни, укрепили политические связи в среде славянских племен, способствовали этнической консолидации славянства. Они положили начало историческому бытию южных славян — предков современных славянских народов Балканского полуострова.

Во время Балканских войн, накануне массового вторжения славян на полуостров, византийские авторы различали к северу от Дуная две группы славянских племен, два обширных объединения: западное — склавины и восточное — анты. Границей между ними служило течение Днестра. Те и другие выступали против империи; отряды тех и других далеко проникали на полуостров, подвергая его опустошениям. Начиная с VII столетия н. э., дифференциация славянских племен на склавинов и антов в сочинениях древних авторов более не встречается. Византийские и сирийские историки и хронисты говорят о славянах вообще, о славянских племенах, заселяющих полуостров, не зная, откуда пришло то или другое племя, где находились — на западе или востоке — его старые поселения. В частности, в исторических известиях совершенно темным остался вопрос о том, какое участие в заселении полуострова принимали восточные славяне, потомки антов, обитавшие в междуречье Днестра и Днепра. Этот вопрос, без решения которого не может получить всестороннее освещение сложнейшая проблема генетических и исторических связей восточного и южного славянства, уже давно привлекал к себе внимание славистов. К его решению привлекались различные исторические данные, топонимика, некоторые фольклорные материалы и, наконец, данные языка. Они позволили сделать общий вывод о наличии тесных связей между восточными славянами и населением, прежде всего, восточной части Балканского полуострова. Характер и глубина этих связей привели к мысли, что пределы современной Болгарии на рубеже VI и VII столетий н. э. были заселены преимущественно восточными славянами, потомками антских племен VI столетия н. э.

Старое языкознание, как русское, так и болгарское, рассматривая общие черты в восточнославянских и болгарских языках, не всегда находило для их объяснения правильный путь. Многочисленные параллели в русском и болгарском языках объяснялись обычно односторонне, лишь как результат заимствования, как результат проникновения в русскую среду из болгарской, или наоборот, многих сотен слов. Именно с этой точки зрения подходили к болгаро-русским языковым связям акад. А. А. Шахматов, болгарский проф. Б. Цонев, И. Раев и многие другие. Временем особенно интенсивного взаимного языкового проникновения обычно считалось средневековье, когда тесный политический и культурный контакт, связанный в частности с распространением христианства, не мог не привести к созданию благоприятных условий для языкового обмена.

То, что языковый обмен между Болгарией и восточными славянами действительно имел место как в эпоху Святослава и особенно Владимира, когда на Руси появилась болгарская литература, так и в последующее время, вплоть до XIX—XX столетий, не подлежит, конечно, никакому сомнению. Однако можно ли думать, что все две тысячи русских слов, которые отыскал в болгарском языке проф. Б. Цонев, и, вероятно, не меньшее число «болгаризмов» в русском, украинском и

белорусском языках, являются не чем иным, как простыми заимствованиями? Акад. Н. С. Державин, указывая, что вопрос требует специального исследования, тем не менее находит возможным ответить на него отрицательно. «Близкое родство современного болгарского и русского языков,— по его мнению,— объясняется не только наличием элементов обоюдостороннего заимствования и влияния, но также и общностью племенного происхождения этих двух братских народов, в основе которых лежат антские племена»³.

К такому же выводу приходит акад. Н. С. Державин, обрисовывая параллели в русском и болгарском эпическом фольклоре. Он рассматривает образ Трояна, данный в «Слове о полку Игореве», как образ, «выросший в культурно-исторической обстановке славянского населения Киевско-Дунайской области». Обстановку же эту, единство народного сознания на широких пространствах от Дуная до Киева акад. Н. С. Державин образно иллюстрирует такими словами «Слова» «Девыцы поют на Дунаи, вьются голоса через море до Киева...»⁴

Однако, если эпический образ Трояна, ведущий свое начало от реальных событий первых веков н. э., и некоторые другие старые образы, приведенные акад. Н. С. Державиным, действительно могут говорить о генетическом родстве восточных и южных славян, то большинство других русско-болгарских фольклорных мотивов, пока еще, правда, никем серьезно не изученных с данной точки зрения, ничего определенного сказать не могут. Это относится, в частности, и к только что приведенной строке из «Слова о полку Игореве», где переключка Киева и даже Путивля с Дунаем встречается, как известно, неоднократно. Действительно, остается полностью неизвестным, когда и в результате каких явлений вошел в восточнославянский фольклор «голубой Дунай», «Дунай-батюшка», «Дон-Дунай». Может быть, это произошло в эпоху Балканских войн VI столетия н. э. или во времена вторжения славян на полуостров? Но не менее вероятно, что песни о голубом Дунае стали петь на Руси после героических походов Святослава. Пока что на все эти вопросы, точно так же, как на вопросы, которые ставят перед современным языкознанием болгаро-восточнославянские языковые параллели, еще нет вполне определенного ответа.

Несколько более определенную картину болгаро-восточнославянских генетических связей намечают исторические данные и прежде всего вся та историческая обстановка, которая сложилась в северо-западном Причерноморье и на Балканском полуострове в VI—VII и последующих столетиях.

Во время Балканских войн VI столетия восточнославянские антские племена принимали активное участие в походах на полуостров. Нередко, как сообщают Прокопий, Менандр и другие авторы VI—VII столетий, вместе со славянами выступали болгары — кутургуро-утургурские племена, обитавшие в Приазовье. Для того чтобы проникнуть на полуостров, болгары должны были пройти через земли антов, с которыми у них складывались несомненно какие-то союзные отношения, нарушаемые военными столкновениями, нередко спровоцированными Византией. Последовавшие вслед за этим события середины VI столетия, такие, как появление на полуострове, уже прочно занятом славянами, Аспаруха с дружиной, как заключение им договора со славянскими племенами, как ряд других обстоятельств, связанных с возникновением Болгарского государства, вырисовываются, по мнению акад. Н. С. Державина, не как нечто совершенно новое в политических отношениях того времени, а как результат длительных предшествовав-

³ Н. С. Державин. Указ. раб., стр. 229.

⁴ Указ. раб., стр. 207 и сл.

ших взаимоотношений болгар со славянскими племенами⁵. Если это было действительно так, то, следовательно, придунайская часть полуострова была занята не западными склавинскими племенами, а старыми соседями болгар — восточными антскими племенами.

По свидетельству Феофана, Аспарух, перейдя через Дунай в область Малой Скифии, т. е. в южную Добруджу, встретил там в 678 г. племя северян или северцев, которые вслед за этим переселились на юг, к Балканскому хребту. Далее на запад, на обширных пространствах дунайского правобережья обитали в то время семь других славянских племен, имена которых остались неизвестными. Эти племена — северяне и семь племен — и составили в дальнейшем основу древнего Болгарского государства (рис. 1).

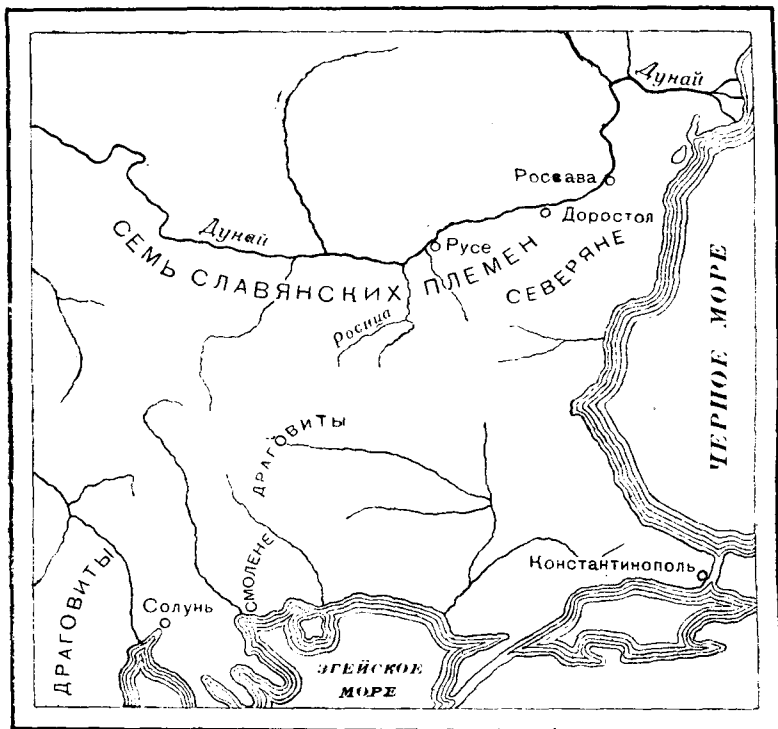


Рис. 1. Восточная часть Балканского полуострова в VII в. н. э.

В литературе уже не раз высказывалось мнение, что дунайские северяне могут быть связаны с северянами «Повести временных лет», обитавшими на левобережье Днепра в бассейне рек Десны и Сейма. Северянам, жившим так далеко от Дуная, на отдаленной восточной окраине антского мира, если они действительно принимали участие в колонизации Балканского полуострова, неизбежно должна была остаться наиболее северо-восточная и наименее благоприятная для жизни часть полуострова. У себя на родине северяне являлись ближайшими соседями приазовских болгар, и возможно, что появление Аспаруха прежде всего именно в их среде отнюдь не являлось простой случайностью.

В «Повести временных лет», в легенде о построении Киева тремя братьями, сохранился отголосок рассказа о переселении славян с Днепра на Дунай. Речь там идет о том, как Кий после поездки в

⁵ Указ. раб., стр. 182 и сл.

Царьград, где он «велику честь приял от царя», пришел на Дунай с родом своим и срубил городок Киевец, в котором, однако, ему поселиться не удалось, так как этому воспротивилось местное население — дунайцы. В византийских источниках наименованию дунайцы соответствовало имя подунавцы, которым называлось славянское население территорий современной придунайской Болгарии.

В одной из своих статей, посвященных вопросам восточнославянского этногенеза, автор этих строк указывал, что топонимика, связанная с именем рос — русь, отнюдь не свойственна всей области восточных славян. Наименование рос — русь было распространено преимущественно на Днепре и на восток от него. На западе, в области Буга и Днестра, имя рос — русь не встречалось, а лежащие здесь галичско-волынские земли Русью первоначально не назывались⁶. Поэтому несомненный интерес представляет группа наименований, происходящих от имени рос — русь и локализующихся в северо-восточной «северянской» Болгарии и южной Добрудже. Это — селение Рассава и город Русе на правом берегу Дуная и река Росица, приток Янтра, впадающего в Дунай несколько выше г. Русе.

В ряду всех этих данных, как будто бы действительно допускающих мысль о восточнославянском происхождении дунайцев, в особом свете предстают и походы Святослава, который называл дунайские земли «середой земли моей», и известное место из Воскресенской летописи, где города на Дунае именуются русскими городами.

2

Мысль о восточнославянском происхождении дунайцев находит подтверждение также и в этнографических и археологических данных, которые даже при самом беглом ознакомлении с ними представляются весьма убедительными, но которые точно так же, как и данные лингвистики или фольклора, никогда не рассматривались серьезно с указанной точки зрения.

Если обратиться к одежде и жилищу — наиболее характерным элементам материальной культуры, хорошо отражающим этнические особенности, то станет совершенно очевидным, что население придунайской Болгарии, во-первых, составляет особую группу, заметно отличающуюся от славянского населения других частей Балканского полуострова, и, во-вторых, что придунайское население действительно имеет очень много общего с восточными славянами, причем не только с современными, но и с древними, известными по археологическим данным.

Обратимся прежде всего к карте распространения основных типов женской болгарской одежды, составленной директором Народного этнографического музея в Софии Х. Вакарельским⁷. На этой карте (рис. 2) хорошо видно, что в придунайской Болгарии, на всем пространстве от Видина на западе и южной Добруджи на востоке, там, где жили некогда семь славянских племен и дунайские северяне, распространен совершенно особый тип женской одежды — «двупрестилчена»⁸, род плахты, состоящей из двух заходящих один на другой кусков материи, прикрепленных к поясу спереди и сзади. От других типов болгарской одежды — «сукмана», напоминающего сарафан, и «саи» — ши-

⁶ П. Н. Третьяков, *Анты и Русь*, «Советская этнография», 1947, № 4 стр. 76.

⁷ Х. Вакарельски, *Битъ и езикъ на тракийскитъ и малоазийскитъ Българи* ч. 1, София, 1935, стр. 226.

⁸ Термин «двупрестилчена» является не народным, а принятым в этнографической литературе.

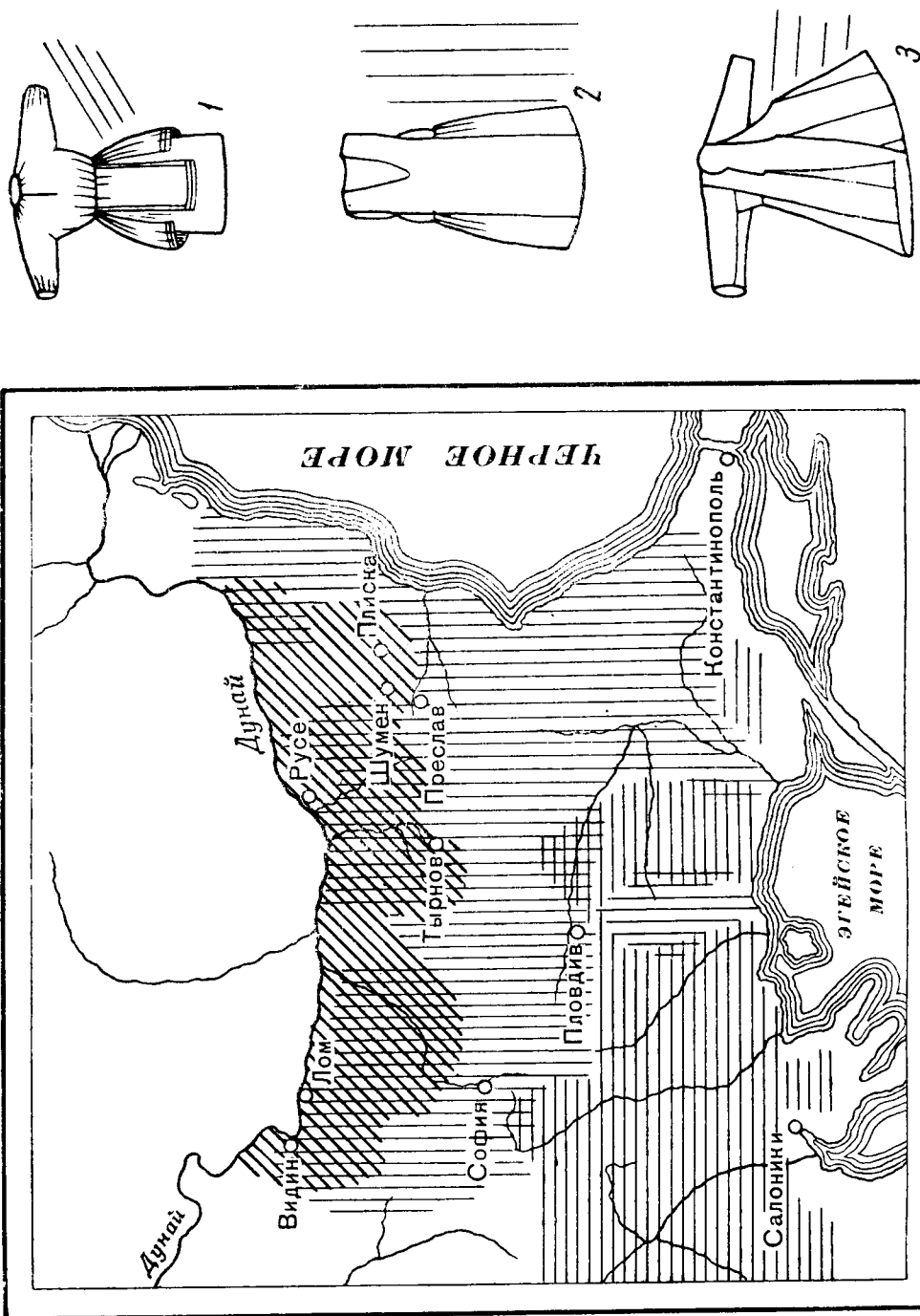


Рис. 2. Схематическая карта распространения основных типов болгарской женской одежды (по Х. Вакарельскому):
1—«двупрестилчена», 2—«сукман», 3—«сая».

рокой женской одежды с рукавами и разрезом спереди — придунайский тип костюма отличается очень сильно. Если же сравнить основные типы женской болгарской одежды с украинским национальным костюмом, то близость одежды придунайской Болгарии и Украины станет совершенно очевидной. «Двупрестилчена» и украинская плахта — это по сути дела аналогичные формы; придунайская одежда в целом также близка к украинской.

Х. Вакарельским дана и более детальная карта типов болгарской одежды, на которой одежда населения придунайской Болгарии представлена в виде одиннадцати локальных вариантов⁹, некоторые из которых воспроизводятся в настоящей статье (рис. 3).



Рис. 3. Одежда придунайской Болгарии: 1—район г. Берковицы; 2—район г. Свищева

Женские одежды сходного типа, встречающиеся кое-где в Югославии, а также у Карпатских гор, отнюдь не свидетельствуют против связей дунайской «двупрестилчены» и украинской плахты, так как они значительно отличаются от последних и входят в состав костюма, не свойственного ни Украине, ни северной Болгарии.

Еще более разительная картина близости населения придунайской Болгарии к восточному славянству выявляется на основании сравнительного изучения придунайского жилища и древнего восточнославянского жилища, на чем следует остановиться подробнее.

В настоящее время благодаря археологическим исследованиям, произведенным в славянских странах и особенно в СССР, стали, наконец, выясняться подлинные истоки славянского домостроительства. Оказалось, что старая этнография, так много занимавшаяся славянским жилищем, в тех случаях, когда вставляли исторические вопросы, неизбежно попадала на ложный путь. Этнография исходила из ошибочного, «индоевропейского» представления о единстве древней славянской культуры и стремилась свести все огромное многообразие славянского домостроительства к единой исходной форме, своего рода славянскому «пражилищу». Так поступал в свое время А. Н. Харузин¹⁰, являвшийся крупнейшим знатоком славянского жилища; то же самое находим в работах Д. К. Зеленина¹¹ и других.

Большое единство славянской культуры, в том числе и культуры жилища, оказалось, однако, таким же мифом, как и пресловутое единство самого древнего славянства. Советская историческая наука установила, что славянство сложилось на основе целого ряда древних племенных групп, первоначально различных, но оказавшихся в таких исторических условиях, которые повели их по пути этнической и культурной консолидации¹². В соответствии с этим в основе славянского домостроительства лежали не одна, а несколько различных исходных форм.

Жилища восточных славян с глубокой древности составляли, пови-

⁹ Х. Вакарельски и Д. Ивановъ, История на облъклото, София, 1942.

¹⁰ А. Н. Харузин, Славянское жилище в Северо-западном крае, Вильна, 1907.

¹¹ D. Zelenin, Russische (Ostslavische) Volkskunde, Berlin — Leipzig, 1927.

¹² А. Д. Удальцов, Теоретические основы этногенетических исследований, ИОИФ, I, 1944, № 6; его же, Основные вопросы этногенеза славян, сборн. «Советская этнография», т. VI—VII, 1947; Н. С. Державин, Происхождение русского народа, М., 1944 и др.

димому, три основные группы. На лесном севере, в области верхнего течения Днепра, по верховьям Западной Двины и Волги, с первых веков н. э. господствовала рубленая из бревен изба, известная по раскопкам на городище у д. Березняки или в Старой Ладогге, которой предшествовал как будто бы наземный столбовой дом. Другая домостроительная традиция издавна развивалась на юго-востоке — на среднем Днепре, по его левым притокам, а также в верховьях Оки. Основной формой жилища здесь являлась землянка, первоначально различных типов — круглая, овальная и прямоугольная, а в конце первого тысячелетия н. э. преимущественно квадратная. На юго-западе, в области днепровского Правобережья, в бассейне Днестра и в Прикарпатье, опять-таки с глубокой древности были известны два типа жилища: столбовой глинобитный дом и землянка¹³. В Средней Европе, судя по имеющимся материалам, основной формой древнего славянского жилища был столбовой дом, восходящий к постройкам типа известного Бискупинского поселения¹⁴ или других жилищ лужицких племен. Наряду с ним там рано получил распространение и дом, рубленный из бревен.

В области Балканского полуострова славянское домостроительство столкнулось с местными строительными традициями, чем и объясняется значительная пестрота форм жилища у балканских славян. Однако негрудно убедиться, что наиболее распространенными типами жилищ являются там, во-первых, столбовой дом и, во-вторых, каменная постройка, сложившаяся в условиях горных районов, нередко настоящее горное жилище, которое иногда неправильно называют землянкой. Настоящих землянок, выкопанных в земле жилищ, балканские славяне не знают. Исключение в этом отношении составляет население придунайской Болгарии — потомки дунайцев и северян, жившие в недавнем прошлом в настоящих землянках, представляющих собой ближайшую аналогию древним славянским жилищам Среднего Поднепровья и, в частности, жилищам северян «Повести временных лет».

Восточнославянские землянки, описанные в свое время Ибн-Руста, впервые были открыты раскопками В. В. Хвойко в Киеве и Н. Е. Макаренко на городищах «Монастырища» около г. Ромны, на р. Суле. В обоих случаях они имели вид квадратных в плане помещений, размером в среднем 4×4 м, глубиной более метра, с глинобитными печами и перекрытием, покоящимся на системе стоящих по углам и у стен столбов. В 1928—1929 гг. значительное число подобных жилищ было исследовано П. П. Ефименко на Боршевском и ряде других славянских городищ VIII—X столетий в районе г. Воронежа. Землянки имели стены, обложенные деревом, укрепленным стоявшими у стен и по углам вертикальными столбами или же составляющим сруб; крыша была двускатной, покрытой сверху толстым слоем земли; в углу жилищ находились печи-каменки, в некоторых землянках их заменяли примитивные открытые очаги. Но наиболее интересной чертой боршевских земляных жилищ было то, что они не стояли изолированно одно от другого, а соединялись друг с другом внутренними переходами, составляя компактные группы, включающие, кроме нескольких жилищ, еще и постройки хозяйственного назначения (рис. 4). Такие комплексные жилища не могли быть чем-либо иным, как жилищами больших патриархальных семей типа славянской «задруги», ведущих на общинных началах нераздельное хозяйство¹⁵. В последние годы такие

¹³ Автор настоящей статьи предполагает в ближайшее время опубликовать археологические данные, освещающие истоки восточнославянского домостроительства.

¹⁴ *Przegląd Archeologiczny*, t. V, г. 2—3.

¹⁵ П. П. Ефименко, Раннеславянские поселения на Среднем Дону, Сообщения ГАИМК, 2, 1931; П. П. Ефименко и П. Н. Третьяков, Древнерусские поселения на Дону. Материалы и исслед. по археологии СССР, № 8, 1948.

же, соединенные переходами землянки были открыты автором настоящей статьи на славянском городище на р. Ворскле¹⁶ (рис. 5) и в ряде других пунктов.

В пределах древнерусских городов — в Киеве, Чернигове, Вышгороде, Белгороде, Старой Рязани и других — жилища-землянки такой же

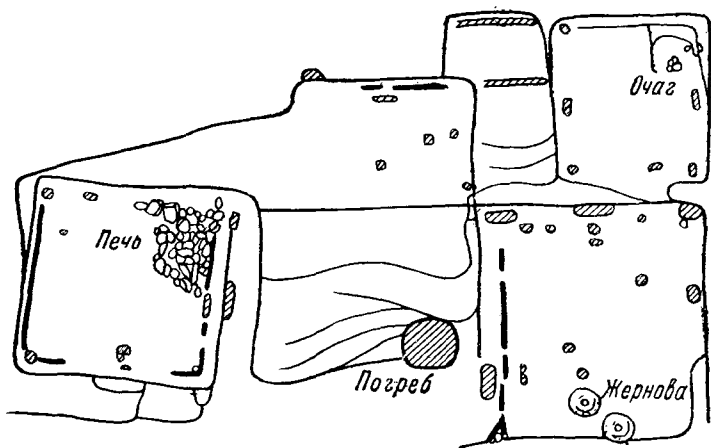


Рис. 4. Землянки Боршевского городища VIII—X вв. н. э., Воронежская обл.

конструкции внутренних переходов за редкими исключениями не имели. Очевидно, в условиях города большие семьи типа «задруги» быстро распались, что сразу же отражалось на формах домостроительства.

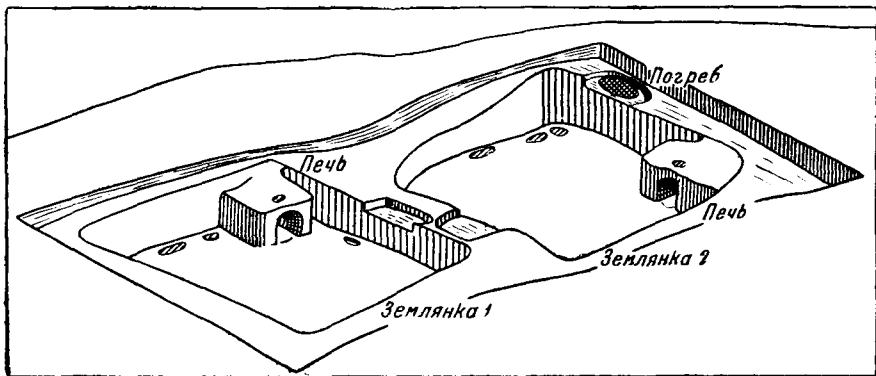


Рис. 5. Землянки Петровского городища X в. н. э., Харьковская обл.

Такие же самые жилища-землянки, нередко состоящие из многих помещений, соединенных внутренними переходами, с печами и очагами, имеющие перекрытие, покоящееся на вертикальных столбах, до конца XIX столетия, а местами до самых последних лет составляли характерную форму жилища придунайской Болгарии.

Земляные жилища были распространены, повидимому, по всей придунайской Болгарии, от Добруджи на востоке до Видина на западе, там, где жили древние северяне и семь славянских племен. Однако известны они по этнографическим данным преимущественно на западе, в области города и реки, называемых одним именем — Лом. На востоке эта древняя славянская форма жилища почти не сохранилась, вероятно,

¹⁶ П. Н. Третьяков, Стародавні слов'янські городища у верхній течії Ворскла, Археологія, I, Київ, 1947.

во-первых, потому, что там лежали древние центры болгарской средневековой культуры и государственности — Плиска, Преслав, Тырново — в свое время богатые города с каменными зданиями, с храмами и дворцами, в условиях которых землянки неизбежно должны были исчезнуть. Во-вторых, в последующие столетия там же находились крупнейшие центры турецкого владычества и колонизации — Шумла, Рушук и другие, что не могло не привести к значительному распаду национальных форм быта, к внедрению в обиход славянского населения иноземных черт, что точно так же отнюдь не способствовало сохранению древней формы жилища — землянки.

Интересно, что на крайнем востоке Болгарии, в южной Добрудже, в отдалении как от древних средневековых центров, так и от мест турецкой колонизации, земляные жилища сохранялись вплоть до недавнего времени, правда, не в таком числе, как в Ломском округе. На них обратил внимание в XIX столетии один автор, давший описание восточной Болгарии. Такие земляные жилища, по его сообщению, назывались там точно так же, как и в Ломском округе, — «бурделями» (*bordeits*)¹⁷. Этим же именем назывались землянки, переживавшие до последнего времени на территории Бессарабии, в земле древних уличей и тиверцев, которые следует рассматривать как еще одно свидетельство в пользу восточнославянского происхождения земляных жилищ придунайской Болгарии¹⁸. Впрочем, отдельные сведения о земляных жилищах, как сообщил автору настоящей статьи, директор Этнографического музея в Софии Х. Вакарельский, имеются и из центральных и восточных областей придунайской Болгарии.

Судя по описаниям, сделанным в XIX ст., земляные жилища придунайской Болгарии — «бурдели» или «хижи» — чрезвычайно напоминали древние восточнославянские землянки.

«Бурдель» или «хижа» делалась в виде глубокой ямы, состоящей из двух-трех отделений и покрытой сверху крышей. И. Бассанович, наблюдавший земляные «хижи» в Ломском округе в 80—90-х гг., описывает их следующими словами: «Земляные бурдели состоят обыкновенно из а) ступенчатого крытого входа, без внешних дверей и так наз. «гривницы» (открытого холодного помещения наподобие сеней. — П. Т.), которая служит в летнее время для тканья полотна и отдыха; б) собственно жилища «къщи», в котором находится очаг с широко открытым плетеным дымоходом, предназначенным для освещения, вентиляции и выхода дыма; в этом помещении держат все необходимое для жизни крестьянина (сундуки, лари для муки, посуду и т. д.); около очага в земле бывает выкопана печь («пещь» — для выпечки хлеба. — П. Т.); в) третьего отделения — комнаты («соба»), которая сообщается с предыдущим с помощью тесного коридорчика, закрывающегося дощатой или плетеной дверью. Комната отапливается, как это было в средние века в Европе, с помощью жаровни — «мангал» или маленькой печи, а свет попадает в комнату через 1—2 маленьких окна, заклеенных бумагой и осколками стекла; в богатых бурделях бывают целые стеклянные окна. В комнатах живут в зимнее время.

Все три отделения находятся под одной крышей, состоящей из деревянной основы, покрытой хворостом, соломой и слоем земли. В летнее время, — заканчивает свое описание И. Бассанович, — весь бурдель покрывается зеленой травой и на крыше толкутся куры, гуси и другая живность; в зимнее время домашние животные и птицы (гуси, куры, свинки, овцы, коровы) часто живут внутри, в самом жилище»¹⁹.

¹⁷ С. Allard, *La Bulgarie Orientale*, Paris, стр. 109.

¹⁸ А. Н. Харузин, *Указ. раб.*, стр. 45, 68—69.

¹⁹ И. Бассанович, *Ломский округ. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина*, кн. V, София, 1891, стр. 43.

Таких подземных жилищ в Ломском округе, по данным И. Бассановича, в конце 80-х гг. было 5145, что составляло 26,71% всех жилищ, причем особенно много их было в Ломском районе — 2589, или 33,93% ко всему числу жилищ. В начале же 80-х гг. в Ломском районе было 3513 землянок и лишь 1992 наземных дома, причем даже некоторые церкви были углублены в землю своими основаниями. А еще раньше, до Освободительной войны, в землянках жила подавляющая часть населения Ломщины. Многие села (Ковачицы, Линево, Мокреш и др.) состояли почти исключительно из таких, как их называет И. Бассанович, «троглодитских жилищ»²⁰.

Кроме землянок, состоящих из трех отделений — одного холодного и двух отапливаемых, в Ломском округе имелись, повидимому, «хижи», принадлежащие большим семьям — «задругам» и состоящие из большого числа отделений. В некоторых селах (например в Вълчедръме), по данным И. Бассановича, имелись «задруги» из 15—20 душ, живущих в одном жилище²¹.

Прямое указание на многокамерные «хижи» имеется у Д. Маринова — автора словаря болгарского народного языка, которым дано довольно подробное описание земляного жилища, к сожалению, без указания селения или округа. «Ижа» или «хижа», пишет Д. Маринов, является жилищем, устроенным в земле, в яме, глубиной в 2—3 м. «Хижа» состоит из «гривицы», «къщи» и нескольких комнат («стаи»). «Гривица» служит для входа в жилище; по сторонам ее расположены нары, на которых спят в летнее время, называемые «трем» или «пруст». В «къщи» Д. Маринов указывает ряд интересных деталей. Дверь, которая ведет в «гривицу», была отделена от очага сделанным из плетня заслоном — «бухр.ия», очевидно, для того, чтобы прямой поток воздуха из открытой двери не мешал пламени. По обе стороны от очага находились нары; против очага на стене приделана полка для посуды, под ней на деревянных гвоздях висели котлы и ведра. В стенке у очага выкапывалась печь для печения хлеба; по обе стороны очага, повидимому над нарами, в стене жилища делали «пезън» — русские «горнушки»; рядом с ними на деревянных гвоздях висела одежда, а также солонка и перечница. Из «къщи», продолжает Д. Маринов, входили в другие ямы, выкопанные в стенах, — это «стаи», в которых живут в зимнее время.

Большой интерес представляет описанная Д. Мариновым конструкция перекрытия подземных жилищ, полностью повторяющая то, что было установлено для восточнославянских землянок археологическими исследованиями.

По длинной оси ямы жилища, у стен были выкопаны небольшие ямки, в которых поставлены бревна с развилками наверху — «соа», «соха»; на развилки клалось толстое и прямое бревно — «било», составляющее основу перекрытия. По сторонам «сох», повидимому, у боковых стен ямы, вбивались в землю столбы меньшей высоты — «сльбци», — очевидно, тоже с развилками; на них параллельно «било» лежали бревна — «постранки». Крыша, следовательно, была двускатной. Поверх «било» и «постранок» поперек были уложены другие бревна — «мартаки», а затем хворост, солома и, наконец, земля, составляющие «покровину».

Точно таким же образом и из тех же слагаемых устраивалось перекрытие «гривицы». Лишь центральное бревно перекрытия, соответствующее «било», здесь носило название «пон»²².

²⁰ Указ. соч., стр. 44.

²¹ Там же, стр. 41.

²² Д. Маринов, Материалъ за българския речник, Сборникъ народни умотворения, наука и книжнина, кн. XII, София, 1895, стр. 281.

К сожалению, ни И. Бассанович, ни Д. Маринов не дают промеров жилища и никаких графических материалов.

В 80-х гг. земляные жилища в Ломском округе наблюдал известный венгерский художник Ф. Каниц, зарисовавший их в с. Василевцах



Рис. 6. Земляные жилища Ломского района (Болгария). Конец XIX в.



Рис. 7. Земляное жилище в Ломском районе (Болгария)

(рис. 6) ²³. Рисунок Ф. Каница не только дополняет приведенное выше описание, но и вносит окончательное разъяснение относительно формы перекрытия. Оказывается, что крыша земляных жилищ, названная И. Бассановичем плоской, а, судя по описанию Д. Маринова, бывшая двускатной, в действительности являлась именно двускатной, но не осо-

²³ С. М. Романский, България въ образитѣ на Феликсъ Каницъ, София, 1939, стр. 109, 112.

бенно высокой. Тем самым устанавливается, что и по форме крыши дунайские землянки не отличались от древних восточнославянских.

Другой приведенный здесь рисунок земляных жилищ Ломского округа (рис. 7), взятый из книги Л. Нидерле²⁴, отражает позднейшую эволюцию древних землянок — их постепенное выползание на поверхность земли. О таких жилищах, стены которых возвышаются над землей на 1 м, пишет болгарский географ А. Иширков в своей популярной книге о Болгарии, опубликованной в начале XX столетия²⁵. Именно такие жилища, уже не землянки, а полуземлянки, можно наблюдать в Ломском округе и в настоящее время.

Общие черты восточнославянских землянок и земляных жилищ придунайской Болгарии можно дополнить еще одним ярким бытовым штрихом. Оказалось, что обитатели древних землянок Среднего Поднепровья пользовались таким же самым способом хлебопечения, кото-

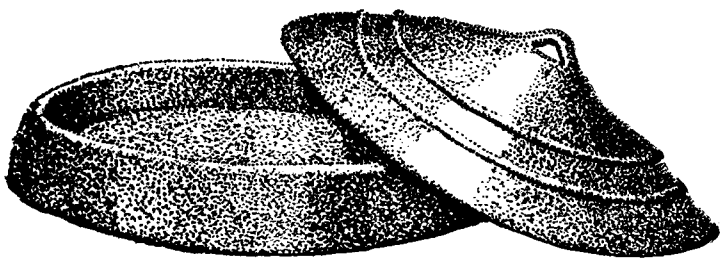


Рис. 8. Глиняные «црапуля» (подница) и «садж». Этнографический музей в Белграде

рый распространен до настоящего времени на Балканах, как в придунайской полосе, так и шире — в ряде районов Болгарии, Сербии и отчасти Хорватии.

На городищах Среднего Поднепровья, в землянках около очагов были не раз находимы обломки своеобразной глиняной посуды — своего рода блюд, диаметром до 50 см, с вертикальными бортиками, высотой до 10—12 см. Блюда были сделаны из пористой глины и отличались большой массивностью и грубостью выделки. Толщина дна и бортиков достигала 4 см. На Боршевском городище одно такое блюдо, распавшееся на части, было найдено стоящим внутри очага.

Такие же точно глиняные блюда, тех же размеров и формы, сделанные из такой же пористой глины, автор этой статьи видел не раз в 1946 г. в селах Болгарии и Югославии. Они служат для выпечки хлеба и называются по-болгарски — «подницами», а у сербов — «црапулями» (рис. 8).

Выпечка хлеба в поднице производится следующим образом. Подница ставится в очаг и внутрь ее насыпаются горячие угли. После того как подница достаточно накалилась, ее освобождают от углей, не вынимая из очага, и кладут на дно пресное тесто в виде больших лепешек. Затем подницу плотно закрывают крышкой — «врышницей» по-болгарски и «саджем» по-сербски — и засыпают сверху горячей золой и углями. Болгарская «врышница» делается из железа; сербский «садж» — из глины. Нет никакого сомнения в том, что таким же точно образом во второй половине первого тысячелетия н. э. выпекали хлеб славянские племена, жившие в своих земляных жилищах на широких пространствах среднего Поднепровья, на верхнем Дону и Донце и по верховьям Оки.

²⁴ L. Niederle, Manuel de l'antiquité slave, t. II, Paris, 1926, стр. 97.

²⁵ А. И. Иширков, Болгария, Одесса, 1911, стр. 207.

Приведенные выше этнографические и археологические данные, говорящие о наличии генетических связей между южными восточнославянскими племенами и населением придунайской Болгарии, должны привлечь к себе самое пристальное внимание специалистов. Весьма вероятно, что именно этим данным будет принадлежать в дальнейшем, при решении вопроса о генезисе древних дунайских северян и семи славянских племен — подунавцев, наиболее решающее слово.

Вместе с этим, вопрос о восточнославянских этнических элементах на Балканском полуострове должен решаться и в более широком плане. Если придунайская Болгария, как это можно предполагать на основании всего изложенного выше, была занята более или менее целостной группой восточнославянских, антских племен, то отдельные их потомки, несомненно, проникли и в другие области полуострова. Упомянутые Никитой Хониатом смоляне и драговиты Солунского сказания, обитавшие в юго-восточной части полуострова около г. Солуни, а также драговиты фракийские могут быть сопоставлены с восточнославянскими племенами отнюдь не с меньшей долей вероятности, чем с полабскими племенами — драговичами и смолянами.

Этнографические и археологические исследования помогут разрешить в данном случае большой исторический вопрос, значение которого далеко выходит за рамки древних судеб славянства, бросая свет на важнейшую проблему братских связей славянских народов СССР и славянских народов Балканского полуострова.



ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ

С. А. ТОКАРЕВ

ВКЛАД РУССКИХ УЧЕНЫХ В МИРОВУЮ ЭТНОГРАФИЧЕСКУЮ НАУКУ

Если обмен культурным опытом и научными достижениями является одним из важнейших стимулов роста науки и общего культурного прогресса во всем мире, то, напротив, взаимная разобщенность, изолированность отдельных стран в этом отношении всегда вредила развитию науки, тормозила культурный прогресс. Когда же такая разобщенность получает односторонний характер, когда научная деятельность в определенной стране или группе стран игнорируется учеными других стран, ее достижения замалчиваются, а порой в то же время присваиваются этими учеными,— тогда к общему вреду прибавляется несправедливость.

Такие мысли приходят на ум, когда познакомишься с историей этнографической науки в славянских странах. Кто захотел бы по общим историографическим обзорам — в английской, немецкой или французской литературе — составить себе представление о том, что собственно внесли ученые славянских стран в мировую этнографическую науку, тот пришел бы к выводам весьма неутешительным: судя по этим обзорам, судя по зарубежной этнографической литературе, где чрезвычайно редко встречается упоминание русского, польского или чешского имени, славянские страны почти не участвовали в развитии этнографических знаний. Обычно о работах русских этнографов говорят только тогда, когда дело касается этнографии народов России, а работы этнографов других славянских стран вспоминаются только в связи с вопросами славяноведения. За ними признается, таким образом, чисто местное, как бы провинциальное значение. Но как только дело коснется проблем общей этнографии, основных и принципиальных научных вопросов, а равно и этнографии зарубежных и неславянских стран,— тут как из рога изобилия сыплются английские, немецкие, голландские, французские и какие угодно имена, только не славянские. Россия и другие славянские страны, выходит, стояли в стороне от столбовой дороги развития этнографической науки.

Такой взгляд, однако, совершенно неверен и несправедлив. Господство его в литературе объясняется двумя причинами: во-первых, европейские и американские ученые в подавляющем большинстве не изучают ни русского ни других славянских языков и поэтому просто плохо осведомлены о нашей этнографической литературе; во-вторых, среди них упорно держалось и частью продолжает держаться пренебрежительное отношение к русской и славянской науке. К этой второй причине отчасти

сводится и первая, ибо нежелание изучать славянские языки само по себе есть лишь проявление того же пренебрежения к славянской науке. Пренебрежение же это объясняется в значительной мере враждебным отношением к России, которое после Октябрьской революции с удвоенной силой направилось на молодую советскую республику.

В настоящей статье делается попытка показать на конкретных фактах, что этнографическая наука в России — самой крупной из славянских стран — никогда не представляла собой простого отголоска зарубежной науки, что деятельность ее отнюдь не замыкалась в рамки узко местных вопросов и задач, что, напротив, русские ученые сделали крупный вклад в разработку общих проблем этнографии, что они в незначительной степени участвовали в общем развитии мировой этнографической науки, что, наконец, во многих случаях они опережали, и притом в самых принципиальных вопросах, достижения ученых всех других стран.

1

На фоне средневековой литературы, столь бедной конкретными этнографическими описаниями, но зато богатой баснословными рассказами, светлыми пятнами выделяются некоторые памятники ранней русской письменности: Киевская Начальная летопись начала XII в., дающая такой яркий и верный этнографический очерк населения Восточноевропейской равнины, — с точным перечислением племен, их географической локализацией, языковой классификацией и краткой характеристикой обычаев и культуры, — и еще более — знаменитое «Хождение за три моря» тверича Афанасия Никитина XV в., где (за 30 лет до «открытия Индии» Васко-да-Гамой) дан такой точный, правдивый и обстоятельный очерк быта тогдашней Индии, какой едва ли можно найти во всей европейской средневековой литературе.

Когда европейские государства вступили на путь колониальных захватов, последние породили новую литературу: повествования о походах конкистадоров и плаваниях моряков, описания вновь завоеванных заокеанских стран. Отсюда берет начало и молодая этнографическая литература — описания «нравов и обычаев» покоренных племен. Эта литература довольно обширна по размерам, но качество ее в подавляющем большинстве весьма невысокое, ибо у авторов этих этнографических описаний не было как правило ни серьезного интереса к наблюдаемым народам, ни умения понять их обычаи и культуру. Тем не менее эти описания представляют для нас ценность, поскольку знакомят нас со старой самобытной культурой колониальных народов, позже пришедшей в упадок.

Продвижение русских за Урал с конца XVI в. представляло собой тоже колониальную экспансию, но она не сопровождалась такими жестокостями против туземного населения, как это было в европейских колониях. Не ослепленные изуверским фанатизмом, как католические монахи и пуританские ханжи, русские завоеватели мягче относились к туземцам, которых они берегли хотя бы как плательщиков ясака, добытчиков пушнины. Быть может, отчасти этим объясняется и более серьезный тон тех ранних этнографических описаний, появление которых было косвенно связано с проникновением русских в Северную и Восточную Азию, если сравнить их с аналогичной западноевропейской литературой.

В самом деле, какое другое этнографическое сочинение XVII в., на любом европейском языке, можно поставить на один уровень хотя бы

с замечательным описанием Китая, которое составил Николай Спафарий, русский посол, бывший в этой стране в 1675 г.? Его «Описание первой части вселенныя именуемой Азии, в ней же состоит Китайское государство с прочими его городами и провинциями» поражает обстоятельностью и полнотой приводимых автором сведений о разных сторонах быта китайцев и до сих пор остается незаменимым источником по этнографии Китая. Другое, не менее замечательное сочинение — «Краткое описание о народе остячком» Григория Новицкого (1715) — едва ли не является самой ранней в мировой литературе чисто этнографической монографией. Автор ее освещает, хотя и сравнительно сжато, не только верования и разные обычаи остяков-хантов, но и их материальную культуру, семейный быт, организацию власти и пр., а также ставит вопрос о происхождении данного народа. К сожалению, оба названных сейчас выдающихся этнографических сочинения замалчивались зарубежной наукой.

Этого нельзя сказать о наиболее выдающемся произведении русской и мировой этнографической литературы XVIII в. — «Описании земли Камчатки» Степана Крашенинникова (1755). Этот труд талантливого русского исследователя, который и сейчас не перестает поражать глубиной и серьезностью понимания автором своей задачи, широтой его точки зрения, полнотой и реалистичностью описания, привлек к себе внимание не только русского, но и зарубежного ученого мира сразу же после выхода в свет. В ближайшие после этого годы появился ряд переводов этого классического сочинения на английский, немецкий, французский и голландский языки, — правда, переводы не слишком удачные и даже частью не вполне добросовестные. Однако и эти переводы не могли не послужить проводниками влияния труда Крашенинникова, которому европейская литература тогда ничего равного не могла противопоставить, на последующее развитие этнографической науки на Западе.

2

Таким образом, мы не ошибемся, если скажем, что именно у русских ученых раньше, чем на Западе, обнаружился серьезный этнографический интерес, интерес к изучению особенностей быта отдельных народов, а также вдумчивый подход к этим особенностям. Этот вывод еще более подтверждается следующим характерным фактом: именно в России мы впервые наблюдаем появление программ этнографических обследований, что свидетельствует о моменте некоторой плановости и систематичности в собирании этнографического материала.

Самая ранняя из таких программ, — вероятно, первая в истории мировой науки, — была составлена выдающимся русским ученым — историком В. Н. Татищевым в 1734 г. Это был вопросник по истории и географии Сибири, разосланный Татищевым по канцеляриям сибирских и приволжских городов и провинций, когда ему пришлось по службе столкнуться с народами, населявшими эти области. Большая часть вопросов носила чисто этнографический характер. В дополненном виде эта анкета Татищева (того же 1734 г.) состояла из 198 вопросов. Поступившие по этой анкете материалы были переданы в Академию Наук¹. В самой Академии около этого же времени была составлена более краткая, но не менее интересная программа-инструкция, по кото-

¹ А. И. Андреев, Труды и материалы В. Н. Татищева о Сибири, «Советская этнография», 1936, № 6, стр. 93—94.

рой должны были собирать историко-этнографический материал Г. Ф. Миллер и его сотоварищи — члены большой Академической экспедиции 1733—1743 гг.² Характер вопросов этой программы дает понятие о том относительно очень высоком уровне, на каком стояло в Академии понимание задач этнографического изучения страны. Авторы инструкции предлагали участникам экспедиции «наипаче наблюдать... где будут пределы каждого народа, какие границы и не разных ли происхождений и разных родов народы между собою смешаны, или нет». Предлагалось далее собирать этногонические предания народа. «Какие суть начала каждого народа по их же повествованию, какие суть каждого народа древние жилища, преселения, дела и проч.». За этими вопросами, касающимися этногенеза, следовали вопросы о религии, обычаях, языке: «какая есть в каждом народе вера и имеют ли они какую-нибудь естественную»; «должно примечать обычаи и обряды народные, домашние и брачные и пр.»; требовалось собрать образцы языка, причем при записи местных названий рекомендовалось применять точную фонетическую транскрипцию: «Имена каждого народа, страны, реки, города и проч. точно по настоящему того народа и соседних народов произношению записывать должно, прибавляя к ним, если только доискаться можно, и происхождение имен». Замечательна и программа, которая имеется в инструкции, составленной самим Миллером для своего помощника Фишера³: она содержит в себе до тысячи вопросов, касаясь самых различных сторон быта обследуемых народов. В этой инструкции Миллер формулировал свой взгляд на цель этнографических исследований: они, по его словам, «полезны для истории, чтобы показать взаимное родство народов из общности их обычаев и языков», — взгляд, свидетельствующий о весьма глубоком для того времени понимании задач этнографической науки.

Итак, уже в эпоху больших академических экспедиций XVIII в. этнографические исследования в России проводились систематически, и притом на довольно высоком методологическом уровне. В западно-европейских странах в те годы едва ли можно отметить что-либо подобное.

Но если говорить о плановом и систематическом проведении этнографических обследований, то нужно обратиться к другой, более поздней эпохе — к середине XIX в., когда организацию этих работ взяло в свои руки только что созданное тогда Русское географическое общество (с 1845 г.). Деятельность Отделения этнографии этого общества — в особенности за первые 15 лет — составила крупный вклад в мировую этнографическую науку. Широкий размах деятельности, глубина и серьезность поставленных задач, очевидность достигнутых богатых результатов — все это позволяет считать, что в те годы русская этнографическая наука выдвинулась вновь на первое место среди других стран.

В самом деле. Хотя Русское географическое общество и его Отделение этнографии были созданы позже этнографических обществ в Германии (1828), Франции (1839) и Англии (1843), но эти общества в названных странах далеко не могли развернуть такой широкой, планомерной и успешной собирательской деятельности, как Отделение этнографии РГО. Учредители последнего особенно подчеркивали важность именно этнографического изучения страны, — об этом специально сказано было в докладной записке по поводу организации Общества (1845). С первых же лет Отделение развило энергичную деятельность по соби-

² Г. Ф. Миллер, История Сибири, М.—Л., 1937, стр. 460—461.

³ Напечатана в «Сборнике Музея по антропол. и этногр.», I, 1900.

ранию этнографического материала. Уже в 1847 г. была составлена и разослана в 7 тысячах экземпляров на места особая программа («циркуляр»), включавшая вопросы о физическом типе населения, языке, материальной и духовной культуре, преданиях и памятниках старины. Автором программы был Н. И. Надеждин, принимавший вообще видное участие в руководстве работой Отделения этнографии. В 1848 г. была составлена и разослана новая, расширенная программа собирания разного этнографического материала. Руководители Общества обратились с призывом ко всем русским образованным людям — собирать по данной программе и присылать этнографические описания отдельных местностей, районов, сел. Призыв не остался без ответа. Отовсюду стали поступать десятки и сотни описаний быта, обычаев, верований населения отдельных уездов, волостей, деревень. Через пять лет после рассылки программы число таких описаний, скопившихся в руках руководителей Общества, составило около двух тысяч. Разборкой и редактированием их занялись Н. И. Надеждин и К. Д. Кавелин, и скоро оказалось возможным приступить к систематическому печатанию лучших из собранных материалов. Так родилась на свет серия «Этнографических сборников» (1853—1864), сменивших затем фундаментальным и многолетним изданием «Записки Русского географического общества по отделению этнографии».

Не ограничиваясь, однако, этой сравнительно пассивной формой собирания этнографического материала, Географическое общество организовывало и ряд специальных экспедиций за сбором подобного материала. Одна из самых крупных экспедиций (1850-е гг.) охватила районы Поволжья, Север, Поднепровье, Поднестровье и др. и дала богатые результаты, так же как и «Этнографическо-статистическая экспедиция в Западно-русский край» (конец 1860-х годов) под руководством П. П. Чубинского.

Самый метод планового, систематического собирания этнографического материала в широком масштабе, охватывавшем чуть не всю огромную страну, под руководством ученого общества во главе с теоретически подготовленными специалистами, с привлечением значительного круга добровольцев-участников из местной интеллигенции, — представлял собой бесспорно нечто новое в мировой этнографической науке и для того времени должен рассматриваться как крупный вклад в нее.

3

Главной ареной «полевой» работы русских этнографов, собирания ими конкретного фактического материала была, конечно, Россия и ее народы; для ученых западных и южных славянских стран — их собственные народы. Их заслуги в этой области никем не оспариваются. Здесь надо говорить уже не о «вкладе», а о том, что славянские, и, в первую очередь, русские ученые открыли для науки целый огромный мир — быт и культуру многих десятков народов, населяющих более чем шестую часть земного шара, которые без гигантской работы славянских ученых остались бы поныне почти неизвестными науке, — как они и остаются неизвестными для некоторых европейских и американских «этнографов», продолжающих высокомерно игнорировать русскую и славянскую этнографическую литературу или пользующихся ею из сомнительных третьих рук.

Немногим уступают этому и заслуги русских ученых по исследованию этнографии сопредельных нам стран Центральной и Восточной Азии. В изучение великой цивилизации Китая, быта его народов русские исследователи вложили не меньше сил, чем западноевропейские.

Достаточно напомнить о долголетней и продуктивной деятельности ученых монахов — членов Российской духовной миссии в Пекине. Из них на первом месте бесспорно стоит Иакинф Бичурин, один из крупнейших синологов мира. Своими неутомимыми и многолетними трудами над китайскими историко-этнографическими источниками, переводами их и своими непосредственными систематическими наблюдениями — Иакинф один создал целую библиотеку описаний стран Восточной и Центральной Азии, охватывающую в целом огромный промежуток времени от эпохи старших Ханей и вплоть до XIX в. Вспомним «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» (3 тома, 1851), «Историю Тибета и Хухэнора» (2 тома, 1833), «Историческое обозрение ойратов или калмыков» (1833), «Описание Чжунгарии и Восточного Туркестана» (1829), «Записки о Монголии» (1828) и ряд других, а особенно — наиболее интересное для этнографа «Китай в гражданском и нравственном состоянии» (4 тома, 1848). Иакинфовы переводы и сводки китайских источников доньше остаются незаменимым, ценнейшим пособием для всякого историка и этнографа Китая и Центральной Азии.

Немало сделал в том же направлении и другой ученый монах, член той же миссии — Палладий Кафаров. Наиболее важный из открытых и переведенных им памятников — это знаменитое «Сокровенное сказание» о Чингис-хане («Юань-чао-ми-ши»), опубликованное в 4-м томе «Трудов членов Росс. дух. миссии в Пекине» (1866), — ценный источник сведений о быте монголов XII—XIII вв.

Этнография стран Центральной Азии — Монголии и Тибета, мало доступных для западноевропейской науки, — была открыта для ученого мира главным образом трудами великих русских путешественников — Пржевальского, Потанина, Позднеева, Козлова, Грум-Гржимайло и других. Эти путешественники ставили перед собой различные цели: одни стремились к географическим открытиям, другие интересовались древними памятниками, рукописями и пр. Но все внесли большую или меньшую лепту в этнографическое изучение народов Центральной Азии. Можно смело сказать, что без героического труда наших путешественников, преодолевавших необычайные трудности в безводных песках и на суровых нагорьях Тибета и Монголии, мировая наука очень мало знала бы о народах этих стран.

Но русские ученые сделали немалый вклад и в этнографическое изучение народов за океанских стран. Достаточно напомнить чрезвычайно интересные работы участников русских кругосветных плаваний начала XIX в., собравших ценный материал по народам Океании: плавание Крузенштерна и Лисянского на кораблях «Надежда» и «Нева» (1803—1806), описавших быт туземцев Гавайских и Маркизских о-вов и о-ва Пасхи; материалы Головнина («Диана», 1807—1809) по о-ву Танна и др.; Коцебу («Рюрик», 1815—1817, «Предприятие», 1823—1826) по о-вам Таити, Маршалловым и Гавайским; Литке («Сенявин», 1827—1828) по Каролинским о-вам и др. — составляют бесспорно заметный вклад в этнографию Океании. Они дают во многом более полную и правдивую картину быта туземного населения, ибо русские моряки и исследователи не были, в отличие от своих коллег, плававших под другими флагами, заинтересованы в затушевывании разбойничьих подвигов европейско-американских колонизаторов, купцов, миссионеров и правительственных агентов, которые совокупными усилиями сумели в довольно короткий срок сократить едва ли не в десять раз численность местного населения островов. В русских путешествиях по Океании мы находим наряду с описаниями туземного быта очень яркие картинки деятельности этих рыцарей колониального грабежа.

Еще более значителен вклад русских исследователей в изучение народов Северо-западной Америки, входившей до 1867 г. в состав российских владений. Наиболее энергичная исследовательская деятельность в Российской Америке падает на 1830—1840-е гг. — время расцвета деятельности Российско-Американской компании, перед тем как открытия в бассейне нижнего Амура вызвали перенесение экономических интересов туда. На эти годы приходится путешествие и работы К. Т. Хлебникова, результаты которых до сих пор выявлены и оценены лишь в небольшой степени; ценнейшие исследования И. Е. Вениаминова — одного из самых выдающихся этнографов XIX в.; экспедиции Л. Я. Загоскина, И. Г. Вознесенского и др. Если своим открытием Северо-Западная Америка обязана русским экспедициям XVIII в., то и этнографическое изучение ее народов — тлинкитов, алеутов, кадьякцев, западных эскимосов — составляет в наибольшей степени заслугу русских ученых. Это признают современные американские исследователи, использующие ныне богатое научное наследство той классической эпохи русской американистики.

Особенно выделяются в этом наследстве, конечно, работы Вениаминова. Его «Записки об островах Уналашкинского отдела» (1—3, 1840) представляют собой не только редкую по полноте и обстоятельности монографию, но и по своему теоретическому уровню ярким пятном выделяются на фоне мировой этнографической литературы того времени: трезвый реалистический подход к материалу, добросовестное стремление понять психологию и обычаи народа, язык которого он хорошо изучил и которому искренне симпатизировал, не впадая при этом в идеализацию, понимание роли естественной среды и «образа воспитания», т. е. культурной традиции, умение разграничить старые самобытные явления от нововведений, вызванных контактом с русскими, интерес к общественному быту, к материальной культуре и пр., — в каком другом этнографическом труде того же и даже более позднего времени, на любом языке, мы найдем соединение подобных качеств?

Обходя молчанием — за недостатком места — другие исследования русских и славянских ученых в заокеанских странах, мы упомянем только об одном, чьи работы составили не только крупный вклад в смысле фактического материала, но и имели большое принципиальное значение с точки зрения научного метода: о Миклухо-Маклае.

Деятельность этого замечательного ученого-гуманиста, отважного путешественника и прозорливого исследователя составляет предмет гордости и русской и мировой науки. Своими многолетними исследованиями в Океании и Индонезии Миклухо-Маклай внес совершенно новую струю в историю науки. Оставляя в стороне результаты его ценных естественнонаучных работ, напомним только, что своими антропологическими наблюдениями Миклухо-Маклай в немалой степени содействовал торжеству правильного моногенетического взгляда на происхождение человека и его рас — против антинаучных расистских теорий. Что касается собственно этнографических исследований Миклухо-Маклая, то необходимо напомнить прежде всего, что он был пионером совершенно нового метода полевой этнографической работы: отважный исследователь не побоялся поселиться один среди папуасов Новой Гвинеи, пользовавшихся репутацией жестоких людоедов, на берегу, куда не ступала прежде нога белого человека, и прожил с этими дикарями много месяцев, установив с ними дружественные отношения, изучив их язык, оказывая им разнообразные услуги и непрерывно ведя научные наблюдения. Миклухо-Маклай доказал на деле, что такой метод этнографической работы не только больше согласуется с принципами гуманизма, но и в чисто научном отношении дает гораздо

больше, чем вооруженные экспедиции или наблюдения с борта корабля при кратковременных визитах мореплавателей. Правда, у русского ученого были в этом смысле предшественники в лице миссионеров, которые тоже годами жили одни среди туземцев и изучали их языки; но миссионеры преследовали при этом совсем другие цели, и эти цели, за редкими исключениями, дурно отражались на научных результатах их наблюдений. Маклай же был первым ученым, который с чисто научными целями предпринял трудный и опасный опыт «стационарной» этнографической работы нового типа и добился блестящего успеха этого опыта. Результаты этнографических исследований Миклухо-Маклая не очень велики количественно,—погибший рано исследователь не успел опубликовать многого из своих материалов. Зато они представляют огромную ценность для науки в двух отношениях: в смысле достоверности описанных Маклаем фактов,—добросовестность русского исследователя не позволяла ему записывать и тем более публиковать ничего, в чем он не убедился путем строго научного наблюдения; и в смысле умения Маклая передать конкретную, живую картину жизни туземцев,—чем материалы Маклая выгодно отличаются от многих увесистых монографий новейших англо-американских или немецких этнографов, где живая действительность совершенно потоплена в горах сухих схем и мало вразумительных таблиц.

Работы Миклухо-Маклая, в отличие от работ многих других русских и славянских ученых, хорошо известны европейско-американским ученым,—значительную часть своих материалов Маклай печатал в иностранных журналах; поэтому они не могли не оказать влияния на мировую этнографию, и можно назвать немало попыток применения новейшими исследователями маклаевского метода. Но все же этнографы всех стран еще многому могут поучиться у великого русского ученого и путешественника.

4

Чтобы не возвращаться в дальнейшем к вопросам методики полевой этнографической работы и собирания материала, напомним, что метод стационарных исследований, с длительным пребыванием среди изучаемой народности, с обязательным изучением ее языка, при сочетании научной работы с практической помощью населению, был после Миклухо-Маклая детально разработан и успешно применен именно в русской этнографии. В разработке этого метода велика заслуга политических ссыльных, исследователей-революционеров, которым в эпоху самодержавия приходилось нередко проводить долгие годы в отдаленных районах Севера, среди нерусского населения, и они отдавали свой вынужденный досуг делу изучения этого населения и помощи ему. Так выросла целая обширная этнографическая литература по народам Сибири и Севера — работы Худякова, Ковалика, Ионова, Виташевского, Левенталья, Майнова, Трошанского, Штернберга и др. В числе этих политических ссыльных-исследователей были и поляки — Серошевский, Ястремский, Феликс Кон. Некоторые из этих этнографов, как Богораз, Иохельсон, в дальнейшем внесли свой опыт и знания в совместную работу с американскими учеными по изучению азиатско-американских культурно-этнических связей — в большую «Джезуповскую севернотихоокеанскую экспедицию», материалы которой составляют крупный вклад в этнографическую литературу.

Через Богоразу и Штернберга славные традиции старой революционно-демократической этнографии с ее характерным методом стационарной полевой работы перешли в советскую этнографию. Послед-

няя усвоила и углубила этот метод. Из школы Штернберга и Богораза вышли молодые советские этнографы-собираатели, посвящавшие свои силы многолетнему изучению отдельных народностей: они поселялись среди последних, усваивали их язык, работали в местных школах, красных чумах, краеведных пунктах, активно участвовали в общественно-культурной работе среди изучаемого народа и параллельно собирали ценнейший материал. Советская система проведения экономических и культурных мер для подъема отсталых народностей наших окраин давала для такой работы прекрасные возможности — культурные базы Комитета Севера, краеведные пункты, школы, политико-просветительные учреждения, медицинская сеть и пр. В дальнейшем в этнографическую работу этого типа стали втягиваться и молодые кадры из рядов самих местных народностей, — так появились первые ученые-националы, этнографы — питомцы советской школы, ведущие исследовательскую работу среди своих соплеменников. Это было не что иное, как поднятие на более высокий уровень той традиции стационарной полевой работы, которая тянется от Миклухо-Маклая через этнографов — политических ссыльных до советского поколения исследователей-этнографов и которая составляет крупный вклад в методику этнографической науки в целом. Ни одна другая страна мира не может похвалиться подобной традицией.

5

От полевой собирательской работы этнографов перейдем теперь к основным, принципиальным вопросам этнографической науки. Что внесли в этом отношении русские ученые в мировую науку?

Прежде всего, само понимание задач этнографии как науки, определение ее места среди других наук, ее специфики, ее метода. У кого из ранних авторов мы впервые найдем такое понимание? Роберт Лоуи в своей «Истории этнологической теории» — обзоре истории этнографических учений — считает целесообразным начать ее с изложения взглядов двух немецких историков — Мейнерса и Клемма, оговариваясь, впрочем, что выбор отправной точки всегда условен⁴. В данном случае ее выбор мало удачен. В самом деле, Мейнерс в своей *Grundriss der Geschichte der Menschheit* (1785) проявил, правда, интерес к некоторым народным обычаям, но, по заявлению самого Лоуи, был весьма далек от мысли о самостоятельной науке, которая бы изучала народные обычаи, да и не считал возможным и полезным делом собирать и изучать все обычаи всех народов. Мейнерсу можно поставить в заслугу интерес к истории культуры, но он был совершенно чужд даже самого отдаленного понимания задач этнографии как особой науки, — да и самого слова этого тогда не существовало. Клемм же писал гораздо позже — в 1843—1855 гг., но и он, хотя был большим любителем коллекционировать разные факты культурной истории человечества и придерживался точки зрения прогрессивного развития культуры, отнюдь не был этнографом и едва ли имел какое-либо представление о задачах этой науки. После этих «пионеров» (как видим, весьма сомнительных) Лоуи переходит к изложению взглядов Теодора Вайца, Адольфа Бастиана и английских эволюционистов.

Если бы Лоуи знал русский язык и историю русской этнографии, он мог бы найти в ней гораздо более подходящих «пионеров» этой науки — в смысле понимания ее принципиальных задач и специфики. Он нашел бы их среди основателей и первых руководителей Русского географического общества. На одном из первых заседаний Отделения

⁴ R. Lowie, *History of ethnological theory*, 1937, стр. 10—11.

этнографии этого общества — 6 марта 1846 г. — председатель его акад К. М. Бэр выступил с докладом, озаглавленным «Об этнографических исследованиях вообще и в России в особенности». В этом докладе — уже одно заглавие которого для того времени знаменательно — акад. Бэр развил ряд интересных мыслей, свидетельствующих о серьезном понимании задач этнографической науки. Сравнительная этнография, по словам Бэра, дополняет историческую науку, в особенности там, где ощущается недостаток в прямых исторических данных. Теоретические взгляды Бэра отнюдь не во всем были передовыми, даже для его времени. В понимании этнических особенностей отдельных народов Бэр отражал ненаучные представления того времени, видя — вслед за Блюменбахом — причинную зависимость между расовыми признаками и политическим устройством общества. Однако в постановке вопроса о задачах этнографии он шел далеко впереди своих зарубежных коллег. Бэр подчеркивал важность и неотложность этнографических исследований, ибо «запасы для работ этнографических уменьшаются с каждым днем вследствие распространяющегося просвещения, которое сглаживает различия племен». «Все сведения, кои еще возможно соединить, составляют сокровище, которое с течением времени возрастает в цене. Поэтому все, что сделано будет для этнографии, сохранит по себе самое продолжительное воспоминание»⁵. Бэр и сам не чужд был полевой этнографической работы: в этом же докладе он ссылаясь на свои собственные наблюдения среди промыслового населения Новой Земли, куда он совершил поездку в 1837 г.

Еще более ясное понимание задач этнографии обнаружил в своем программном докладе «Об этнографическом изучении народности русской» Н. И. Надеждин, один из самых активных руководителей Общества. В этом докладе, прочитанном 29 ноября того же 1846 г. Надеждин высказывает, прежде всего, следующую важную и интересную мысль: у нас, говорит он, накоплено уже много этнографического материала, но этнографии как науки у нас еще нет. В чем же разница между этнографическим материалом и этнографией как наукой? Надеждин точно определяет эту разницу. «Собирать материал для Науки, — указывает он, — может всякой охотник, личным усердием и личными средствами. Но самая Наука является только тогда, когда, во-первых, сбор материалов производится не набегом и урывочно, как где пришлось, как попало под руку, но систематически, в порядке, связи и полноте, требуемых Наукою»⁶; во-вторых же, собранный материал должен быть пропущен сквозь «чистительное горнило строгой, разборчивой критики». Эта замечательная мысль, — и в наши дни не устаревшая, ибо есть люди, и сейчас не понимающие разницы между этнографическим материалом и этнографической наукой, — свидетельствует о необычайной ясности понимания Надеждиным современного ему состояния научных знаний и очередных задач научной работы. Далее Надеждин, человек широкого образования с разносторонними интересами, пытается дать философское определение задач этнографии. Он перебирает разные возможные определения, — одни оказываются слишком узки, другие слишком широки, — и останавливается на определении этнографии, тесно связанной с географией, как науки о народах. «Ее (этнографии) задача: приурочивать «людское» к «народному» и чрез то обозначать в нем «общечеловеческое»⁷. «Народности» — это естественные разряды в «человечестве», они и составляют содержание этнографии. Так как вернейшее средство различать народы — это язык, то изучение народного (а не книжного!)

⁵ Записки РГО, I, СПб., 1846, стр. 94—95.

⁶ Записки РГО, II, 1847, стр. 63—64.

⁷ Там же, стр. 67.

языка составляет первую задачу этнографа. «Лингвистическая этнография» составляет первый раздел этой науки, за ней идет «физическая» (т. е. антропология) и «психическая», под которой Надеждин разумел этнографию в нашем смысле слова.

Очень интересны также мысли Надеждина о том, в чем заключаются задачи той критики, в которой он усматривал первый признак науки. По его мнению, задача критики состоит в том, чтобы выделить то, что свойственно данному народу самому по себе, отсеяв различные посторонние влияния и заимствованные элементы. Говоря об изучении русского народа, Надеждин ставил задачей определить, что свойственно «первобытной, основной, чистой, беспримесной русской натуре», а что представляет собой влияние чуди, немцев, византийцев, варягов⁸. Хотя подобная постановка вопроса не может нас вполне удовлетворить по своей некоторой упрощенности, — ибо современные исследователи не противопоставляют «первобытной, основной, чистой, беспримесной» природы данного народа всяким посторонним влияниям, — однако для того времени взгляд Надеждина представлял собой крупный шаг вперед в понимании задач этнографии: это был, хотя и в несколько упрощенном выражении, тот принцип историзма, впервые тогда сформулированный, который впоследствии сделался руководящим принципом этнографической науки.

Для достижения поставленной цели — выделения исторических пластований в данной народности — Надеждин указывал метод сравнительное изучение отдельных частей этой народности. Применительно к задачам русской этнографии это означало изучение все географических групп русского народа — Руси во всех ее «самомельчайших разветвлениях». С этой задачей, так глубоко и теоретически обоснованной Надеждиным, и было связано предпринятое Географическим обществом в широких масштабах планомерное собирание этнографического материала по всей стране по единой программе.

Не меньше ценного внес в сокровищницу этнографических идей третий из активных деятелей Географического общества — К. Д. Кавелин. Ближайший со товарищ Надеждина по работе в Отделении этнографии, по разборке поступавших туда описательных материалов, Кавелин не раз имел случай высказывать свои мысли о значении этих материалов для науки. Мы не будем, однако, излагать эти его мысли в значительной мере совпадающие с уже изложенными, а познакомимся с его идеями, представлявшими дальнейшее углубление понимания задач этнографической науки. В своей известной статье «Взгляд на юридический быт древней России» (1846), а потом в рецензии на книгу Терещенко «Быт русского народа» (1848) Кавелин развил целую программу изучения народных обычаев, обрядов и верований, обстоятельно изложив свое поразительно глубокое — для того времени — понимание этих явлений.

В упомянутой статье 1846 г. Кавелин, отправляясь от проблемы древней русской истории, ставит вопрос о том, где «ключ» к правильному пониманию этой истории, и отвечает указанием на «наш внутренний быт», т. е. на факты этнографии, которые гораздо лучше, чем летописи, сохраняют остатки глубокой старины⁹. «Ищите в основании обрядов, поверий, обычаев-былей, — писал Кавелин в другом месте, — когда-то живых фактов, ежедневных, нормальных, естественных условий быта, и вы откроете целый исторический мир, которого тщетно будем искать в летописях, даже в самых преданиях...». Народные обычаи — ключ к истории народа. Как это понимать? — «Наши простые

⁸ Там же, стр. 80—81.

⁹ К. Кавелин, Собр. соч., т. I, стр. 33—35.

народные обряды, приметы и обычаи,— разъясняет Кавелин,— в том виде, как мы их теперь знаем, очевидно, сложились из разнородных элементов и в продолжение многих веков». Вследствие многовековой непрерывной «перестройки» исторического быта народа «наши обычаи и обряды представляют самый нестройный хаос, самое пестрое, повидимому, бессвязное, сочетание разнороднейших начал. Развалины эпох, отделенных веками, памятники понятий и верований самых разнородных и противоположных друг другу, в них как бы набросаны в одну грудку в величайшем беспорядке». Так как «подвести их под систему, объяснить из одного общего начала невозможно», то для объяснения всей этой хаотической массы обычаев и обрядов «остается одно средство: разобрать их по эпохам, к которым они относятся, по элементам, под влиянием которых они образовались». Для разъяснения этой задачи Кавелин прибегает к сравнению с методом естественных наук. «По примеру геологии, критика должна найти ключ к этим ископаемым исчезнувшего исторического мира». «Ключ» же этот заключается в следующем: «Всякий обряд, поверье, обычай непременно имеют исторически, в основании своем, действительный факт, естественный или бытовой. Сначала они не поверье, не обряд, а простое понятие или живое действие». Лишь позже, с изменением исторических условий, представление становится поверьем, действие — обрядом; им придают тогда новое толкование, не соответствующее их подлинному историческому происхождению. Народным осмыслениям обрядов, по мнению Кавелина, верить нельзя, ибо народ сам не помнит первоначального их смысла¹⁰.

В этих чрезвычайно интересных мыслях, развитых Кавелиным в 1846—1848 гг., мы узнаем не что иное, как тот «метод пережитков», который обычно приписывается Эдуарду Тэйлору и действительно был разработан английским ученым, но только двадцатью годами позже, чем его русским предшественником. Кавелин не употребляет слова «пережитки»,—заслугу введения этого слова (survival) можно оставить за Тэйлором,—но все учение о пережитках мы видим у него в законченном виде. В одном только кавелинский «метод пережитков» отличается по существу от тэйлоровского: Кавелин не прибегал к приему сравнения, которым так широко пользовались и, прибавим кстати, злоупотребляли эволюционисты школы Тэйлора. С другой стороны, Кавелин критически относился и к той гипотезе «заимствования», которой и в его время, как и позже, многие злоупотребляли: нельзя, говорит он, рассматривать наши обычаи, поверья, как от кого-то заимствованные, только на том основании, что они сходны с чужими¹¹.

Итак, если считать началом развития этнографии как науки момент ясного понимания и формулировки задач и принципов этой науки, то «пионерами» мировой этнографии необходимо признать не Мейнерса, Клемма и Вайца, а Бэра, Надеждина и Кавелина.

6

Переходя от общего понимания задач этнографии как науки к основным проблемам этой науки, мы, прежде всего, должны коснуться учения о стадийности развития человечества на ранних ступенях его истории, с чем связано и решение проблемы периодизации истории. Единственно научным методом систематизации этнографического материала,—если оставить в стороне чисто вспомогательную техническую и формальную группировку народов по языкам или по хозяйственно-культурным типам и ареалам,—является уста-

¹⁰ К. Кавелин, Собр. соч., т. IV, стр. 33—35.

¹¹ Там же, стр. 39—45..

новление исторической последовательности стадий развития, исходящее из идеи единства и закономерности исторического процесса. Размещение отдельных народов, живых и древних, по стадиям единого исторического процесса — с учетом, разумеется, всех конкретно-исторических условий и особенностей в каждом отдельном случае — дает возможность превратить этнографическую науку в могучее орудие исторического познания. Именно в этом видели основоположники марксизма крупную заслугу Льюиса Моргана. Эта заслуга, по словам Энгельса, состоит в том, что Морган — при помощи правильного анализа этнографического материала — «открыл и восстановил в главных чертах... доисторическую основу нашей писаной истории и в родовых объединениях североамериканских индейцев нашел ключ, раскрывающий нам важнейшие, до сих пор не разрешимые загадки древней — греческой, римской и германской — истории». Эта «великая заслуга Моргана» (Энгельс) ни у кого из нас не вызывает сейчас сомнения. Однако мало кто знает, что и Морган имел в этом деле своего предшественника и что этим предшественником был великий русский ученый и демократ — Н. Г. Чернышевский.

Чернышевский не был специалистом-этнографом, но он обладал поразительно ясным пониманием задач и принципов этнографии. Главное значение этой науки, которую он очень ценил, Чернышевский видел в том, что этнография позволяет реконструировать древнейшую историю человечества. Чрезвычайно интересны мысли, излагавшиеся по этому поводу Чернышевским в одной из его статей в «Современнике» — в рецензии на «Магазин земледения и путешествий» Фролова — в 1855 г., т. е. за 22 года до выхода в свет основного труда Моргана. В этой статье Чернышевский указывает, прежде всего, на большую важность общественно-исторических наук сравнительно с естественными. «Как ни возвышенно зрелище небесных тел, — говорит он, — как ни восхитительны величественные или очаровательные картины природы, человек важнее, интереснее всего для человека. Поэтому, как ни высок интерес, возбуждаемый астрономиею, как ни привлекательны естественные науки, важнейшую, коренную наукою остается и останется навсегда наука о человеке»¹². Среди же наук о человеке важнее всего те, которые позволяют понять окружающую нас действительность, нашу цивилизацию. Но понять ее можно только, если знать «первоначальную сущность» составляющих ее «учреждений». Древнейший период развития этих «учреждений» изучается двумя науками — исторической филологией и этнографией. Из этих двух наук Чернышевский отдает первенство этнографии.

«Все, что с невероятными усилиями соображения успевает добыть историческая филология для объяснения первобытной жизни, сообщает нам этнография в живых, простых, ясных рассказах; потому что... наши древнейшие предки начали с состояния, совершенно подобного нынешнему состоянию австралийских и других дикарей, стоящих на низшей степени развития, потом постепенно проходили те состояния несколько более развитой нравственной и общественной жизни, какую видим у различных негритянских племен, у северо-американских краснокожих, у бедуинов и других азиатских племен и народов; каждое племя, стоящее на одной из степеней развития между самым грубым дикарством и цивилизацией, служит представителем одного из тех фазисов исторической жизни, которые были проходимы европейскими народами в древнейшие времена. Поэтому этнография дает нам все те исторические сведения, в которых мы нуждаемся»¹³. «Итак,

¹² Н. Г. Чернышевский, Собр. соч., т. I, стр. 225, 1906.

¹³ Там же.

посредством исторических разысканий о первобытных временах жизни наших предков,— говорит далее Чернышевский,— мы открываем те же самые факты, какие видим в жизни различных диких и полудиких племен; этнография говорит совершенно то же, что историческая филология». Однако преимущество этнографии состоит в том, что она видит своими глазами то, что филология только предполагает. «И верность и полнота на стороне этнографии. Поэтому-то она должна быть главнейшею предводительницею при восстановлении древнейших периодов развития народов»¹⁴.

Оставляя в стороне другие чрезвычайно интересные мысли Чернышевского по вопросам этнографии — его антирасистские высказывания, его гениальные идеи о зависимости «обычаев, понятий и учреждений» всякого общества от исторических условий, «степени развития и внешних условий жизни», мы можем ограничиться одними вышеприведенными мыслями замечательного русского ученого, чтобы убедиться в том, что Чернышевский действительно предвосхищал учение Морганов в важнейшей его части. Что современные остальные народы показывают нам картину нашего собственного исторического прошлого, и притом каждый народ представляет какую-то определенную стадию этого прошлого,— эта мысль составляет ведь краеугольный камень учения Морганов и вместе с другими наиболее ценными сторонами его учения она стала неотъемлемой частью нашей марксистской, да и вообще всей прогрессивной этнографии. Сказанное не умаляет, конечно, заслуг самого Морганов, который не только высказал, но и обосновал на конкретных фактах это учение о стадийной закономерности развития человечества и указал, на основании конкретных же фактов, место отдельных народов в этом развитии. Но высказывания Чернышевского характеризуют в известной мере высоту теоретического уровня, достигнутого в то время русской наукой, что и существенно для нас в данном случае отметить.

7

Для понимания задач этнографии как науки очень важен правильный взгляд на взаимоотношения ее со смежными науками и — еще более — умение правильно сочетать данные этих наук. В принципе все признают необходимость тесной увязки этнографического материала с данными археологии, антропологии, лингвистики, письменной истории. Но одно дело признавать, другое — уметь практически применять, разрабатывать, комбинировать материал этих смежных, но самостоятельных наук. Для этого надо его, прежде всего, хорошо знать, а это требует незаурядной эрудиции одновременно в нескольких науках. Помимо этого, самый метод сочетания данных, заимствованных из разных наук, требует особой разработки.

Вот почему так велика научная заслуга одного из выдающихся русских ученых и созданной им школы — Д. Н. Анучина. Среди зарубежных исследователей трудно найти человека, который с такой необычайной широтой эрудиции, с такой разносторонностью подготовки и с таким мастерством, как Анучин, умел бы ставить и решать научные проблемы, требующие привлечения этнографических, археологических, документальных и других источников. Поэтому каждая из более или менее значительных работ Анучина оставляла неизгладимый след в историографии соответствующего вопроса. Примером может послужить даже такая ранняя его работа, как «Племя айнов» (1876), где во всю широту едва ли не впервые была поставлена проблема

¹⁴ Там же, стр. 225—226.

происхождения этого маленького загадочного народа, а еще более позднейшие исследования Анучина: «Лук и стрелы» (1887) — мастерской «археолого-этнографический очерк», послуживший образцом для работ зарубежных этнографов, Бальфура и Ратцеля, которые, однако, далеко уступают ему в широте и серьезности трактовки; «Сани, ладья и кони, как принадлежности похоронного обряда» (1890); «Древнерусское сказание «О человеках неизвестных в восточной стране» (1890) — искусная этнографическая интерпретация легендарного средневекового памятника, и ряд других. Большое принципиальное значение имеет программная статья Анучина «О задачах русской этнографии»¹⁵, где ставится как основная ближайшая задача — составление капитальных монографий по отдельным народам, с исчерпывающим привлечением всех источников и материалов, включая непосредственные полевые наблюдения. В этой статье Анучин подчеркивает большое общенаучное значение этнографии, а также и ее крупное общественное и просветительное значение.

Анучину и русская и мировая наука обязана серьезным обоснованием необходимости тесной координации трех наук — этнографии, археологии и антропологии. Эта «Анучинская триада» получила свое воплощение и в системе университетского преподавания (Московский ун-т) и в созданном самим Анучиным замечательном музее, послужившем моделью для некоторых западноевропейских музеев, — например, известный немецкий антрополог Рудольф Мартин называл анучинский музей недостижимым для него идеалом.

Сформулированные Анучиным принципы вдохновляли русских исследователей на протяжении многих лет. В духе этих принципов писались ценные монографии — от «Русских лопарей» Николая Харузина (1890) до новейших работ Б. А. Куфтина, посвященных проблемам восточноевропейской этнографии. В зарубежной литературе идеи Анучина нашли себе довольно слабый отголосок: там в эти годы шла борьба между поверхностным эволюционизмом и модными, довольно разношерстными направлениями — от «культурно-исторического» до чисто биологического.

8

Одной из кардинальных проблем этнографии является, как известно, проблема родового строя и связанная с ней проблема ранних форм развития семьи. В разработку этой области этнографических вопросов русская наука внесла тоже немалый вклад.

До 60-х гг. XIX в. европейской науке была известна только одна форма родовой организации — патриархальный род. Но исследователи — до Мэна, попытавшегося обосновать теоретически учение о патриархально-родовом строе, — ограничивались обычно лишь описанием родовой организации у отдельных народов — у древних греков, римлян, кельтов и т. д. В этом смысле существенным вкладом было разработанное в русской науке учение о родовом строе у древних славян. Оставляя в стороне ранних авторов, напомним только о ценных, имевших принципиальное значение трудах К. Д. Кавелина, впервые разработавшего данную проблему с общен исторической точки зрения. Опираясь отчасти на одновременно выходившие в свет конкретно-исторические исследования С. М. Соловьева, стоявшего на тех же позициях, Кавелин дал в целой серии своих талантливых статей и рецензий (1846—1851) такое глубокое и серьезное освещение фактов патриархально-родового строя древних славян, по преимуществу во-

¹⁵ Этнографическое обозрение, т. I, 1889.

сточных, которое в то время было новым словом в науке. Напомним, что Кавелин видел в родовой организации русских славян основу всего их общественного строя, равно как и частной жизни. Впрочем, из нее же он выводил и развитие государственности и политические судьбы Руси до московского периода включительно,—взгляд, конечно, совершенно устаревший и для современной науки неприемлемый.

«Когда, наконец, обратится в обиходную истину,—писал Кавелин в 1846 г.,—что весь древний быт России, не только частный, но и государственный (если только его можно так назвать), вращался около одного родственного, кровного начала, которым первоначально живут все не-завоевательные народы,—мы поймем многое в русской истории, чего до сих пор не понимаем»¹⁶.

Очень хорошо умел показать Кавелин роль родового (или «семейственного») начала как тормоза для развития личности. Родовой строй подавляет личность, не дает ей противопоставить себя окружающему миру. При нем «человек как-то расплывается; его силы, ничем не сосредоточенные, лишены упругости, энергии и распускаются в море близких, мирных отношений. Здесь человек убаюкивается, предается покою и нравственно дремлет»¹⁷. Но Кавелин умел понять и историческую ограниченность родового строя. «Этот древнейший, чисто патриархальный быт не мог быть вечным». Кавелин, умевший диалектически мыслить, видел наличие в нем внутренних противоречий, которые должны были привести его к разложению. «В чисто семейном быту наших предков лежали зачатки его будущего разрушения. Он был создан природой, а не мыслью, не сознанием, которые могли бы дать ему твердость, постоянство, а вместе и определенность, ему совершенно неизвестную. Но кровные связи слишком непрочны, чтобы поддерживать общественный быт...» «Дальнейшее развитие общинного быта состояло в большем и большем его распадении»¹⁸.

Кавелину, правда, чужда была идея универсальности родового строя на определенной ступени общественного развития. Он видел в нем особенность быта «миролюбивых», «не-завоевательных» народов, какими считал славян, противопоставляя их например германцам, у которых, напротив, воительский быт, связанный с дружинной организацией, приводил к совсем иному течению истории, к раннему развитию личного начала¹⁹. В этом он, конечно, глубоко заблуждался. Но как бы то ни было, для разработки учения о родовом строе мысли Кавелина в то время, да и после, имели большое принципиальное значение. Еще ничего не зная о классической форме рода — материнском роде, Кавелин во многом все же предвосхищал учение Моргана.

Что касается открытия «материнского права» и разработки учения о матриархате, знаменовавшего собой новый этап в мировой науке, то лишь недавно было убедительно показано, что и в этом вопросе русская наука не стояла в стороне. В своей статье «Бахофен и русская наука»²⁰ М. О. Косвен сумел в значительной мере по-новому осветить историю того важнейшего научного открытия, которое связано с именем Бахофена. Оказалось, прежде всего, что у гениального швейцарского ученого были предшественники в России. Тот же Кавелин в одной из упомянутых выше статей (1848) высказывал догадку, что женщина не всегда в истории занимала подчиненное положение, что, напротив, были эпохи, когда ее общественная роль была гораздо более крупной. Кавелин, однако, не мог ни развить, ни четко сформу-

¹⁶ К. Кавелин. Собр. соч., т. I, стр. 271.

¹⁷ Там же, стр. 17—18.

¹⁸ Там же, стр. 20—22.

¹⁹ Там же, стр. 17—18.

²⁰ «Советская этнография», № 3, 1946.

лизовать этих мыслей. У другого историка, писавшего около того же времени, В. Я. Шульгина, в его работе, посвященной «состоянию женщин в России до Петра Великого» (1850), мы видим вполне отчетливое представление о свободном и равноправном положении женщины в древнем общественном строе: у языческих славян и руссов, по его словам, «все сферы жизни открыты женщине, она пользуется свободой в первобытном, еще не установившемся обществе». К таким же выводам приходил и историк А. В. Добряков в своей работе «Русская женщина в домонгольский период»: работа эта вышла в свет, правда, после книги Бахофена (1864), однако автор пришел к своим выводам независимо от него, и выводы эти, основанные на большом конкретном материале, существенно дополняют идеи швейцарского ученого.

Не менее интересен другой отмечаемый М. О. Косвеноем факт: в то время, как в европейской науке Бахофен долго оставался одиночкой, его не признавали, игнорировали, просто не знали, среди русских передовых ученых взгляды Бахофена были очень скоро и серьезно оценены. У Бахофена нашлись последователи в России раньше, чем на Западе, и этими последователями оказались крупные и прогрессивные ученые: С. С. Шашков, П. Л. Лавров, Ф. И. Буслаев, Всев. Ф. Миллер, А. Г. Смирнов, Н. И. Зибер и ряд других. Для передовой части русского ученого мира новая историческая концепция оказалась более созвучной, чем для чопорной косно-академической, буржуазной науки Запада.

Самому Моргану в русской науке был оказан тоже более почетный прием, чем в западноевропейской литературе, где замечательные открытия американского ученого были окружены, по выражению Энгельса, «заговором молчания». Н. И. Зибер, М. М. Ковалевский, Н. Н. Харузин и целый ряд других этнографов и историков восприняли идеи Моргана и развивали и подкрепляли их на новом конкретном материале. Быть может, наиболее выдающаяся роль в этом отношении принадлежала Л. Я. Штернбергу, открытия которого среди гильяков, вновь подтвердившие учение Моргана о стадиях развития семьи, о групповом браке, привлекли внимание самого Энгельса. Последний в специальной статье «Вновь открытый случай группового брака» (1892) указал на крупное принципиальное значение исследований русского ученого. В дальнейшей своей научной работе Л. Я. Штернберг, не ограничившись собиранием чисто фактического материала, много сделал и для более глубокой теоретической разработки проблемы развития форм семьи: ему принадлежит интересный анализ явления экзогамии, теория ее происхождения в связи с определенными формами группового брака, широкое сравнительное изучение классифицирующих систем родства и т. д.

Наконец, в советский период учеными нашей страны сделан ряд новых исследований, проливших гораздо более яркий свет на вопросы истории рода и семьи. Работы М. О. Косвена, С. П. Толстова, А. М. Золотарева, Е. Ю. Кричевского, Е. Г. Кагарова, Д. А. Ольдерогге и ряда других советских этнографов сильно продвинули вперед учение о первобытно-общинном строе. Исходя из работ Моргана, руководясь принципами марксизма-ленинизма, советские ученые на новом конкретном материале разрабатывают проблемы истории первобытного общества. По-новому освещены, а частью заново обоснованы вопросы о дородовой организации («первобытное стадо»), дуально-экзогамной организации, «трехродовом союзе», матриархате, переходе от матриархата к патриархату и т. п.

Немалая заслуга принадлежит русским ученым в разработке группы проблем, относящихся к эпохе перехода от доклассового к классовому обществу. Здесь на первое место должно быть поставлено имя Максима Ковалевского — одного из наиболее выдающихся историков-социологов конца XIX и начала XX в. Стоя на позициях прогрессивной для того времени позитивистской историографии, но испытав на себе сильное влияние идей основоположников марксизма, с которыми он был лично в дружественных отношениях, М. М. Ковалевский своими конкретно-исследовательскими и обобщающими работами очень много сделал для выяснения исторического значения двух своеобразных форм, слагающихся в ходе распада первобытного общества: патриархальной домашней общины и сельской общины.

Заслуги Ковалевского в этом отношении высоко ценил Энгельс, сделавший в 4-м издании своего «Происхождения семьи» (1891) ряд специальных вставок на основании работ русского ученого. По словам Энгельса, «мы обязаны Максиму Ковалевскому... доказательством того, что патриархальная домашняя община... явилась переходной ступенью от возникшей из группового брака и основанной на материнском праве семьи к индивидуальной семье современного мира»²¹. Ковалевский, действительно, не только предположил, но и доказал это на большом конкретно-этнографическом материале, в котором немалое место занимали его собственные наблюдения среди народов Кавказа. В современной советской науке созданное Ковалевским учение о домашней общине как переходной форме получило дальнейшее развитие в работах в особенности М. О. Косвена.

Что касается изучения сельской общины и ее роли в процессе превращения доклассового общества в классовое, то и здесь исследования Ковалевского имели очень большое значение. У него был в данном случае предшественник в лице Маурера, открывшего впервые общинное землепользование в Европе. Но Ковалевский значительно расширил и углубил учение Маурера. По словам опять-таки Энгельса, после работ Ковалевского «вопрос приходится ставить уже не так, как ставили его Маурер и Вайц, — общинная собственность или частная собственность на землю; теперь вопрос стоит лишь о форме общинной собственности»²². В частности, Ковалевский показал, по словам Энгельса, что сама сельская община развилась лишь постепенно — и именно на основе предшествовавшей ей домашней общины. Надо сказать, что и это открытие Ковалевского не было простой догадкой, а было основано на огромном конкретном материале: начав со специального исследования истории общинного землевладения в одном из швейцарских кантонов («Очерк истории распада общинного землевладения в кантоне Ваадт», 1876), Ковалевский затем значительно расширил рамки исследования, опубликовав обобщающую работу «Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения» (1879) и потом не раз возвращаясь в других своих трудах к этой теме.

Работы Максима Ковалевского оказали прямое и немалое влияние на зарубежную науку. Не один Энгельс их знал и ими пользовался. Проведя значительную часть своей жизни за границей, в эмиграции, Ковалевский читал курсы и эпизодические лекции в Стокгольме, Оксфорде и Париже. Основные его работы почти одновременно переводились на европейские языки — немецкий, французский, итальянский, английский, а некоторые и сразу издавались на этих языках.

²¹ Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, Партиздат, 1934, стр. 60, 61, 120, 124.

²² Там же, стр. 124.

Меньше всего привлекала внимание европейских исследователей та группа проблем первобытного общества, которая связана с его экономической жизнью. Первобытное хозяйство, производственные отношения на ранних стадиях их развития долго оставались *terra incognita* для науки. До конца XIX в., а частью и позже, имела хождение та тощая и абстрактная схема хозяйственного развития, которая известна под именем «теории трех ступеней» («*Dreistufentheorie*») и которая была сформулирована еще в 1840-х годах экономистом Фр. Листом: охота — скотоводство — земледелие как универсальные стадии развития хозяйства. Понимание же специфики производственных отношений доклассовой эпохи очень долго не поднималось над уровнем детски наивной робинзонады, которую приходилось высмеивать еще Энгельсу в лице ее проповедника Дюринга. Робинзон со шпагой в руке и поработенный им Пятница — как модель первой формы экономических отношений: такова была премудрость буржуазной экономической науки, господствовавшая вплоть до конца XIX в. Этнографы, располагавшие богатым материалом для построения, вместо этой детской, картинкой, более научного представления о первобытной экономике, ничего для этого не сделали. Даже классики этнографии, не исключая и самого Моргана, мало интересовались этими проблемами. Этим отчасти объясняется такое явление, как успех известной книги Бюхера «Возникновение народного хозяйства», выдержавшей с 1893 по 1922 г. 16 изданий: автор этой книги предлагал буржуазному читателю приятную для него и чрезвычайно простую схему хозяйственного развития человечества, схему, в которой для всей огромной первобытной эпохи и для современных культурно отсталых народов не нашлось лучшего места, как — стадия «индивидуальных поисков пищи». К этому свелась и вся роль этнографического материала в этой самой популярной из буржуазных концепций истории хозяйства.

В этих условиях нельзя не признать крупным вкладом в науку капитальную работу «Очерки первобытной экономической культуры» Николая Ивановича Зибера, первого русского этнографа, применившего марксистский метод в своих исследованиях. Зибер собрал и критически обработал в этой книге очень большой фактический материал, относящийся к различным отсталым народам земного шара. Он поставил себе, правда, ограниченную цель — дать описание «одних только общинных форм жизни». Но в пределах этой, впрочем, достаточно широкой задачи автору удалось показать господство принципов коллективизма в самых различных сферах общественной жизни, в разнообразных видах производства, в распределении и потреблении, в формах собственности, в обмене и разных народных обычаях. Зибер сам указывает в предисловии к своей книге, что, хотя господство «общинных форм хозяйства» на ранних стадиях развития признается очень многими, однако для подтверждения этого «предположения» сделано весьма мало, ибо этнографический материал для этой цели почти не привлекался. Это так и было. Зато Зибер в значительной мере заполнил этот пробел. Он проработал с точки зрения своей последовательно проведенной концепции обширную литературу этнографических описаний, монографий, путешествий по всем частям света. В итоге своего фундаментального исследования он приходит к выводу «о полном и всестороннем единстве и сплочении составных элементов отдельного первобытного общества, каковы бы ни были те отношения, в которых оно находится к другим обществам». «Причина этого явления, — совершенно правильно замечает Зибер, — заключается главным образом в простоте экономической организации первобытного общества, которое допускает не-

посредственное заведывание процессом общественного производства со стороны общественной власти»²³. Даже и последующее экономическое развитие человечества является, вопреки буржуазным представлениям, «наглядным доказательством той истины, что, как бы ни усложнялись и ни расчленялись формы сложения труда в обществе, взаимное тяготение отдельных групп человечества преодолевает это разделение, и каждый дальнейший шаг истории ведет в сущности к теснейшему сплочению и объединению отдельных элементов общественно-производственного процесса...»²⁴.

Если бы идеи Зибера были лучше известны западноевропейской науке, может быть, в ней не имели бы такого успеха пошлые схемы типа «индивидуальных поисков пищи» Карла Бюхера. Может быть, добросовестному венгерскому ученому Феликсу Шомло не пришлось бы в 1909 г. доказывать как нечто новое, что в первобытном обществе тоже существовал обмен. Может быть, изучение первобытной экономики вообще сдвинулось бы с той мертвой точки, на какой оно в сущности до сих пор в зарубежной науке находится.

11

Нам осталось коснуться еще одного круга этнографических проблем, где русская наука тоже сделала немалый вклад, до сих пор недостаточно учтенный даже в нашей литературе: дело идет о проблемах первобытной религии. В соответствующей историографии крайне редко можно встретить русское имя; в действительности же участие русских ученых в разработке вопросов первобытной религии было далеко не таким незначительным.

Интерес к вопросу о происхождении религии проявляли еще ранние русские «мифографы». Наиболее оригинальные мысли по этому поводу мы находим у одного из них — Кайсарова, автора «Славянской и Российской мифологии» (1804). Кайсаров, широко образованный человек, стоял на позициях натурализма, следуя, видимо, наиболее передовым в то время взглядам французских просветителей. По мнению Кайсарова, древний человек обоготворял предметы природы: солнце, ручей, ветер; «он не примечал, чтобы существо, подобное ему, всем этим управляло. Тут стал он в первый раз умствовать о чудном мироздании. Солнце, вода, ветер казались ему существами особенной и притом высшей, нежели он сам, природы. Изумление его перешло в почтение и боготворение»²⁵. Эти мысли Кайсарова, чрезвычайно интересные для того времени, примыкают к взглядам наиболее глубокого из французских просветителей — Гольбаха.

В годы господства мифологической школы в изучении религии идеи ее распространились, конечно, и в России. Однако не все занимавшиеся этими вопросами ученые поддались гипнозу мифологической теории, так надолго задержавшей движение науки о религии. Кавелин, например, со свойственной ему самостоятельностью умел и в этом вопросе занять серьезную и сдержанную позицию. Он скептически смотрел на попытки наполнить древнеславянский пантеон разными небывалыми божествами — Лелями, Ладами и Коледами. Языческая религия славян представляла собой, по мнению Кавелина, обоготворение природы. Ее невидимым силам, которым человек поклонялся, он придал со временем человеческую форму. «Вот начало и происхождение антропоморфизма в языческих религиях». «Дальнейшее разви-

²³ Н. И. З и б е р, Очерки первобытной экономической культуры, Харьков, 1923, стр. 410.

²⁴ Там же, стр. 411.

²⁵ Г. К а й с а р о в, Славянская и российская мифология, изд. 2-е, 1810, стр. 15.

тие первоначального антропоморфизма состоит в том,— пишет Кавелин,— что божества совершенно перестают быть олицетворением сил и явлений природы и становятся воплощением нравственных, философских и политических идей: вместо природы боги выражают внутренний мир человека»²⁶.

Но даже у ученых, находившихся под обаянием мифологической теории, мы отнюдь не находим простого ученического повторения доктрины Гримма или Макса Мюллера. Каждый из них вносил что-то свое и порой ценное в изучение первобытной религии. Так, у Ореста Миллера можно отметить чрезвычайно интересные мысли о магических обрядах и заклинаниях, предшествовавших молитвам и жертвоприношениям. Древнейший период, по мнению О. Миллера, это «такой, когда еще и жертв не приносили, но совершали обряды, которые, с первого взгляда, могут в настоящее время показаться молитвами, но были первоначально только подражанием тому, что замечали в природе, подражанием, имевшим в виду вынудить у нее повторение тех же явлений»²⁷. Если позднейшая молитва рассчитана на милосердие божества, то предшествовавший ей заговор (заклинание) «должен был иметь на него влияние просто-напросто принудительное». Нетрудно узнать в этих мыслях, высказанных еще в 1865 г., предвосхищение известных положений Маретта, с которыми тот выступил добрыми сорока годами позже, резюмировав их в тезисе «от заклинания — к молитве». Нечего и говорить, что у Ф. И. Буслаева и А. А. Потебни, двух самых серьезных сторонников мифологической школы в России, можно найти нечто гораздо большее, чем простое повторение тезисов этой школы. Серьезные, хорошо обоснованные обобщения богатого фактического материала, осторожные выводы, далеко не всегда в духе традиционных мифологических построений, хотя нередко на них сбивающиеся,— в работах Буслаева и Потебни представляют собой, конечно, ценный вклад в изучение ранних форм религии.

Даже А. Н. Афанасьеву, наиболее крайнему и одностороннему последователю мифологического направления, не избежавшему всех его увлечений, надо поставить в заслугу не только собранный им огромный фактический материал по верованиям славянских и других народов,— с чем согласны все,— но и некоторые его теоретические высказывания. Убеденный сторонник мифологической системы, Афанасьев, быть может, глубже смотрел на проблему, чем его западноевропейские единомышленники. Он понимал, например, что в основе того олицетворения небесных явлений, к которому мифологи любили сводить всякую религию, лежали все же явления земной материальной действительности. Основу эту Афанасьев видел в пастушеском быте древних «ариев». «Олицетворяя грозовые тучи быками, коровами, овцами и козами, первобытное племя ариев усматривало на небе, в царстве бессмертных богов, черты своего собственного пастушеского быта: ясное солнце и могучий громовник, как боги, приводящие весну с ее дождевыми облаками, представлялись пастырями мифических стад»²⁸.

Когда зазвучал голос критики против односторонних увлечений мифологической школы, в числе первых критиков ее выступили крупные русские ученые. Рецензия А. Н. Веселовского («Сравнительная мифология и ее метод», 1873) на книгу Анджело де-Губернатиса нанесла один из первых разрушительных ударов этой школе,— что, впро-

²⁶ К. Кавелин, Собр. соч., т. IV, стр. 63—65.

²⁷ О. Миллер, Опыт исторического обозрения русской словесности, ч. I, вып. I, СПб, 1865, стр. 84, прим. 2.

²⁸ А. Н. Афанасьев, Поэтические воззрения славян на природу, т. I, 1865, стр. 690.

чем, не мешало взглядам самого Веселовского быть во многом глубоко ошибочными. За Веселовским последовали другие. Удар по мифологической теории представляла собой и «Весенняя обрядовая песня на западе и у славян» (1903) Е. В. Аничкова,— автора, чьи взгляды, правда, в свою очередь нуждаются в серьезной критике.

Но гораздо более важным, чем критика, был положительный вклад русских ученых в решение проблемы первобытной религии. Место не позволяет здесь излагать все более или менее оригинальные мысли, встречающиеся в русской этнографической литературе по этой проблеме. Некоторые из них незаслуженно забыты и неизвестны не только за рубежом, но и у нас.

Стоит напомнить хотя бы чрезвычайно интересные высказывания Михаила Кулишера, одного из первых русских этнографов-эволюционистов, не чуждого, видимо, влияния и марксизма. Кулишер выводил первобытную религию из борьбы человека с природой и его бессилия перед ней. Борьба с природой была для примитивного человека очень трудна. И вот то, чего люди не могли при помощи своей слабой техники добиться от природы,— они стали считать недозволенным, греховным. Деятельное отношение к природе стало считаться грехом, бездействие же — добродетелью. Причина того, что первобытная религия освящала бездействие, заключается в «неумении пользоваться предметами и явлениями природы, бороться с ними, эксплуатировать их для человеческих потребностей». Кулишер проводит очень меткое сравнение: «Точно так же, как в настоящее время проповедуется мысль, что установившиеся в настоящее время отношения между людьми в европейских обществах должны остаться нетронутыми, не могут и не должны быть изменяемы государственными мерами,— точно так же весьма долго поддерживалась в сознании людей мысль, что силы природы не могут и не должны подлежать изменению и воздействию со стороны человека». «Мы утверждаем следовательно,— говорит Кулишер,— что религиозное почитание предметов и сил природы обязано своим происхождением неспособности первобытного человека побороть природу, подчинить ее своим целям и потребностям»²⁹. Поэтому переход от одного образа жизни к другому влечет за собой и новый мир богов, который вытесняет старый или наслаивается на него. «Только с этой точки зрения может быть удовлетворительно разъяснен и понят ход развития религиозного миросозерцания и отношения человека к природе»³⁰. Значит, «имея классификацию различных образов жизни, мы имеем и классификацию форм религиозного мировоззрения»,— резюмирует Кулишер свои взгляды, как видим, весьма близкие к научному материалистическому пониманию происхождения религии. «Периодам охотнической, пастушеской, земледельческой жизни, занятию рыбной ловлей и т. д. соответствует свой особый религиозный мир, общий всем народам, ведущим тот же образ жизни»,— так разъясняет он свою мысль, несколько, правда, упрощая вопрос.

Гораздо лучше известны — и у нас и в зарубежной литературе — взгляды В. Г. Богораза на первобытную религию. Богораз упоминается обычно в числе сторонников «преанимистической» точки зрения на происхождение религии, и он в самом деле может быть включен в число «преанимистов». Но его попытку проследить стадии постепенного развития первобытных религиозных представлений, от элементарного оживления всей природы до оформленных образов личных и свободных духов, нельзя не признать более глубоким и содержательным пониманием развития религиозных верований, чем сухо-кабинетные рас-

²⁹ М. Кулишер. Очерки сравнительной этнографии и культуры, М., 1887, стр. 16—21.

³⁰ Там же, стр. 21—22.

суждения какого-нибудь Карутца об «эманизме» или Сэнтива о «динамизме», как особенности первобытной религии.

Достаточно хорошо известны — по крайней мере у нас — взгляды Л. Я. Штернберга. Этот крупный ученый, совмещавший в своем лице хорошего полевого исследователя и широко эрудированного теоретика, причислял себя к сторонникам анимистической теории происхождения религии. Но «анимизм» Штернберга — гораздо глубже, серьезнее, ближе к реальным фактам, чем абстрактно-идеалистические построения Тэйлора и его единомышленников. Не в том даже дело, что Штернберг видел в идее души не первичное представление, как считал Тэйлор, а продукт долгого развития, появляющийся лишь на третьем этапе этого развития³¹. И не в том дело, что Штернберг пользовался, вместе с Мареттом, термином «аниматизм» для обозначения первичной стадии одушевления природы. А дело в том, что в самом понимании религии Штернберг, вооруженный прекрасным знанием конкретного материала, умел подняться намного выше Тэйлора с его «дикарской философией». Понимание религии у Штернберга стихийно приближается к материалистическому учению о религии как продукте бессилия человека. «Религия», — писал он, — есть одна из форм борьбы за существование в той области, где личные усилия человека, все усилия его интеллекта, все его гениальные способности и изобретательность являются бессильными³².

Правда, к материалистическому пониманию религии Штернберг лишь приближался, в целом же его взгляды оставались идеалистическими. Но все же взгляды эти гораздо ближе подводили исследователя к познанию специфики первобытной религии и ее корней, чем разнообразные теории кабинетных ученых типа Фрэзера или Леви-Брюля.

Но исследование первобытной религии продвигалось вперед у нас, как и на Западе, не столько через широко обобщающие теории, сколько через специальное изучение отдельных более частных проблем. Из них отметим здесь пока только одну: проблему магии.

Изучение магических заклинаний-заговоров вообще гораздо серьезнее было поставлено в России, чем на Западе. Количество собранного фактического материала — записей заговоров — у нас значительно превосходит имеющиеся запасы его в западноевропейской литературе: достаточно напомнить обильные материалы, хранящиеся в архиве Русского географического общества, и публикации И. П. Сахарова (впрочем малоценные), Л. Н. Майкова, П. С. Ефименко, Тихонравова, Драгоманова, Чубинского, Романова, Добровольского и ряд других. Теоретическая разработка заговорных текстов стояла у нас тоже на большей высоте, чем в западноевропейской литературе, где до последнего времени продолжала господствовать устарелая мифологическая концепция. Русские исследователи, даже те, которые находились под влиянием той же мифологической точки зрения, — как Афанасьев, Буслаев, Орест Миллер, Потебня, Крушевский — а еще более исследователи нового поколения, освободившиеся от этой традиции, как Ф. Зелинский, Ветухов, Н. Ф. Сумцов, Н. Познанский, Е. Н. Елеонская и др., — умели в большинстве случаев дать более глубокий анализ психологического содержания заговоров, равно как и их словесной формы, на что весьма мало обращали внимание их зарубежные коллеги. Напомним хотя бы ценную монографию Н. Познанского «Заговоры» (П., 1917), где мы находим наиболее серьезную попытку классифицировать заговоры по видам и проследить их развитие. Из обобщающих работ по проблеме магии напомним ряд этюдов Е. Г. Ка-

³¹ Л. Я. Штернберг, *Первобытная религия в свете этнографии*, Л., 1935, стр. 276—277.

³² Там же, стр. 248.

гарова о магических обрядах³³, где автор дает наиболее полную из всех существующих в литературе систематику магических действий.

Из специальных проблем изучения превобытной религии укажем еще на проблему шаманизма. Этой, быть может, наиболее трудной для понимания области истории религии посвящали свое внимание очень многие исследователи,— в огромном большинстве русские, ибо западноевропейская и американская литература о шаманизме представляет собой почти целиком отголоски исследований и взглядов тех или иных русских ученых. Начиная с капитальной сводки «Шаманство» (1892) В. К. Михайловского, исследователя, стоявшего на позициях анимистической школы,— если оставить в стороне более ранние работы,— мы можем назвать целый ряд серьезных исследований как шаманизма в целом, так и отдельных его сторон и элементов, составивших в общей сложности целую литературу: сюда относятся работы Богораза, Харузина, Виташевского, Ионова, Трощанского, Мицкевича, Иохельсона, Широкогорова, Петри, Штернберга, Анохина, Ксенофонтова; из новых советских исследователей — Прокофьева, Дыренковой, Потапова, Попова, Анисимова, Чернецова и других авторов. Они, конечно, еще не разрешают до конца сложнейшей проблемы шаманизма, тем более, что большинство названных дореволюционных авторов было далеко от применения марксистского метода, но их ценными работами созданы все условия для успешного решения этой проблемы.

12

Мы оставим в стороне ряд других важных проблем и разделов этнографической науки, по которым русские и советские ученые делают и делают существенные вклады в сокровищницу мировой науки. Некоторые из этих проблем нуждаются в особом рассмотрении. Таково, например, изучение материальной культуры, выработка методики изучения народных построек, одежды, где работы советских ученых, таких, как Б. А. Куфтин, Н. И. Лебедева, Д. К. Зеленин и др., составили целую новую эпоху и где зарубежная этнографическая наука в большинстве случаев безнадежно отстает. Такова — в еще большей мере — разработка проблем этногенеза, область, которая в результате новейших работ советских исследователей стоит накануне превращения в самостоятельную и обширную отрасль знания, в особую дисциплину «этногенетику», где перекрещиваются друг друга дополняющие исследования историков, антропологов, лингвистов, археологов и этнографов. В настоящей статье и не ставилась задача исчерпать все эти важные проблемы. Автор ее хотел лишь напомнить о роли и участии русской этнографии в развитии мировой науки, указать на ту несправедливость, которую терпит наша наука от недооценки ее заслуг, и на тот вред для мировой науки, который не раз возникал из-за игнорирования русских работ зарубежными учеными.

Советская этнографическая наука выступает наследницей лучших традиций более чем двухвековой истории русской этнографии. Однако она не только продолжает эти традиции. Необычайно расширив размах своих исследований, вооружившись самым передовым научным методом марксизма-ленинизма, советская этнография стоит на гораздо более высоком уровне, чем ее дореволюционная предшественница. Она далеко опередила и зарубежную науку,— как по широкому масштабу проводимой работы, так и по теоретическому уровню исследований.

³³ См., например, К вопросу о классификации народных обрядов, Доклады Академии Наук, В, № 10, 1928; Состав и происхождение свадебной обрядности, «Сборник МАЭ», VIII, 1929; Классификация и происхождение земледельческих обрядов, Изв. Об-ва арх., ист. и этногр. при Каз. ун-те, т. 34, в. 3—4, 1929.



Х Р О Н И К А



СЕССИЯ ИНСТИТУТА ЭТНОГРАФИИ АН СССР, ПОСВЯЩЕННАЯ 30-летию ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В Москве с 10 по 12, а в Ленинграде с 17 по 20 ноября 1947 г. в Институте этнографии происходила сессия, посвященная 30-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции. На сессии были заслушаны следующие доклады.

Доклад директора Института С. П. Толстова «Советская школа в этнографии» (см. журнал Советская этнография, 1947, № 4), зачитанный в Москве и Ленинграде, ставил своей задачей показать становление и роль советской школы в этнографии. В прениях выступили руководящие научные сотрудники Института этнографии — С. А. Токарев, Л. П. Потапов, директор Государственного музея этнографии Е. А. Милыштейн и другие научные работники, отметившие высокую идейность и целеустремленность доклада, явившегося откликом на постановление ЦК ВКП(б) о теоретическом фронте. Доклад проф. Толстова, заявил заместитель директора Института этнографии Л. П. Потапов, имеет мобилизующее значение, вселяет чувство уверенности в правильности пути этнографов и значимости самой этнографии среди гуманитарных наук. Старший научный сотрудник Института языка и мышления АН СССР — А. Ф. Анисимов отметил ясность сформулированного докладчиком положения современной этнографии. Вместе с тем он подчеркнул необходимость применять палеонтологическое исследование фактов, привлекать смежные дисциплины (лингвистику, археологию). Следует поставить проблему изучения первобытного мышления. В заключительном слове С. П. Толстов выделил как наиболее очередную и ответственную задачу советских этнографов, задачу изучения процессов развития социалистической культуры и быта народов СССР в ее национальной и этнической специфике.

В Москве и Ленинграде был заслушан доклад М. Г. Левина и Я. Я. Рогинского, «Советская антропология за 30 лет» (см. журн. Советская этнография, 1947, № 4). Выступившие в прениях отметили большие достижения советской антропологии.

Доклад Е. В. Гиппиуса и В. И. Чичерова был посвящен теме «Советская фольклористика за 30 лет» (см. журн. Советская этнография, 1947, № 4). В обсуждении доклада приняли участие как московские, так и ленинградские фольклористы из Института этнографии, Института литературы и др.

Прения по докладу Л. П. Потапова «Опыт изучения социалистической культуры и быта алтайцев» (см. Советская этнография, 1948, № 1), заслушанному в Москве и Ленинграде, и по докладу М. А. Сергеева «Изучение народов Дальнего Востока в советскую эпоху», заслушанному в Ленинграде, показали большой интерес к теме. По докладам выступили С. А. Токарев, А. Я. Дунсбург, Е. Н. Студенецкая, Е. А. Милыштейн, А. Н. Новиков, Г. Г. Сратанович. В итоге было отмечено, что сессия сыграла большую роль в постановке насущных проблем изучения социалистической культуры и быта народов СССР.

Доклад И. П. Лаврова, Возрождение народного искусства (см. Советская этнография, 1947, № 4), заслушанный в Москве, подтвердил основной тезис докладчика о бурном расцвете народного творчества в советских условиях.

На заключительном заседании в Ленинграде был заслушан доклад С. В. Иванова, Развитие чукотско-эскимосской гравюры на кости в советский период.

В Ленинграде, после сессии, на отдельном заседании, был заслушан доклад С. П. Толстова «Предварительные итоги работы Хорезмской экспедиции 1947 г.». Доклад сопровождался выставкой многочисленных полевых рисунков, чертежей, фотографий. В конце демонстрировался кинофильм о работах экспедиции.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОБИРАНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ И ИЗДАНИЯ ФОЛЬКЛОРА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

9—14 декабря 1947 г. в Институте этнографии им. Миклухо-Маклая Академии Наук СССР проходило совещание по обсуждению одной из центральных проблем современной советской фольклористики — проблемы собирания, изучения и издания фольклора Великой Отечественной войны.

Морально-политическое единство советского народа в грозные дни великих испытаний войны, глубокий советский патристизм, проявленный на полях сражений и в тылу, беспредельная преданность всех народов Советской страны партии Ленина — Сталина, нашему великому вождю и учителю товарищу Сталину, нашли свое яркое отражение в народном творчестве. Перед советскими фольклористами встала ответственная задача собрать и изучить весь этот огромный материал, имеющий большое общественно-политическое и художественное значение. Эта работа должна отвечать тем высоким требованиям, которые предъявляют к советским ученым постановления ЦК ВКП(б) по вопросам идеологической работы и доклад тов. А. А. Жданова.

Совещание открыл директор Института этнографии проф. С. П. Толстов, который отметил исключительную важность и своевременность созыва данного совещания и осветил его проблематику. Зав. фольклорным сектором проф. П. Г. Богатырев в докладе о задачах совещания подчеркнул тот огромный вклад, который внесла в мировую науку советская фольклористика, вооруженная методом марксизма-ленинизма.

Проф. Богатырев указал, что фольклор Великой Отечественной войны создавался в тесном содружестве всеми братскими народами Советского Союза, что только сравнительное изучение фольклора всех советских народов поможет яснее и глубже сравнить процессы создания и развития современного фольклора. Он подчеркнул также важность изучения фольклора славян эпохи освободительной войны против фашистских захватчиков. Материалы, собранные в славянских странах, показывают большое влияние русского фольклора на фольклор освободительной войны славян. Затем проф. Богатырев осветил работу по собиранию фольклора Великой Отечественной войны, проводимую научными учреждениями Москвы и Ленинграда, особо отметив большую помощь, какую оказало московским фольклористам Главное Политическое Управление вооруженных сил СССР.

С докладом «Основные вопросы изучения фольклора Великой Отечественной войны» выступила кандидат филологических наук В. Ю. Крупянская (Москва), которая подчеркнула огромное общественно-политическое и теоретическое значение фольклора Великой Отечественной войны, заставляющее заново пересмотреть многие положения, выдвинутые при изучении советского фольклора, и наметила в основном проблематику исследовательской работы. По утверждению В. Ю. Крупянской, при огромном развороте собирательской работы теоретическое осмысление новых материалов оставалось недостаточным. Факты современного новотворчества по существу лишь констатировались, но не подвергались историческому исследованию и не ставились в связь с закономерностями развития традиционного фольклора. Не всегда проводилась достаточно четкая грань между индивидуальным творчеством выдающихся мастеров фольклора и массовым, что приводило зачастую к неправильным заключениям о путях развития и судьбах советского фольклора.

Фольклор Великой Отечественной войны с его обилием новых явлений и фактов с особой остротой ставит перед современной фольклористикой ряд новых исследовательских задач и проблем. В свете наблюдений над фольклором войны отчетливее выясняются процессы, характерные для современного фольклора в целом. Фольклор Великой Отечественной войны, представленный творчеством всех народов Советского Союза, выдвигает проблему исследования материала с учетом исторически сложившихся типов фольклора и изучения процессов взаимодействия фольклора различных национальностей в период войны. В фольклоре Великой Отечественной войны получило широкое развитие массовое творчество, явившееся живым и активным откликом на современные события. Большой размах получило и творчество мастеров фольклора. В массовом фольклоре Великой Отечественной войны имеют место весьма различные по своему составу, характеру и традициям категории материалов, обусловленные в основном спецификой среды их зарождения и бытования. Каждая из этих групп материалов должна изучаться как в отдельности, так и во взаимодействии друг с другом. Выдвигается и другая не менее важная задача — уяснение судеб военного фольклора в условиях мирного времени. В фольклоре Великой Отечественной войны большое место занимают произведения индивидуального творчества народных певцов и профессиональных поэтов, поэтому совершенно необходимым является изучение как характера этого творчества, так и процессов освоения его коллективом. Фольклор Великой Отечественной войны не может быть понят во всем своем объеме без учета роли традиционного фольклора в условиях современности, без уяснения процессов его переосмысления и создания на его основе новых произведений.

В. Ю. Крупянская подчеркнула далее, что и методика собирательской работы должна быть поднята на более высокий уровень, что необходимо фиксировать и изу-

чать все те моменты, которые показывают живую жизнь фольклорного произведения. В докладе была подчеркнута роль фольклора Великой Отечественной войны в боевой обстановке как политически-агитационного средства, призывающего к борьбе против фашистских захватчиков.

Доклад В. Ю. Крупянской вызвал оживленную дискуссию. Отмечалось, что в нем поставлен впервые ряд новых проблем на основе богатого материала. Вместе с тем доклад вызвал и ряд серьезных возражений. Указывалось, что доклад не был достаточно политически заострен, что не были сделаны все выводы, которые следуют из известных постановлений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам и доклада А. А. Жданова. Не был заострен вопрос о фольклоре Великой Отечественной войны как о новом этапе в развитии фольклора вообще, недостаточно подчеркнуто, что фольклор Великой Отечественной войны — качественно новое образование. Выступавшие особо указывали, что при подходе к фольклорному материалу необходим идейно-политический и эстетический критерий (в частности при его публикации). Недостатком доклада явилось также то, что все обобщающие выводы были сделаны лишь на основании песенного материала, без привлечения других жанров.

Группа докладов была посвящена вопросу о судьбах эпических жанров в фольклоре Великой Отечественной войны. Канд. филологических наук Л. Г. Барага (Москва) в докладе «Белорусские народные предания и рассказы о героях Великой Отечественной войны» коснулся интереснейшего материала творимой легенды о народных героях К. Заслонове и С. Ковпаке. Современный материал народных преданий и легенд раскрывает, по утверждению докладчика, общие закономерности образования и развития жанров сказочного эпоса¹.

Интересным дополнением к белорусским материалам о Ковпаке было выступление Н. Ф. Матвейчука (Львов). Он сообщил о результатах фольклорной экспедиции Львовского отделения Института искусствознания, фольклора и этнографии Академии Наук УССР по следам одного из рейдов Ковпака в глубь Карпат (1943 г.).

Канд. филологических наук В. Г. Базановым (Ленинград) был прочитан доклад «Причитания русского севера в годы Великой Отечественной войны». Докладчик наметил тематические циклы причитаний, особенно подчеркнув при этом ту глубоко патристическую функцию, которую нес жанр плача в период войны. В. Г. Базанов наметил наиболее значительные проблемы в изучении этого жанра. В современных причитаниях личное горе не заслоняет обще-государственных проблем и тенденций. Наполнение новым содержанием ломает традиционную форму причити и переводит ее в иной жанр.

Выступившая в прениях по докладу Л. Г. Барага Г. С. Сухобрус (Киев) указала на недостаточность теоретических обобщений, на отсутствие наблюдений над широким фольклорным процессом и на недооценку качественно новых явлений в переосмыслении традиционных мотивов в советском фольклоре.

Большой интерес вызвали доклады бывших фронтовиков, ныне аспирантов, Л. Н. Пушкарева (Москва) и Н. В. Новикова (Ленинград). Л. Н. Пушкарев поделился своими наблюдениями над бытованием фольклора одной воинской части. Наблюдения велись в течение 3½ лет в разных условиях фронтового быта. По наблюдениям докладчика, фольклорный репертуар подразделения складывался из его традиционного фольклорного запаса и из репертуара отдельных носителей, из которых наиболее талантливые оказывают большое влияние на общий репертуар части. Главным источником пополнения фольклорного репертуара части является устная передача. Из других источников следует отметить переписку с тылом и особенно армейскую самодельность. Значительное влияние на репертуар подразделения оказывает местная фольклорная традиция населения того района, где находится часть. В свою очередь фольклор населения сильно видоизменяется под воздействием армейского фольклора. Говоря о различных формах бытования фольклора на фронте Л. Н. Пушкарев обращает внимание на любопытнейший материал, доселе не входивший в орбиту фольклорных исследований, — надписи на придорожных щитах (транспарантах): пословицы, речения и т. д. Надписи эти быстро усваивались бойцами и в дальнейшем продолжали весьма творческую изустную жизнь. Интересны надписи шоферов на козырьках и бортах своих машин и т. п.

Н. В. Новиков (Ленинград) в докладе «Фронтовые записи фольклориста» сообщает свои наблюдения над жизнью и бытованием отдельных фольклорных жанров в условиях фронта. Особенно интересны его наблюдения над фронтовой сказкой, ее репертуаром и носителями. Докладчик приводит также обильнейший материал пословиц и поговорок как старых традиционных, так и новых.

Канд. филологических наук П. Г. Ширяевой (Ленинград) было сделано сообщение о фронтовых тетрадях Великой Отечественной войны. Докладчицей впервые были обследованы эти интереснейшие документы, являющиеся своеобразной поэтической летописью войны.

Доклады фронтовиков вызвали живой обмен мнениями. Ряд товарищей [Н. Д. Павлий (Киев), А. В. Гуревич (Красноярск) и др.] поделились своими

¹ См. статью Л. Г. Барага и М. С. Мееровича «Белорусские предания и сказки-легенды о Заслонове и Ковпаке» в настоящем номере журнала.

фронтовыми наблюдениями. Выступавшими отмечалось мастерство записи, умение наблюдать и фиксировать в условиях очень сложной действительности, введение в научный обиход ряда новых фактов. Был сделан и ряд критических замечаний. Представителем Главного Политуправления вооруженных сил СССР был указан недоучет в докладе Л. Н. Пушкарева роли политорганов Советской Армии в развитии и распространении фольклора на фронте.

Одной из центральных проблем совещания была проблема взаимоотношения литературы и фольклора. Несомненным недочетом совещания следует признать, что на русском материале этот вопрос не был освещен во всей полноте. Кандидат филологических наук А. М. Новикова (Тула) в докладе «Песни русских поэтов XIX в. в фольклоре Великой Отечественной войны» указала на различные виды и формы использования литературных поэтических текстов в фольклоре военных лет. Но все наблюдения А. М. Новиковой были построены на очень ограниченном материале, они касались лишь песен русских поэтов XIX в., удельный вес которых в фольклоре Великой Отечественной войны незначителен. Судьбы же в русском фольклоре произведений советских поэтов освещены на совещании не были, исключением здесь явилось стихотворение Исаковского «Катюша», которому было посвящено специальное сообщение проф. И. Н. Розанова.

В более общей теоретической форме проблема взаимоотношения литературы и фольклора была поставлена кандидатом филологических наук А. М. Кинько (Киев) в докладе «О фольклорно-литературных отношениях на Украине в период Великой Отечественной войны». А. М. Кинько указал на принципиально иные отношения между фольклором и литературой у нас и в капиталистических странах. В условиях социалистического общества фольклор и литература отличаются идейным единством. В невиданных размерах происходит у нас сейчас взаимная диффузия между литературой и фольклором. Обращение писателей к народному творчеству, так же как и проникновение литературных произведений в фольклор, идейно и художественно обогащает и фольклор и литературу. Докладчик подчеркнул, что передавая русская литература всегда имела очень большое значение для Украины. В дни войны русская советская песня стала любимейшей песней украинского народа. Усвоение русского песенного материала идет по двум линиям: 1) песня воспринимается целиком, без изменений, 2) старая песня переосмысливается, трансформируется соответственно новому социалистическому мировоззрению. Процесс освоения песен говорит о непрерывной творческой работе народа и о новой роли песенного наследия XIX начала XX в. в годы Великой Отечественной войны.

В заключение докладчик поднимает весьма важный вопрос о методе социалистического реализма в фольклоре. Метод социалистического реализма присущ советскому фольклору в той же мере, как и советской литературе, поэтому может и должен стоять вопрос о специфике этого метода в фольклоре и литературе, но никак не о противопоставлении их. Только в тесном взаимодействии литературы и фольклора может выработаться умение показать нашу действительность в революционном развитии, осветить наш путь вперед и изобразить высокие моральные качества советского человека.

Кандидат филологических наук М. И. Богданова (Москва) в докладе «Взаимоотношения фольклора и литературы в Киргизской ССР в период Великой Отечественной войны» поставила проблему взаимодействия фольклора и литературы у народов, получивших письменность только после Великой Октябрьской революции. Этот вопрос тесно связан с вопросом о путях развития молодых национальных литератур. Новое содержание с первых же лет революции входит мощной волной в киргизское народное творчество, в котором намечаются две линии: массовый фольклор и индивидуальное творчество акынов. Докладчик останавливается, главным образом, на последнем, так как здесь отчетливее намечаются процессы, характерные для всего киргизского фольклора. Первоначально новые по содержанию произведения создавались в старых формах. С развитием киргизской литературы и общим подъемом национальной культуры творчество акынов еще больше обогащается как со стороны содержания, так и со стороны формы. Акыны видоизменяют традиционные фольклорные жанры, по новому их осмысливают и часто коренным образом перерабатывают. При передаче старых сюжетов акыны вносят в них лирические эмоциональные черты. В результате появляется новый жанр — романтические поэмы. Лирические плачи, сочетаясь с эпическим повествованием, дают лиро-эпическую песню-балладу. В фольклоре Великой Отечественной войны этот жанр занял одно из главных мест, причем содержание этих произведений, в отличие от довоенных баллад, берется из современной жизни. В годы войны в творчестве акынов возрождается традиция героического эпоса, в виде небольших эпических песен о героях Великой Отечественной войны. Под влиянием нового идейного содержания происходит переоформление старых эпических форм в новый жанр — советский сказ. Одним из новых и интересных явлений в киргизском фольклоре Великой Отечественной войны является использование акынами образов русской классической и советской литературы.

Киргизская советская литература с первых шагов развивалась при тесном взаимодействии двух источников: родного фольклора и русской классической и советской

литературы. В результате в первые же дни появляются новые жанры литературных произведений.

В заключение докладчик отмечает, что в наше время обогащение содержания литературы и фольклора во всех жанрах идет чрезвычайно быстрым темпом, форма же нередко отстает от содержания. Поэтому докладчик считает необходимым уделить проблеме художественной формы самое серьезное внимание и помочь акымам, создававшим новые произведения.

С докладами об украинском фольклоре в дни Великой Отечественной войны выступили М. А. Стельмах, М. М. Плисецкий, Ф. И. Лавров.

М. А. Стельмах (Киев) в докладе «Сталин и народ в украинских песнях Великой Отечественной войны» поставил чрезвычайно важную проблему создания героического образа в советском фольклоре. Сталин и народ, говорит докладчик, непрерывно слиты в создании советских людей и составляют центральные образы современного фольклора у всех народов Советского Союза. В образе Сталина нашли воплощение все лучшие черты советского человека. Докладчик поставил своей задачей показать, что только новый в народном творчестве метод социалистического реализма дал возможность во всей полноте показать величие Ленина и Сталина. В фольклоре Великой Отечественной войны товарищ Сталин изображается подлинным вождем народа, вдохновителем и организатором небывалых в истории побед. Любовь к вождю в украинских народных песнях переплетается с любовью к социалистической родине, к Москве, к братскому русскому народу. Эти мотивы являются ведущими и в народном творчестве Закарпатской Украины, столетиями томившейся под игом чужеземных захватчиков. Докладчик показал, что старые поэтические средства, старая символика не могут раскрыть всего богатства и величия образа вождя. В современном творчестве происходит процесс переосмысления традиционных символов, конкретизация их, наполнение новым содержанием. Возникают новые символы, призванные раскрыть новую советскую действительность, показать нового советского человека. В заключение докладчик отметил, что в дни войны образ Сталина стал символом освобождения не только для советских людей, но и для всех демократических народов мира.

Кандидат филологических наук М. М. Плисецкий (Киев) в докладе «Фольклор Великой Отечественной войны в Украинской ССР», отметил, что в годы войны народное устно-поэтическое творчество получило на Украине очень широкий размах. Специфичность тематики украинского фольклора определялась тем фактом, что вся Украина была временно оккупирована; это не могло не сказаться на особенном развитии партизанского фольклора и творчества угнетенных, но не покоренных людей. Фронтной фольклор насыщен героико-эпическими мотивами, он воспевает армию-освободительницу, героизм бойцов и офицеров, говорит о конкретных военных операциях. Лирические мотивы во фронтовом фольклоре обычно связаны с героическими. Во многом близок к фронтовому партизанский фольклор, в котором красной нитью проходит стремление народа мстить фашистам за разрушенную счастливую жизнь. Произведения «невольничьего» фольклора являются убедительным документом, изоблачающим злодеяния немецкого фашизма. Все эти песни проникнуты глубокой любовью к родной земле и верой в скорое освобождение. Особо отмечается чрезвычайно большое распространение на Украине сатирических произведений, беспощадно бичевавших и высмеивавших немецких оккупантов и их прислужников. Докладчик указывает на исключительное разнообразие поэтических форм песенного фольклора Великой Отечественной войны. Часть их использует традиционные поэтические формы. Отчетливо прослеживается и связь с советской фольклорной традицией и, прежде всего, с фольклором гражданской войны. Другая часть песенного фольклора связана с традициями украинского и русского романа. Третья самая значительная часть связана с литературной и, в первую очередь, с массовой советской песней. Основные жанры в украинском фольклоре Великой Отечественной войны — песни, сказы, частушки, коломыйки, анекдоты, пословицы и поговорки. Докладчик специально останавливается на изменениях, происшедших в годы войны в песенных жанрах. Особенности развития в современном украинском фольклоре получили песни исторические, походно-боевые, политико-сатирические и революционно-романтическая баллада. Больше развитие, чем в годы гражданской войны, получила патристическая лиро-эпическая песня.

Среди частушек военных лет преобладают политико-агитационные и сатирические; по мнению докладчика, значительно уменьшился удельный вес любовных частушек. В некоторых местностях, особенно на Гуцульщине, доминирующим жанром в фольклоре Великой Отечественной войны является коломыйка. Появилось на Украине и несколько произведений, в которых более или менее широко использованы традиционные черты дум.

Специально сатире и юмору в украинском фольклоре Великой Отечественной войны было посвящено сообщение кандидата филологических наук Ф. И. Лаврова (Киев).

Белорусский фольклор Великой Отечественной войны был освещен в докладе канд. филологических наук М. Я. Гринблата (Минск), который указал на огромный размах белорусского устно-поэтического творчества, чрезвычайно разнообразного по своему содержанию и форме. Особенно обильен партизанский фольклор. Докладчик

особенно подробно остановился на белорусском фольклоре гражданского населения временно оккупированной немцами территории (1941—1944). Изучению его идейно-политической роли в деле сопротивления врагу представляет огромный интерес. Это её жанрового состава. Исключительное место занимает острая, политически насыщенная частушка, антифашистский анекдот, меткая поговорка. В большом количестве бытуют устные сказы о зверствах немцев и о борьбе с ними, легендарные сказки и рассказы о героях партизанах. Распространенным явлением в фольклоре войны было воскрешение и трансформация старых, давно забытых песен и произведений других жанров. Одной из основных тем фольклора гражданского населения явилась, по утверждению докладчика, разоблачение оккупационного режима, установленного гитлеровцами на временно захваченной территории Белоруссии и призыв к борьбе с оккупантами. Широкий отклик в творчестве гражданского населения получила тема побед Красной армии, весть о которых проникала в народ через линию фронта и вселяла веру в неминуемую победу советской армии. Это убеждение неизменно связывается с именем Сталина, к которому были обращены все мысли народа.

Кандидат филологических наук И. В. Гуторов (Москва) в докладе «Партизанская война в народном творчестве» говорит о глубоких традициях партизанских движений, проявляющихся обычно во время освободительных войн. В эпоху Великой Отечественной войны партизанское движение является исключительно массовым и героическим. Оно нашло свое яркое отражение в народном устно-поэтическом творчестве. Носителями партизанского фольклора были сами народные мстители и то население, с которым они общались. Основные его образы — герои партизаны. Еще более популярны собирательные образы — «воросшиловцы», «чапаевцы», «ковалковцы» и т. д. Наибольшим распространением пользовались песни (лирические, сатирические, боевые марши, походы), сказания, поговорки и поговорки, «дипломатические послания», антифашистские анекдоты, стихи, письма на родину и т. д. Ведущим образом партизанского фольклора является образ товарища Сталина. Тема Сталин — Москва образует в партизанском творчестве основную, организующую идею.

Еврейскому фольклору периода Великой Отечественной войны был посвящен доклад канд. филологических наук М. Я. Береговского (Киев). Докладчик в основном остановился на песенном фольклоре, в котором особенно большое место занимают песни гетто и немецких концлагерей. Наиболее характерной особенностью стиля еврейской народной песни периода войны является сближение поэтики традиционных еврейских песен и современных литературных форм. Это отражено как в ритмике песен, так и в образных средствах. С музыкальной стороны народная еврейская песня периода войны также в значительной степени черпает свои выразительные средства из народного мелоса. Для отдельных песен гетто и лагерей использовались напевы русских советских песен, выражавших протест и звавших к мести и борьбе.

С обстоятельным докладом «Великая Отечественная война в грузинском фольклоре» выступила кандидат филологических наук Е. Б. Вирсаладзе (Тбилиси). Грузинскими фольклористами собран значительный материал, в котором главное место занимают песни, частушки и письма с фронта, написанные по старой грузинской традиции стихами и распеваемые под аккомпанемент конгури. Мастера фольклора и фронтовики складывают песни и стихи о Великой Отечественной войне, ее героях и Великом Пелководце, их произведения отличаются высоким идейным уровнем и значительными художественными достоинствами. Многие из них уже получили широкое распространение. Произведения массового фольклора докладчица делит на следующие группы: 1) переработки традиционных жанров; 2) переделки литературных произведений, среди которых особо важное место занимают песни русских советских поэтов; 3) новые по тематике и по форме произведения, характерной чертой которых является реализм образов и стиля. Преобладающей формой в грузинском фольклоре Великой Отечественной войны, по наблюдениям докладчика, является лиро-эпическая кантата, но в ряде случаев наблюдается и новое для грузинского фольклора стремление к созданию большого эпического полотна. Докладчик подчеркнул, что грузинский советский фольклор и особенно фольклор Великой Отечественной войны, является активным фактором создания новой морали. Его ведущая идея, как и в старом грузинском фольклоре, — это идея патриотизма, но уже на новом, высшем этапе.

С глубоким интересом был прослушан доклад аспирантки Ж. Вьжаровой о фольклоре народно-освободительной войны в Болгарии.

Музыкальному фольклору Великой Отечественной войны были посвящены доклады Л. Н. Лебединского, И. В. Нестьева, Г. И. Цитовича и старейшего композитора и собирателя народных песен Д. И. Аракишвили.

Член Союза сов. композиторов Л. Н. Лебединский (Москва) в докладе «Песни советских композиторов в период Великой Отечественной войны» отметил большие творческие достижения советских композиторов в области создания массовой песни. Песни военных лет отразили огромный патриотический подъем всего советского народа. Докладчик остановился на различных жанрах массовой песни, получивших распространение во время войны. Здесь и героико-эпическая песня сурового мужества

и борьбы, «Священная война» А. В. Александрова на слова В. И. Лебедева-Ку-мача и лирические песни-плакаты, зовущие к борьбе с врагом (песни Т. Хренникова и бр. Дм. и Дан. Покрасе). В походных маршевых песнях и песнях-шутках А. Новикова используются интонации старой солдатской песни, а также плясовые и частушечные интонации. Ряд удачных эстрадных песен, в которых меткими и яркими штрихами рисуются жанровые сценки и переживания героев, создал М. Блантер, умело пользующийся наиболее выразительными интонациями русского и украинского городского фольклора и танцевальной музыки. В песнях В. Соловьева-Седова богато развита тема мужской фронтовой дружбы; в своих песнях композитор воплотил образ нового героя. Вл. Захаров в песне «Ой, туманы мои, растуманы» создал большое эпическое полотно. Л. Н. Лебединский отметил, что не все песни, созданные в годы войны советскими композиторами, одинаково ценны и не все они были приняты народом. Не удались отдельные песни М. Блантеру, А. Новикову и др., не получили широкого распространения песни В. Белого, благородные по стилю, но далекие по языку от народа. Не могут быть зачислены в актив советских композиторов такие песни, как «Землянка» К. Листова и «Темная ночь» Н. Богословского, пытавшиеся воскресить мешанскую упадочную лирику.

Л. Н. Лебединский подчеркнул, что проблема создания советской массовой песни (и особенно лирической) еще не решена, что песня должна раскрыть высокий моральный облик советского человека и повысить музыкальную и поэтическую культуру народов нашей страны.

Выступление И. В. Нестьева (Москва) было посвящено музыкальной характеристике некоторых народных песен Великой Отечественной войны. Тов. Нестьев указал три основных источника, способствовавших развитию нового песнетворчества: 1) концерты профессиональных артистических бригад и музыкальные кинофильмы, 2) концерты местных фронтовых армейских и дивизионных ансамблей и 3) массовая «низовая» художественная самодеятельность. Далее докладчик говорит о типических формах поэтической модификации старых песен фронтовиками. Для создания новых песен-перефразировок были использованы традиционные народные образы и напевы, эмоционально созвучные суровым переживаниям военного времени («Ермак», «Раскинулось море широко», «Тучи над городом встали» и т. п.). Большинство таких «перефразировок», по мнению докладчика, связано в одних случаях с образно-эмоциональным усилением и сюжетным переосмыслением первоначального песенного замысла, в других случаях, — с его пародированием, сатирическим «смещением». Тов. Нестьев привел несколько новых песен, созданных фронтовиками: походную песню «Красноармеец был герой», лирические песни: «Партизан», «Огонек» (на слова поэта Исаковского), «Песня о Ладоге» и др. В заключение докладчик характеризовал музыкальное содержание народных песен Великой Отечественной войны, записанных в Хоперском районе Сталинградской области экспедицией Института этнографии АН СССР совместно с кафедрой народной музыки Московской Государственной консерватории.

Член Союза Советских композиторов Г. И. Цитович (Минск) дал анализ мелодий белорусских народных песен, созданных во время войны, и продемонстрировал их в исполнении народного хора (граммзапись). Проф. Д. И. Аракишвили (Тбилиси) показал, что грузинские народные песни, посвященные вождю народов товарищу Сталину и героям Великой Отечественной войны, существенно отличаются от старых; опираясь на национальную музыкальную традицию они используют и достижения русской музыкальной культуры.

Два заседания были посвящены информационным сообщениям делегатов о работе по собиранию и изучению фольклора Великой Отечественной войны в отдельных союзных и автономных республиках и областях РСФСР. С сообщениями выступили делегаты: Украинской ССР (Институт искусствоведения, этнографии и фольклора АН УССР), Эстонской ССР (Институт языка и литературы и Гос. литературный музей ЭССР), Латвийской ССР (Институт фольклора АН Латв. ССР), Узбекской ССР (Институт языка и литературы АН Узб. ССР), Киргизской ССР (Институт языка и литературы Киргизского филиала АН СССР), Туркменской ССР (Институт истории, языка и литературы Туркменского филиала АН СССР), Карело-Финской ССР (Институт истории, языка и литературы Карело-Финской Базы АН СССР), Якутской АССР (Институт языка, литературы и истории Якутской Базы АН СССР), Марийской АССР (Научно-исследовательский институт языка, литературы и истории), Чувашской АССР (Научно-исследовательский институт языка и литературы), Башкирской АССР (Научно-исследовательский институт социалистической культуры), Удмуртской АССР (Научно-исследовательский институт языка и литературы), Татарской АССР (Государственный университет); делегаты гор. Москвы (Институт мировой литературы им. Горького, Союз Советских писателей, Всесоюзный Дом Народного творчества им. Н. К. Крупской) и Ленинграда (Институт литературы АН СССР); делегаты областей: Саратовской (Гос. университет), Ростовской (Гос. университет), Смоленской (Педагогический институт и Краеведческий научно-исследовательский институт), Новосибирской (Гос. педагогический институт), Челябинской (Гос. педагогический

институт), Красноярской (Отделение Союза Советских писателей) и др. Выступления делегатов показали, что во всем Советском Союзе проводится большая работа по сборанию и изучению фольклора Великой Отечественной войны. Большинство научно-исследовательских учреждений проводили специальные экспедиции, во многих местах создана большая корреспондентская сеть. В ряде республик выявлены крупные мастера фольклора и систематически ведется с ними большая работа. Однако собирательская работа ещё не развернулась в должном объеме, в частности, во многих республиках совершенно не собран и не изучен фольклор фронтовиков.

Собранные материалы дают яркую картину развития современного фольклора. Они показывают, какой огромный творческий подъем всех сил народа вызвала Великая Отечественная война, как в обстановке небывалой борьбы за свободу и независимость народное творчество обогатилось новыми идеями и образами. Замечательные произведения были созданы в годы войны выдающимися сказителями, в то же время необыкновенно сильно развивалось и массовое творчество. К сожалению, как это выявилось из выступлений, в ряде республик (например, в Узбекистане, Карело-Финской ССР и др.), где велась большая работа по изучению творчества отдельных мастеров фольклора, массовому народному творчеству уделялось недостаточное внимание. Наоборот, явный недоучет индивидуального творчества был отмечен т. Ниедре в докладе о работе латышских фольклористов. Информации с мест выявили всё жанровое многообразие фольклора Великой Отечественной войны и показали преобладание песенных жанров (следует, однако, отметить, что прозаические жанры повсеместно собраны и изучены очень слабо). Во всех сообщениях подчеркивалась большая патристическая роль в период войны традиционного фольклора, особенно героического эпоса. В период Великой Отечественной войны в фольклоре всех народов Советского Союза усилилось взаимодействие литературы и фольклора. Особенно велико повсюду влияние русской литературы и фольклора и, прежде всего, массовой советской русской песни. Отмечая, что работа по изучению советского фольклора ведется ещё не на достаточно высоком теоретическом уровне, делегаты указали на назревшую необходимость создания единого руководящего фольклорного центра и периодического печатного органа.

На заключительном заседании был обсужден ряд конкретных вопросов, связанных с разработкой единых принципов публикации материалов по фольклору Великой Отечественной войны. Кандидат филологических наук Э. В. Гофман-Померанцева (Москва) в своем докладе, посвященном критическому разбору вышедших изданий по русскому фольклору Великой Отечественной войны, отметила, что количество и разнообразие этих публикаций свидетельствует об интенсивной и широкой по охвату работе советских фольклористов в этой области. Однако дело публикации фольклора Великой Отечественной войны не свободно от серьезных недостатков. Основным пороком большинства изданий является недостаточный строгий идейно-политический и эстетический отбор материала. В подавляющем большинстве сборников унифицирована подача разнообразного по своему характеру материала — индивидуального творчества сказителей и произведений массового фольклора, специфика которых определяет необходимость дифференциации методов их собрания и изучения. Общим недостатком сборников, посвященных фольклору Великой Отечественной войны, является их узко тематическая ограниченность, совершенно не учитывающая активизацию в годы войны традиционных героических жанров и новое звучание старых текстов, что суживает и обедняет самое представление о фольклоре Великой Отечественной войны. Задачи публикации фольклорного материала должны быть четко определены и вместе с тем должны быть разграничены типы сборников. Точность записи, полнота материалов, научный аппарат, исчерпывающий комментарий — обязательны в сборнике, претендующем на научное значение. В сборниках, рассчитанных на массового читателя, должна особо учитываться необходимость строгого критического отбора публикуемых материалов. Только в результате планомерной согласованной работы во всесоюзном масштабе могут быть созданы книги, которые отразят народное творчество военных лет во всем его многообразии.

В докладе старшего научного сотрудника С. И. Минц (Москва) была поставлена проблема научного издания фольклора Великой Отечественной войны. Докладчицей был использован опыт подготовленного к печати Институтом этнографии АН СССР и Государственным литературным музеем сборника «Материалы по истории песен Великой Отечественной войны».

Совещание приняло резолюцию, в которой наряду с признанием больших достижений советской фольклористики, отмечается значительное отставание теоретической разработки материалов советского фольклора вообще и фольклора Великой Отечественной войны в частности. Резолюция намечает ряд конкретных мероприятий по разветвлению собрания и изучения всех явлений современного народного творчества и его научного исследования и обобщения. Совещание подчеркивает, что эти задачи могут быть решены только при условии углубленной разработки общих теоретических проблем фольклористики на основе ленинского положения о партийности

литературы, исторических решений ЦК ВКП(б) о литературе и искусстве и доклада А. А. Жданова².

В заключительном слове проф. С. П. Толстов отметил, что работа совещания была чрезвычайно плодотворной. Заслушанные доклады и, особенно, сообщения с мест продемонстрировали огромный разворот работы в области фольклора Великой Отечественной войны. Они вместе с тем воочию показали, каких высот достиг гений советского народа в грозную эпоху войны, какие высокие художественные ценности были созданы советскими патриотами. Красной нитью проходила в докладах и выступлениях мысль, что фольклор советского народа — качественно новое явление, что он живет, развивается и имеет огромное будущее и что период упадка народного творчества, свойственный эпохе капитализма, сменяется в условиях социалистического строя его необычайным расцветом. Советский фольклор поставил перед исследователями множество новых задач и теоретических проблем, которые в основном и были обсуждены на совещании. Проф. Толстов указал, что особенно ценными были прения по докладам, которые подняли большое количество вопросов и поставили их обсуждение на принципиальную высоту. По партийному остро, не взирая на лица, критиковали делегаты серьезные недостатки, ещё имеющие место в фольклорной работе. Прения вышли далеко за рамки тематики совещания, его участники подняли ряд наболевших вопросов, стоящих перед всей советской фольклористикой в целом. Очень остро выявилась необходимость критического пересмотра литературы по фольклору, вышедшей в последние годы. Все это делает чрезвычайно желательным и целесообразным созыв широкого совещания по общим теоретическим проблемам, стоящим перед советской фольклористикой.

С огромным подъемом совещание приняло письмо товарищу Сталину.

Б. Гершкович, В. Крупянская, В. Соколова

ЭКСПОЗИЦИЯ ПО СЛАВЯНСКИМ НАРОДАМ В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ЭТНОГРАФИИ

В Государственном музее этнографии в Ленинграде в шести обширных залах восстаиваемого помещения, разрушенного фашистскими варварами в годы блокады города, развешивается большая экспозиция, посвященная этнографии славянских народов. Первые три зала этой экспозиции предназначены для показа этнографии русского народа. Великий, единый русский народ, сильный своей сплоченностью, представлен здесь во всем многообразии его народной культуры и быта. Это этнографическое богатство наглядно выступает уже в первом зале, где показывается домашний народный быт русского населения как северных районов, так районов южных и центральных. Оно выступает в типе и материале жилища, в форме одежды, утвари, народных праздниках, обрядах и т. п. Обширные и красочные коллекции Музея, накопленные в течение его полувековой интенсивной собирательской деятельности, содержащие много уникалов, довольно полно рисуют сложный домашний быт русского народа. Они ясно говорят о больших способностях русского народа в области культурного творчества. Эта способность хорошо проявилась даже в условиях тяжелого царского режима, политика которого весьма тормозила развитие народной жизни.

Следующий зал посвящен показу народных занятий и техники. Здесь показаны русские народные занятия: земледелие, скотоводство, охота, пчеловодство, рыболовство и различные народные промыслы, преимущественно со стороны их техники. Несмотря на то, что многие экспонаты отражают большую изобретательность и огромную практику, общий уровень народной техники выглядит довольно отсталым, так как эксплуататорский режим помещиков и капиталистов царской России не давал возможности развиваться крестьянскому хозяйству и удерживал его на низком уровне. Введенный же в экспозицию материал, относящийся к социалистической действительности, показывает, что современное русское народное хозяйство, благодаря советскому строю, является передовым по своей технике и организации труда.

Третий зал посвящен показу исключительного богатства и разнообразия русского народного искусства. Здесь представлены в изумительных образцах золотое шитье, плетение кружев, художественные изделия из металла, резьба и роспись по дереву и бересте, резьба по кости, фигурная глина, деревянная и глиняная игрушка и др. Яркие экспонаты росписи палешан и хохломской росписи особенно убедительно демонстрируют, что русское народное искусство вступило в период своего настоящего расцвета только в советских условиях и уже отражает социалистическую действительность.

Этим красочным залом заканчивается экспозиция этнографии русского народа, и следующий четвертый зал заполнен этнографическими экспонатами, дающими представление о народной культуре и быте белорусов.

² Текст резолюции и материалы совещания печатаются в специальном выпуске «Кратких сообщений» Института этнографии АН СССР.

В обширном белорусском зале, выявляющем этнографическое своеобразие белорусского народа,—экспонаты отражают тяжелую жизнь белорусского народа в условиях царской России, протекавшей к тому же в большой зависимости и от суровой белорусской природы. Здесь также выявлено своеобразие и отсталость народной техники основных занятий белоруссов (земледелия, животноводства, пчеловодства и особенно различных промыслов, связанных с обработкой дерева) при царском режиме и им противопоставлены различные материалы, рисующие высокий уровень современного народного хозяйства белоруссов. Этот чрезвычайно резкий контраст наглядно выступает и в разделах, посвященных домашнему быту белоруссов (жилище, домашняя утварь, одежда и т. д.), где, как и в предыдущих залах, отражены также различия, вытекающие из социального неравенства среди белоруссов в дореволюционное время. Заключительную часть этого зала составляют экспонаты, характеризующие народное творчество и развлечения белоруссов, включающие и материалы, отражающие современность.

Пятый зал, превосходящий по размерам предшествующий, заполнен выдающимися по оригинальности и красочности экспонатами по этнографии украинского народа. В нем показ начинается с экспонирования коллекции по народной технике украинцев в области их основных занятий (земледелие, животноводство, рыболовство, пчеловодство и т. п.), также в сопоставлении внутри каждой темы с материалами, рисующими высокие достижения социалистического народного хозяйства украинцев. При этом представлены по возможности экспонаты, выявляющие локальные этнографические особенности украинцев различных географических и культурных районов, включая и западные.

Этот принцип проводится и в показе красочного и разнообразного домашнего быта украинцев (жилище, утварь, одежда и т. д.). Специальная тема посвящена и чумачеству. Но особенно разнообразно представлено здесь прославленное украинское народное искусство, хотя этот раздел содержит лишь незначительную часть экспонатов, собранных Музеем. Упомянутый раздел украинской экспозиции представлен характерной настенной росписью, богатой, сверкающей яркими красками вышивкой, резьбой, росписью и инкрустацией по дереву, золотарством, фигурным гончарством и изделиями из стекла. Выставлена также обширная и высокохудожественная коллекция украинских «писанок», представляющая самые различные районы Украины. Заключительная часть зала занята экспонатами современного народного искусства украинцев.

Шестой и самый большой зал экспозиции отведен показу экспонатов по всем славянским народам, ограниченному по причине обилия материала только одной темой «Народная одежда и украшения славян». Однако богатство коллекции Музея и по этой теме не позволяет использовать все имеющиеся экспонаты, несмотря на весьма внушительные размеры зала. Эта тема раскрыта на материале восточных, западных и южных славян и выявляет не только этнографическое своеобразие, но и общность народной культуры славян. Исключительное богатство и разнообразие красок, формы, материала и живописность славянской народной одежды и украшений свидетельствует о необычайной одаренности славянского народного гения. В этом же зале помещается и заключительная часть экспозиции на тему «Дружба славянских народов». В ней отражены на различных ярких, но уже не этнографических, материалах вопросы многовековой борьбы славян за свободу, значение Великой Октябрьской социалистической революции для славянского мира, победа славянских народов над фашистской Германией, борьба за мир и демократию. Экспозиция заканчивается словами И. В. Сталина: «Союз славянских народов — это не царский великодержавный панславизм,— это союз равных славянских государств. Советский Союз как раз и стоит на страже такого союза»¹.

Славянская экспозиция Государственного музея этнографии, предпринятая и осуществленная советскими этнографами, имеет большое научно-просветительное значение и является вкладом в дело тесного культурного общения славянских народов, осуществляющих ныне подвиг спасения мировой цивилизации и обеспечивающих ее светлое будущее.

Л. Попапов

ВЫСТАВКА «НАРОДНАЯ ОДЕЖДА И НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО БЕЛОРУССОВ» В МУЗЕЕ НАРОДОВ СССР

В декабре 1947 г. в Музее Народов СССР (Москва) открылась выставка «Народная одежда и народное творчество белоруссов». Вновь открытая экспозиция тесно связана по своей тематике с ранее открытыми выставками по русским и украинцам и как бы является продолжением работ по восточным славянам, которые Музей начал вести после Великой отечественной войны. В результате работы, сделанной за

¹ Из разговора товарища Сталина с президентом г. Варшавы М. Спыхальским в 1944 г.

последние годы, в Музее открыты три выставки: русская¹, украинская² и белорусская, объединенные одной общей темой «Народная одежда и народное творчество». Этнографической экспозиции по белоруссам не существовало в Музее с 1930 г.; начавшаяся в 1940 г. работа по подготовке отдела «БССР» была прервана Великой отечественной войной. В настоящее время ограниченность материала по белоруссам заставила Музей сузить тему показа и рассматривать вновь открытую выставку пока только как систематический показ фондов, как первый этап работы, который явится в дальнейшем базой для создания белорусского отдела. Костюмы и бытовые предметы, представленные на выставке, собирались Музеем в продолжение целого столетия. Фонды по белоруссам сложились из коллекций бывшего Румянцевского музея, поступивших на этнографическую выставку 1867 г., из небольших собраний 1913 и 1914 гг. по Кобринскому и Пинскому уездам, а также из отдельных случайных поступлений. После Великой Октябрьской социалистической революции изучение белоруссов было начато научным сотрудником Музея Н. И. Лебедевой, которая совместно с В. П. Никольской совершила в 1929 и 1930 гг. две поездки в районы Белорусского Полесья, откуда привезла ценные этнографические коллекции. Небольшая группа экспонатов была приобретена в 1939 и 1940 гг. сотрудниками Музея во время командировок для подготовки отдела Белорусской ССР, и, наконец, самая значительная группа выставленных экспонатов поступила в 1947 г. в результате экспедиции, проведенной Музеем народов СССР в связи с открываемой выставкой по белорусской одежде.

Выставка «Народная одежда и народное творчество белоруссов» размещена в двух залах на площади около 100 квадратных метров. Она начинается небольшим введением, где даются краткие сведения о территории, природе, населении и его занятиях. В первом зале представлена одежда, размещенная на щитах по определенным географическим районам, и техника изготовления материала, идущего на пошивку одежды. Имеющийся материал не позволяет показать все разнообразие белорусской народной одежды по отдельным районам и областям, но все же он дает представление об основных типах белорусского костюма и позволяет проследить смену форм и материала, появление новой отделки, вышивки и т. д. Выставка также преследует цель показать возрастные отличия в костюме, разницу в головных уборах у девушек и замужних женщин, различия в расцветке материала, украшениях и т. д. В витринах расположен дополнительный материал по отдельным районам. Здесь показаны интересные части одежды: женская поясная одежда, юбка — «саян», безрукавка — «кітлік», части старинного мужского костюма и т. д. Коллекция женских головных уборов представлена разнообразными «наміткамі», «таніцамі» и «аляяскамі», показана коллекция старинной обуви и т. д. Вторая тема, развернутая параллельно с показом одежды, представлена обработкой волокнистых растений и шерсти. В определенной последовательности на первом стенде размещены орудия, употребляемые при первичной обработке льна, а именно: мялка — «цярніца», при помощи которой мнут лен; «трэпачка» — приспособление для трепания льна; «пранік» — орудие, с помощью которого обивают семена льна; гребень с гребенкой, необходимые для расчесывания кудели, и т. д. На втором стенде сосредоточены орудия, необходимые для прядения: веретено и прялка — «патась», самопрялка — «козка», дощечка для снования, мотовило, «казел», необходимый при разматывании ниток с веретен, и др. В центре зала экспонирован ткацкий стан — «стаў» в работе, а на особом стенде — «валюшня» для валяния сукна.

В витринах размещены образцы льняных и шерстяных тканей. Дополнительным материалом служат фотографии, на которых изображены костюмы различных районов и трудовые процессы, связанные с обработкой растительных волокон и шерсти: прядение ниток, тканье холстов, валяние шерсти и т. д. На выставке более удачно, чем в других залах Музея, разрешен вопрос с манекенами. Манекены, выполненные скульптором Ф. М. Соколовым для Белорусской выставки, сделаны художественно: их поза естественна и лицо дает правильное представление о белорусском типе. Однако этот в общем удачный опыт нельзя считать доведенным до конца, так как имеются еще недостатки в деталях (в повороте головы, разрезе и цвете глаз и т. д.), устранение которых потребует от скульптора серьезной работы.

Второй зал посвящен народному творчеству белоруссов. Здесь более широко развернуто художественное ткачество. На щитах даны образцы крестьянского ткачества и продукция современных кустарных артелей. Ковры, постилки, рушники, скатерти и другие предметы бытового назначения подобраны по технике (браной, закладной, многогребезной) и по основным традиционным мотивам. Не менее богато представлена белорусская вышивка: здесь имеются полотенца, вышитые рукава женских рубашек, нагрудные вышивки, а также другие изделия. Особенно красочным в этом разделе является щит и витрина с поясами. Яркие по своей расцветке, с преобладанием ли-

¹ Г. С. Маслова, Выставка «Русская народная одежда», Краткие сообщения Института этнографии, вып. 1, 1946, стр. 124.

² А. Лебедева, Выставка «Народная одежда и народное творчество украинцев» в Музее народов СССР, «Советская этнография», 1947, № 2, стр. 222.

нейно-геометрического орнамента белорусские пояса до настоящего времени пользуются широкой известностью. На выставке представлены пояса тканые, плетеные на дощечках, на бердышке, вязаные. К замечательным памятникам белорусского искусства XVIII в. относятся «случские пояса» (г. Слуцк был главным центром их изготовления), затканые серебряными и золотыми нитями по шелку, с цветочным орнаментом. Центральное место среди изделий из дерева занимают работы мастера-самоучки А. И. Шахновича. Его работы, выставленные в зале, стоят на высоком художественном уровне и сделаны с большим вкусом. Здесь показаны: инкрустированные из 15 древесных пород герб БССР, текст Гимна Советского Союза, вырезанный на дереве, резная сцена из эпохи Великой отечественной войны и скульптурная группа. На других щитах расположены бытовые предметы: деревянная посуда, резные ковши самой разнообразной формы, тарелки, миски, ложки, дежа для теста и др. Интересны образцы плетения из соломы, древесных корней и бересты. Здесь выставлены корзиночки для ягод, сплетенные из еловых корней, «шэян» для проса, плетеный из соломы «сецішкі» для сеяния семян, котомки из бересты, табакерки и т. д. Керамическое искусство представлено крайне скудно черной бытовой посудой из Погост-Загородска, гродненской керамикой и фигурными поливными изделиями Борисовской гончарной артели. Раздел народного творчества заканчивается темой: «народные музыкальные инструменты». Здесь выставлены разнообразные пастушьи трубы, дудки, волынки, лиры и бубен. Во втором зале также имеются фотографии, которые дополняют экспозицию вещей. Материал выставки размещен на простых полированных щитах, открытых стендах и в витринах. Простота оформления и хороший фон оставляют благоприятное впечатление. Однако отсутствие шкафов, настенных витрин, стеклянных коллапов ставит под угрозу сохранность ценных экспонатов. Что же касается материала, то вновь открытая выставка все же не отражает пока всего многообразия и богатства белорусского народного искусства. Ряд тем совершенно выпал при показе, другие показаны крайне слабо и нуждаются в дополнении. Поэтому, приветствуя вновь открытую временную экспозицию, следует пожелать, чтобы Музей народов СССР не прекращал начатую им научно-исследовательскую полевую собирательскую работу по Белоруссии и на базе уже открытой выставки развернул в ближайшие годы Белорусский отдел со всесторонним показом белорусской национальной культуры.

В. Белицер

БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ ЗА 30 ЛЕТ

I

Этнографическое изучение белорусского народа имеет почти полуторазековую историю. Однако до образования БССР белорусской этнографической науки в настоящем смысле этого слова не было. Дореволюционная этнография Белоруссии ограничивалась собиранием и публикацией сырых материалов. Если не считать такие местные организации, как Минский церковно-археологический комитет, Минское общество истории и археологии и Северо-западный отдел РГО (1867—1876, 1910—1914), в работах которых частично затрагивались вопросы этнографии, то до революции в Белоруссии не было ни одного научно-исследовательского учреждения. Немногими научными работами исследовательского характера в области этнографии белоруссов в дореволюционной литературе являются: I том трехтомного труда акад. Е. Ф. Карского «Белоруссы» (Введение в изучение языка и народной словесности, 1904), где впервые освещается проблема этногенеза белоруссов, и I часть III тома, в которой дан систематический обзор белорусского фольклора; исследование о культурно-религиозных пережитках в белорусской свадебной обрядности («Этнографическое обозрение», 1893) и некоторые другие работы, главным образом фольклористического характера, проф. М. В. Довнар-Запольского; отдельные статьи представителей местной интеллигенции, например, А. Богдановича — «Пережитки древнего мирозерцания у белоруссов» (Научное обозрение», 1894) и некоторые другие.

В своей подавляющей части дореволюционная белорусская этнография была чисто описательной. В этом отношении накоплен весьма значительный материал, отражающий разные стороны быта и творчества белорусского народа. Наиболее оживленное собирание этнографических материалов Белоруссии замечается в 70—90-х гг. XIX и в начале XX в.

Под воздействием лучших достижений русской передовой этнографии и фольклористики второй половины XIX в. развивается деятельность ряда крупных белорусских этнографов-собрателей, вышедших из среды местной интеллигенции. Наиболее ценные работы, составляющие десятки томов, оставили нам в наследство И. И. Носович, П. В. Шейн, Е. Р. Романов, В. Н. Добровольский, Н. Я. Никифоровский, А. К. Сержпутовский, М. Федеровский, З. Радченко и другие. Но материал, собранный преимущественно любителями-энтузиастами, не имевшими специальной подготовки, в значительной своей части не отвечал научным требованиям (описания недостаточно полны, отрывочны, не связаны с комплексом этнографических явлений, часто отсутствует необходимая документация и т. д.). Внимание этнографов-собрателей привлекали главным образом памятники устного народного творчества или вообще вопросы идеологии

(верования, обряды, приметы). За исключением отдельных работ Сержпутовского (о земледельческой технике), А. Харузина (о жилище), Довнар-Запольского (об обычном праве, ремеслах), кратких описаний Шейна, Никифоровского, Сербова (жилища, одежды, лица), факты материальной культуры и социального быта почти не нашли своего отражения в работах дореволюционных белорусских этнографов.

II

После Великой Октябрьской социалистической революции и создания белорусской советской государственности белорусская этнография вступила в новый период своего развития. Этнографическая работа в Белоруссии приобретает большой размах. Этнографическое изучение населения Белоруссии возобновляется на совершенно иной основе. Оно получает вскоре и устойчивую научную, массовую и материальную базу, свою руководящую организацию (1922) — Институт белорусской культуры (Инбелкульт). Вопросами этнографии в составе Инбелкульта занимался ряд комиссий: фольклорно-диалектологическая, народной музыки, истории искусств, домашних ремесел и др. Лишь в 1925 г. была создана специальная Секция этнографии, преобразованная в 1927 г. в Кафедру этнографии. Это был первый шаг к ликвидации распыленности этнографической работы и созданию единого центра.

Этнографическая деятельность оживляется и на местах. Так, в 1922 г. создается Этнографическая комиссия при Этнографическом кабинете Витебского археологического института, издававшая свой журнал «Белорусский этнограф» (вышло два номера); в Полоцке создается Историко-этнографическое общество. Научные этнографические ячейки возникают при местных историко-краеведческих музеях — Минском, Витебском, Могилевском, Слуцком, Бобруйском. Большую роль в деле оживления собирательской работы на местах сыграло организованное при Инбелкульте Центральное бюро краеведения (ЦБК), издававшее с 1925 г. свой ежемесячный орган «Наш край», переименованный в 1931 г. в «Советская Країна».

Образование в начале 1929 г. Академии Наук БССР знаменует собой новый этап в развитии белорусской советской этнографии. Оно явилось началом действительной научно-исследовательской работы в области этнографии и фольклора белорусов. В 1931 г. в составе Академии Наук БССР были созданы самостоятельные институты, а в составе последних — секции. С этого времени вся этнографическая работа концентрируется в Секции этнографии Института истории. В 1935 г. из состава Секции выделялась самостоятельная фольклорная комиссия, под председательством народного поэта БССР Якуба Коласа, учрежденная при Президиуме АН БССР. Однако уже в 1937 г. с целью преодоления распыленности кадров и по соображениям методологического характера работа в области этнографии и фольклора объединяется в единой Секции этнографии и фольклора Института истории, являющейся и по настоящее время центральным научным этнографическим учреждением республики.

Изменение структуры Академии в 1931 г., создание единого научного центра, последовавшее после устранения буржуазно-националистических элементов, на протяжении ряда лет подвизавшихся в области этнографии, явилось решающим, переломным моментом в развертывании этнографической работы в Белоруссии. Одновременно было обновлено руководство. Во главе Секции этнографии стал видный советский ученый, действительный член АН БССР Н. М. Никольский.

Нацдемы (так называемые «национал-демократы») пытались свернуть белорусскую этнографию и фольклористику с правильного пути. Буржуазно-националистическими «этнографами» была создана антинаучная, так называемая «волото-кривская» теория происхождения белорусского народа (Ластовский, Касперович, Мелешко и др.). Согласно этой «теории», белорусы отнюдь не восточные славяне, а начало свое ведут от легендарных волотов или асилков, связываемых с велетами Птолемея и отвергнутым наукой предположением Шафарика о велетах или лютичах, как древнейших насельниках Белоруссии. Нацдемы проповедывали исключительность белоруссов среди других славянских народов, их особый, «самобытный» исторический путь и характер культуры. Политический смысл этой «теории» состоял в стремлении буржуазных националистов оторвать белорусский народ от родственных ему великого русского и украинского народов. Эта «теория» легла в основу и всей практической деятельности нацдемов в области этнографии. Все их устремления были направлены не к изучению общности культуры восточнославянских народов и выявлению на этой основе национально-бытовых особенностей белорусского народа, а в сторону отыскания исключительно «самобытных» черт культуры белоруссов. Не останавливаясь перед грубой фальсификацией этнографических фактов, низкопоклонствуя перед буржуазной культурой Запада, нацдемы находили большую «близость» между белоруссами и «европейцами» (не только поляками, чехами, но даже... французами, итальянцами), чем между белоруссами и русскими и украинцами. Не удивительно, что от подобных «научных» рассуждений прямой путь вел и привел нацдемов к фашизму (например, немецко-белорусского фашиста Янку Станкевича).

Перестройка этнографической работы в Белоруссии, начавшаяся в 1931 г., протекала в условиях острой идеологической борьбы против установок нацдемов и других буржуазных влияний в области этнографии. Очистившись от этой тлетворной пле-

сении, белорусские этнографы положили в основу своей работы марксистско-ленинскую методологию, а направление и тематика работы были подчинены задачам социалистического строительства и культурной революции, задачам исследования основных проблем истории Белоруссии. Перестройка этнографической работы в новом направлении стала давать положительные результаты. Кроме собирательской работы, значительно оживилась научная разработка этнографического материала, издательская и научно-популяризаторская деятельность Секции.

III

Каковы же важнейшие результаты этнографической работы в Белоруссии за годы советской власти?

Собирание материалов проводилось главным образом научными экспедициями, а также через краеведческие организации и с помощью индивидуальных корреспондентов-собрателей на местах. Широко использовались также студенты белорусских вузов, прослушавшие курсы этнографии и фольклора. Но в собирании материалов до 1931 г. в значительной мере продолжалась линия дореволюционной этнографии, еще сохранялись традиции нацдемовских этнографов. Главный интерес их лежал в области религиозно-обрядового фольклора и народных верований, которые считались ими едва ли не основными элементами белорусской национальной культуры. Остальные этнографические явления почти оставались вне поля зрения собирателя. Нацдемы сознательно игнорировали все изменения, происшедшие в народном быту под воздействием революции, обходили все виды современного народного творчества, отразившие рождение нового строя в жизни и сознании народа, избегали всего того, что говорит об общности культуры белорусского, русского и украинского народов.

Коренной перелом в этнографической работе, наметившийся с 1931 г., коснулся прежде всего собирательского дела. Этнографические экспедиции приняли плановый характер, круг тем полевых исследований был расширен, — в планах работ экспедиций все большее место стали занимать вопросы изучения хозяйственного быта, материальной культуры, художественных ремесел в их историческом развитии. В области фольклора особое внимание было уделено собиранию устнопозитических произведений советской эпохи. В ряде случаев производилось комплексное обследование районов БССР, в котором помимо этнографов и фольклористов принимали участие археологи, антропологи, диалектологи, экономисты. Из таких комплексных экспедиций особо следует упомянуть Лепельско-Березинскую (1931) и Полесскую (1932). Богатый материал дали Оршанско-Сенненская фольклорно-этнографическая экспедиция 1934 г., экспедиция в Гомельскую область 1935 г., Витебская и Червеньская экспедиции 1936 г., Бобруйская 1938 г., Пинская и Барановичская экспедиции 1940 г. и др. Улучшались методы собирания материала, а вместе с этим и его качество. В полевой работе стали применяться фото- и киноаппаратура, фонографы, зарисовки и т. п.

В итоге в Академии Наук БССР были накоплены большие научные фонды, послужившие базой для развертывания научно-исследовательской, научно-популяризаторской и издательской деятельности. Созданный при Секции этнографии Института истории научный рукописный архив насчитывал до войны свыше 70 000 единиц этнографических описаний и фольклорных текстов. Среди этих материалов были неопубликованные собрания старейших белорусских этнографов Е. Р. Романова (четыре тома «Белорусского сборника»), А. К. Сержпутовского, М. В. Довнар-Запольского, И. А. Сербова, Н. Н. Чуркина и др. При Секции был создан первый в Белоруссии фонограммоархив. За несколько предвоенных лет было записано на фоновалики около двух тысяч белорусских песенных напевов, народных танцев и образцов народной инструментальной музыки, до того никогда еще не фиксированной. Секция имела свою фототеку, насчитывавшую до 10 000 снимков, и большую коллекцию фотонегативов. Для проектировавшегося при Секции этнографического музея была собрана вещевая коллекция из двух тысяч предметов, главным образом национальной одежды, ткачества, керамики, орудий производства.

Значительные этнографические коллекции были собраны белорусскими музеями, особенно Минским государственным историческим музеем, имевшим специальный этнографический отдел, музеями Витебска, Могилева, Слуцка, Бобруйска. Этнографические отделы были и в музеях западных областей — в Гродно, Слониме, Пинске (существует и сейчас). Белорусская государственная картинная галерея в Минске, организованная в 1940 г., имела специальный отдел народного искусства. Этнографические коллекции белорусских музеев, главным образом по народному искусству, неоднократно демонстрировались на выставках (на Всероссийской сельскохозяйственной выставке 1923 г. в Москве и др.). Хорошо было показано белорусское народное изобразительное искусство на специальной выставке, приуроченной к декаде белорусского искусства в Москве в 1940 г. В области народного искусства большая собирательская работа проводилась также домами народного творчества, а в области фольклора — местными вузами, особенно Могилевским пединститутом, учительскими институтами в Рогачеве, Речице, Орше и других городах.

В 1936 г. фольклорная комиссия АН БССР провела первый в Союзе опыт орга-

низации конкурса на лучшего собирателя фольклора. Целью этого конкурса было привлечение большего числа собирателей из среды местных работников и молодежи и усиление записи советского фольклора. Конкурс дал хорошие результаты: было получено около 15 тысяч фольклорных текстов. Такое же количество записей дал второй конкурс, проведенный в 1937 г. В числе записей, поступивших на конкурс 1937 г., было около 2 тысяч дореволюционных песен, около 200 песен современных, до 850 старых и 25 советских сказок, 2 тысячи пословиц и поговорок, огромное количество советских частушек, загадок, устных сказов и т. д. Во втором конкурсе участвовало 500 чел., пополнивших кадры постоянных корреспондентов-собираателей Секции.

IV

Деятельность белорусских этнографов и фольклористов проявилась и в выпуске ряда сборников, исследований и большого количества статей, хотя научная обработка материалов еще значительно отставала от их притока. Печатная продукция Инбелкульта по вопросам этнографии не приобрела сколько-нибудь значительных размеров. Были изданы четыре выпуска серии «Беларуская этнаграфія ў доследах і матэрыялах». Наиболее ценным из них является выпуск, посвященный библиографии белорусской этнографии¹, хотя далеко не полной и страдающей многими неточностями. Библиографическая работа продолжалась в последующие годы Секцией. К 1939 г. была подготовлена к печати библиография белорусской этнографии за 1917—1937 гг., насчитывавшая до трех тысяч названий. Однако эта рукопись погибла во время войны.

В области материальной культуры работа начата серьезно только в советское время; результаты ее еще невелики. Научная обработка богато собранного материала (описательного, иллюстративного, вещевого) проводилась совершенно недостаточно вследствие малочисленности специалистов-этнографов. Объектами изучения были главным образом земледелие, народное жилище и строительная техника, одежда, промыслы и домашние ремесла. Среди законченных работ по этим вопросам имеются: монография И. А. Сербова о материальной культуре вицнских полян (населения района с. Вичин Лунинского района, Пинской обл.), особенно ценная своими материалами по постройкам и земледельческому быту²; монография М. Я. Гринблата «Рыбачий промысел в Белоруссии» (25 п. л., рукопись); работа И. А. Сербова о труде и быте белорусских лесорубов и плотогонов (15 п. л., рукопись); его же монография о белорусской национальной одежде (ч. I, женская одежда и головные уборы, 20 п. л., рукопись), работа Лебедевой о жилище и др. Белорусской одежде посвящено также несколько статей исследовательского характера этнографа А. К. Сулинского (в журн. «Советская этнография» и в рукописи), написанных на материалах экспедиций. Типам ткацкого стана («красны») и технике домашнего ткачества посвящена насыщенная фактическим материалом работа Р. Рака (1930).

Вопросы социального быта белоруссов до сих пор еще не заняли надлежащего им места в научных изысканиях белорусских советских этнографов. Единственная крупная работа, рассматривавшая пережитки общинного быта в дореволюционной белорусской деревне, написанная И. А. Сербовым, не увидела света: рукопись погибла во время немецко-фашистской оккупации Минска. Вопрос об артели как традиционной форме коллективной организации труда у восточных славян лишь частично рассматривался в работе о рыбацком промысле и в работе о лесорубах и плотогонах. Материал об общественной трудовой взаимопомощи — «толоке» — у белоруссов широко использован в работе Н. Тихоницкой «Сельскохозяйственная толока у русских»³. Был собран большой материал по семейно-обычному праву, но не подвергся научной обработке.

Изучение вопросов, связанных с общественным бытом белоруссов в прошлом, особенно пережитков родового строя и земельно-общинной организации, должно быть одной из важных задач белорусской этнографии. От правильного, марксистско-ленинского освещения этих вопросов во многом зависит решение ряда основных проблем ранних периодов истории Белоруссии и проблемы этногенеза белорусов.

Гораздо больших результатов, и по объему, и по теоретическому уровню работ, достигли белорусские этнографы в изучении народной идеологии, устного поэтического творчества белорусского народа и его изобразительного искусства. Публикация новых записей белорусского фольклора началась еще в период Инбелкульта. К печатной продукции последнего принадлежат две книги фольклора Витебщины⁴, новый сборник белорусских сказок одного из старейших собирателей А. К. Сержпутовского⁵, сборник песен с напевами из быв. Мстиславльского у. Могилевской губ.⁶. Опи-

¹ Матэрыялы да беларускае бібліяграфіі. Этнаграфія, Мінск, 1927.

² С е р б о в а І. Віцнскія палыне. Этнаграфічны нарыс Беларускага Палесся, ч. I. Матэрыяльная культура.— Зборнік артыкулаў, Мінск, Выд. ІБК, 1928. И отдельно — Мінск, 1928, 52 с. + 37 фото + 1 карта + 1 таблица планов крестьянских дворов.

³ «Советская этнография», 1934, № 4.

⁴ Матэрыялы да вывучэння фальклору і мовы Віцебшчыны, Мінск, ІБК, 1927.

⁵ Казкі і аповяданні беларусаў з Случка павету. ІБК, Ленінград, 1926 (первое собрание сказок Сержпутовского опубликовано в 1911 г.).

⁶ Беларускія песні. Мінск, ІБК, 1928.

сания народных верований, обрядов и обычаев в большом количестве разбросаны в отдельных статьях. В издании Академии появился уже сборник материалов, собранных в дореволюционную пору А. К. Сержпутовским, характеризующих религиозный быт и воззрения белоруссов Полесья⁷. После перестройки этнографической работы в 1931 г. начинается и серьезное исследование собранных материалов. Появляются две монографии Н. М. Никольского, одна из которых исследует мифологию и обряды, связанные со специфическими для белорусского фольклора «валачобными» песнями⁸, другая посвящена изучению пережитков культа животных и тотемизма в белорусских народных верованиях⁹. Обе эти работы являются первой попыткой применить марксистский метод к исследованию этнографических явлений в Белоруссии.

С 30-х гг. развертывается интенсивное соби́рание советского фольклора. Попытки подобного рода делались и раньше. Так, белорусский писатель и этнограф З. Бядуля уже в 1923 и в последующие годы выступал в печати с призывом записывать народное творчество, отражающее современность¹⁰. Однако буржуазные националисты, орудовавшие в то время на фольклористическом фронте, всячески тормозили это дело. В 1931 г. была опубликована первая программа по соби́ранию белорусского советского фольклора. С 1934 г. изучение советского фольклора начинает занимать все большее место в работах экспедиций Академии. Большой приток новых записей дали конкурсы на лучшего соби́рателя 1936—1937 гг. Систематизация собранного материала, проведенная Секцией, позволила приступить к публикации образцов советского фольклора. В 1937 г. было выпущено два тематических сборника: книга о Ленине и Сталине¹¹ и небольшой сборник фольклорных произведений о Ворошилове¹². В 1928 г. выходят еще два фольклорных сборника — о дореволюционной и советской Белоруссии¹³ и сборник оброчного фольклора¹⁴. В 1940 г. — большой сборник, посвященный образу женщины в белорусском фольклоре¹⁵.

Перед войной Секция приступила к изданию первого академического свода песен белорусского народа с напевами. Было подготовлено три тома, состоящих из 800 песенных текстов с нотами, систематизированных по историко-тематическому принципу. Впервые проведенная четкая классификация белорусского песенного фольклора, точность записи (значительная часть их представляла расшифровку фонограмм, наиболее верно передающих живое звучание народного исполнения) и широкий научный комментарий поставили этот свод в ряд лучших научных изданий музыкального фольклора. Однако успел выйти в свет только первый том (208 песен помимо вариантов)¹⁶. Второй том, находившийся в производстве, и рукопись третьего тома погибли во время немецкой оккупации.

В предвоенные годы значительные размеры приобрела исследовательская работа в области советского и дореволюционного белорусского фольклора. Разрабатывался ряд актуальных тем — отражение классовых борьбы в фольклоре (Н. М. Никольский), фольклор гражданской войны (М. Я. Гринблат), Янка Купала и фольклор (Э. В. Голубок) и др.

В деятельности Секции этнографии и фольклора видное место занимали прежде мало изучавшиеся вопросы белорусского народного искусства (особенно изобразительного, а также музыкального, хореографического). На основе собранного на протяжении ряда лет большого фактического материала был составлен первый общий очерк белорусского народного изобразительного искусства¹⁷ и два тома красочного альбома «Беларускае народнае мастацтва», показывающего наиболее характерные образцы, систематизированные по основным разделам (художественное ткачество — однотонное и цветное, тканый и шитый орнамент, пояса, вязание, набойка, художественная обработка дерева — резба, инкрустация, скульптура, архитектурное оформление жилья; плетение из соломы, лозы и коры; керамика, роспись и т. д.). Первый том, начатый

⁷ Прымкі і забабоны беларусаў-паляшукі. Мінск. 1930. Под ред. действительного члена АН БССР С. Я. Вольфсона.

⁸ Мифалогія і абрадаваць беларускіх валачобных песень, Мінск, 1931.

⁹ Жывёлы ў звычаях, абрадах і вераннях беларускага сялянства. Мінск. 1933.

¹⁰ Запісвайце частушкі! Газ. «Сов. Беларусь», Мінск, 1923, № 19; Народная творчасць і новы быт. Журн. «Маладняк», Мінск, 1924, № 2—3.

¹¹ Ленін і Сталін ў беларускай народнай творчасці. Мінск, 1937.

¹² Клім Варашылаў ў беларускай народнай творчасці. Пад рэд. Я. Коласа, Мінск, 1937.

¹³ Советская і дэрэволюцыйная Беларусь у народнай творчасці. Пад рэд. Я. Коласа і Н. М. Нікольскага, Мінск, 1938.

¹⁴ Чырвоная Армія і абарона Радзімы ў беларускай народнай творчасці. Пад рэд. Я. Коласа і Н. М. Нікольскага, Мінск, 1938.

¹⁵ Жанчына ў беларускай народнай творчасці. Пад рэд. Н. М. Нікольскага і М. Я. Грынבלата, Мінск, 1940.

¹⁶ Песні беларускага народа, т. I. Пад агульнай рэдакцыяй Н. М. Нікольскага і М. Я. Грынבלата. Музыкальная рэдакцыя Е. В. Гіпіус і З. В. Эвальд, Мінск, Выд. АН БССР, VIII, 1940, 391 с.

¹⁷ М. Грынблат, Народное искусство, Сб. «Изобразительное искусство Белоруссии», Москва, 1940.

печатанием до войны и сохраненный работниками ленинградской типографии им. Ивана Федорова, в ближайшее время выйдет в свет.

Впервые было начато изучение белорусских народных танцев и народной инструментальной музыки. Собранный и систематизированный материал составил основное содержание III тома «Песен белорусского народа».

В годы советской власти белорусская этнография и белорусский фольклор впервые вошли в качестве специальных курсов в стены университета и педагогических институтов.

V

Разбойничье нападение гитлеровской Германии на советскую страну временно прервало осуществление начатых работ белорусских этнографов. В эвакуации, вдали от родины, умер старейший белорусский этнограф И. А. Сербов; без вести пропал неутомимый работник в области белорусского фольклора Э. В. Голубок; смертью храбрых, защищая Родину, погиб молодой белорусский фольклорист А. К. Калечин; во время блокады Ленинграда погибла известный музыкант-этнограф Э. В. Эвальд, много сделавшая в деле собирания и изучения белорусской музыкально-песенной культуры; замучен немцами знаток фольклора белорусских евреев Л. С. Душман.

Немецко-фашистские захватчики беспощадно уничтожали культурные ценности белорусского народа. Они разграбили и сожгли здания Академии Наук БССР. Немцы или уничтожили, или вывезли в Германию все научные фонды, заботливо собиравшиеся на протяжении многих лет упорным трудом белорусских этнографов: ценнейший рукописный архив, фонограммоархив вместе со звукозаписывающей аппаратурой, материалы экспедиций почти за 20 лет, вещевые этнографические коллекции, фототеку, рукописи и сданные в печать работы.

Достаточно перечислить только работы, находившиеся к началу войны в производстве или готовые к сдаче в печать, чтобы судить о потерях, понесенных белорусской этнографией и фольклористикой в результате нападения гитлеровских банд: сборник фольклора Западной Белоруссии периода 1920—1939 гг. (15 п. л.); «Песни беларускага народа», тт. II и III (около 60 п. л.); альбом белорусского народного искусства. т. II; монографии — «Белорусская национальная одежда», ч. I; «Рыбацкий промысел в Белоруссии»; «Фольклор гражданской войны»; «Янка Купала и фольклор»; сборник еврейского советского фольклора и другие работы.

Были уничтожены все этнографические собрания белорусских музеев. Урон, нанесенный немецко-фашистскими вандалами белорусской этнографии, огромный, он с трудом поддается учету.

Однако работа белорусских этнографов и фольклористов не прекращалась и в годы Великой отечественной войны. Доц. И. В. Гуторов, сражаясь в рядах брянских партизан, записал значительное количество образцов партизанского фольклора. И. В. Ефремов, пройдя с Советской Армией боевой путь от Москвы до Берлина, собрал богатый материал фронтового фольклора, составивший целый том. Написал работу М. Я. Гринблат об изображении немцев-захватчиков в фольклоре славянских народов¹⁸. Старейший ученый Белоруссии Н. М. Никольский, находясь в партизанском отряде, продолжал свои научные занятия, собирая материал для большого исследования о белорусской свадебной обрядности.

VI

После войны с новой силой возобновилась этнографическая и фольклористическая работа в Белоруссии. Первоочередной задачей стало восстановление и обогащение этнографических и фольклорных научных фондов. В 1945 и 1946 гг. проведены первые послевоенные фольклорно-этнографические экспедиции АН БССР в Минскую, Молодечненскую, Бобруйскую, Полесскую и Пинскую области. Материалы экспедиций положили основу вновь создаваемым этнографическим фондам.

В качестве одной из наиболее актуальных и срочных работ была признана работа по изучению фольклора Великой отечественной войны. В собирании материала активное участие принимает и ряд внеакадемических учреждений. Несколько фольклорных экспедиций с участием студентов и аспирантов БГУ под руководством Л. Г. Барага выезжали в разные районы Барановичской и Гродненской областей. Значительную собирательскую работу провел студенческий фольклорный кружок Минского пединститута, руководимый преподавателем фольклора М. С. Меерович. В собирание фольклора включились также кафедры литературы Гомельского и Могилевского пединститутов и учительских институтов Барановичей, Бреста и Пинска. Сектор этнографии и фольклора АН БССР предпринял многоотомное издание «Материалы по фольклору Великой отечественной войны, записанные в Белоруссии». Первый том (25 п. л.) сдан в печать. В печати находятся: второе расширенное издание книги «Ленін і Сталін у беларускай народнай творчасці», составленной М. Я. Гринблатом, два тома музыкально-фольклорных записей Г. Р. Ширмы, сборник белорусских песен и танцев в записях Н. Н. Чуркина, сборник двухголосных белорусских песен, записанных

¹⁸ Славянскія народы аб немцах-захопніках, Весті АН БССР, Адазяленне грамадскіх навук, Серыя гістарычная, № 1, Мінск, 1947.

Г. И. Цитовичем, I том научного собрания белорусских народных сказок, подготовленного Л. Г. Барагом. Восстановлен погибший во время войны и подготовлен к печати II том альбома белорусского народного искусства.

Возобновилась и исследовательская работа. Печатается большое исследование Н. М. Никольского «Происхождение и развитие белорусской свадебной обрядности» (15 п. л.). А. Д. Палеев работает над монографией «Художественная обработка дерева в Белоруссии». Г. И. Цитович заканчивает работу об особенностях белорусской народной музыкальной культуры. Статью о мелодике белорусских народных песен сдала в печать С. Г. Нисневич. Заканчивает большое исследование о белорусской народной сказке Л. Г. Барак. Молодой научный работник Л. Г. Алтшуллер закончила работу по истории Северо-западного отдела РГО и его роли в этнографическом изучении Белоруссии. М. С. Меерович готовит кандидатскую диссертацию «Песни партизан Белоруссии».

Новый пятилетний план 1946—1950 гг. предусматривает дальнейшее развитие белорусской этнографической науки. Роль белорусской этнографии в решении основных проблем истории Белоруссии, в работе по культурному строительству республики, в деле идеологического воспитания трудящихся в духе коммунизма — растет с каждым годом.

М. Я. Гринблат

ВОЗРОЖДЕНИЕ РУССКОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ХОРА СЕЛА ДОРОЖЕВО

В октябре-ноябре 1947 г. я был командирован Комитетом по делам искусств при Совете Министров РСФСР в гор. Брянск для оказания творческой и организационной помощи в проведении областного смотра сельской художественной самодеятельности. Заинтересованный выступлениями Дорожевского этнографического хора, я после окончания смотра выехал в село Дорожево, где непосредственно ознакомился с жизнью коллектива и историей его восстановления.

Выступления в 1940 г. в Москве русского этнографического хора села Дорожево Брянской области вызвали большой интерес у советских фольклористов, и не случайно через 6 лет в журнале «Советская этнография» была помещена статья о хоре и его представлении «Кострома»¹. Какова же судьба этих талантливых народных артистов?

Известно, что Брянская область подверглась оккупации, а село Дорожево дотла было сожжено немцами. Население же его, частично эвакуированное на Волгу, и те, кто своевременно не успели выехать, и те, кто сражался в партизанских отрядах и в регулярной армии, — все, кто после освобождения возвратились домой, застали на месте цветущего некогда села пепелище. Нужно было заново строить дома, обзаводиться хозяйством, словом, начинать жизнь сначала. Казалось бы, не скоро зазвучат снова песни, не до того, чтобы восстанавливать и налаживать спектакли. Однако жизнеспособность дорожевцев оказалась огромной, а органическую потребность творческой деятельности не заглушили никакие невзгоды. Показательно, что ни один костюм (а костюмы эти, как известно, представляют собой художественную и этнографическую ценность) не был утерян: их хранили в эвакуации, волокли в узлах по лесу, когда скрывались от немецких карателей, и даже зарывали в землю. Ни на момент не пропадала вера в то, что возвратятся светлые дни и костюмы тогда понадобятся.

За восстановление села взялись дружно, всем колхозом. Трудно сейчас поверить, что так недавно на месте этих новых, пахнувших еще свежей древесиной домов были землянки и сиротливо торчали закоптелые трубы. И даже в самый разгар строительных работ мысль о возрождении хора не покидала его старых участников, а их осталось девять человек из тринадцати. Тут и исполнительница роли Костромы Марья Ильинична Васюкова, и Евдокия Федоровна Симонова, и 67-летняя Александра Федоровна Желтова, и Дмитрий Иванович Сбродов и др. Вокруг «стариков» стали группироваться новые люди. В настоящее время хор насчитывает 25 колхозников, в нем принимают участие и бывшие партизаны, и комсомольцы.

Проведение Всероссийского смотра сельской художественной самодеятельности и в связи с этим приезд в село и беседы с участниками хора работников Брянского областного Дома народного творчества стимулировали начало регулярных репетиций. В результате восстановлено представление «Кострома», подготовлено новое — «Свадьба», дающее богатейший материал для изучения русского народного театра и старины Брянской области. Кроме старинных русских народных песен, в репертуаре дорожевцев появилось немало частушек на современные колхозные и партизанские темы. Замышляется целое народное представление на тему о восстановлении Дорожева. Огромным успехом пользовался дорожевский этнографический хор на областном смотре сельской художественной самодеятельности, который прошел в Брянске в ноябре 1947 г.

Восстановление и плодотворная работа этого коллектива свидетельствуют о неумирающей жизненной силе русского народного театра и далеко еще не исчерпаны его возможности.

А. Гуз

¹ Л. В. Кулаковский, «Кострома» (брянский хороводный спектакль), «Сов. этнография», 1946, № 1.

PERSONALIA

С. Н. ДЖАНАШИА

На сорок седьмом году оборвалась жизнь выдающегося талантливого советского ученого, крупного общественного деятеля и замечательного человека — академика Симона Николаевича Джанашиа. Всю свою жизнь, короткую, но предельно насыщенную активной творческой деятельностью, этот пламенный патриот Социалистической Родины полностью посвятил служению советской исторической науке, культурному строительству нашей страны.

С. Н. Джанашиа родился 18 ноября 1900 г. в сел. Макванети (Грузия, б. Озургетский уезд) в семье известного педагога и видного представителя национально-освободительного движения конца XIX в., этнографа Н. Джанашиа. Начальное образование он получил в грузинской школе м. Дзвели Сенаки, а среднее — в Сухумском реальном училище, которое окончил в 1918 г. В том же году он поступил в Тбилисский государственный университет. Окончив курс университета по историческому и лингвистическому отделениям одновременно, он был оставлен при университете проф.

И. А. Джавахишвили как аспирант по истории Грузии. С 1926 г. С. Н. Джанашиа читает курс истории Грузии уже в качестве лектора Тбилисского государственного университета. С 1930 г. — он доцент, а с 1935 г. — профессор и заведующий кафедрой истории Грузии. В то же время он читает курсы источниковедения, истории горцев Кавказа, истории покорения Кавказа, абхазского языка и специальные курсы по истории Грузии, руководя семинарами.

В 1938 г. С. Н. Джанашиа защитил диссертацию на тему «Феодалная революция в Грузии», в результате чего ему была присуждена ученая степень доктора исторических наук.

Параллельно этому С. Н. Джанашиа вел энергичную и плодотворную работу в Историко-этнографическом и Лингвистическом обществах, а также в ряде научно-исследовательских учреждений Грузии.

В 1936 г., в связи с известным постановлением об улучшении работы на историческом фронте, С. Н. Джанашиа был назначен директором Института языка, истории и материальной культуры, выросшего под его руководством в два самостоятельных и крупных института Академии Наук Грузинской ССР. Начиная с 1939 г. по 1941 г., т. е. до учреждения в Грузии Академии Наук, С. Н. Джанашиа — заместитель председателя Грузин-

ского филиала АН СССР. В 1941 г. С. Н. Джанашиа был утвержден действительным членом Академии Наук Грузинской ССР, избран вице-президентом и утвержден в должности директора ИЯИМК. До последних дней своей жизни он работал в качестве вице-президента АН Грузинской ССР и директора выделившегося с 1943 г. Института истории им. акад. И. А. Джавахишвили; своим организаторским талантом он оказал неоценимую услугу делу укрепления и развития молодой Академии, в учреждении которой ему принадлежит по праву одно из ведущих мест.

В 1943 г. С. Н. Джанашиа, как один из крупнейших историков Союза, был избран действительным членом Академии Наук СССР, где он с большой любовью и такой же пользой продолжал дело своего учителя — акад. Н. А. Джавахишвили.

Как ученый и общественный деятель С. Н. Джанашиа оформился в общественной среде Советского социалистического государства. Он получил широкое и глубокое историко-филологическое и лингвистическое образование, что в сочетании с последовательным применением марксистской методологии дало ему возможность по-новому ставить и решать важнейшие проблемы истории Грузии. Благодаря глубокой эрудиции по вопросам древней истории, редкому критическому чутью в отношении исторических источников, ясному и широкому осмыслению исторических явлений в свете марксистской методологии, он значительно обогатил и намного двинул вперед все отрасли грузинской исторической науки.



С. Н. Джанашиа принадлежал к числу тех ученых, которые, удачно сочетая широкий диапазон научных интересов с глубиной исследования, создали новую веху в развитии науки. Проблемы этногенеза и первоначального расселения грузин, происхождения государственности, зарождения и утверждения феодализма в Грузии, эпоха арабского владычества и много других актуальнейших вопросов из истории Грузии нашли отражение и решение в многочисленных трудах ученого, одинаково свободно оперирующего письменными источниками, археологическими памятниками, этнографическими материалами и лингвистическими данными.

Перу С. Н. Джанашиа принадлежит свыше 50 исследований, большинство которых относится к древней истории Грузии, преимущественно к политической истории и исторической географии. Такие труды, как «К политической географии иберского (картлийского) царства в древнейший период», «Париадр, Скидис, Московские горы», «К вопросу о древнейших культурно-политических центрах восточно-грузинского государства» и ряд работ по политической географии западной Грузии, по-новому освещают узловые вопросы истории Кавказа, существенным образом способствуя выяснению сложных исторических сплетений древнейшего населения Передней Азии. В первом из указанных трудов путем анализа преимущественно греко-римских источников С. Н. Джанашиа установлены древнейшие политические границы Картли, во второй работе, построенной главным образом на критической интерпретации грузинских, армянских и греческих свидетельств, дана новая локализация важнейших географических пунктов, правильно ориентирующих исследователя и по-новому освещающих границы территории расселения грузинских племен. В третьей работе определена южная граница картлийского царства в I в. до н. э. Значение этих выводов для истории южного Закавказья едва ли можно переоценить.

Другой центральной проблемой, над которой работал покойный ученый, является проблема возникновения и развития государственности в Грузии. Анализируя сообщения Страбона об общественном устройстве Иберии, С. Н. Джанашиа и здесь пришел к необходимости пересмотреть господствовавшие до того взгляды и выдвинул положение, что грузинская государственность к I в. н. э. имеет более развитую форму и более длительную историю развития, т. е. она зародилась раньше, нежели это считалось в грузинской историографии.

Результаты многолетних трудов над этой проблемой («История государственности на Кавказе») С. Н. Джанашиа не успел опубликовать.

Много нового внесено С. Н. Джанашиа и в область исследования вопросов зарождения и утверждения феодализма в Грузии. Этой проблеме посвящены такие работы, как «Грузия на пути феодализации (ранний период)», «Феодальная революция в Грузии» и др., в которых дано научно обоснованное разрешение спорного до того вопроса об условиях и времени возникновения феодальных отношений. Установление времени зарождения (III—IV вв.) и утверждения (VI в.) феодализма в Грузии — одна из крупных заслуг покойного ученого перед грузинской исторической наукой.

Круг научных интересов С. Н. Джанашиа не ограничен вышеперечисленными проблемами. Он интенсивно и плодотворно работал над вопросами истории Грузии эпохи арабского владычества. В специальной монографии «Арабы в Грузии» трактуются вопросы времени и условий установления арабского владычества, характера этого владычества и социально-экономические взаимоотношения этого периода в Грузии.

Придавая исключительно важное значение и посвятив ряд трудов критике исторических памятников («Псевдо-Арсений», «К критике Моисея Хоренского», «Известия де-ла Порта о Грузии и источник интерполяции в их русском переводе», «Сообщение Константина Порфиrogenета о Тао-Кларджетских Багратионах»), он много внимания и труда уделил критической публикации исторических источников. Им издано «Житие Саввы Ассура» и подготовлены к печати «Дзегли Эриставта», сочинение Леонтия Мровели и др.

Работа над критикой исторических памятников и проблемами истории Грузии являлась основой деятельности этого передового советского ученого и патриота, служившей интересам строительства нового социалистического общества и утверждения новой социалистической морали. С высоким чувством ответственности советского ученого он твердо стоял на страже чистоты исторической науки и беспощадно разоблачал попытки фальсификации истории народов Кавказа, давая примеры научно обоснованной и высоко принципиальной, непримиримой большевистской критики.

Строго научные, всесторонне взвешенные и прерверенные выводы ученого об исторических правах Грузии на территорию, завоеванную турками, вылились в страстные призывы борца за справедливость и нашли сочувственный отклик в мировом общественном мнении.

Не остались без внимания и вопросы из культурной истории Грузии. Перу С. Н. Джанашиа принадлежит ряд очерков («О первом русском переводе поэмы Руставели», «Давид Чхотуа и его очерки о «Вепхис Ткаосани», «К генеалогии Э. Ингорквва», «Взгляды на феодальное воспитание и просвещение в Грузии XVII века», «Георгий Шарвашидзе», «Очерк из культурной истории Абхазии и Мегрелии» и др.). Они надолго останутся основополагающими и ориентирующими дальнейшее исследование в этом направлении.

Общеизвестны заслуги С. Н. Джанашиа в области развития грузинской советской археологии. Со дня кончины акад. И. А. Джавахишвили руководство археологическими работами было возложено на С. Н. Джанашиа, и, начиная с 1940 г. до последних дней своей жизни, он возглавлял широко разветвленную сеть больших археологических раскопок, являясь оперативным руководителем мцхетской археологической экспедиции. Результаты археологических раскопок в Грузии приобрели широкую известность. Благодаря этому материалу стало возможным окончательно убедиться в том, что так называемую «кобанскую культуру» нужно считать местной культурой западной Грузии не только по преимущественному распространению, но и по происхождению. Дальнейшие открытия подтверждали правильность соображения покойного ученого относительно так называемых «амазонских топоров», видевшего в этом типе топора один из компонентов восточногрузинской бронзовой культуры. Открытиями аналогичного значения ознаменовались раскопки и памятников античной Грузии. И здесь был обнаружен первостепенный раскопочный материал, в образе которого положение С. Н. Джанашиа о раннем возникновении грузинской государственности, основанное на анализе литературных данных, нашло бесспорное подтверждение.

Работая преимущественно над периодом, наименее изученным и наиболее бедным письменными источниками, С. Н. Джанашиа обращался и к лингвистическим данным. С этой целью С. Н. Джанашиа специально изучил адыгейские языки, ознакомился с чеченским и лезгинским языками, что в сочетании с глубоким знанием абхазского языка дало ему возможность осветить некоторые стороны сложного языкового сплетения народов Кавказа, выявить этим путем реально-исторические племенные взаимоотношения и тем самым восполнить существенные пробелы в истории народов Кавказа. Из серии трудов, посвященных отдельным проблемам кавказского языковедения, такие труды, как «О форме абхазского названия верховного божества», «Черкесский (адыгейский) элемент в топонимике Грузии», «Сванско-адыгейские (черкесские) языковые встречи» и др., являются путеводными для изучающих историю и языки народов Кавказа.

Не менее значительны заслуги покойного в области этнографии Грузии и Кавказа.

Научные построения С. Н. Джанашиа по кардинальным вопросам этнографии базировались на им же выдвинутой и обоснованной концепции, согласно которой древняя Грузия рисуется в виде органической, но самобытной части более обширного мира; этот мир в узком аспекте представлен Кавказом, а в широком — Древним Востоком, с другими компонентами которого Грузия переплетается многообразными и различными генетическими и культурно-историческими связями.

В свете этой концепции поставлена и разрешена С. Н. Джанашиа проблема этногенеза грузинского народа, одна из актуальнейших проблем истории древней Грузии, которой он посвятил серию капитальных исследований: «Тубал-Табал, Тибарен, Ибер», «Древнейшее национальное предание о первоначальном расселении грузинских племен в свете истории Ближнего Востока», «Из истории месхского племени», «Античная схема кавказских этнархов и эпонимов» и ряд других.

В первой из указанных выше работ С. Н. Джанашиа устанавливает структуру картвельских племенных названий, состоящих из основы — суфф. он || ен. Это положение аргументируется сохранившимся до настоящего времени и исторически восстанавливаемым оформлением западногрузинских племенных названий: св-ан, з-ан, ч-ан. Подвергнув подробному анализу этот суффикс, С. Н. Джанашиа вскрывает его сущность, определяя его как «собирательный суффикс картвельских языков», и одновременно увязывает его с аналогичными явлениями в языках, находившихся в длительном культурном взаимодействии с картвельскими (в армянском, осетинском, черкесском). Тщательно прослежена также история племенного названия восточных грузин «Ибер», с основой которого научная литература вопроса связывает армянскую, древнеперсидскую, сирийскую и новоперсидскую формы этого племенного названия, а также пути и этапы других этнонимических формообразований.

Установлением общекартвельской структуры племенных названий и восстановлением древнейшей формы ибер-ан || hiber-an С. Н. Джанашиа по-новому и веско аргументирует генетическую связь кавказских иберов с южночерноморскими тибаренами, что в сочетании с фактом существования во внутренних районах Малой Азии народа под названием «Табаран» значительно расширяет ареал распространения грузинских племен к I в.

Еще раз подкрепив положение о связи иберов-грузин через тибар-табаров с табалами ассирийских источников, с одной стороны, и тубалами Библии, с другой, С. Н. Джанашиа на основании картвельского языкового материала объясняет факт передачи названия своей страны и родного народа в хеттских иероглифических надписях посредством идеограммы «воды», «моря» и, наконец, приходит к выводу, что «табальская эпоха» есть лишь один из этапов развития хеттских племен и что через культурное содержание табало-тубальской эпохи и при помощи самих этнических терминов мы восходим к более ранним ступеням развития, в частности к «субарам» и «шумерам».

Эти результаты долголетних разысканий в области этногенеза грузинского народа вместе с положениями, выдвинутыми покойным ученым в других работах из этой же серии, внесли ясность в чрезвычайно сложный комплекс вопросов древнейшей исто-

рии народов Кавказа и создали твердую, научно обоснованную и ясную перспективу для последующих исследователей.

Вопросам родового устройства и сельского общества, разложения родового строя и перехода его в классовое общество посвящены такие труды С. Н. Джанашиа, как «Родовой строй у грузин» и «Грузия на пути феодализации (ранний период)». В первом, одном из ранних трудов (1932) С. Н. Джанашиа оперирует этнографическими данными с привлечением письменных источников. Здесь он приходит к выводу, что все без исключения грузинские племена пережили стадию родового строя и довели ее до высшей формы развития. Путем анализа исторических свидетельств, сохранившихся в памятниках отечественной историографии, ему удается вскрыть социальное значение термина «сахли» (дом), которым первоначально обозначалась основная форма общественных отношений — род. Вместе с тем, опираясь на сообщения Страбона об общественном устройстве Иберии, он дал картину общественного уклада грузин с элементами действующего родового строя в горных районах (Сванетия) и признаками классового расслоения в низменных районах. Анализируя источники этого ряда страбоновых сообщений, С. Н. Джанашиа приходит к выводу, что такое положение должно было существовать и за 100—150 лет до Страбона. В дальнейшем С. Н. Джанашиа на основе главным образом этнографического материала восстанавливает основные черты общинного уклада сванов на протяжении предшествующих нашей эре столетий, подробно описывая внутри- и межродовые взаимоотношения, обычное право, семейный быт и характер родовой собственности, и заключает исследование установлением времени начала разложения первобытно-общинного уклада. Ряд положений, выдвинутых в этом труде, лег в основу исследования, посвященного изучению зарождения и утверждения феодальных отношений в Грузии и блестяще защищенного им в качестве докторской диссертации.

По-новому обоснованные и новые точки зрения по узловым вопросам истории Грузии, выдвинутые С. Н. Джанашиа в его многочисленных и разнообразных по тематике трудах, вошли в качестве основных положений в соответствующие главы учебника по истории Грузии, получившего высокую оценку советской исторической критики и удостоенного Сталинской премии.

С. Н. Джанашиа являлся не только талантливым ученым и крупным общественным деятелем, но также и образцовым педагогом, чутким преподавателем. Он один из строителей кафедры истории Грузии Тбилисского государственного университета имени Сталина и воспитатель нового поколения многочисленных кадров специалистов по отдельным дисциплинам исторической науки, ведущих в настоящее время самостоятельную научно-исследовательскую, а в некоторых случаях и руководящую работу.

Трудно охватить сейчас многогранную и плодотворную деятельность академика С. Н. Джанашиа. Двадцать пять лет его научной педагогической и общественной деятельности составили новую веху в развитии грузинской исторической мысли. Партия и правительство высоко оценили заслуги акад. Джанашиа перед советской наукой: он был награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За Оборону Кавказа» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Ему была дважды присуждена Сталинская премия; в 1946 г. трудящиеся Грузии избрали его депутатом Верховного Совета СССР; в том же году ему было присуждено звание заслуженного деятеля науки.

Память о достойном сыне Сталинской эпохи, безупречным служением интересам Социалистической Родины заслужившем любовь и уважение интеллигенции и учащейся молодежи, вечно будет жить в грузинском народе.

А. Робакидзе

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ



ПРОТИВ БУРЖУАЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ

(О книге проф. В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки»)

В 1946 г. в издании Ленинградского университета вышла в свет книга проф. В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки»¹. Автор книги поставил перед собой задачу определить истоки волшебной сказки. «...что значит конкретно исследовать сказку, с чего начать? — ставит вопрос В. Я. Пропп в предисловии к книге и дает следующий ответ: «Если мы ограничимся сопоставлением сказок друг с другом, мы останемся в рамках компаративизма. Мы хотим расширить рамки изучения и найти историческую базу, вызвавшую к жизни волшебную сказку». В. Я. Пропп справедливо указывает на несостоятельность изучения фольклора методом исторической школы, во главе со Всеволодом Миллером, на ограниченность так называемой финской школы и на то, что нужно «покинуть путь абстрактного теоретизирования и встать на путь конкретного исследования». «Для нас, — пишет В. Я. Пропп, — вопрос стоит принципиально иначе. Мы хотим исследовать, каким явлениям (а не событиям) исторического прошлого соответствует русская сказка и в какой степени оно ее действительно обуславливает и вызывает. Другими словами, наша цель — выяснить источники волшебной сказки в исторической действительности». «Все исследование сводится к тому, чтобы определить, при каком социальном строе создались отдельные мотивы и вся сказка».

Такова проблема, которую поставил в своей монографии проф. Пропп. Как видим, вопросы, которые пытается решить автор, исключительно интересны и важны. Советская фольклористика разрешила немало труднейших проблем, перед которыми в бессилии останавливались буржуазные ученые. Однако круг вопросов, связанных с изучением сказки, в особенности вопрос об ее генезисе, все еще продолжает оставаться «узким» местом в нашей науке. По сути дела здесь сделано чрезвычайно мало. Гениальные, основополагающие высказывания Горького о сказке, к сожалению, не нашли еще в советской фольклористике должного применения и развития. Поэтому вполне понятен и законен тот интерес, который вызывает появление первого советского капитального исследования о сказке.

Книга проф. Проппа претендует разрешить вопрос о генезисе сказки с марксистских позиций. Автор широко привлекает как фольклорные, так и этнографические материалы, причем не ограничивает себя только русскими источниками, но обильно использует и зарубежные. Обилие фактического материала, насыщающего книгу, — одно из достоинств этого труда. Автор не ограничивается фактографической стороной, но дает свои, довольно широкие обобщения. Сам В. Я. Пропп указывает, что в решении вопроса им избран путь «принципиально иной» по сравнению с предшествующими фольклористами. Все это усиливает интерес к книге. Нельзя не отметить также и то, что преобладающее число страниц книги написано живым языком.

Это — о достоинствах книги. К сожалению, на этом приходится поставить точку. Уже с первых страниц начинаешь испытывать всякого рода сомнения и, чем дальше читаешь, — тем больше. И это закономерно, ибо постепенно все яснее и яснее выступает концепция проф. Проппа, его «принципиально иной» путь исследования. Впрочем, если говорить об основных теоретических положениях проф. Проппа, то они наиболее отчетливо и концентрированно сформулированы в его статье «Специфика фольклора»².

¹ Проф. В. Я. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, Изд. Ленингр. ун-та, Л., 1946, стр. 340.

² Труды Юбилейной научной сессии Ленингр. гос. ун-та, Серия филологич., Л., 1946.

Статья эта, ставящая интересные вопросы, как ни странно, не получила еще должной оценки в нашей печати. Между тем статья «Специфика фольклора» — ключ к пониманию «Исторических корней волшебной сказки». Поэтому мы считаем необходимым предварительно остановиться на основных положениях этой статьи.

Статья начинается с критики современной буржуазной фольклористики. В. Я. Пропп видит в буржуазной науке о фольклоре три основных недостатка: во-первых, буржуазная фольклористика изучает культуру только одного социального слоя — крестьянства; во-вторых, изучает ее, не разделяя духовную и материальную культуру, и, в-третьих, изучает один народ, обычно — тот, к которому принадлежит исследователь. Таким образом, буржуазная фольклористика критикуется здесь не за самые существенные ее пороки: идеализм, мистику, не за извращение и фальсификацию истинной картины общественных отношений, но критикуется по частным, второстепенным признакам. Как увидим в дальнейшем, это не случайно для проф. Проппа. В противовес буржуазным теориям проф. Пропп выдвигает положение: «под фольклором понимается творчество социальных низов (sic!) всех народов, на какой бы ступени они ни находились». Это якобы утверждает советская фольклористика. Так ли это на самом деле? Что понимать под термином «низ»? Ведь к «социальным низам» можно отнести воров, босаяков и прочие подонки общества. Разве нельзя к ним отнести и русских белоэмигрантов, и подобную им заваль, вышвырнутую из стран новой демократии? Конечно, можно. Но ведь утверждение, будто фольклор есть творчество социальных «низов», отнюдь не является достоинством советской фольклористики. Горький дал гениальное определение фольклора: «фольклор — это устное творчество трудового народа». Разница здесь, конечно, не терминологическая, а глубоко принципиальная. Трудовые массы, человеческий труд — вот источник всех богатств человеческого, в том числе и духовных. И Горький требовал, чтобы советские фольклористы исходили из трудовой деятельности масс, чтобы они рассматривали фольклор как отражение социальной жизни трудового народа, находили бы и четко оттеняли признаки материалистического мышления, которое неизбежно возбуждается процессами труда. Поэтому советская фольклористика отбрасывает выражение «социальные низы», поэтому мы вынуждены констатировать, что в своем определении фольклора проф. В. Я. Пропп совершает грубую ошибку. Это новое «сползание» с позиции советской фольклористики для него закономерно.

Следующим примечательным пунктом в статье «Специфика фольклора» является принцип разграничения литературы и фольклора. Если фольклор, как мы видели выше, является творчеством «социальных низов», то литература, по В. Я. Проппу, есть творчество «господствующих классов». Ненаучность и реакционность подобного вульгарно-социологического разделения литературы и фольклора давно уже разоблачены в советском литературоведении, почему мы не считаем нужным останавливаться на критике этого положения. Характернейшим признаком отличия литературы от фольклора В. Я. Пропп считает проблему авторства: в литературе автор есть, а в фольклоре его может и не быть. Более того, отметив, что «народное творчество не есть фольклор, а существует как таковое», В. Я. Пропп добавляет, что в этом вопросе он солидаризуется с «нашими старыми учеными, как Ф. Буслаев и О. Миллер». Сделав таким образом еще шаг назад и возвращаясь к туманным романтико-идеалистическим представлениям мифологической школы о безликом народном творчестве, В. Я. Пропп делает далее следующий вывод: «Генетически фольклор должен быть связан не с литературой, а с языком, который тоже никем не выдуман и не имеет ни автора, ни авторов». Здесь мы вплотную подходим к самому важному пункту, замыкающему цепь рассуждений В. Я. Проппа. То, о чем мы говорили ранее, является теоретической подготовкой к этому аккорду. «Легко впасть в ошибку, — пишет В. Я. Пропп, — полагая, будто фольклор непосредственно отражает социальные или бытовые, или иные отношения. Фольклор, в особенности на ранних ступенях его развития, — не бытописание. Дело чрезвычайно усложняется и затрудняется тем, что действительно передается не прямо, а сквозь призму известного мышления, и это мышление настолько отлично от нашего, что многие явления фольклора бывает очень трудно сопоставить с чем бы то ни было. Первобытный человек видит мир вещей иначе, чем мы. И на разных ступенях развития он видит его по-разному. Поэтому мы иногда тщетно за фольклорной реальностью будем искать реальность бытовую. В фольклоре поступают так, а не иначе, не потому, что так было в действительности, а потому, что это так представлялось по законам первобытного мышления».

Теперь поставлены, как говорится, все точки на i. Если Горький призывал видеть в фольклоре отражение чужих и социальной мечты трудовых масс, отражение условий социальной действительности, то В. Я. Пропп утверждает совершенно противоположное: фольклор не является отражением социальной действительности. В. Я. Пропп опирается не на великого советского теоретика фольклора А. М. Горького, а на буржуазного ученого-идеалиста Леви-Брюля, слово в слово повторяя утверждения последнего. Идеалистическая теория Леви-Брюля, к сожалению, еще недостаточно раскритикованная советской наукой, как раз утверждала, что мы не можем понять социальной действительности первобытного общества, ибо мышление первобытного че-

ловека развивалось по совершенно отличному от нашего мышления закону. Леви-Брюль вкупе с другими буржуазными учеными-идеалистами пытался представить людей доклассового общества как мистиков. Он утверждал, что, чем дальше в глубь веков, тем более религиозен человек, доходя в этом до того, что даже у неандертальца выискивал мистицизм. Логически развивая до конца мысль Леви-Брюля, следовало бы считать человекоподобную обезьяну самым религиозным существом. Это о таких, как Леви-Брюль и иже с ним, писал Горький, указывая, что первобытные люди изображались ими «как философствующие идеалисты и мистики, творцы богов, искатели «смысла жизни». При этом Горький с убийственной иронией добавлял, что «крайне трудно представить двуногое животное, которое тратило все свои силы на борьбу за жизнь, *мыслящим отвлеченно от процессов труда, от вопросов рода и племени*. Трудно представить Иммануила Канта в звериной шкуре и босого, размышляющим о «вещи в себе»³. А наш советский фольклорист сегодня продолжает развивать эти глубоко реакционные, лженаучные «теории» Леви-Брюля!

В полном согласии с Леви-Брюлем В. Я. Пропп развешивает и свои дальнейшие положения. Если фольклор не отражает социальных или бытовых отношений, то что же он тогда отражает? Оказывается, если верить В. Я. Проппу, фольклор отражает религиозные представления. «Фольклор,— пишет В. Я. Пропп — оказывается входящим в систему религиозно-обрядовой практики». И если в цитируемой статье это положение только намечено, то книга «Исторические корни волшебной сказки» в сущности посвящена развитию и обоснованию этого тезиса.

Нам могут возразить, указав, что религиозно-обрядовая практика действительно имеет большое значение и в доклассовом обществе и в более поздние эпохи, например в средневековье. Это так. Да мы и не собираемся оспаривать эти совершенно очевидные факты. Еще Энгельс отмечал, что во времена средневековья всякое общественное движение в условиях монополии церкви на духовную культуру неминуемо облекалось в религиозную форму. Но было бы совершенно ошибочным видеть лишь одну эту религиозную форму. Наоборот, марксисты обязаны за оболочкой всякого рода религиозных ересей видеть борьбу реальных классовых сил. В. Я. Пропп идет по совершенно противоположному пути — в фольклоре он ищет не отражения реальной действительности, а религиозных понятий. И в самих религиозных обрядах он не вскрывает отображения все той же реальной социальной действительности. В своей статье «Специфика фольклора» он не критикует буржуазных фольклористов за идеализм и мистику, ибо он сам еще, очевидно, разделяет их концепции. В своих исследованиях фольклора В. Я. Пропп идет не от труда, не от трудовых процессов, не от условий материальной жизни людей, а от религиозно-мистических представлений; определяет идеологию идеологией же. В связи с этим закономерно и то, что В. Я. Пропп в вопросе об авторстве в фольклоре, солидаризуясь с Ф. Буслаевым и О. Миллером, сближает фольклор не с литературой, а с языком, ибо он понимает язык так же идеалистически, как понимали его мифологи. Наконец, всецело подчинившись ложной концепции Леви-Брюля, В. Я. Пропп развешивает главное положение: фольклор не является отражением социальной действительности. Для того чтобы понять явления фольклора, надо изучить прелогическое мышление первобытного человека, якобы в корне отличное от современного мышления, а так как первобытное мышление, по Проппу и Леви-Брюлю, насквозь религиозно, то, следовательно, в фольклоре нужно искать отражения религиозно-обрядовой практики. За ранними формами религии В. Я. Пропп не видит породивших их трудовых процессов. Он ставит точку на религии, как будто бы она является источником духовной культуры.

Все это представляет собой как бы теоретическое кредо В. Я. Проппа. Практическим применением этих рассуждений и является, как мы уже отметили, книга «Исторические корни волшебной сказки».

Правоммерно ли искать в волшебной сказке отдельные черты, восходящие к самым ранним эпохам истории человеческого общества? Бесспорно. И это одна из задач фольклористики. Совершенно очевиден тот факт, что со сказками мы встречаемся уже в эпоху доклассового общества, и если мы говорим о возникновении волшебной сказки вообще, то необходимо обратиться к первобытной эпохе. Но наши искания будут плодотворны только тогда, когда мы будем исходить из того, что является источником всей духовной культуры,— из трудовой деятельности людей. Этому учил Горький: «Под каждым взлетом древней фантазии легко открыть ее возбудителя, а этот возбудитель всегда — стремление людей облегчить свой труд. Совершенно ясно, что это стремление людей было внесено в жизнь людьми физического труда»⁴. Вместе с тем Горький предупреждал об ошибках ряда историков первобытной культуры. «Историками первобытной культуры,— писал он,— совершенно замалчивались вполне ясные признаки материалистического мышления, которое неизбежно возбуждалось процессами труда и всей суммой социальной жизни древних людей. Признаки эти дошли до нас в форме сказок и мифов, в которых мы слышим отзвуки работы над приручением животных, над открытием целебных трав, изобретением орудий

³ М. Горький, О литературе, М., 1935, стр. 365—366.

⁴ Там же, стр. 367.

труда»⁵. Горький требует рассматривать народное искусство как нечто цельное, проходящее через века и освобождающееся от явлений, противоречащих духу и характеру народа. Он требует рассматривать фольклор как художественные произведения, выражающие идеи, чувства, мысли трудового народа. В этом горьковском взгляде на фольклор осуществлен великий ленинский принцип партийности, обязательный для каждого ученого-марксиста, принцип, в корне противоположный буржуазному объективизму. Горький выделяет в фольклоре, подчеркиваем, ведущую тенденцию — творчество трудового народа, и предлагает, исходя из этого, рассматривать все явления фольклора. Тем самым он ориентирует нас на то, что в фольклоре является художественно и идейно наиболее ценным, имеющим не только прошлое, но и будущее, на то, что является для каждой новой эпохи неиссякаемым источником могучих творческих сил⁶.

Но так как исходная предпосылка В. Я. Проппа противоположна горьковской и требует искать в фольклоре, в данном случае в сказке, не непосредственное отражение социальной действительности, то все исследование у него и сводится к сопоставлению сказки с формами религиозно-обрядовой практики. Это тем более закономерно для В. Я. Проппа, что он ставит своей целью исследовать первоначальные истоки волшебной сказки. А так как В. Я. Пропп следует за Леви-Брюлем и другими буржуазными идеалистами и пытается представить первобытного человека идеалистом и мистиком, с мышлением, кардинально отличным от современного, то он в своей книге и сводит волшебную сказку почти полностью к религиозно-обрядовой практике людей доклассового общества вообще (конкретно же основным материалом для этого В. Я. Пропп использует, главным образом, этнографические материалы о верованиях и обрядах жителей островов Тихого Океана).

Методологически В. Я. Пропп выполняет эту задачу, заимствуя у А. Н. Веселовского (и даже точнее — у финской школы фольклористов, доведшей до абсурда формалистические экскурсы Веселовского) приемы оперирования абстрактными сюжетными схемами. Определяя жанр волшебной сказки, В. Я. Пропп пишет: «Здесь будет изучаться тот жанр сказок, который начинается с нанесения какого-либо ущерба или вреда (похищение, изгнание и др.) или с желания иметь что-либо (царь посылает сына за жар-птицей) и развивается через отправку героя из дома, встречу с дарителем, который дарит ему волшебное средство или помощника, при помощи которого предмет поисков находится. В дальнейшем сказка дает поединок с противником (важнейшая форма его — змеборство), возвращение и погоню. Часто эта композиция дает осложнение. Герой уже возвращается домой, братья сбрасывают его в пропасть. В дальнейшем он вновь прибывает, подвергается испытанию через трудные задачи и воцаряется и женится или в своем царстве, или в царстве своего тестя. Это — краткое схематическое изложение композиционного стержня, лежащего в основе очень многих и разнообразных сюжетов. Сказки, отражающие эту схему, будут здесь называться волшебными, и они-то и составляют предмет нашего исследования»⁷.

Эта длинная цитата требует некоторых пояснений. Прежде всего здесь мы узнаем, что В. Пропп задается целью изучать не все волшебные сказки, а только те из них, которые соответствуют этой схеме. Поэтому было бы точнее назвать книгу: «Исторические корни некоторых волшебных сказок». Но не это существенно. Главное состоит в том, что за основу берется абстрактная сюжетная схема, т. е. уже с самого начала все исследование приобретает откровенно-формалистический характер. Кстати сказать, это одно из уязвимых мест большинства работ В. Проппа. Именно за формализм справедливо критиковалась его первая книга «Морфология сказки». И в уже цитированной нами статье «Специфика фольклора» на первый план в качестве первоочередной, «важнейшей», по словам В. Я. Проппа, задачи выдвинуто «изучение композиции, строя», т. е. опять-таки формальная задача. И только в конце, что называется «на запятках» статьи, указывается как одна из задач (видимо, отнюдь не важнейшая) раскрытие в фольклоре идейного содержания⁸. Это здесь никак не простая композиционная «неувязка». В. Пропп упорно и настойчиво формальную сторону выдвигает на первый план, пренебрегая идейным содержанием. И в рассматриваемой нами книге философия сказки, ее идейное наполнение по сути дела поэтому остаются за бортом исследования.

Взяв за основу сюжетную схему волшебной сказки, В. Пропп сопоставляет ее со схемой обряда инициации, находит тут некоторое соответствие (а при отвлеченном абстрагировании такие соответствия найти не трудно) и приходит к выводу, что в основе волшебной сказки лежит обряд инициации. Но свести волшебную сказку толь-

⁵ М. Горький, О литературе, М., 1935, стр. 366.

⁶ Об этом достаточно ясно, хотя и кратко, сказано в статье Е. Гиппиуса и В. Чичерова «Советская фольклористика за 30 лет», «Сов. этнография», 1947, № 4.

⁷ В. Пропп, Исторические корни волшебной сказки, стр. 7.

⁸ Кстати, в этой же статье по поводу идейного содержания фольклора высказываются довольно странные утверждения, вроде следующего: «Идейно-эмоциональное содержание русского фольклора вкратце может быть сведено не к понятию добра, а к категории силы духа».

ко к одному обряду было бы непосильной задачей даже для В. Проппа. И нзш автор несколько расширяет основу сказки и включает в нее другой цикл — цикл представлений о похоронах. Вот эти два цикла — обряд инициации и представления о смерти — и являются основой, почти полностью определяющей волшебную сказку. И все исследование сводится в сущности к объяснению почти всех элементов волшебной сказки обрядом инициации и представлениями древних людей о загробном мире. Не говоря уже о совершенно очевидной порочности замысла — свести сказку к одному или двум обрядам первобытной религии (ибо выводить искусство из религии значит повторять зады буржуазных ученых-идеалистов), необходимо сказать о недопустимости и самого метода, применяемого проф. В. Я. Проппом. Метод этот насквозь антиисторичен. Материалы об обряде инициации В. Я. Пропп берет (причем, берет без разбора, некритично) у буржуазных исследователей, наблюдавших его, например, в Океании, применяет же он эти наблюдения для объяснения русской сказки. Нет нужды здесь подробно останавливаться на доказательстве ненаучности такого метода. Ведь даже, например, у двух африканских племен бушменов и бечуанов обряды инициации проводятся по-разному. Какие же у исследователя основания для того, чтобы безапелляционно утверждать будто русская сказка есть рассказ об обряде инициации у австралийцев или полинезийцев? Или, быть может, тут подразумевается влияние? Но кого же — австралийцев на славян или наоборот?

Вопиющий антиисторизм, схематизм, очевиднейшая недопустимость подобного рода сопоставлений — все это настолько разительно и так бьет в глаза, что только диву даешься, как эти «открытия» проф. В. Я. Пропп мог всерьез преподнести своим читателям. Однако это закономерно; так получилось прежде всего потому, что проф. В. Я. Пропп в своих исследованиях идет по отнюдь не оригинальному пути, он рабски следует за антинаучными домыслами буржуазных ученых вроде Сентива, Ганса Сюитца и других. Говоря словами самого В. Проппа, «исследователь выдвигает одну сторону в ущерб другим», причем «выдвигает» так, что действительное соотношение поставлено наголоу. И несмотря на несомненные комбинаторские способности автора, объективно получается, что он втискивает все многообразие и всю прелесть народной волшебной сказки в прокрустово ложе надуманной концепции. Вот несколько примеров. Говоря о слепоте яги, В. Пропп считает это отражением обряда инициации. Он ссылается на Неверманна, который, описывая обряд инициации в Океании, сообщал: «после нескольких дней отдыха неопиты покрываются известковой кашей, так что они выглядят совершенно белыми и не могут раскрыть глаз». Пропп делает вывод, что «временная слепота также есть знак ухода в область смерти». Уже само толкование этой обрядовой детали сомнительно и тенденциозно. Однако — как же эту слепоту связать с образом яги? В. Пропп создает довольно замысловатую конструкцию: «с новым социальным строем старые жестокие обряды ощущаются как ненужные и проклятые, острие обращается против их исполнителей». Но при чем же здесь слепота яги? Очевидно, ягу надо считать исполнительницей обряда. Однако несколькими страницами ранее В. Пропп утверждает, что яга — это мертвец. Натяжка и искусственность построения здесь ясно дают себя знать. Эта искусственность еще больше выступает, когда слепоту или какой-либо дефект зрения героев сказки В. Пропп тоже пытается объяснить обрядом инициации. Он хочет слепоту Самсона и Гомера поставить в этот же ряд. Бедный Гомер!

Впрочем, интерпретация слепоты героев сказки заслуживает большего внимания. Приведа из сказки Афанасьева (№ 171) слова героя, сказанные им в избушке яги: «Дай-ка мне наперед воды глаза промыть, напои меня, накорми, да тогда и спрашивай», В. Я. Пропп решительно отвергает реалистическое толкование этой фразы, а усматривает здесь отзыв обряда инициации. В качестве аргумента приводится следующее: в зулусской сказке девушка, вернувшаяся после посвящения, говорит: «я ничего не вижу». Объяснение, конечно, неудовлетворительное и формалистическое. В русской сказке отразилась национальная бытовая черта («дай воды глаза промыть») — это обычное выражение, ничего иного не означающее, как просьбу умыться, — войдя в избу, герой требует соблюдения русского обычая гостеприимства. Зулусская же сказка говорит совсем о другом. И объяснять русскую сказку зулусской неуместно. Впрочем, толкования подобного рода у В. Проппа не единичны: они являются следствием его ошибочных предположений. Несколько ранее, в разделе «Напоила-накормила» он опять, приводя ряд черт, отражающих традицию русского гостеприимства, сближает их на этот раз с ритуальной обрядностью, зафиксированной в египетской Книге Мертвых. На этом стоит остановиться подробнее. В статье «Специфика фольклора» В. Пропп писал: «Явление всемирного сходства не представляет для нас проблемы. Для нас было бы необъяснимо отсутствие такого сходства». Конечно, правомерно говорить об общих ступенях развития человечества, обязательных для всех народов, но нельзя при этом забывать о национальном своеобразии и неповторимом отличии истории отдельных народов. Между тем В. Пропп, найдя какую-нибудь деталь в обрядах инициации Океании или взяв мотив из американской или индийской сказки, старается найти им соответствия в русской сказке и, что особо следует отметить, пытается объяснить ими русскую сказку.

На Таити и на Тонга бытуют поверья о птицах, уносящих душу умерших в город мертвых. И вот, когда в русской сказке (Афанасьев, № 71) герой, чтобы взобраться на гору, одевает на руки и на ноги железные когти, В. Я. Пропп тотчас же делает вывод: «Птичьи (! — М. К., И. Д.) когти вскрывают связь и этого мотива с образом птицы». В другой русской сказке (Афанасьев № 104 с) старик предупреждает героя: «Есть на пути три реки широкие, на тех трех реках три перевоза: на первом перевозе отсекут тебе правую руку, на втором — левую ногу и на третьем — голову». В. Я. Пропп производит этого русского старика от древнегреческого Харона и заключает: «Если откинуть утроение, то мы имеем здесь представление об отрубании руки при перевозе... Отрубание руки мы уже встретили как типичный элемент при посвящении. Этим отрубанием лодочник выдает себя за лодочника смерти». То-есть объективно получается, что почти каждый раз русская сказка объясняется В. Я. Проппом иноземными мифами и сказками, а не конкретно-исторической русской действительностью в первую очередь. Впрочем, видимо, чувствуя шаткость подобного рода построений, В. Я. Пропп пытается спасти дело различными оговорками. «Это не значит, что Египет есть родина русской сказки», — восклицает он. Чтобы показать, что эти слова В. Я. Проппа являются не чем иным, как ничего не значащей оговоркой, рассмотрим трактовку автором образа сказочного змея.

Разобрав греческую легенду о гидре или Лернейской змее, В. Я. Пропп резюмирует: «Лернейский змей есть частный случай мирового образа водяного змея» (разрядка наша. — М. К., И. Д.). И дальше: «Таким же частным случаем является и сказочный «змей черноморский», «водяной царь», за которым «вода хлынула на три аршина» (т. е. здесь речь идет прямо о русских сказках). Позвольте, что же это за «мировой» образ змея? Где, кроме фантазии В. Я. Проппа, он существовал в действительности? До сих пор было известно, что есть сказочный змей русского фольклора, сказочный дракон монгольского фольклора, гидра древнегреческого фольклора и т. д. Но нет и никогда не существовало змея вообще, «мирового» змея! Это схоластическая и ненужная выдумка, бесплодная и пустая абстракция, пользы от которой мы не видим, а вред очевиден. Вместо того, чтобы раскрыть связь фольклора с конкретно-исторической действительностью, его породившей, чтобы изучить национальные особенности и национальные отличия, В. Я. Пропп подгоняет под выдуманный им «мировой образ» многообразие народного творчества. К «мировому образу» змея у него относятся не только собственно змеи, но и угорь, форель и даже мамонт. И русская сказка В. Я. Проппом объясняется, в конечном итоге, этим «мировым образом», сконструированным на материале того же Египта, Индии, Океании и т. д. Таким образом, оговорки В. Я. Проппа не спасают дела — корни русской сказки выводятся им из иноземных образцов. Надо со всей прямотой сказать, что подобное пренебрежение национальными отличиями, бесцеремонное третигование национальной оригинальности фольклора не имеет ничего общего с марксизмом, а носит вполне определенное название — буржуазный космополитизм. И В. Я. Пропп действует настойчиво и упорно именно в духе последнего.

Космополитизм сегодня — это идеология наиболее воинствующих реакционных американских и западноевропейских империалистов, направленная к ликвидации национального суверенитета и национальных культур народов. Книга проф. В. Я. Проппа по сути дела объективно выражает некоторые тенденции современной буржуазной фольклористики. Она проводит ложную антипатриотическую идейку о полнейшей обусловленности русской сказки иноземными образцами. Страницы книги буквально пестрят бесконечными ссылками на мнимые авторитеты буржуазных фольклористов и этнографов, зачастую архиреакционного толка. В этой же связи стоит и нарочитое игнорирование В. Я. Проппом фольклора братских славянских народов — польского, болгарского, чешского, словацкого, сербского, черногорского и др. А ведь сопоставление фольклорных и этнографических материалов славянских народов имеет, конечно, неизмеримо большее значение, чем то, что делает В. Я. Пропп. Наконец, этой же ложной исходной установкой В. Я. Проппа объясняется и то, что, опираясь в своем труде на буржуазных ученых, он почти не обращается к трудам советских фольклористов и этнографов. Да это и не мыслимо — метод В. Я. Проппа в корне противоположен методу советской науки, и поэтому он вынужден искать себе союзников из буржуазного лагеря.

Нелепости, к которым приводит автора книги «Исторические корни волшебной сказки» его ложная концепция, — поистине удивительны. Так, сказочный рассказ о царице с сыном, посаженных в бочку, оказывается не чем иным, как отражением ритуального проглатывания посвящаемых каким-то мифическим чудовищем. Если сказочный герой получает в борьбе какое-либо телесное повреждение, то это обязательно-таки обряду инициации. Даже Орест, в припадке безумия откусивший себе палец, поставлен В. Проппом в ту же связь! Такая заурядная деталь, как появление в сказке плешивого персонажа, восходит опять все к тому же «неисчерпаемому источнику» — все к тому же пресловутому обряду инициации. Не посчастливилось и бедняге пророку Елисею из «Книги царств». Даже и его плешь в той же связи привлекла внимание неугомонного исследователя и была взята им под сомнение...

Пересказав микронезийский миф о мальчике — сыне угря, миф с отчетливо выраженной, трезво реалистической мотивировкой каждого поступка героя, В. Пропп

делает такой вывод: «Этот случай показывает явные признаки упадка. Поглощение здесь удвоено без всякой надобности, черепашьи спинки лишены волшебной силы. Женитьба не увязана с предшествующим поглощением и возвращением: в обряде оно условие женитьбы» (разрядка наша.— М. К., И. Д.). В чем же В. Пропп усматривает упадок? Как мы указали, каждый поступок героя убедительно и логично обусловлен. Но все дело в том, что этот миф не укладывается в схему обряда инициации, а В. Пропп и помыслить не может, что миф возникает независимо от этого обряда. Объективно получается, что перед нашим исследователем всегда стоит искусственно созданная схема выведенной из обряда некоей прасказки, с которой он и сопоставляет реально существующие сказки. В итоге — заколдованный идеалистический круг: идеология определяется идеологией же.

Мы не будем более приводить подобных примеров натяжек и надуманных сопоставлений, ибо в противном случае нам пришлось бы подробно останавливаться чуть ли не на каждом параграфе книги (а их там более двухсот). Но мы должны обратить еще особое внимание на общий тон, на ту гипертрофию заупокойных, похоронных мотивов, которые господствуют в книге. Перефразируя известное сказочное выражение, можно сказать: «здесь мертвый дух, здесь смертью пахнет»... Спору нет, представления о смерти играли значительную, но отнюдь не доминирующую роль в мышлении первобытных людей, причем именно буржуазными идеалистами эти представления о смерти всячески раздувались и преувеличивались. Никане не к лицу советскому ученому плестись тут на поводу у буржуазной науки. Но В. Пропп в своей книге, от первой страницы до последней, стремится убедить нас, что именно представление о смерти имели огромное, первостепенное значение и явились основой волшебных сказок. В. Пропп склонен видеть представление о смерти буквально во всем: тридесятое царство — царство смерти, белый цвет — цвет смерти, белая масть коня — качество, связанное с потусторонним миром, отравление героя в волшебную страну — это путешествие на тот свет, различные волшебные помощники героев — выходцы с того света, еда для сказочных героев — это ритуальная еда мертвых, и т. д. И здесь В. Пропп занимает позицию, противоположную Горькому. Горький писал: «Очень важно отметить, что фольклору совершенно чужд пессимизм, невзирая на тот факт, что творцы фольклора жили тяжело и мучительно, рабский труд их был обесмыслен эксплуататорами, а личная жизнь — бесправна и беззащитна. Но при всем этом коллективу как бы свойственны сознание его бессмертия и уверенность в его победе над всеми враждебными ему силами»⁹ Ошибочная трактовка В. Проппом происхождения волшебной сказки и здесь обусловлена тем, что он следует лженаучным теориям буржуазных ученых, в первую очередь так наз. антропологической школы (в этнографии она известна как эволюционно-психологическая школа) и их современных эпигонов.

Стоит ли останавливаться на совершенно неправильной схеме происхождения сказки, которую выдвигает В. Пропп: обряд — миф — сказка. Ведь даже сам он вынужден признать, что сказка существует одновременно с мифом и обрядом. Подобного рода схемы справедливо раскритикованы и отвергнуты современной наукой. Проф. Пропп воскрешает эти отжившие взгляды, столь характерные для буржуазных фольклористов.

Нам хочется задать В. Проппу элементарнейший вопрос: считает ли он волшебную сказку художественным произведением? Является ли сказка этапом в становлении эстетического сознания народа? Как ни странно, но ответа на этот вопрос мы не могли найти ни на одной странице книги В. Проппа. Мы видим ее автора в качестве то историка, то этнографа (правда, всякий раз в качестве незадачливого этнографа или историка). К большому сожалению, мы ни разу не встретили его в роли исследователя народного искусства, народной поэзии! А ведь одна из больших задач фольклористов — исследование истоков человеческого искусства. Они обязаны разрешить важнейшую проблему: почему человек начал создавать произведения искусства, как он их создавал, для чего создавал, и чем искусство служило народу на разных этапах его развития?

Искусство, с самых первых, с самых ранних его этапов, помогло трудовым массам в их борьбе с силами природы, а позднее и с реакционными общественными силами. В известном сравнении пчелы с архитектором Маркс дал гениальное определение отличия человеческого гения от самых искусных представителей животного мира. Уже на самой заре своего развития человек начинал подниматься над окружающей его действительностью, стремился заглянуть в будущее. Добившись первых, пусть еще пока незначительных успехов в труде, едва начав подчинять себе природу, он уже начинал дерзко мечтать о грядущем покорении всех могучих сил природы. Искусство и было тем, если можно так выразиться, мостом, который соединял его мечты и идеалы с действительностью. То, что еще нельзя было воплотить в материальную действительность, древний человек воплощал пока лишь в слове, в творениях искусства. Подлинное искусство всегда устремлено в будущее. Поэтому жизненно лишь то искусство, которое порождено тем, что является движущей, про-

⁹ М. Горький, О литературе, М., 1935, стр. 371.

грессивной силой всего человечества, — трудовой деятельностью людей, трудовыми массами. И народное творчество уже с первых этапов человеческой истории дало нам неувядаемые, вдохновенные высокохудожественные образцы искусства. Русская народная сказка, полная неотразимого обаяния, — тому блестящий пример. Задача каждого советского фольклориста: раскрыть перед нами всю красоту, все богатства неисчерпаемой сокровищницы народного творчества. А книга проф. Проппа не оставляет камня на камне от всех эстетических и этических — ибо народное искусство неотрывно от этики — богатств русской волшебной сказки. На долю волшебной и пленительной фантазии народа-художника, на долю творческого гения трудовых масс В. Пропп не оставляет ничего. Вся чарующая прелесть русских сказок, заслуженно получивших мировую известность, — все их богатство низведено, обесцвечено, развенчано. Автор книги уныло и докучно твердит одно и то же: нет ничего, кроме обряда инициации и представлений о похоронах. Лишь один раз, на предпоследней странице исследования, в порядке самокритики он стыдливо обмолвился: «мы не учли возможности художественной традиции с самого начала». Против этого ничего не скажешь. Но еще откровеннее было бы к этому добавить: «мы намеренно игнорировали эту художественную традицию. Впрочем, после этой оговорки В. Я. Пропп заявляет, что у первобытных народов отсутствуют сказки как вид художественного творчества. И, словно испугавшись всей несостоятельности подобного заявления, В. Я. Пропп спешит спрятаться за укрытие: возможно, говорит он, что фольклористы со мной не согласятся, зато этнографы меня поддержат. Напрасные надежды. Никакой поддержки от советских этнографов книга В. Я. Проппа не получит — в их среде она находит столь же суровое осуждение как и в среде фольклористов. Как раз со стороны этнографической книга эта еще более неудовлетворительна (если это возможно!), чем со стороны фольклористической. Не говоря уже о многочисленных проявлениях самого вульгарного диллетантизма (в толкованиях обряда инициации, тотемизма и т. п.), книга В. Я. Проппа враждебна методологии советской этнографии по главному своему направлению. Антиисторические, вне времени и пространства, сопоставления обрядов одних народов, стоящих на одной ступени развития, с фольклором и мифологией других народов, находящихся не только на совсем иной ступени исторического развития, но и развивавшихся в совершенно иных, неповторимых условиях, — все это абсолютно противоречит принципам советской этнографии. И реакционное утверждение (вопреки неопровержимым фактам) об отсутствии у первобытных народов художественного творчества — за этим скрывается старая идеалистическая басня о религии как источнике всей духовной культуры — встречает со стороны советских этнографов самый решительный отпор. Нет, напрасно надеется В. Я. Пропп на снисходительность советских этнографов к его идеалистическим и метафизическим упражнениям.

Автор книги довольно часто употребляет такие выражения, как «общественный строй», «реальная действительность», «историзм», «капиталистический способ производства», «экономические основы», «метод марксизма-ленинизма» и т. д. В этой связи характерно звучание подзаголовков в методологическом введении в книгу, напр.: «Сказка как явление надстроечного характера»; «Сказка и первобытное мышление», «Генетика и история»; «Сказка и социальные институты прошлого» и др. В. Я. Пропп нередко ссылается на труды классиков марксизма. Но все это не спасает рассматриваемое исследование от антиисторизма и методологической порочности при разрешении основных вопросов. Из цитации работ классиков марксизма-ленинизма отнюдь не явствует, что В. Я. Пропп стоит действительно на марксистских позициях. Хуже того: подобного рода ссылки преследуют на наш взгляд одну цель — пригладить и замаскировать выпирающую идеалистическую концепцию автора книги.

Считаем своим долгом особо остановиться на том недопустимом обращении с высказываниями классиков марксизма-ленинизма, которое имеет место в книге проф. В. Я. Проппа. Приведя бесспорно правильные мысли из трудов Маркса, Энгельса и Ленина, В. Я. Пропп дает им свое произвольное и иногда совершенно неправильное толкование. Он безуспешно пытается подкрепить марксистскими положениями свою порочную методологию.

Ограниченные размером статьи, мы приведем лишь один пример, но наиболее характерный и разительный на наш взгляд. Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге» так говорит о сущности религии:

«Каждая религия является не чем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, отражением, в котором земные силы принимают форму сверхъестественных. В начале истории этому отражению подвергаются, прежде всего, силы природы; в ходе развития у различных народов появляются самые разнообразные и острые их олицетворения. Этот первоначальный процесс прослежен при помощи сравнительной мифологии — по крайней мере по отношению к индоевропейским народам — до проявления его в индийских ведах, а также обнаружен, в частности, у индусов, персов, греков, римлян, германцев и, поскольку хватает материала, у кельтов, литовцев и славян. Но скоро, наряду с силами природы, выступают также и общественные силы, — силы, которые противостоят человеку и господствуют над ним, оставаясь для него вначале такими же непонятными, чуждыми и обладающими видимой естественной необходимостью, как и силы природы.

Фантастические образы, в которых сначала отражались только таинственные силы природы, теперь приобретают общественные атрибуты и становятся представителями исторических сил»¹⁰ (разрядка наша.—М. К., И. Д.).

В. Я. Пропп приводит (на стр. 11—12) это высказывание Энгельса крайне небрежно, разорвав одну фразу на ее середине, опустив ее окончание и делая пропуск другой целой фразы, при этом никак не оговорив ни то, ни другое, а несколько ниже позволяя себе грубо ошибочную интерпретацию этого положения. Так, он пишет: «Энгельс устанавливает, что религия есть отражение (?) сил природы и общественных сил. Отражение это может быть двояким: оно может быть познавательным (?) и выливаться в догматах или учениях, оно манифестируется в способах объяснения мира, или оно может быть волевым (?) и выливаться в актах или действиях, имеющих целью воздействовать на природу и подчинить (?) ее себе. Такие действия мы будем называть обрядами и обычаями» (вопросы наши.—М. К., И. Д.).

Из сопоставления двух приведенных выше отрывков отчетливо видно, что характер интерпретации В. Я. Проппом высказывания Энгельса не имеет ничего общего ни с положениями Энгельса, ни вообще с марксизмом. Разве можно ограничиваться одним абстрактным определением религии, как простого отражения сил природы и общественных сил, не видя в ней в первую очередь превратно фантастическое, искаженное отражение этих сил. Да ведь под словами «религия есть отражение сил природы и общественных сил» подпишется и папа римский, разумея бога как верховную силу природы и всего сущего! О науке мы говорим, что она отражает материальные и духовные закономерности в развитии сил природы и общества, но мы не можем этого сказать о религии, превращающей земные силы в сверхъестественные. Если же исходить из формулировки В. Я. Проппа, то исчезает принципиальная разница между наукой и религией. Нельзя так, как это делает В. Я. Пропп, говорить о познавательном значении религии. Слепой страх и бессилие человека перед внешними силами находит свое выражение лишь в кажущемся, иллюзорном воздействии человека на природу, проявляющемся в магии, в обрядах и обычаях.

Короче говоря, в приведенном выше определении В. Я. Проппом религии имеют место следующие грубые ошибки. Во-первых, опущено основное различие между религией и наукой; во-вторых, неправильно безоговорочное утверждение о познавательном значении религии; в-третьих, иллюзорность воздействия человека на внешнюю природу не показана с главной — объективной стороны и потому уравнива в правах с трудовым воздействием человека на природу. И самое главное — грубоошибочные, собственные пропповские домыслы в книге выдаются за мысли Ф. Энгельса!

Всякому ясно, что подобные рассуждения В. Я. Проппа не имеют ничего общего с марксизмом. Но зачем они ему понадобились? Видимо для того, чтобы свести все широкое многообразие социальной действительности, в которой создана сказка, к одному — к обряду, в конечном счете — к религии. А на этом, как уже известно, покоится вся его концепция, уходящая корнями к буржуазному литературоведению, утверждающая, что фольклор возникает не из всего круга явлений общественной практики, не из трудовых процессов прежде всего, а главным образом и почти единственно — из обряда. После этого не стоить удивительным выглядеть и то, что советский фольклорист проф. В. Я. Пропп игнорирует ценнейшие высказывания о происхождении фольклора, изложенные в целом ряде работ М. Горького (в книге ни разу не упомянуто имя Горького). Таким образом, ни марксистская терминология, ни ссылка на труды Маркса, Энгельса, Ленина не могут скрыть, повторяем, тот антиисторизм и методологическую порочность, на которых построена вся книга В. Я. Проппа.

При тщательных поисках можно обнаружить в книге отдельные наблюдения, представляющие некоторый научный интерес. Например, на наш взгляд заслуживает внимания то место в книге В. Я. Проппа, где он говорит о сказочной стране изобилия. Исследователь пытается связать сказочные образы с общественными представлениями и идеалами трудовых масс. Он находит в некоторых сказках отражение идеалов охотничьих племен (в волшебной стране имеются стрелы, не дающие промаха и т. д.), в других сказках — идеалов земледельческих народов. Для более позднего периода, когда труд становится подневольным, в представлениях о волшебной стране изобилия преобладает мотив потребления, а не производства. В. Я. Пропп делает не интересное наблюдение, что трудовые массы — создатели сказок — видят в подобных представлениях опасность отказа от трудовых усилий и потому зачастую рассказ о молочных реках и кисельных берегах носит иронический характер, в нем высмеивают лентяев и т. д. Тут же В. Я. Пропп отмечает, что подобные представления о стране изобилия, где не нужно трудиться, используют жрецы в своих реакционных целях. Когда читаешь эти страницы в книге В. Я. Проппа, то невольно кажется, что исследователь спустился со своих заоблачных мистических высот на землю, делает попытку действительно раскрыть философию сказки и ее социальное наполнение. Но это только кажется. Это и подобные ему крайне малочисленные в книге места являются, по сути, отписками, идущими вразрез с основным направлением книги. Отдельные кусочки здравых наблюдений теряются и тонут

¹⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 322.

в тумане идеалистических абстракций. Поэтому мы намеренно обратили внимание на основные теоретические пороки книги, которые являются определяющими в оценке исследования, и сознательно отказались от мало благодарной задачи скрупулезного выделения отдельных здравых мыслей в разбираемой работе.

Книга В. Проппа выглядит не как советская, а как иностранная книга. И если задаться вопросом, каковы ее идейные истоки, то мы получим ясный и недвусмысленный ответ — глетворное влияние упадочной науки буржуазного Запада. В работе отчетливо выступает эклектичное смешение положений финской школы буржуазной фольклористики с теориями французской идеалистической школы — Леви-Брюля, Дюргейма, Сентива и других. Все это соединяется с вульгарным механистическим, антигисторическим социологизированием. И те похвальные намерения, которые прокламировал проф. В. Я. Пропп в своем предисловии к книге, оказались невыполненными. Фольклор в книге В. Я. Проппа потерял свое общественное и национальное значение. Фактически получилось, что книга В. Я. Проппа есть попытка сокрушения и развенчания русской волшебной сказки.

Неудача исследования В. Проппа очень поучительна. Прежде всего она наглядно показывает невозможность успешного решения вопросов, когда исследователь исходит из заведомо порочных теоретических основ. Но одновременно эта неудача говорит и о другом, может быть, не менее важном. Книга несет на себе марку Ленинградского государственного ордена Ленина университета. Проф. В. Я. Пропп в предисловии к книге ссылается на теоретическую поддержку ряда ленинградских ученых. Спрашивается, почему же никто из филологов ленинградского университета, никто из ленинградских фольклористов, наконец, никто из ленинградских этнографов не выступил до сих пор с серьезной, принципиальной, большевистской партийной критикой этого труда? Казалось бы кому-кому, а ленинградским ученым следовало бы в первую очередь выступить с критикой работ своего коллеги, ибо В. Я. Пропп на протяжении более чем двух десятилетий упорно и настойчиво проводит свои явно ошибочные взгляды. Своевременная принципиальная критика несомненно помогла бы исследователю избежать серьезных ошибок. Объективно же получилось так, что ленинградские филологи стали на путь замазывания, замалчивания ошибок В. Я. Проппа, что привело к плачевным результатам. Такая же «критика», какая, например, дана в статье В. М. Жирмунского («Советская книга», 1947, № 5), не только не помогает, а, пожалуй, может вредить исследователю, так как не вскрывает основных пороков его работы.

Советская наука — самая передовая в мире, она черпает силу в борьбе со всем реакционным и устаревшим, она не терпит никаких компромиссов с какими бы то ни было отсталыми теориями. Всегда помнить об этом, применять это в своей научной деятельности — обязательно для каждого советского ученого.

М. Кузнецов и И. Дмитриков

ВОПРОСЫ ЭТНОГЕНЕЗА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОВЕТСКИХ АРХЕОЛОГОВ

Институт истории материальной культуры им. Н. Я. Марра Академии Наук СССР, Материалы и исследования по археологии СССР, № 6. Этногенез восточных славян, т. I, под ред. проф. М. И. Артамонова, М.—Л., 1941.

Вопросы славянского этногенеза вообще и происхождения восточных славян в особенности, издавна занимали русских ученых. Однако в последние полтора-два десятилетия они приобрели особую научную актуальность и политическую остроту. Это связано, прежде всего, с укреплением Советского Союза, с его все возрастающей ролью как мирового центра прогрессивных сил человечества и с все более крепящимися связями славянских народов между собой. Теория автохтонного происхождения восточных славян на востоке Европы в результате скрещения различных этнических элементов противопоставляется советскими учеными человеконенавистнической расовой теории, с особенным рвением развивавшейся немецкими идеологами фашизма и не утратившей в какой-то мере и сейчас популярности среди реакционных идеологов империалистических стран.

Советская археология сделала для изучения вопросов славянского этногенеза очень много. Некоторые итоги произведенных работ изложены в рецензируемом сборнике, сигнальный экземпляр которого вышел в дни Великой отечественной войны в осажденном врагами Ленинграде. Сборник имеет своей задачей «опубликование и исследование в связи с проблемой происхождения восточных славян накопленных научных археологических материалов — этих наиболее беспристрастных и объективных свидетельств далекого прошлого, до сих пор вследствие разных причин не пользовавшихся в кругу историков признанием в качестве полноценного исторического источника» (стр. 7).

Ведущей работой, открывающей сборник, является статья П. Н. Третьякова «Северные восточнославянские племена», в которой на основе предыдущих исследований и материалов, добытых автором, дана яркая картина образования славянских

племен на востоке и северо-востоке Европы в первом тысячелетии нашей эры. Первый раздел работы посвящен рассмотрению этнического состава Восточной Европы в начале нашей эры. Анализируя материал среднеднепровских полей погребений (отправляясь в основном от исследований В. В. Хвойки), автор приходит к выводу, что факт наличия огромных полей погребений, служивших кладбищами в течение столетий, говорит об отсутствии значительных передвижений населения, а инвентарь этих памятников указывает на мирный сельскохозяйственный быт жителей. «Огромный этнический массив, занимавший среднее Поднепровье в начале и середине I тысячелетия нашей эры, сложившийся в предыдущие столетия из многочисленных скифских земледельческих племен и их ближайших соседей», — пишет П. Н. Третьяков, — проблематично можно рассматривать, как массив древнеславянский» (стр. 11). Рассматривая районы, лежащие к северу и северо-востоку от днепровских полей погребений, автор дает сводку исследований В. А. Городцова, А. А. Спицына, В. И. Сизова, А. С. Уварова, Н. И. Булычева и др., подробно описывает материал, добытый раскопками в этих районах, выделяет и наносит на карту ряд локальных культур (стр. 13). Здесь рассматриваются городища дьякова типа, древнейшие из которых датируются рубежом II и I тысячелетий до н. э., позднейшие на Оке — III—IV вв. н. э., в Верхнем Поволжье — IV—VI вв., а верховьях Оки и Днепра — VII—VIII и даже IX и X вв. н. э. Автор отмечает территориальную неоднородность этой культуры, выделяя верхнеокскую, волго-окскую, верхневолжскую и валдайскую группы городищ. Он характеризует и наносит на карту также особую группу городищ верхнего Поднепровья, связанных с небольшими полями погребений, и группу городищ в северной Белоруссии (типа Банцеровского), отличающихся более отсталой культурой. Далее П. Н. Третьяков описывает культуру дьяковских городищ. Однородной эта культура стала не сразу. Характерная для городищ дьякова типа культура сетчатой керамики сформировалась лишь в последнее столетие до н. э. Дьяковское городище в эпоху расцвета этой культуры представляло собой «патриархальное гнездо» — поселение патриархального рода.

В качестве яркого примера такого поселка П. Н. Третьяков приводит раскопанное и реконструированное им городище Березняки III—V вв. н. э. На площадке в 2000 м², отделенной от плато ровом и оградой из бревен, плетня и земли, находились: загон для скота и 11 построек — общественное здание, вокруг него 6 жилых помещений (небольших прямоугольных строений с очагом у задней стены), амбар для хранения запасов, кузница, постройка для ткачества и шитья и, наконец, домик мертвых, где хранились останки покойников, сожженных где-то за пределами поселка. Все постройки были наземного типа, что характерно для района Верхней Волги, в то время как на городищах волго-окского района основным типом постройки является прямоугольная, а в верховьях Оки — круглая, землянка. В результате рассмотрения материала днепровских полей погребения, дьяковских городищ и средневолжских городищ с рогожной керамикой автор приходит к выводу, что северные племенные группы в начале нашей эры составляли четыре основных массива — днепровский, верхневолжский или северный, средневолжский и особый массив по Западной Двине и Неману. Эти массивы не были четко разграничены — между культурами, отмечаемыми здесь, много сходства. Все они имеют глубокие местные корни, уходящие по крайней мере в эпоху бронзы. Племенные группы начала нашей эры «являлись предками северных, славянских, финских и летто-литовских племен. Это», — пишет П. Н. Третьяков, — те самые «северные сарматы», о существовании и относительной однородности которых на широких пространствах лесного севера говорил Н. Я. Марр» (стр. 22).

Второй раздел работы П. Н. Третьякова посвящен вопросам этногонии северных славянских племен. Здесь автор ставит себе задачу доказать автохтонность исторического процесса в I тысячелетии н. э. на всей территории верхнеднепровского и волго-окского бассейнов и составить новую этническую карту, характеризующую состав населения этих районов в середине I тысячелетия н. э. Отправной точкой является доказанная предыдущими исследователями принадлежность нижних и верхних слоев дьяковской культуры одному и тому же населению, жившему здесь в течение столетий. Переходя затем к анализу более поздних погребений, автор устанавливает, что в рассматриваемый период выделяются памятники, характерные для летто-литовских, финских и славянских племен. Убедительно связывая курганы с трупосожжениями с домиками мертвых дьяковских городищ, он отмечает, что характерные славянские курганные горшки появляются на Оке, в верхнем Поволжье и северной Белоруссии уже со II—III в. н. э. При определении этого типа керамики особенно важен состав глины (примесь крупных зерен кварца) и обжиг сосудов («ззонкий»). На городищах этого времени встречается также лошадья керамика, указывающая на связи этих племен с южными славянами. О консолидации восточного славянства говорит и распространение по всей изучаемой территории бронзовых инкрустированных красной и зеленой эмалью вещей так называемого геометрического стиля. Общественный уклад северо-восточных славянских племен с III—IV вв. н. э. характеризуется распадом патриархально-родовых отношений и выделением отдельных семей. На это указывает увеличение размера поселков, причем теперь они уже не располагаются, как ранее, гнездами, а также смена обычая хоронить мертвых в домиках на городищах курганным обрядом погребения. П. Н. Третьяков считает, что анализ археологических памятников

позволяет установить для этого периода и областное разделение труда — в западном Поволжье развивается скотоводство, как думает автор, — под влиянием населения южнорусских степей, на севере же, в верхнем Поднепровье — земледелие. Передвижение восточнославянских племен во второй половине I тысячелетия нашей эры, как указывает ряд памятников (городища ровенского типа, некоторые категории погребений), имели место, но не в направлении с юга на север, как утверждали и А. А. Шахматов и другие индо-европеисты, а с севера на юг (в частности из Приильменья на Поволжье). Ведущую роль в этом процессе, по мнению П. Н. Третьякова, играло развитие земледелия. Известия «Повести временных лет» о расселении славянских племен получают в археологическом материале полное подтверждение.

Заключительный раздел работы П. Н. Третьякова (Северные восточнославянские племена во второй половине I тысячелетия) посвящен в основном материалам славянских курганов. Подвергая критике работу А. А. Спицына «Расселение древнерусских племен по археологическим данным» и составленную Спицыным карту, П. Н. Третьяков остается в основном на тех же позициях, которые он защищал еще в 1936 г. в дискуссии с А. В. Арциховским на страницах «Советской археологии» (т. IV), хотя ряд положений высказан здесь уже в смягченной формулировке. Славянские племена, упоминаемые в «Повести временных лет», автор вполне справедливо рассматривает как обширные племенные союзы. Но расселение, указанное летописцем, должно было, по мнению автора, соответствовать фактическому размещению племен в VI—VIII вв., в последующие же периоды, к которым относятся позднейшие курганы (X—XIV вв.), намеченная А. А. Спицыным, принятая и уточненная большинством археологов карта расселения племен должна была сильно измениться. Это положение П. Н. Третьякова, отрицающего возможность очерчивания территории племен «Повести временных лет» по материалам археологических памятников X—XIV вв., в частности по погребальным инвентарям, большинством археологов не разделяется. Этнографам хорошо известно, как долго удерживаются архаические черты в одежде и обряде погребения. Женские украшения, особые для каждого из племен, находимые в позднейших курганах, являются чрезвычайно устойчивым этнографическим признаком, который археологи вполне справедливо связывают с племенами «Повести временных лет» и с занимавшей этими племенами территорией.

Памятники VI—VIII вв. доказывают существование неизменных в течение столетий локальных образований, очерчивающих границы племен и допускают возможность присвоения этим племенам имен, указанных в «Повести временных лет». Наиболее северное из таких образований обрисовывается так называемыми «солками». Позднее название этого племени — славяне новгородские. Южнее и западнее этого района, на верхнем течении Днепра, Западной Двины и Волги лежит область распространения так называемых «длинных курганов» — область кривичей. В более позднее время здесь появляются индивидуальные курганы с трупосожжениями, генетически связанные с длинными курганами. Анализируя инвентарь длинных курганов, П. Н. Третьяков отмечает, между прочим, височные украшения в виде дужки с пластинкой внизу и трапециевидными подвесками. Эти украшения являются, по его мнению, предшественниками позднейших вятичских семилепестных и радимичских семилучевых височных колец. Гипотеза эта весьма ценна, так как до настоящего времени вопрос о происхождении обоих указанных типов височных колец не может считаться удовлетворительно решенным. Наиболее плодотворной была гипотеза В. И. Сизова, считавшего, что эти украшения арабского происхождения.

Западнее, севернее и восточнее области длинных курганов и зопок распространены финские каменные могильники, сменявшиеся почти повсюду в VII—VIII вв. могильниками так называемого люцинского типа. Распространение впоследствии (IX—X вв.) зопок по рекам Мологе и Шексне указывает на направление славянской колонизации Ярославского Поволжья. Финское население господствовало, таким образом, в этом районе до VIII в., а в IX—X вв. имела место колонизация Ярославского Поволжья с севера (словене) и с запада (кривичи).

В верхнем течении Оки в V—VI вв. существовали курганы с трупосожжениями, связанные с городищами Мощинского типа. В этих курганах Н. И. Булычевым были прослежены деревянные срубы или ящики, иногда — деревянная ограда у основания. В курганах, раскопанных Булычевым у деревень Шаньково и Почепок, отмечена характерная кольцевая канавка. П. Н. Третьяков доказывает близость этих курганов к Боршевским курганам IX—X вв. и определяет их как погребальные сооружения славян-вятичей. «Нет данных, — пишет он, — что они доходили до устья Москвы-реки, и нельзя распространять территорию вятичей на район Москвы, как это делает А. В. Арциховский» (стр. 48). Но в 1946 г. под Москвой у села Беседы на берегу Москвы-реки А. В. Арциховским раскопан курган того же типа, что курганы у деревень Шаньково и Почепок. Территория вятичей в рассматриваемый период захватывала, таким образом, и район современной Москвы.

Работа П. Н. Третьякова, представляющая большой вклад в изучение этногенеза славян, как бы обобщает все последующие статьи сборника. За ней следует статья Я. В. Станкевича «К вопросу об этническом составе населения Ярославского Поволжья в IX—X столетиях». Здесь детально разработан вопрос о колонизации Поволжья, затронутый и П. Н. Третьяковым. Вопрос этот долго был предметом ожесто-

ченных споров между норманистами (Арне, Тихомиров, Кивикоски) и антинорманистами (А. А. Спицын и др.). Как справедливо указывает автор, основной материал для решения вопроса дают курганные могильники. Но в Суздальской области курганы почти сплошь уничтожены в результате варварских «раскопок» графа Уварова, и только в современной Ивановской области, на окраинах мерянской земли есть еще материал для исследования. В своих дальнейших положениях автор отправляется от исследования находящихся неподалеку от Ярославля Тимеревского и Михайловского могильников. Он дает подробную характеристику обряда погребения и найденных в могильниках вещей и устанавливает, что наиболее ранние погребения, встречающиеся в могильниках, по обряду захоронения, керамике и другим вещам могут быть датированы VIII—IX вв. и определены как славянские новгородские. Находимые в них восточные предметы (например, кувшин с лощением болгарского типа) говорят о торговых связях с Востоком, более ранних, чем с Западом. В IX—X вв. среди славянских курганов появляются отдельные скандинавские захоронения, но никаких данных о сколько-нибудь мощной струе скандинавской колонизации, о которой говорили норманисты, археологический материал не содержит. В XI—XII вв. в инвентаре могильников ярче выступают элементы мерянские. Последнее явление недостаточно объяснено автором. Ведь если меря была коренным населением края, а славяне колонизировали его лишь в VIII—IX и даже X вв. (как о том говорится в статье П. Н. Третьякова, с выводами которого В. Я. Станкевич как будто соглашается), то мерянский материал должен предшествовать славянскому. Усиление мерянских элементов в инвентаре могильников в XI—XII вв., т. е. как раз в период, предшествовавший перенесению во Владимир столицы русских княжеств, требует дополнительных пояснений. Перед нами памятники, оставленные как раз славянскими колониями. Славяне, стало быть, долго жили в мерянской земле, не смешиваясь с коренным населением и лишь в XI—XII вв. стали допускаться смешанные браки. Весьма удачной нужно признать публикацию автором в виде приложения к статье дневников раскопок.

Краткая заметка П. А. Сухова «Славянское городище IX—X ст. в южном Белозерье» содержит описание разведок (в том числе и произведенных лично автором) в районе Белого озера. Этот район, в котором «Повесть временных лет» помещает одно из древнейших государственных образований на Руси — княжество Синеуса — вызывает у археологов вполне естественный интерес. Разведки на городище у села Крохино (древнее Белоозеро) обнаружили культурный слой IX—X вв. со славянской керамикой. Аналогичный слой прослежен и на другом городище в том же районе, на южном берегу Белого озера. Это обстоятельство наряду с отсутствием в исследуемом районе сопок (так называемый «Синеусов курган», по мнению автора, вообще не является погребением) приводит П. А. Сухова к заключению о колонизации района Белоозера славянами в IX—X вв.

Чрезвычайно ценна составленная и опубликованная в рецензируемом сборнике Н. Н. Черныгиным археологическая карта длинных курганов и сопок. Карте предпослано введение, в котором дается описание устройства, области распространения и характеристика инвентаря сопок и длинных курганов, а также сводка мнений различных авторов об этих памятниках. В упрек автору можно поставить то обстоятельство, что его основной вывод о принадлежности длинных курганов кривичам VI—X вв., а сопок — новгородским словенам, вывод, с которым можно безоговорочно согласиться, не вытекает, однако, логически из предыдущего изложения, содержащего различные взгляды на этот вопрос. После введения помещены материалы к карте — сведения о памятниках, сгруппированные по бассейнам рек и содержащие также описание раскопок и находок. Для удобства пользования к работе приложен алфавитный перечень пунктов, в которых находятся длинные курганы и сопки, и список использованных автором печатных и архивных материалов. Сама карта составлена чрезвычайно добросовестно. Она дает яркую картину расселения словен и кривичей. Как пишет сам автор, «настоящая карта, конечно, не является исчерпывающей... Тем не менее, данная в карте схема распространения сопок и длинных курганов может быть принята за основу, которая вряд ли подвергнется существенным изменениям» (стр. 94). К карте приложено 14 таблиц, содержащих рисунки вещей из длинных курганов и сопок, а также чертежи, иллюстрирующие устройство самих погребальных сооружений. При этом многие вещи опубликованы впервые.

Особый интерес представляет работа Н. Н. Ворониной «Медвежий культ в верхнем Поволжье». «Изучение этой темы, — пишет автор, — не только раскрывает перед нами органические связи дофеодалных и феодальных судеб верхнего Поволжья, но позволяет ближе и конкретнее подойти к вопросу об этногонии племен восточного славянства, яснее и отчетливее увидеть автохтонность этого процесса» (стр. 149). Отправляясь от летописных известий о восстаниях смердов в Поволжье в 1024 и 1074 гг. и сказания о построении Ярославля, Н. Н. Воронин производит подробный анализ письменных, археологических, этнографических и фольклорных материалов о медвежьем культе и приходит к заключению, что медвежий культ существовал у народов Поволжья, начиная с бронзового века. Находки зубов и когтей медведя в фатьяновских могильниках и находки сделанных из глины медвежьих лап, а также когтей и зубов медведя в славянских курганах северо-западных областей и в погреб-

бениях финских и скандинавских говорят о том, что культ медведя был распространен у тех племен, из которых впоследствии сформировались славяне. Культ этот в различной степени яркости и полноты (в зависимости от степени разложения родского строя) переживает до XI в. и позже как древнейшее наследие в идеологии народов Поволжья и Севера, «свидетельствуя об их формировании на базе сложных местных процессов скрещения» (стр. 179). Пережитки этого культа автор видит и в гербе города Ярославля, который еще в XVII, XVIII вв. содержал изображение медведя, составившееся с изображением трезубца Рюриковичей. Н. Н. Воронин подробно останавливается на характеристике медвежьего культа на Поволжье в XI в., доказывая наличие здесь в этот период медвежьих праздников и т. п. Приводя этнографические аналогии, автор особо отмечает табу, накладываемое многими народами на название медведя, которое заменяется различными иносказательными выражениями вроде: «хозяин», «вуйко» («дядя») и т. п. Здесь можно добавить, что само русское слово «медведь» очевидно, результат такого табу. Это — иносказательное наименование зверя, произведенное от слов «мёд» и «ведать» (иногда слова эти переставляются — «вед-медь»). Из всех зверей один только медведь носит столь легко выводимое из современного русского языка имя. Можно думать, что это объясняется табу, наложенным на древнее, не дошедшее до нас имя зверя. В заключение Н. Н. Воронин приводит специальный экскурс о роли волхвов-скоморохов — носителей языческой идеологии в древней Руси.

Работа И. И. Ляпушкина «Славяно-русские поселения IX—XII ст. на Дону и Тамани по археологическим памятникам» является весьма интересной сводкой археологического материала, заново переработанного и переосмысленного автором. После подробного критического разбора всей предшествующей литературы вопроса И. И. Ляпушкин приступает к описанию материала, добытого на городищах и в погребениях на Дону и Тамани: Таманского городища — древней столицы Тмутараканского княжества, левогобережного и правогобережного Цымлянских городищ, городища на плато Теплень близ Коктебеля и могильника у Лысой горы. Автор приходит к выводу, что встречающаяся на этих памятниках керамика (горшки с круто отогнутыми венчиками, выступающими плечами, линейным и волнистым орнаментом), которую большинство археологов считает славянской, на самом деле принадлежит салтово-маяцкой культуре, датируемой VIII—X вв. и «резко отличной» от культуры восточного славянства. На основании анализа археологических материалов и письменных источников автор заключает далее, что южнее границ лесостепи до X в. славянских поселений не было. В конце X в., когда хазарский каганат пал под ударами Киевской Руси, начинается славяно-русская колонизация в низовьях Дона и Тамани. Но она не проникает в глубь страны, ограничиваясь немногими важнейшими стратегическими и торговыми пунктами — Таманским городищем, Саркелом (левогобережным Цымлянским), Потайновским и Кобяковским городищами (городище в районе Коктебеля автор относит к салтово-маяцкой культуре и датирует его VIII—X вв.). Но и в этих пунктах массового сельского славянского населения якобы не было, а жили лишь князья со своими приближенными, дружиной, челядью и необходимыми ремесленными и торговыми людьми. Выводы И. И. Ляпушкина неубедительны. Прежде всего, основное его положение о принадлежности керамики с линейным и волнистым орнаментом салтово-маяцкой культуре не исключает возможности наличия здесь и настоящей славянской керамики, которую исследователи (П. Н. Третьяков, А. В. Арциховский) выделяют обычно не только по орнаменту, но в основном по профилю сосудов и составу глиняного теста (см. выше). Приведенные самим И. И. Ляпушкиным статистические данные показывают, что из 70 случаев находок фрагментов сосудов описываемого типа 29, т. е. более 1/3, найдено в позднем слое городища. Возможно, что эта керамика, как и найденная Барсамовым в Коктебеле, принадлежит русскому поселению X в. И. И. Ляпушкин считает, что для славянских поселений X—XII вв. на Дону характерно наличие лепной керамики, но, как отмечает сам автор, керамика эта встречается в крайне незначительном количестве (например, на Таманском городище всего 49 находок). Вообще приводимая И. И. Ляпушкиным таблица (стр. 208) основана на слишком незначительном количественно материале и не может служить основанием для статистических выводов. Местные племена — носители «салтово-маяцкой» культуры могли участвовать в процессе этногенеза славян. Б. А. Рыбаков в своей работе «Анты и Киевская Русь» вполне убедительно показывает связи антов с Подоньем и Северным Кавказом. Позднейший русский материал, найденный на Дону, в Тамани и в Крыму, говорит нам вполне убедительно о наличии здесь сильной струи славянской культуры и, стало быть, значительного славянского населения. Неудачна также ссылка автора в подтверждение своих положений о слабости славянских элементов в Тмутаракани на состав дружины Мстислава Владимировича и на частую смену князей в Тмутаракани в XI в. Последнее обстоятельство характерно для всей удельной Руси. Что же касается дружины Мстислава, то в ней, конечно, могли участвовать и хазары и касоги (хотя обычно они выступали отдельными отрядами), но знаменитая его фраза: «Кто сему не рад? Се лежит северянин, а се варяг, а своя дружина цела», отнюдь не указывает на иноплеменный состав этой дружины. Князь просто выразил удовлетворение тем, что победа обошлась ему сравнительно дешево, так

как главные потери понесли союзники — племенное ополчение северян, княжеская же дружина — русская или касожская — осталась цела.

М. А. Тиханова в своей работе «Культура западных областей Украины в первые века нашей эры» дает обстоятельную сводку работ по изучению культуры полей погребений и соответствующих им поселений — так называемой липицкой культуры, полей погребений с трупосожжениями и трупоположениями I—II вв. н. э. и современных ей селищ — Незвишка, Залесцы, Новоселка Костюкова, Голиграды. В поселениях открыты жилища двух типов — четырехугольные землянки и наземные жилища неправильной формы. В более поздний период, IV—V вв., обряд погребения становится единообразен (трупоположение). Для этой стадии характерен могильник Романово село и современные ему поселения — Максимовка, Хрыщовцы, Лепесовка, Тропищево и др. Это уже настоящие деревни со многими жилыми домами. Здесь встречаются и печи для обжига гончарных изделий. Реконструкция «ульезидного сооружения» из Леплевки (стр. 262—263), однако, не дает возможности определить его как гончарную печь (как делает это автор). Характер перекрытия, отделяющего верхнюю камеру от нижней, говорит против такого определения. Анализируя далее характер культуры, М. А. Тиханова приходит к выводу, что рассматриваемые ею памятники принадлежат сседлому сельскому населению, занимавшемуся земледелием и скотоводством, среди которого уже выделились ремесленники (кузнецы, гончары) и далеко зашла социальная дифференциация (богатые и бедные погребения). «С точки зрения процесса этногонии население западных областей Украины в первые века нашей эры представляло собой ряд локальных групп, среди которых только в III—IV вв. складываются определенные этнические массивы с более единообразной культурной и языковой общностью, оформленные впоследствии как югозападная группа восточнославянских племен» (стр. 271). Сопоставляя эти выводы, сделанные из археологического материала, с известиями древних авторов, М. А. Тиханова считает возможным связать с рассматриваемой ею территорией племенной союз бастарнов, в который входили косто-боки и бессы (отсюда название «Бессарабия») — старое местное население. Бастарны — это не древнегерманское племя, а выделившаяся из местного населения племенная знать. Переселение народов, особенно германских племен, не могло оказать существенного влияния на культуру и этническое лицо местного населения, так как это не было движение вполне сложившихся племенных образований. В тесной связи с этим вопросом стоит вопрос о вандалах. Приписываемые зарубажными учеными вандалам могильники М. А. Тиханова определяет как погребения местной племенной знати. Рунические надписи не содержат вандалских имен. В заключение работы М. А. Тиханова подчеркивает, что местное население формировалось не изолированно, но в тесной связи со своими соседями и, прежде всего, с населением Дакии. Появление дружин завоевателей не наложило на него существенного отпечатка. В борьбе с варварами-кочевниками славянские племена сплачиваются и объединяются.

Сборник заключается работой Ф. Д. Гуревич «Збручский идол». Описав обстоятельства находки и самую статую, автор дает подробный обзор мнений предыдущих исследователей, одни из которых считали этот памятник славянским кумиром, другие — тюркской «каменной бабой». Рассмотрев детально территорию находки, автор отмечает, что кочевые народы, бывавшие здесь лишь короткое время, вряд ли могли создать такой сложный памятник. Сопоставление идола с рядом находок, безусловно славянских, и сравнение его деталей с куклами славянских божеств (главным образом Святовита в Арконе), а также анализ головного убора и оружия статуи приводят Ф. Д. Гуревич к выводу, что збручский идол — славянское божество IX—X вв. «Загадочность идола, — пишет она, — еще сохраняется. Семантика изображений, выбитых на нем, ждет еще своего исследователя» (стр. 287).

Рецензируемый сборник, содержащий значительный новый археологический материал и важные обобщения, представляет исключительный интерес для археологов, историков и этнографов. Мы изложили его содержание так подробно потому, что книга эта является библиографической редкостью, так как тираж ее не вышел, и в научный оборот поступили только сигнальные экземпляры. Следовало бы переиздать ее, чтобы широкие круги советских и зарубежных ученых могли ею пользоваться.

М. Рабинович

ДВЕ СТАТЬИ О НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ ЭПОХИ ОСВОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Vilém Pražák, *Lidová píseň o Lidicích*, «Český lid», ročník I, 1946, číslo 2, květen; číslo 3, červen.

Andrej Melicherčík, *Motívy odboja slovenského ľudu v ústnom poľaní*, «Národopisný zborník, Časopis Národopisného Odboru MS, ročník VI—VII (1945—1946), číslo 2—4, Vydáva Matica Slovenská v Turčianskom Sv. Martine.

В настоящей рецензии мы останавливаемся на разборе двух статей о современном чешском и словацком фольклоре. Первая написана известным чешским этнографом проф. Вилемом Пражаком и помещена в двух номерах нового журнала, принявшего

свое наименование от журнала *Český lid* (основанного некогда профессором Зибртом и Нидерле) и как бы продолжающего его традиции. Вторая статья помещена в словацком журнале *Národopisný Sborník* и принадлежит перу его редактора д-ра Андрея Мелихерчика. Начнем с рецензии статьи проф. В. Пражака.

10 июля 1942 г. чешское село Лидице было дотла сожжено и уничтожено германскими фашистами, все мужское население было расстреляно, женщины отправлены в концентрационный лагерь, дети уведены неизвестно куда. Чтобы самое имя этого героического села исчезло из памяти людей, оно германскими фашистами не отмечалось на географических картах, даже на картах, имеющих военное значение. Результаты, достигнутые фашистами, были прямо противоположны их намерению, — «трагедия Лидице стала трагедией чешского народа и потрясла весь мир». Народ по старой традиции выразил свое сочувствие героям Лидице в своих песнях. Автор рецензируемой статьи проф. В. Пражак решил собрать этнографический материал, дающий представление о жизни этого села до катастрофы 1942 г., и, в частности, изучить бытовавшую там народную песню. Результатами своего обследования села Лидице и его песенной культуры В. Пражак обещает поделиться в особой работе. В рецензируемой статье он останавливается на разборе трех песен о трагической судьбе этого села. Первую песню он услышал от девиц соседнего с Лидице села Гржебче. Содержание этой песни якобы отражает трагические события, разыгравшиеся в Лидице. Однако при проверке оказалось, что она дословно восходит к так называемой «крамаржской» или «ярмарочной» песне и изображает события XIX в. — в ней поется о чехах, павших около Градце Кралова во время войны 1866 г. Автором ее был Франтишек Гайсс. Здесь мы встречаемся, по заявлению проф. Пражака, с распространенным явлением: там, где быстро появляется потребность в песне, воспевающей то или иное событие, если новой песни еще не создано, народ заменяет ее подходящей старой песней. В. Пражак ставит вопрос, не могла ли эта «ярмарочная» песня попасть в народную среду из вышедших в свет перед войной изданий Милослава Новотного или Бедржиха Вацлавека, опубликовавших старые «крамаржские» или «ярмарочные» песни, и отвечает отрицательно: старая песня о событиях 1866 г. передавалась из уст в уста и сохранилась в народной памяти до нашего времени. Проф. Пражак приходит к заключению, что эта старая песня нашла новое применение «в новой функции, как песня, поющая о гибели Лидице». Подобные факты «воскрешенья» старой песни в новом качестве не раз отмечались советскими фольклористами при изучении фольклора Великой Отечественной войны. В работе проф. Пражака ценным является точное определение пути проникновения старой песни в репертуар песен о новых событиях. Ввиду того, что эта песня в наше время исполняется почти без изменений с того времени, как она была создана, В. Пражак не считает ее фольклоризировавшейся. В этом он расходится с советскими фольклористами, считающими (главным образом на основании изучения фольклора Великой Отечественной войны), что в отдельных случаях и неизменная народом литературная песня может считаться фольклоризированной, если она получила широкое распространение, признана коллективом за народную и не связывается им с определенным автором.

Вторая песня о гибели Лидице, анализируемая проф. Пражаком, была создана через несколько дней после катастрофы рабочим-металлургом Кубела вместе с его женой. Поет он ее на мелодию песни «*Cestíčka k Majerovcům*». Хотя эта песня и создана представителем народа, она не получила широкого распространения, а потому не считается Пражаком народной. По своему характеру песня приближается и к чисто народным, и к «ярмарочным». Автором третьей песни о Лидице является гармонист-чех, вернувшийся из концентрационного лагеря. Эта песня, по определению проф. Пражака, носит скорее характер репортажа.

Если прежние песни распространялись главным образом на посиделках и на свадьбах, то нынешняя песня, как, например, созданная гармонистом о Лидице, распевавшаяся им в сельской гостинице. «Создание песни о Лидице, — говорит В. Пражак, — опровергает мнение, что творческая сила народной поэзии онемела», и подтверждает жизнеспособность народного творчества. В заключение проф. Пражак отмечает, что песни создают не только крестьяне, но, как на это указывает песня рабочего Кубела, также и рабочие. Нужно признать недостатком чехословацкой этнографии, что она изучала только крестьянскую среду. Проф. Пражак призывает к изучению материальной и духовной культуры не только крестьян, но и рабочих. Собранный материал должен положить основу будущего «Музея рабочего».

Переходим к разбору статьи словацкого этнографа д-ра А. Мелихерчика. Тяжелые дни осени и зимы 1944—1945 г. оставили, по словам автора статьи, глубокие следы в душе и мыслях словацкого народа. Пережитые события начинают проявляться также и в словацком народном творчестве. Традиционный песенный и сказочный фольклорный материал начинает обогащаться новыми элементами. В народном словацком творчестве нашли свое отражение, с одной стороны, отвага и ловкость словацких партизан, с другой, — страдания словацкого народа, невыносимая жизнь под гнетом фашистов и, наконец, победа и освобождение от этого гнета. Автор статьи приводит песню словацких партизан «*Po krátkich dňoch Sloboďienki*», возникшую зимой 1944—1945 г. в горах у Доброче. Сложили ее словацкие партизаны на мелодию украинской партизанской песни. В настоящее время она распеваётся молодежью по всему району

Черного Балого. Записана она от балогских девушек. К тексту песни приложены ноты ее мелодии. Приведенные сведения указывают, что эту песню следует признать фольклорной. Автор статьи вполне прав, ожидая от изучения созданного в наше время партизанского словацкого фольклора крупных результатов для решения ряда основных проблем, стоящих перед современной фольклористикой, как, например, вопроса о взаимоотношении индивидуального и коллективного творчества, вопроса о степени использования современным фольклором традиционного фольклора и т. д. В частности, полагает д-р Мелихерчик, изучение современного словацкого партизанского фольклора поможет осветить вопрос о возникновении фольклора о словацком народном герое Яношеке.

П. Богатырев

АПОЛОГИЯ РАСИЗМА В АМЕРИКАНСКОЙ ЭТНОГРАФИИ

(Школа «изучения современных общин»)

В последние 10—15 лет в этнографии, или, как ее называют американцы, социальной антропологии, США оформилось направление, которое поставило своей задачей «изучение современных общин». По словам главы этой школы Ллойда Варнера, для полного понимания современного общества, например, общины какого-либо американского города, необходимо применять такие же приемы исследования, какие до сих пор применялись относительно примитивных обществ. «Поставив изучение нашей цивилизации в рамки сравнительной социологии, мы сможем приобрести познание нашего собственного социального поведения, как биологи познают нашу физическую структуру, помещая ее в рамки сравнительной биологической науки»¹.

В одной из первых работ, изданных представителями нового направления, «Каста и класс в южном городе»², автор Дж. Доллард следующим образом сформулировал свою цель: «рассмотреть социальное положение как средство установления нормы свойств и склонностей белых и негров, как форму установления у них характера любви, преданности, ревности, почтения, покорности, кротости, смирения и страха»³. В своей полевой работе Доллард изучал «привилегии в области сексуальной жизни и престижа белых среднего класса, кастовые нормы воспитания, политики и религии, приспособленческие позиции негров, агрессию негров против белых и кастовую агрессию белых против негров, а также защитные верования белой касты»⁴.

Откровенность постановки тематики новой школы исключает какие бы то ни было сомнения в ее направленности. Шекспир, раскрывший в переживаниях черного Отелло общечеловеческую трагедию ревности, явно устарел с точки зрения этого модного течения. Его представители увидели бы в страданиях Отелло лишь особые «нормы характера любви и ревности», свойственные его расе. Что же касается такой туманно сформулированной категории, как «защитные верования белой касты», то, очевидно, именно они лежат в основе и поддерживают практику суда Линча и подобных ему человеконенавистнических институтов. Таким образом, новая школа в американской этнографии сразу определила свое направление: она явно стремится подчинить науку духу расовой дискриминации и зоологического расизма.

Однако в центре внимания нового направления стоят не только негры, но и белое население современных американских городов. Основным произведением Ллойда Варнера и его сподвижников является многотомная серия исследований, объектом которых избран город «Янки-Сити» в Новой Англии. Из шести томов, которые должны всесторонне осветить и обрисовать общину маленького американского городка, пока вышли из печати три. Первые два посвящены социальному положению населения «Янки-Сити». По словам авторов, их исследование, «обрисовывая деление на высший и низший классы», показывает, как «это население живет хорошо организованным образом»⁵. Надо отдать справедливость представителям новой школы — они не пожалели трудов. На каждого из 17 тысяч взрослых жителей города были составлены «карточки социальной личности» с нанесением на них данных опросных листов и отчетов с мест наблюдений. Местами наблюдений были фабрики, оптовые магазины, банки, а также «места проявлений массовой активности во время забастовок, митинги, связанные со снижением заработной платы и безработицей... Полицейское бюро с его потоком арестов, осуждений и оправданий находилось под должным надзором, и поведение полисменов и задерживаемых ими во время обходов бродяг также тщательно изучалось»⁶. Материалы наблюдений подвергались статистическому анализу.

¹ W. Lloyd Warner a. P. S. Lunt, The social life of a Modern Community, Yanky-City Series, v. I, New Haven, 1941, стр. 14—15. «Янки-Сити» — псевдоним маленького городка в Новой Англии — Ньюберпорта.

² J. Dollard, Caste and class in a Southern Town, New Haven, 1937, стр. 9.

³ Там же, стр. 7.

⁴ Там же.

⁵ W. Lloyd Warner a. Paul S. Lunt, The Status System of a Modern Community, New Haven, 1943.

⁶ W. L. Warner a. P. S. Lunt, The Social life of a Modern Community, стр. 59.

Индивидуумы подразделялись на классы, социальные институты и организации группировались по категориям... В результате были выведены «34 общих классовых типа», и они были распределены между «89 позициями, образующими в целом социальную систему Янки-Сити, состоящую из 17 149 членов».

Однако приемы исследования новой школы не исчерпываются этой головоломной бутафорской статистикой; авторы подкрепляют ее наглядными иллюстрациями. В этом отношении весьма характерен третий том «серии Янки-Сити»: «Социальная система американских этнических групп»⁷. Этот том посвящен одной из самых модных тем американской этнографии — проблеме аккультурации или, вернее, американизации. В книге рассматриваются различные группы иммигрантов в «Янки-Сити», прослеживается процесс их ассимиляции и обрисовывается их материальное и социальное положение. Опять привлечен статистический материал, который обработан в виде многочисленных таблиц и диаграмм. Весьма характерна, например, таблица 4 на стр. 71. Здесь перечислены в последовательном порядке и помещены в виде вертикального столбика следующие этнические группы: янки, ирландцы, французы, евреи, итальянцы, армяне, греки, поляки, русские. По горизонтали намечены графы: наивысшее благополучие, немного меньшее, среднее, ниже среднего, самое низшее. В первой графе помещены почти исключительно янки и немного ирландцев, во второй — почти исключительно ирландцы и немного французов и т. д. В предпоследней — поляки и некоторые русские, в последней основная масса — русские. В следующей таблице даются годы прибытия перечисленных этнических групп в город «Янки-Сити». Самой ранней группой оказываются ирландцы, затем французы, потом евреи и т. д. до последних — русских (1910—1920). Авторы сопоставляют данные обеих таблиц (с прибавлением некоторых дополнительных сведений — о расселении внутри города, о занятиях и др.) и делают «естественный», по их мнению, вывод: чем раньше та или иная группа иммигрантов осела на американской почве, тем больше она подверглась аккультурации, тем больше она американизировалась и тем самым достигла наибольшего благополучия — завладела наиболее выгодными отраслями промышленности и торговли, проникла в наиболее привилегированные слои общества, в фешенебельные кварталы города, породнилась с янки и т. д. Коротко говоря, американизация обуславливает успех и благополучие. О тех иммигрантах, которые не достигли вершин американизма или отстают от своих процветающих собратьев, так же как и о 100%-ных безработных янки, читатель ничего не узнает из приведенных статистических таблиц; авторы, очевидно, считают такого рода данные нехарактерными и во всяком случае нарушающими их концепцию, а потому не уделяют им места.

Стремясь ярче и нагляднее проиллюстрировать сухие цифры, Ллойд Варнер в полубеллетристической форме рисует ряд картин из жизни различных слоев иммигрантов города «Янки-Сити», именно ирландцев: семьи скромного дантиста, зажиточного фермера, богатого фабриканта. При этом в качестве критерия американизации автор применяет такой фактор, как контроль над деторождением. Увлечшись этой пикантной темой, автор живописует ряд скабрёзных сцен, стоящих на грани порнографии, которые должны подкрепить тезис об американизации, как синониме благополучия. Семья дантиста навсегда обречена на бедность из-за соблюдения им и его женой ирландско-католических традиций, запрещающих предупреждение беременности, и все растущее вследствие этого числа детей. Зато фешенебельной дочке фабриканта обеспечено благополучие и процветание, поскольку она усвоила достижения американской «техники» и тем самым доказала, что американизировалась на 100%.

И этими главами из бульварного романа, стоящими у предела пошлости, и академически вычисленными и вычерченными таблицами и диаграммами представители школы «изучения современных общин» пытаются доказать одно и то же: пресловутый «плавильный тигель» американизма создал нацию американцев, усвоившую все лучшее из ингредиентов, попавших в плавку. Стопроцентные янки обладают и стопроцентными возможностями обеспечения материального благосостояния и привилегированного социального положения. Иммигранты, не утратившие своего национального самосознания, эти «американцы польского происхождения» и им подобные не могут рассчитывать на успех; если они хотят его достигнуть, они должны стремиться к наибольшей «американизации», т. е. к признанию за американцами прав на господство над Новым светом, а в будущем и над всем миром. Ллойда Варнера не смущает вопиющее противоречие провозглашенных им выводов с действительным положением вещей; он и его сподвижники ничего не хотят знать о классовой борьбе внутри капиталистического общества США, они сознательно закрывают глаза на хищническую эксплуатацию воротилами американского монополистического капитала рабочих, мелких служащих и фермеров из числа тех же стопроцентных янки, как и они сами. Беспристрастно наблюдая и описывая «нормы поведения» бастующих рабочих, борющихся за свои права, и полисменов, арестующих безработных, эти этнографы — исследователи современных общин — стремятся своими мнимо научными приемами убедить легковверных в правомерности социальных различий, объясняя их расовыми, национальными и иными «биологически» обусловленными причинами.

⁷ W. Lloyd Warner a. Leo Srole, *The Social Systems of American Ethnic groups*, Yankee-City Series, v. III, New Haven, 1946.

Ллойд Варнер обещает посвятить четвертый том своей серии «специальному изучению социальной организации современного предприятия», а том пятый — «тем представлениям, которые возникают у американцев, когда они думают о себе и своем поведении». На основании уже изданных «трудов» новой школы можно заранее представить себе, что современное предприятие будет обрисовано так же «хорошо организованным», как и описанное уже полицейское бюро, а думы американцев — посвященными превосходству янки над другими нациями и оправданию захватнической политики капиталистической верхушки США.

Можно, однако, задать вопрос: каких непосредственных целей достигает описанная нами «школа», действительно ли осуществлена задача лучшего познания современного общества в целом и отдельных городских общин, в частности? Что касается последнего, то цель явно не достигнута. Автор обзора о современном состоянии американской этнографии Бетти Меггерс заявляет, что, наоборот, «даже трудно представить себе американский город, вообще хорошо нам известный, когда он описан в форме статистических таблиц»⁸. Но американская обозревательница неправда, когда она далее пишет, что из работ новой школы нельзя сделать никаких выводов. Хотя авторы не формулируют этих выводов, последние тем не менее достаточно прозрачны. За громоздкими таблицами четырехзначных индексов «беспристрастных» исследователей — представителей модного направления в американской этнографии — кроется стремление к утверждению незыблемости различных видов социального неравенства, обусловленного якобы расовой неполноценностью и законами «неизменной» человеческой природы.

Авторы «серии Янки-Сити» посвящают ее Корнелиусу Крэну — «нашему благородному благодетелю, другу и коллеге в области социальной антропологии в знак невыразимой благодарности за его глубокое и полный участия интерес к нашей работе». Это трогательное посвящение, очевидно, соответствует интимной связи между одним из хозяев капиталистической Америки и группой дипломированных лакеев, стремящихся на новый лад, в перекроенной по новому фасону ливрее услужить своим господам, по-новому обосновать и закрепить их владычество.

Реакционная направленность значительной части современных американских ученых не могла не привести к научному оскудению современной американской этнографии. Это становится ясным и для наиболее добросовестных представителей американской науки. Упомянутая выше Бетти Меггерс в своем обзоре ставит под вопрос «общепринятое положение о больших успехах американской этнологии за последние десятилетия» и заканчивает грустным выводом: «Надо признать, что мы отступили далеко назад от позиций, достигнутых в первые полвека развития этнологии в Америке». Такая деградация вполне закономерна для науки, ведущее направление которой поставило ее в услужение англо-саксонскому расизму и господству монополистического капитала США.

Б. Шаревская

E. D. Chapple and C. S. Coon, *Principles of Anthropology*, New York, 1942, X + 718.

Авторы в предисловии пообещали читателю «описать полностью и систематически принципы антропологии, какими они являются в 1942 г.»⁹. Если бы авторы в какой-либо мере выполнили это обещание, хотя бы в части американской антропологии, их книга имела бы известный интерес. Вместо этого они занялись пространным изложением своей собственной теории, очень далекой от науки, но не лишенной любопытных деталей. Интересно, прежде всего, пренебрежительное отношение авторов к антропологии XIX в. По их словам, она была лишь источником «интересных» сведений о так называемых «примитивных» народах, сведений, «пригодных лишь для того, чтобы занимать гостей, приглашенных к обеду». Она была «продуктом роскоши», так как «антропологи не могли перенести свои обобщения на наше собственное общество». В отличие от исследователей XIX в. наши авторы считают основным объектом изучения антропологии их собственное, т. е. капиталистическое, общество, ибо, пишут они, «хотя мы очень компетентны в отношении нашей окружающей среды благодаря развитию и применению физики и химии, мы еще мало что знаем о человеке и также неспособны контролировать наши судьбы, как и наши примитивные современники». Задачей антропологии авторы считают «контролирование наших собственных судеб» определяют ее как науку об отношениях между людьми. Основные виды человеческих отношений они усматривают в половых сношениях и в заботе о беспомощном ребенке и считают поэтому, что «семья является основной группировкой человеческих существ». Этим они, хотя и невольно, характеризуют принципы новейшей американской антропологии, которой свойственно изучение личности вне общества, сведение социальных проблем к проблемам семейным, физиологическим и психопатологическим.

⁸ Betty Meggers, *Recent Trends in American Ethnology*, «American Anthropologist», 48, 1946, 2, стр. 194.

⁹ Напомним, что в англо-американской литературе под термином антропология понимается этнография; антропология в нашем смысле называется там физической антропологией.

Но авторы хотят внести нечто «новое» в эту концепцию, и без того уже не сулящую больших научных успехов. Они утверждают, что человеческие отношения можно «измерять» и что в качестве меры здесь могут служить единицы времени. Но при этом предупреждают авторы, необходимо учитывать все «переменные». Авторы иллюстрируют важность последнего обстоятельства примером одного из основных, по их мнению, человеческих отношений, а именно — ссоры между мужем и женой. Муж и жена, пишут они, ссорятся при вполне определенных условиях, и «степень» их ссоры и ее возможные результаты могут быть предсказаны с той же точностью, с какой мы при повороте выключателя предсказываем зажигание электрической лампочки. Однако, продолжают авторы, «если мы не учтем, что в лампочке перегорел волосок или что при ссоре присутствует тесть, то мы не учтем очень важную переменную, и это опрокинет успех наших предсказаний». К сожалению, пообещав «измерить» отношения между людьми, авторы не выполнили и этого обещания и даже, повидимому, вскоре забыли о нем. Это и немудрено, потому что задачи, за разрешение которых они затем взялись, и без того достаточно велики. Они поставили себе целью объяснить, каким образом и для чего возникли орудия труда, виды хозяйства, формы общества, социальные институты и обычаи, наука, религия, язык и как они взаимодействуют друг с другом. При этом они не ограничиваются изучением какого-либо одного народа, но говорят сразу обо всех народах земного шара, ибо ищут универсальные законы для всего человечества. Это, однако, не значит, что они привлекают к изучению большой практический материал. Знания их в этом отношении очень ограничены, и они не столько приводят примеры, сколько придумывают их, черпая материал для своей фантазии главным образом из области семейных отношений. В основе всех выводов авторов лежит абстрактное понятие «человеческого индивида», лишенного каких бы то ни было социальных характеристик. Этот «индивид» начинает «реагировать» на окружающую обстановку и создает при этом различные явления культуры.

По словам авторов, «человеческие отношения являются функцией человеческого организма». Сущность же человеческого организма, как и всякого другого, в том, что он должен все время находиться в «равновесии», в неизменном состоянии: сохранять постоянную температуру и т. д. Чтобы достичь этого, «все организмы, человеческие и другие, должны все время приспосабливаться к изменениям, происходящим в окружающей их обстановке». Таким образом, для понимания отношений между людьми необходимо изучить организм человека и окружающую его обстановку, которую авторы подразделяют следующим образом: «1) человеческие существа, между которыми имеет место взаимодействие, и 2) внешние силы и объекты, к которым организм также (!) должен приспосабливаться». Человек приспосабливается к окружающим его природным условиям прежде всего путем создания предметов материальной культуры. Например (!), он строит себе жилище. Значение жилища авторы, естественно, видят только в том, что «человек может поддерживать внутри жилища температуру в 70° по Фаренгейту, тогда как снаружи будет 30° ниже нуля. Далее, он может содержать внутренность жилища в сухом состоянии, тогда как снаружи идет дождь или снег». После этого идет описание различных типов жилищ. Точка зрения авторов, однако, настолько поверхностна, что они не в состоянии провести различие даже между временными и постоянными жилищами (и те и другие защищают от холода и непогоды!). Они указывают только, что в постройке жилища наиболее активное участие принимают собственник жилища (!) и его жена. Для защиты от холода и непогоды человек создает также (!) одежду (следует описание того, из каких материалов и каким образом изготавливается одежда) или просто садится поближе к огню. «Это универсальный обычай среди всех народов — сидеть вокруг огня, особенно в холодные вечера». Относительно огня, однако, авторы придерживаются не вполне определенной точки зрения «Человеческие существа могут, конечно, жить и без огня, — пишут они, — так как многие семена люди могут есть сырыми, а в некоторых областях достаточно тепло и без огня».

Затем авторы переходят к описанию того, каким образом люди приспосабливаются друг к другу и в связи с этим создают свои институты и обычаи. Авторы описывают различные виды производства, которые требуют взаимодействия людей и отсюда пытаются вывести социальные институты. При этом они подходят к производству только со стороны его технологии и не могут установить действительной связи между способом производства, с одной стороны, и формой общества — с другой. Так, например, они пишут, что собиранием растений и мелких животных каждый человек может заниматься отдельно, «подобно горилле или другому низшему примату». Тем не менее, к великому удивлению авторов, «собиратели обычно работают группами». С какой же целью? — спрашивают авторы и отвечают: «Просто с целью взаимодействия друг с другом, то-есть за компанию». Единственное, что могут сказать авторы о социальном строе собирателей, — это то, что «человеческие отношения между индивидами (позволительно спросить у авторов, какие еще могут быть отношения между людьми, кроме человеческих?), практикующими собирание, остались на самом простом уровне». Для земледелия и скотоводства авторы отводят одну небольшую главу, «так как эти активности близко родственны», объясняют они. Однако они не забывают упомянуть и о различиях, «которые обусловлены отличием природы животных от природы растений». Дело оказывается в том, что животные все время пере-

двигаются, а растения стоят на месте (!). Поэтому, «животные требуют постоянного внимания, растения же, как правило, нет». Домашних животных авторы классифицируют следующим образом: 1) домашние животные, которых нужно убить, чтобы использовать, и 2) домашние животные, которых не нужно убивать, чтобы использовать. Нетрудно видеть, что авторы смотрят на производство с точки зрения потребителей, а не ученых.

Производство, по мнению авторов, хотя и играет важную роль, однако, не является решающим фактором в деле приспособления человека к окружающей его обстановке. Решающий фактор они видят в обмене продуктами, в торговле. Экономическими институтами они называют поэтому только те, которые основаны на торговле. С этим, в частности, связано и положение авторов, гласящее, что «ключ к прогрессивному развитию нашей сложной современной мировой цивилизации лежит в области транспорта». Верные себе, авторы не проводят, конечно, границы между обменом, возникшим на основе различия природных условий, и обменом, возникшим на основе общественного разделения труда, и сводят все дело к процентам. У туземцев Австралии обмен, по их расчетам, развит на 10%, а в Западной Европе — на 90%. Это подтасовывание фактов необходимо им для того, чтобы утверждать, что все люди «могут производить добавочный продукт, перевозить его и обменивать». Авторы, конечно, не говорят (хотя и знают об этом), что в классовом обществе одни люди производят «добавочный» продукт, а другие его присваивают. Вся книга их написана с той целью, чтобы скрыть сущность отношений между людьми в классовом обществе, убедить читателей, что в нем нет отношений эксплуатации, что прибыль капиталиста создается в процессе обмена, что классовое общество ничем не отличается от доклассового. Недаром авторы утверждают, что, «если антрополог делает какие-либо выводы относительно примитивных народов, эти выводы должны быть отнесены равным образом и к нашему собственному обществу». Авторы не скрывают того, что целью их теории являются отождествление классового общества с доклассовым. «Если читатель,— пишут они,— будет руководствоваться теми приемами и принципами, которые мы предлагаем, он придет к тем же результатам, что и мы, независимо от того, какое общество он изучает».

Наконец, авторы переходят к описанию социальных институтов и различных форм идеологии. О стиле этой части их книги можно судить по следующей цитате: «Мы говорим о любви к отцу, любви к матери, любви к детям, супружеской любви, любви к королю или вождю, как если бы это были особые формы эмоций... Но изучение действительных физиологических актов показывает нам, что в каждом из этих случаев имеют место одни и те же процессы». Ясно, что семья, по мнению авторов, обусловлена необходимостью половых сношений и заботы о ребенке. Они готовы поэтому называть половой акт «семейной техникой», но, глубокомысленно замечают они, «он (половой акт) имеет место и в домах терпимости, которые являются экономическими институтами». Отсюда читатель, очевидно, должен сделать вывод, что половой акт в доме терпимости является «экономической техникой». На этой стороне описаний авторов мы не будем останавливаться, укажем только, что эти описания — не оригинальны, а заимствованы у получившего скандальную известность Вильгельма Райха и ему подобных. Укажем также, что семья, по мнению авторов, является основой всех институтов, что кузенный брак вытекает из отношений между двумя семьями, что род — это расширенная семья и что «максимум расширения семьи — это племя, конфедерация, нация». Посмотрим теперь, как трактуют авторы «политические институты», т. е. организацию управления в узком смысле этого понятия, исключаящем управление на основе родства. Авторы начинают с рудиментарных форм «управления» у обезьян, у которых они находят «непостоянных вождей». То же (!) — у эскимосов, андаманцев, бушменов. Затем, «когда необходимость в вожде становится постоянной», возникают, естественно, «постоянные вожди». Отсюда, при помощи неверного положения, что каждый политический институт связан у всех народов с географическим фактором, авторы переходят к классовым обществам и начинают самым высоким слогом воспевать американскую «демократию». Последняя, оказывается, лучше всех других форм управления позволяет организму человека приспособиться к окружающей его обстановке. Более того: в Америке, утверждают авторы, нет классов. «В большинстве европейских стран классы продолжают существовать по сей день... 150 лет назад они имели место и в Соединенных Штатах... К настоящему времени классовые различия совершенно исчезли, вопреки мнениям некоторых авторов». Единственное, что, по мнению наших авторов, еще осталось от того времени, — это «классовые различия между белыми и неграми». Но эти различия являются результатом «импорта группы народа в страну, в которой экономикой и политикой управляет другая группа», и сохраняются они лишь потому, что существуют «очень заметные физические различия между этими группами». Вот к чему привела авторов их так называемая «социометрия», вернее, вот для чего она была им нужна. Классов нет, а то, что есть, возникает из потребностей человеческого организма: семья, племя, государство, тресты, концерны, войны и т. д. Можно лишь пожалеть о том, что авторы начали сразу с человеческого организма. Некто Рэдфильд в том же 1942 г. издал сборник статей различных авторов, где даны, по словам Лесли Уайта, «описания социальной органи-

зации, охватывающие очень широкую область, от одноклеточных организмов до современного человека, включая дикарей, обезьян, кур, мышей, насекомых и т. д.» (*American Anthropologist*, 1943, стр. 477). Из статей Лесли Уайт лучшей считает ту, где развитие социальной организации прослежено «от молекулярной организации, с одной стороны, до современного общества, с другой» (там же).

Наши авторы любят рисовать схемы. Они приводят схему «отношений» между элементами нервной системы человека, схему отношений между членами семьи, схему отношений между членами племени, нации (последние суть, по их мнению, расширенные семьи). Они пишут: «Политические и религиозные институты выросли из них (т. е. семей) путем распространения их (т. е. семей) личного состава за пределы семьи. Это же относится и к экономическим институтам». Сначала, утверждают авторы, предприниматель действует один, затем он привлекает к делу своих сыновей, затем — лиц, стоящих «за пределами семьи». Исходя из этих предположений, авторы рисуют схему отношений между служащими и рабочими обувной фабрики, торгового дома и т. п. И, что самое замечательное, ни в одной из этих схем мы не найдем капиталиста. Все это очень любопытно и даже, если угодно, очень забавно, только, вопреки утверждениям авторов, отнюдь не ново. Около 100 лет назад подобными вещами занимался некий Рошер, которому Маркс уделил следующее подстрочное примечание: «Господину профессору следовало бы знать, что процесс капиталистического производства не изучают в детской, в обстановке, где нет главного действующего лица — капиталиста» (*Капитал*, т. I, стр. 242, прим. 9). Эти слова Маркса сохраняют свое значение и в данном случае.

Все идеологические категории и явления авторы также выводят непосредственно из биологических стимулов и рефлексов. «Символ» (т. е. идеологическое явление) ни в коей мере не отражает объективной реальности. Значение «символа» лишь в том, что он перекидывает мост между стимулом и рефлексом. Процесс произвольного выбора «символа» авторы называют процессом «эмблемизации». Они пишут: «Выбор данного стимула является результатом повторения в контексте... Шофер, например, после двух или трех случаев, привыкает останавливать машину при звуке определенного вида свистка». Но шофера можно приучить останавливать машину и по световому сигналу, и т. д. Свисток может стать «символом» для любой stimulus-response situation. Дело лишь в том, что индивидум должен быть к нему приучен (conditioned). Такой подход к явлениям идеологии позволяет авторам с молниеносной быстротой разрешать самые сложные проблемы. Сколько времени бились этнографы над вопросом о значении австралийской чуринги, авторы же решают этот вопрос необычайно легко, без особого напряжения органа их «символической» деятельности: в период обрядов инициации юноши должны общаться только с мужчинами, и «символом» этого ограничения является чуринга. С такой же «простотой» и неубедительностью решаются вопросы языка, искусства и т. д.

С внешней стороны книга представляется довольно бесформенной. Она распадается на 5 частей, которые никак не связаны друг с другом. В 1-й части трактуются вопросы строения и работы человеческого организма. Во 2-й — вопросы географические («географические основы человеческих отношений») и тут же характеризуются различные явления материальной культуры как средства «приспособления» человека к географическим условиям, 3-я часть посвящена социальным институтам, преимущественно, конечно, семье. В 4 и 5-й частях характеризуются год общим термином «символы» такие явления, как магия, искусство, наука, игры, война, законы и т. д. Трудно все эти вопросы объединить под одним общим заглавием. Поэтому авторы и избрали термин «антропология», давно уже переставший иметь в Америке определенное значение. Но и здесь им не повезло: собственно антропологи говорят, что лучше бы в заглавии поставить слово «этнология» или «этнография» (*American Journal of Physical Anthropology*, vol. 29, 1942, № 2, 334), а этнографы говорят, что лучше бы употребить термин «культурная антропология» (*American Anthropologist*, 1943, № 3, стр. 473). Мы думаем, что название лучше оставить прежнее, чтобы по ошибке не заглянуть в эту книгу еще раз.

Н. Бутинков

A. L. Kroeber, *Configurations of Culture Growth*, Berkeley and Los Angeles, 1944, X + 882.

Крэбер в этой книге оставляет область этнографии и переходит в область истории. Здесь о каждом явлении культуры известно, где и когда оно возникло, и можно поэтому установить не только географические ареалы распределения культурных явлений (чем Крэбер довольствовался раньше), но и «ареалы» распределения их во времени, или, говоря языком Крэбера, их «конфигурации». Ибо культура, как указывает Крэбер в предисловии, распределена во времени неравномерно, она сосредоточена лишь в определенных, к тому же небольших отрезках времени. Задача, которую ставит перед собой Крэбер, заключается в том, чтобы при помощи нехитрых приемов, суть которых изложена им в первой главе, выяснить «конфигурации» культуры, взяв за основу сначала отдельные части культуры, с тем, чтобы проследить их судьбу во всем мире во все времена, а затем — отдельные нации, с тем, чтобы про-

следить судьбу их культур в целом через все периоды их истории. Таким образом, вторая глава его книги посвящена выяснению «конфигурации» философии, третья — «конфигурации» науки (подразумевается комплекс естественных наук), четвертая — филологии, пятая — скульптуры, шестая — живописи, седьмая — драмы, восьмая — литературы, девятая — музыки. В десятой главе «Рост наций» Крэбер устанавливает «конфигурации» культур отдельных наций, и в одиннадцатой, последней главе он подводит итоги всей своей работы. Нельзя не упомянуть также, что наряду с этим Крэбер не отказывается от установления и географических ареалов. Так, например, он устанавливает ареал возникновения драмы (Греция) и пути ее распространения сначала на запад (Италия), затем на восток (Индия, Китай, Япония) и, наконец, на север (Европа). Нелишним будет упомянуть, что материал Крэбер берет, как он сам говорит, главным образом из вторых рук.

Покажем на примере философии в чем собственно состоит метод Крэбера и к каким выводам он его приводит. Прежде всего, в чем видит Крэбер отличие истории философии от «конфигурации» философии? В том, что история философии основное внимание обращает на содержание философских систем, в то время как «конфигурация» философии игнорирует, как говорит сам Крэбер, содержание философии. «Я изложу,— пишет он,— то, что обычно называется «историей философии», от Фалеса до наших дней, но я не буду обращать внимания на ее содержание, а только на ее время, место и скопления ценностей». «В результате,— пишет он в другом месте,— культурные конфигурации предстают перед нами как голые скелеты (stripped skeletons)... Здесь, несомненно, сказывается профессия этнолога, привыкшего иметь дело с примитивными культурами». Нетрудно видеть, что подобного рода «методика» не может привести и, действительно, не приводит Крэбера к сколько-нибудь ценным в научном отношении выводам. Глава начинается с античной философии. Крэбер называет поименно всех философов, указывает годы и место их рождения, смерти и расцвета их философской деятельности. Он различает в античной философии два периода: первый, «продуктивный», с 525 по 270 г. до н. э.; в 270 г. «созидательная деятельность греческой философии была исчерпана», наступил длительный перерыв; и затем наступил второй период «непродуктивный», с 185 по 130 г. н. э. Это был период «эпигонов», которым «ничего не оставалось делать как только перефразировать, перекомбинировать, переводить». Но уже в этот период началась «перееентация». «Задолго до того, как греческая философия исчезла,— а сюда я включаю и основанную на греческой римскую философию: Лукреция, Цицерона, Сенеку,— уже действовали новые силы, подрывающие ее: это были в основном религиозные силы». Наступил новый период, с начала нашей эры до 500—600 гг. В этот период не было такого расцвета, как в ранней античной философии, были просто «ряды различных и часто antagonистических течений», имела место борьба между христианством, с одной стороны, и язычеством, с другой. Далее следует период полного упадка греческой философии, который продолжается и по сегодняшний день. Центр философии перемещается в арабские страны. Здесь Крэбер различает два периода: «восточный», с 800 по 1100 г. и «испанско-марокканский», с 1100 по 1200 г. Отсюда центр философии перемещается в Западную Европу. Здесь опять-таки два «великих пульса»: «средневековая» философия, в ней Крэбер насчитывает четыре отдельные фазы; и «современная» философия, которая «не возникла до тех пор, пока чувство нового мира и цивилизации не стало достаточно сильным». Начало новой философии — 1560 г., но этот год Крэбер считает условным, так как Джордано Бруно и Фрэнсис Бэкон «являются скорее суррогатами, чем действительными философами». С 1637 г., с Декарта начинается непрерывный, последовательный «рост» «современной» философии. Далее Крэбер группирует философов по национальному признаку и посвящает отдельные параграфы Франции, Голландии, Англии, Германии. Высшим достижением «современной» философии, кульминационным пунктом ее «роста» Крэбер считает философию Канта. Гегеля он считает «великим эпигоном». Маркс, по его мнению, вообще не был философом, хотя и являлся, по словам Крэбера, «страшной национальной силой». Затем, по его мнению, начинается полное разложение, дезинтеграция западноевропейской и американской философии. В виде приложения к этой главе дан обзор философии Китая и Индии. Затем следуют выводы, большей частью отрицательные. «Что общего,— спрашивает Крэбер,— в тех девяти или десяти основных расцветах (major growths) философии?» И отвечает: «Ничего». Он сравнивает «кривые роста», «конфигурации» философии в различных странах, в различных периоды времени и также не находит ничего общего. Далее, в других главах, он сравнивает «кривые роста» различных частей культуры и опять-таки не находит ничего общего. Один только положительный вывод делает Крэбер, а именно вывод о том, что факторы, заставляющие философию расти такими скачками (bursts), — «это, в основном, факторы, лежащие в самой философии». Дело в том, что каждый «рост» философии — это определенная модель или система моделей. «Такая система таит в себе определенные конкретные возможности,— развивает свою мысль Крэбер,— которые она может и даже вынуждена осуществить..., но лишь эти возможности, не больше. Когда эти возможности исчерпаны, рост прекращается... новый рост не имеет места, пока не возникнут совершенно новые импульсы при новых обстоятельствах в другой цивилизации, или в совершенно другой фазе той же цивилизации». Но что же все-таки при-

водит к тому, что имеющиеся возможности осуществляются? «Мы не знаем. Мы можем назвать их культурной энергией». Крэбер понимает, что в этом есть нечто мистическое. «Сожалею об этом,— пишет он,— но ничем не могу помочь».

Нетрудно видеть, что Крэбер, дав слово не обращать внимания на содержание философских систем, сплошь и рядом нарушает данное им слово. Он, правда, ухитрился не заметить борьбы между материализмом и идеализмом в античной философии, но далее он дает резко отрицательную оценку всем представителям философского материализма, расхваливает идеалистов и особенно Канта. Из этой главы, а также из других глав, построенных по тому же плану и в том же стиле, нетрудно видеть, что у Крэбера имеются вполне определенные идеалы, с позиций которых Крэбер оценивает и философские системы, и музыку, и живопись, и скульптуру, и т. д. Крэбер непроч иногда и покритиковать современную капиталистическую культуру. Его критика, конечно, ни для кого не опасна, ибо Крэбер — это не Морган. Крэбер касается лишь различных форм идеологии, предусмотрительно исключив из поля зрения способы производства и формы общества, но факт этой критики со стороны Крэбера представляет все же, говоря его словами, известный «симптом». Крэбер говорит о разложении музыки, о «дизинтеграции размера и ритма» в поэзии. Он подвергает критике западноевропейскую и американскую живопись, говоря, что, она «опустилась до уровня неуклюжей бестактности». Он упрекает американскую живопись в безответственности. «Если мы рисуем руки на деревьях и колеса у людей,— пишет он,— то мы можем точно так же ставить спектакли на горных вершинах... Конечно, святой, изображенный Перуджино на облаке, это тоже противно природе, но он отражает традиционное представление, а не произвольную или личную расстановку. Разница заключается в ответственности и безответственности по отношению к одной и той же форме». Но, критикуя в этом, довольно мягком стиле слишком уж явные недостатки различных форм буржуазной идеологии, Крэбер в то же время выступает в качестве защитника основных институтов капиталистического общества. Указав, что кульминационный пункт «роста» американской литературы приходится на 40—60 гг. XIX в., Крэбер пишет, что с того времени «великая литература умерла во всем мире» и что «теперешние неудачи Америки в создании какой-либо достойной внимания литературы нельзя объяснить замедленным культурным ростом страны. Кульминационный пункт более высокого качественного исполнения уже лежит позади нас». Путем анализа различных «конфигураций» литературы Крэбер приходит к «выводу», что новый «рост» американской литературы следует ожидать примерно в 1960 г. Но этот «вывод» не окончательный. Просто, как говорит Крэбер в другом месте, «интересно иногда порассуждать на подобные темы». Мы так и не поняли, серьезно здесь говорит Крэбер или шутит. Вот его рассуждение: «После 1830 года не рождалось великих писателей. Путем прибавления к этой цифре некоторой средней (Крэбер считает, что писатель дает лучшие свои произведения в возрасте, в среднем, 30 лет.— Н. Б.) мы получим цифру 1860. Большинство писателей, родившихся в период с 1930 г., войдет в свою полную силу в 1960 г.». Может быть, повторяем, мы чего-нибудь здесь не поняли (предоставляем судить об этом читателям), но эта игра с цифрами, по нашему мнению, смахивает на черную магию. В начале книги Крэбер делает вид, что он надеется открыть закономерности культуры при помощи изучения «конфигураций» культурного «роста». Но этому верить не следует. И в конце книги сам Крэбер говорит: «Я признаю, что мои надежды постепенно уменьшались в ходе моей работы». Лесли Уайт склонен видеть в этом личную трагедию Крэбера как ученого (см. «American Anthropologist», 1946, стр. 84). Но мы, грешным делом, думаем, что Крэбер не испытал при этом особого разочарования, что именно к этому результату он и стремился (см., например, стр. 84б). И все же, даже при том несовершенном методе, который избран Крэбером, результаты, к которым его приводят факты, весьма показательны. На примере той же философии нетрудно видеть, как античная философия, философия рабовладельческого общества, сменяется средневековой философией, философией феодализма; как из смену средневековой философии приходит «новая» философия, философия капиталистического общества; как, наконец, эта «новая» философия начинает «стареть» и на смену ей приходит диалектический и исторический материализм, философия коммунистического общества. Крэбер старается скрыть лежащую в основе этой последовательности закономерность и изображает эту последовательность как «уникальный» процесс. Здесь он явно извращает факты. В Западной Европе существует и существовало не одно, а несколько отдельных государств, каждое из которых имело свою самостоятельную историю, и в то же время каждое из них имело «новую» философию, философию капиталистического общества. Где же тут уникальный процесс? Крэбер берет всю Западную Европу целиком. Но такой политической единицы не было, и пока еще (несмотря на «план» Маршалла) нет в истории. В таком случае почему не взять земной шар целиком? Тогда все будет уникальным, потому что мы пока не знаем, что делается на других планетах.

Устанавливая последовательность однотипных исторических событий во времени, сравнивая получившиеся «конфигурации», имевшие место в разные эпохи и в разных странах, друг с другом, Крэбер пытается (вернее, делает вид, что пытается) вывести законы истории. Конечно,— и это легко можно было предвидеть,— он терпит «не-

удачу». Историческое событие — это лишь проявление определенного исторического закона. Накладывая различные исторические события или «конфигурации» их друг на друга, мы никогда не выясним те исторические законы, которые лежат в их основе. Что же можно ожидать от того метода, которым пользуется Крэбер и который позволяет ему «конфигурацию» античной философии накладывать на «конфигурацию» «новой» философии? Ясно, что у него ничего не получается, ибо в основе античной философии лежат законы рабовладельческого общества, а в основе «новой» философии лежат законы капитализма. Здесь мы подходим к основному пороку методологии Крэбера. Когда одна форма философии сменяется другою, то это объясняется не какой-то мистической «культурной» энергией, внутренне присущей якобы самой философской деятельности, как это объясняет Крэбер, а законами развития общества. Законы истории (в том числе и истории философии, конечно) — это социальные законы, согласно которым возникают, развиваются и приходят в упадок различные общественные формации и одна формация сменяется другой. Между тем именно формы общества Крэбер исключил из поля своего зрения. А ведь на основе анализа «конфигураций» различных форм общества он мог бы прийти к интересным выводам, потому что «конфигурации» эти весьма красноречивы, но в том-то и дело, что это были бы не те «выводы», которых хотят Крэбер и его единомышленники.

Таково основное содержание книги Крэбера и наше отношение к нему. Крэбер известен как один из представителей так называемой «исторической» школы в американской этнографии, ныне отошедшей в область истории и тем впервые оправдавшей свое название. Противопоставляя историю (якобы индивидуализирующую изучаемые объекты) науке, представители этой школы отказывались делать какие-либо обобщения на основе изучаемых ими конкретных культур и отдельных явлений культуры. Отказ от обобщений означал главным образом отказ от изучения социальной основы культуры и, в конечном счете, у наиболее последовательных представителей этой школы — стремление к пониманию культуры как самостоятельной, внутренне замкнутой области явлений. Из американских этнографов дальше всех пошел в этом направлении Крэбер. Он утверждал, например, что история «не должна изучать факторы, порождающие культуру (civilization), но должна изучать лишь культуру как таковую», на что ему было справедливо замечено, что такая история — это «история à la Грэнбер» (см. «American Anthropologist», 1915, стр. 757). Крэбер отделил культуру от жизни (прежде всего социальной) пропастью и утверждал: «нужно знать об этой пропасти, относиться к этому факту с почтением и покорностью, не обманывая себя надеждой перейти вечную пучину» (см. «American Anthropologist», 1917, стр. 205, 213). В рецензируемой книге Крэбер продолжает стоять на этой же точке зрения, но, подчиняясь требованиям, предъявляемым в Америке 40-х гг. XX в. к этнографии, он если не присоединяется целиком к представителям господствующей ныне в Америке психологической школы, то очень близко примыкает к ней. Крэбер находит себе место в рядах воинствующей американской реакции, создавая своеобразный компромисс между традициями «американской исторической школы» и американским же неошпенглеризмом. У Крэбера, как и у Шпенглера, культуры «рождаются», «растут» «созревают» и «умирают». Биологизация культуры Крэбером позволяет ему употреблять такие психологические термины, как «стимул», «энергия», «рост», «поведение», превращая их в термины: «культурный стимул», «культурная энергия», «рост культуры», «поведение культуры». И как Шпенглер является одним из духовных отцов немецкого расизма и «геополитики», так и нелепые «конфигурации» Крэбера неотделимы от все более выкристаллизовывающейся идеологии расизма американского.

Н. Бутинов

У ПРЕДЕЛОВ ОДИЧАНИЯ

Montague Summers, *Witchcraft and Black Magic*, L., 1945, pp. 228 with index + 24 ill.

Идейное убожество буржуазной культуры, проявляющееся во всех формах идеологического воздействия: в кино, литературе, изобразительном искусстве и т. п., — с наименьшей ясностью выявляется и в области так называемой «чистой науки». Перед нами «перл» творения английского «антрополога» Монтего Саммерса «Колдовство» и «чернокнижие» — объемистый труд на 228 страницах, снабженный индексом имен и 24 иллюстрациями. Затрагивая одну из насущнейших проблем первобытных верований, автор — «достойный представитель» клерикализма — легко принимает обвинение (с его точки зрения звучащее похвалой) проф. Барра (Cornell University) в излишнем богословском характере его «труда». Еще во введении он предвещает, что в вопросах магии, колдовства и чернокнижия авторитетом может считаться либо теолог, как «имеющий в этих вопросах столь специальную подготовленность», либо юрист, «трактующий преступление» чисто по его существу. Далее, как во всяком солидном труде, следует лингвистический и филологический анализ терминологии. Легко скользя по народам и временам (от рубежа нашей эры до XIII—XVI вв., до 1929—1937 гг. и обратно), нагромождая «высоконаучные» и «авторитетные» высказывания кровавых

палачей инквизиции, иезуитов и бенедиктинцев (Игнатия Лойолы, папы Иннокентия III, Иннокентия VIII, лондонского епископа Эйлмера и т. д.), а наряду с ними «ведущего оратора парижской адвокатуры» 1920—1938 гг. г-на Мориса Гастона и др., автор доказывает, что «существование зла на земле не требует особых доказательств, обоснований — оно самоочевидно, как живая, ужасающая реальность», что слово «дьявол» (англ. Devil) происходит от усечения «do-evil» (творить зло), что первоначально «дьявол» и «Люцифер» были не равнозначными терминами и «Люцифер» понимался еще евангелистами как «порождение грома, сын зари вечерней». Попутно мы узнаем, что рождение волосатых (со сплошным волосатым покровом) детей и «двуголовых уродов» является «проявлением гнева небес по отношению к населению грешной местности» (ср. собрание монстров петровской Кунсткамеры, которых Петр I указом 1718 г. повелел собирать именно в целях борьбы с суеверием).

Наиболее показательны главы IV и VII. Первая из них рассматривает происхождение колдовства, шаманства, магии и «решает» вопрос о том, «кто был первым колдуном» (?? sic!). Отказывая человеческому обществу в истории развития (оно дано «в готовом виде» самим всевышним с времен сотворения мира), М. Саммерс приводит высказывания большого количества авторов о наличии колдовства в Австралии, Океании, Африке, Таджикистане, Париже и Лондоне (и делает отсюда «вывод», что «оно прошло неизменным и неизменяемым сквоз. века, как и его глава (Master)», и повсеместно для его служителей характерно «знание убийственных ядов и вредоносных трав». Далее, автор с полным «объективизмом» приводит все три «ведущих» решения вопроса о первом колдуне. Оказывается, это второй сын Ноя — Хам. Хамово отродье — бездушные люди, «материалисты, слепые по отношению к свету природы и внутреннему свету», расселились повсюду. Одна их ветвь расселилась в Бактрии и в зороастрийском культе славилась Люцифера — сына молнии. Однако есть возможность искать первого колдуна и в более раннюю эпоху — это Каин, нарушивший небесный закон братоубийством. Наконец, виновником и отцом колдовства является... сам Люцифер, ибо бунт небесный породил революции и бунты на земле (!). Остается выяснить дальнейший путь внедрения колдовства. Дьявол вербует себе сторонников путем покупки душ и путем коинции. Оказывается, «все теологи и ученые философы согласны на том, что во все времена и у всех народов колдуны практиковали сонгие с демонами: женщины с инкубами, мужчины с суккубами»; более того — один и тот же демон может быть суккубом для колдунов и инкубом для колдуний. Автор готов признать историчность колдунов и колдуний (особенно колдуний, ибо женщины — сосуд дьявольский), но и она идет от дьявола. Они, несомненно, — «одареннейшие, умнейшие в племени», но знают они различные вещи от дьявола, ибо демоны обладают поистине дьявольской памятью и передают часть сведений своим объектам. Дьявол ставит завербованным несмываемый знак. Это голубые или красные пятна на плече, на скрытых частях тела или под волосатым покровом головы. «Требуется порой обрить волосатый покров, чтобы увидеть «пятно дьявола». За всякую попытку покинуть тайное общество служителей дьявола последний карает тяжкими наказаниями, из коих легчайшее — смерть. Тайные общества сатанистов первоначально — синоним слову атенст, в трудах епископа Лондона Джона Эйлмера (1559 г.). Скомический серьезностью дебатировал автор вопрос о том, должно ли это тайное общество состоять обязательно из 13 (!) последователей или достаточно и 10. Далее доказывалось, что сатанисты заранее назначают день преступного собрания — шабаша. Собравшись, они ведут моление, при котором обязательны: стол, покрытый черным бархатом, две восковые свечи в черных подсвечниках, магические круги с записанными в них именами «падших ангелов» и т. п. После шабаша следует пир, сопровождаемый свальным грехом, причем вино льется рекой и «так говорят высокие авторитеты») поедаются блюда из человеческого мяса. Один из первосвященников черной мессы принес тело невинного ребенка, приготовил его и все ели (стр. 208). Шабаш сопровождается танцами и адской какофонической музыкой. Автор не уверен, что преобладает в этой музыке: барабан или трубы, но самая музыка — неоспоримый факт (!).

Наконец, автор подводит итог. Еще ранее он заявил: «колдовство это не только исторический факт. Это современная угроза». С глубокой верой в факт их существования и вредоносной деятельности автор утверждает наличие разветвленной сети организации сатанистов и предостерегающе заключает: «Колдовство, чернокнижие, сатанизм — пусть называют, как хотят. Все едино — культ Дьявола (с большой буквы. — Г. С.) — наиболее ужасная сила в современном мире». Читателю представляется самому делать вывод: не в лагерях Освенцима и Майданека гитлеровскими палачами лилась человеческая кровь и «приготавлились» тела невинных младенцев, не их последышами Мосли и де-Голлем готовится гнуснейший заговор против человечества с применением «смертоносных трав и ядов», а в этих, состоящих из отвергнутых религий атеистов и материалистов тайных обществах «сатанистов», столь широко распространенных в Англии, Франции и особенно в Средней Азии и Сибири. Иллюстрации как нельзя более подходят к книге. Это серия грубейших, отвратительнейших агитплакатов, натасканных из гнуснейших творений кровавых мракобесов европейского средневековья. От всего «труда» в целом на советского читателя веет смрадом болота, где гнездятся ложь, суеверия и предрассудки, гарью костров инквизиции, на которых заживо сжигались настоящие люди за малейшее проявление про-

грессивной мысли, трупным запахом «Бабьего Яра». Невольно встает вопрос, когда же это написано и когда издано. Только из предисловия можно установить, что... в 1945 г. Это не ошибка, не 1545, а именно 1945 г. И это примечательно. Таково лицо значительной части «научных» изданий Запада.

Говоря о том, что автор не делает выводов, мы были не вполне точны. Кончая свой труд, он не удерживается от возгласа «Англия отменила закон против колдовства. Но святые Законы отменить она не может». Это и есть его вывод, вывод-призыв: «Назад к судам над ведьмами! Назад к святым судам над чернокнижием!». Потрясающий в середине XX в. лозунг. Заметим, в порядке юмора, что в одном из заседаний «священный суд» должен был бы (так логически следует) рассмотреть дело... Монтегю Саммерса, глубоко верующего в «сатанизм» и широко пропагандирующего структуру тайных обществ, ритуал шабашей и «легкую возможность» получить богатство, славу и стать «умнейшим» человеком общества. Мы не удивимся, если решение будет: «виновен и не заслуживает снисхождения», и лишь добавим к мотивам виновности: трату времени, порчу такого количества бумаги и, главное, попытку засорить мозги прогрессивного человечества зловернейшими бреднями. Как живые свидетели, внесем оговорку, что «умнейшим» человеком в обществе ему не поможет стать никакой кооптированный для этой трудной работы «сатана».

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Скудоумие, убожество мысли и моральное одичание поистине потрясающие. Но самое мрачное в том, что это и подобные ему произведения сорвавшихся с цепи мракобесов находят в Англии наших дней издателей и, вероятно, читателей.

Гр. Стратанович

СОДЕРЖАНИЕ

Задачи этнографов в связи с положением на музыкальном фронте	3
--	---

Вопросы этногенеза

С. П. Толстов. «Нарцы» и «Волхи» на Дунае (Из историко-этнографических комментариев к Нестору)	8
Т. А. Трофимова. Краниологические данные к этногенезу западных славян	39
Акад. Л. С. Берг. Названия рыб и этнические взаимоотношения славян	62
А. П. Смирнов. Древнеславянские памятники Нижнего и Среднего Поволжья	74

Материалы и исследования по этнографии и антропологии СССР

Е. В. Гиппиус. О русской народной подголосочной полифонии в конце XVIII — начале XIX века	86
В. И. Чичеров. Русские колядки и их типы	105
М. Н. Шмелева. Типы женской народной одежды украинского населения Закарпатской области	130
Л. Г. Баран, М. С. Меерович. Белорусские народные предания и сказки-легенды о Заслонове и Ковпаке	147
Акад. Н. С. Державин. Албанцы-арнауты на Приазовье Украинской ССР	156

Материалы и исследования по этнографии и антропологии
зарубежных стран

П. Н. Третьяков. Восточнославянские черты в быту населения придунайской Болгарии	170
--	-----

Из истории этнографии и антропологии

С. А. Токарев. Вклад русских ученых в мировую этнографическую науку	184
---	-----

Хроника

В. Храмова. Сессия Института этнографии, посвященная 30-летию Октября	208
Б. Гершкович, В. Крупянская, В. Соколова. Совещание по вопросам собирания, изучения и издания фольклора Великой Отечественной войны	209
Л. Потапов. Экспозиция по славянским народам в Гос. Музее этнографии	216
В. Белицер. Выставка «Народная одежда и народное творчество белорусов» в Музее народов СССР	217
М. Я. Гринблат. Белорусская советская этнография за 30 лет	219
А. Гуз. Возрождение русского этнографического хора села Дорожево	225

Personalia

А. Робакидзе. С. Н. Джанашиа	226
--	-----

Критика и библиография

М. Кузнецов, И. Дмитраков. Против буржуазных традиций в фольклористике	230
М. Рабинович. Вопросы этногенеза восточных славян в исследованиях советских археологов	239
П. Богатырев. Две статьи о народных песнях эпохи освободительной войны в Чехословакии	244
П. Шаревская. Апология расизма в американской этнографии	246
Н. Бутинов. E. D. Chapple and C. S. Coon, Principles of Anthropology	248
Н. Бутинов. A. L. Kroeber, Configurations of Culture Growth	251
Гр. Стратанович. Montague Summers, Witchcraft and Black Magic	254